

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

1966

6



1966

НОВОЫЕ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLII

№ 6

Июнь, 1966 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

В. КОНЮШЕВ — Двенадцать палочек на зеленой траве, повесть. Окончание	Стр. 3
ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ — Ночь в театре, Музыка, стихи	91
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Три стихотворения	95
ТАТЬЯНА БЕК — Четыре стихотворения	103
ТРУМЭН КАПОТЕ — Лесная арфа, повесть. Перевела с английского С. Митина	105
ИОГАНН-ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ — Стихотворения. Вольный перевод с немецкого Бориса Заходера	143

ПУБЛИЦИСТИКА

С. ПЕРВУШИН — Направление главного удара (Заметки экономиста)	147
---	-----

В МИРЕ НАУКИ

Е. ПЛИМАК — Радищев и Робеспьер	156
---------------------------------	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Э. РОЗЕНТАЛЬ — На берегах Нигера	192
----------------------------------	-----

К 30-летию со дня смерти А. М. Горького

А. ВОРОНСКИЙ — Встречи и беседы с Максимом Горьким	212
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЛЕВИН — Четыре жизни (К 70-летию со дня рождения П. Г. Антокольского)	225
--	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Ю. Айхенвальд. Красота, верная людям.— М. Рошин. Долгие дни возвращения.— Ю. Буртин. Марк Щеглов — критик.— В. Ковский. Встреча с Александром Грином.— Л. Левицкий. Он в Риме был бы Брут...	235
<i>Политика и наука</i>	
Г. Устинов. Высший орган государственной власти.— Георгий Кублицкий. От нью-йоркского корреспондента...— Е. Гнедин. Воссоздание истины.— И. Брайнин. Голос сердца.— Марк Поповский. Берегите планету Земля!— Л. Рыбак. Формирование труженика, гражданина.	258
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	275
КОРОТКО О КНИГАХ — Генерал армии М. И. Казаков. Над картой былых сражений.— Противоречия в развитии естествознания. Коллективная монография.— Ю. Гаврилов. Барселона. Толедо. Мадрид.— Герой Советского Союза Павел Михайлов. В небе двух полушарий.— В. Добровольский Босиком по лужам.— Б. Дубровин. Позывные, летящие в ночь.— Георгий Гуревич. Мы — из Солнечной системы.— Т. Усакина. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX века.— Украинские писатели. Библиографический словарь.— А. К. Симонова. Литературно-критические статьи.— Б. Горбачевский. Кресты, костры и книги.— В. Белькович, С. Клейненберг, А. Яблоков. Загадка океана.— Сергей Прокофьев. Жизнь и творчество.— О. Н. Бадер. Каповая пещера.	277
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ	285
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

В. КОНЮШЕВ

★

ДВЕНАДЦАТЬ ПАЛОЧЕК НА ЗЕЛЕННОЙ ТРАВЕ

*Повесть**

Гора Манавис-Циви, 19 июля 1943.

Полковую пушку образца 1927 года на плацу Тбилисского училища курсанты легко перекатывают впятером.

На охотничьей тропе, что карабкается по каменистым обрывам горы Манавис-Циви, вот уже дьявол знает который километр громяхашее орудие волокут за канаты шестьдесят курсантов.

— Даешь Манавис-Циви! — кричит наш взводный Жорж Арзамасов. — Эй, Листвин, не сачкуй!..

Я молчу. Он гоже десятый час мается у проклятого каната, наш лейтенант. Он почти ползет по крупной галечной осыпи. За ним — Володька Коробов. За Володькой — я.

В маму Гитлера, в сухопутную службочку, в божью мать отводит душу морскую старшина Миша Цыганок.

Правая ладонь обхватила канат. Пальцы слипаются от крови. А левая давно ничего не чувствует. Она так ободрана о камни, что я не могу дожидаться команды о смене каната. Через каждые полчаса лейтенант поворачивается к нашему взводу. Я вижу его маленькое, бурое от пота и грязи лицо.

— Сменить канаты-ы! — сипло говорит он. — Перекур...

Курсанты нашего взвода опускают на гальку канат и садятся. В пяти шагах от нас сидит 744-й взвод. Это первокурсники. Им только неделю назад выдали вместо английских желтых бутсов сапоги со шпорами. Они смотрят на сапоги.

— От к выпуску колы ножку вже дадите строевым, — говорит Миша Цыганок. — Любота! Як пятками голыми вдарите по плацу — то и оркестру не слышать буде, це точно...

Первокурсники молчат. Сожрала проклятая Манавис-Циви сапоги. А до выпуска 744-му взводу еще трубить и трубить...

— Та вы не тушуйтесь, салажатки мои, — говорит Цыганок. — Мы ж вам свои чоботы подарим, трохи погодите. По бутылочке красного за чобот — це дуже по совети, салажатки... Ну, як?

— Разобраться! — кричит лейтенант. — Взяли-и-и!

Шаг. Еще шаг. Еще шаг...

— Дае-е-е-ешь!..

В три часа ночи мы замертво валимся на мокрую траву вершины Манавис-Циви. Не уснуть. От холодной росы ладоням легче.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

Володька Коробов лежит рядом со мной.

Над Манавис-Циви — звезды и тишина.

— Устал как собака, — говорит Володька. — А ты дышишь?

— Дышу полегоньку...

Какой-то верховой продирается через кусты кизила шагах в двадцати от нас. Слышно, как всхрапывает его конь. Верховой выбирается на поляну. Он в сером плаще. Так и есть, это тот штабист из Тбилиси, подполковник Марычев. Третий день он то трусит рысцой, держась за луку седла, в хвосте нашего взвода, то говорит с каким-нибудь курсантом, присев в сторонке на камушек и покуривая тоненькие дамские папиросы «этери». А о чем тот разговор — никто из нас не спрашивает друг у друга...

Подполковник неловко слезает с коня, ведет его в поводу.

— Лейтенант здесь? — глуховатым голосом говорит он.

— Прикажете поднять, товарищ подполковник? — Это дневальный Эдик Айрапетов спрашивает.

— Не надо. Пусть отдыхает. А вот Коробова попрошу...

Володька медленно встает.

— Я здесь, товарищ подполковник.

— Ага. Устал, поди?

— Терпимо, товарищ подполковник.

— Потслюковать с тобой можно?

— Так точно, товарищ подполковник.

— Ага. Ну, так. Пойдем-ка вон к кустикам, мешать ребятам не будем... У меня у самого спина разламывается, нечистая сила...

Эдик держит коня подполковника под уздцы и смотрит на меня.

— Слушай, Сергей, ты ничего не знаешь? Что он к нашему взводу привязался, старый хрен?

Серые фигуры Володьки и подполковника четко видны — они сидят рядом под кустом кизила. Да... Сегодня Володьке, пожалуй, не до рассказов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

7

— Э, братаны, да вас тут рота! — сказал за спиной Володьки чей-то веселый звонкий голос.

Выбритый, белолицый, в шинели нараспашку, из двери с нижней палубы на корму смотрел тот самый одноногий, что просил огоньку вчера ночью у билетных касс, возле барака... Тоже, значит, на юг?..

— Пристраивайся на левый фланг, — усмехнулся парень с рыжеватыми усиками ниточкой, в солдатской новенькой ушанке, надвинутой на самые брови. Сидел он на корточках, припав спиной к борту из плетеной проволоки, а рядом еще мужиков шесть пристроились, понутив головы, — хорошо дремалось в затишке.

— На пожарников, что ль, готовитесь, служивые? Чуть что — так они присягу побоку, одно дело — дрыхнуть. Старшины на вас нет, сачки...

Одноногий, шурясь, глянул на Володьку, и по бровям, чуть дрогнувшим, видно было — узнал...

— А-а, кавалер. Едешь?

— Везут.

— Ну и хорошо.

Посмеиваясь, одноногий уткнул концы костылей в ребристую железную палубу, достал из кармана брюк мятую пачку «казбека», закурил.

— Ветерок приятный... Как в берлинских пивных, там, говорят, культурно немцы посиживали. Кончим Гитлера, я так надеюсь — всех вояк

в Берлин бесплатно, за счет Михаил Ивановича Калинина возить будут, которые своим ходом не могут... А то ведь обидно, братцы, а?

— Тебя где это? — уважительно спросил одноногого парень с усиками. — Позволь казбечинку...

— Я, брат, на девятый день с ногой распрощался, — сказал одноногий, протягивая пачку. — Тринадцатый мехкорпус, может, слышал? Петр Николаевич Ахлюстин командир. У Сожа на переправе, рассказывали, погиб... Я уж в госпитале тогда жиры нагуливал. Да по нашему столярному делу нога ни к чему, за чекушкой в субботу и так допрыгаю...

— Ты свое отдал, без долгов, — сказал парень, бережно разминая папиросу короткими пальцами в мелких шрамах. — А я в Саратов. В танковое училище загремел... Равняйся, смирно, еще смирнее, пуговички драить...

— Чего ж ревешь? — усмехнулся одноногий.

— А я, милок, не реву. Только мне на эту железяку-гробинушку глянуть — с души воротит... Хуже нет солдату, чем в танковых, ребята. Честно.

— А что? Езди да езди. Тепло и мухи не кусают...

Володька смотрел на белое от госпитальной лежки лицо одноногого, на его серые глаза с непонятной прищурилкой... Без ноги. Калека. Это же страшно. Это же на всю жизнь...

— Ты, танкист, газуй на всю катушку, — сказал одноногий. — А я уж за тебя слезу уроню.

— Та... катись ты, понял? — медленно сказал парень и бросил недокурную папиросу под ногу калеке.

— Ежели вся Россия заревет, когда готовь спину под фрица. Он — сядет. Ему это дело больно привышно. Рысью под ним не жравши будешь бегать...

— Ты сдельно, что ль, агитируешь? Иль норму тебе установили? — сказал парень, сплевывая. — Катись. Твое дело на печке тараканов давить, понял?

— Я их костыльком по шее, — посмеивался одноногий.

— Твое дело теплое: пенсийку огреб в военкомате — и к бабам. К бабам домой я и с одной ходилкой согласен ехать.

Одноногий, прищуривая веселые глаза, сказал Володьке:

— Сбегай на пищеблок за топориком, кавалер. Мы и тупым ножку ему оттяпаем. За чем дело стало, раз человек просит?

— Бросьте вы, мужики, — лениво проговорил кто-то из сидевших у борта.

— Башка цела — и порядок.

— Нет уж, лучше пулю в лоб — я так понимаю...

— Во-во. Такие понимающие и драпают первыми... Точно! — зло сказал, во весь рост поднимаясь, парень в длинной шинели с темно-синими петлицами конника.

— Ты, кавалерия дохлая, прикройсь! Во-я-ки... Рысью марш-марш, да в тыл, пылюга до неба! Видали, как под Минском вы героичали, видали... — уже остывая, беззлобно сказал парень с усиками.

— А я виноватый?! Я? Кто ж с клинком, да конь без овса три недели, на танки попрет?

— Нагнал Гитлер страху на кавалерию, беда, — сказал одноногий. — Лошадка хвост на сторону, трассирующим по дороге садит, а хозяин ножки из стремян вон — и в кустики...

— Я вот тебе по кумполу тюкну разок, в Волге охолонешь! — огрызнулся кавалерист. Худая щека его дернулась. Он сунул кулаки в карманы шинели. Цigarка его дымилась, ела глаза, кавалерист шурился и беспомощно помаргивал.

— Ты с какого? — спросил он Володьку.

— Двадцать пятого, — неохотно ответил Володька, плотнее прижимаясь спиной к стенке.

— Без тебя, стало быть, обойдемся. Повезло, казак... Я с двадцать первого, а уж веселой жизнешки хватнул полную торбу...

Володька опустил глаза... Так и будет. Так и будет он всю жизнь стыдиться смотреть в глаза этим парням.. Без него обойдутся. Он опоздал. Он никогда не будет иметь права смотреть им в глаза...

По берегу у валика прибой рысила белая лошадь. За нею бежали четверо мальчишек, размахивая руками. Ловят, видно. А за ними кто-то в сером, не то в шинели, не то в плаще. Лошадь спустилась к воде, нагнула голову.

— А я свою Ступицу сам порешил... Миной ее под Невелем зацепило, — проговорил за спиной Володьки кавалерист. — Никогда не ложилась. Чистая завсегда. На строевой выводке взводный первой к начальству пускал, ни перхотинки не было...

Белая лошадь пила, о ее тонкие ноги плескались волны. За лошадью реденькой цепочкой стояли мальчишки. Человек в сером съехал по песчаному обрывчику к воде, подошел к лошади, похлопал ее по крупу.

— Отгуляла... — сказал одноногий.

— Полегло их, ребята, ох полегло дюже летось, — сказал кавалерист. — Конь — он тоже понимает. Запрягла их война: покуда до Берлина дошкандыляем — холки в кровь...

Мальчишки что-то кричали. Одноногий помахал им пилоткой.

— Закурим, что ль, по последней, служивые, — сказал он. — Слышь, танковые войска? Ты брось на меня прицеливаться, чудак... Я с тобой хоть сейчас мену готов... Сегодня меня фриц клюнул, завтра... На казбечину. Это мне докторица лично вручила... Она мне ногу терзает, а я ей про любовь, я ей про сладкое дело... Молоденькая, умрешь со смеху! А уж душеньку отводил в палате — приволокут меня чин чином на колымаге, дверь прикроют... и начну я загигать в три поворота... Глядишь — ничего, полегчало...

— Средство?

— Ну! Первая медицина! Да бери, что ль, ишь, гордый...

Танкист взял папиросу.

— Покричал? — сказал он виноватым голосом.

— Было дело...

— Возьми на довольствие, пехота. — Кавалерист тоже протянул руку к открытой коробке. — Генеральские! Ты не в генералах ли ходишь?..

Смеялись, курили, бережно пряча папиросы в кулаках. На Володьку никто не смотрел.

— Молодой человек, вас зовет в гости барышня. Торопитесь, молодой человек. Или я шучу?

Отбросив с головы пальто, Володька сел. Перед ним стоял очень прямой, широкоплечий старик в синем кителе, в фуражке с кокардой Волжского пароходства.

— Он спит, когда ждет барышня! Нет, он же таки спит! — очень серьезно сказал старик и вдруг улыбнулся. У него были большие темные глаза, хрящеватый, с горбинкой нос. Володька узнал механика, что уже под утро пустил в свою каюту Нелли Константиновну.

Володька покосился на мать. Она лежала у стенки, закрыв глаза. Микола, наверное, опять пропадал у одноногого, в карты резался от безделья. Братья где-то лазили, пока мать спит.

— Я сейчас. Спасибо. Хорошо.

— Я тоже думаю, что хорошо.

Механик пошел — очень прямой, широко размахивая руками. Володька брел следом. Ему не очень хотелось идти к Нелли Константиновне. Все-таки это нечестно — сбежать от своих, тепленькое местечко найти. Но и дремать на мешках Володьке осточертело. Сам, понятно, он ни за что бы не пошел к Нельке первым, но уж раз зовет...

Перешагивая через лежащих на полу пассажиров, механик и Володька пробирались по длинному темноватому коридору. В самом его конце, к борту, была белая дверь, на которой синей краской было написано «Служебная».

Старик сильным рывком дернул за медную ручку, дверь отъехала в сторону.

— Неля, молодой человек явился.

Старик взял Володьку за локоть и подтолкнул в каюту.

В круглый иллюминатор били струйки дождя, в каюте было сумрачно. Нелли Константиновна лежала, свернувшись калачиком, на полосатом узком диване у правой переборки, прикрыв лицо ладонью.

— Сам разбудишь барышню, — сказал механик, подталкивая Володьку в спину, и дверь захлопнулась.

Нелли Константиновна все лежала, ровно дыша. Володька, усмехнувшись, разглядывал каюту. Большая фотография узколицей женщины с пышной короной черной косы и ровно срезанной челкой над левой бровью висела на переборке против дивана. На столике под иллюминатором что-то лежало, прикрытое салфеткой. Валялись на оранжевом коврикe перед диваном домашние туфли Нелли Константиновны.

— Сядь, — открыв глаза, тихонько сказала Нелли Константиновна. Отодвинула к переборке ноги в черных шелковых чулках.

— Покорнейше благодарим-с. Нелли Константиновна, — хмуро сказал Володька и прислонился спиной к двери.

— Мне сегодня девятнадцать...

— Поздравляю... — не сразу ответил Володька.

— Я возьму мальчиков. Фалк Шлемович разрешил. Он у капитана спит. Не злись. Я не могла больше... Сядь...

Володька неохотно шагнул к дивану, присел у самой двери. Ногу на ногу закинул. Чувствовал он себя скверно.

Нелли Константиновна повернула голову на подушке, отняла от глаз ладонь, виновато посмотрела на него.

— Ты же добрый. Я знаю, — тихо сказала она. — Не воюй со мной... Мне и так... А-а, к черту. Дай мне встать.

Володька торопливо поднялся. Она села, пригладила волосы, опустила ноги на коврик. Развязала поясok темно-желтого платья, подтянула потуже. Глянула на Володьку строгими, без блеска глазами.

— Дай туфли.

Володька — не сразу — нагнулся, подсунул туфли с меховой оторочкой к ее ногам.

— Какая гадость. Вкус у человека... — сказала Нелли Константиновна, глядя на туфли, и Володька догадался, что туфли — подарок мужа, майора Лемешко... Ударом маленькой ступни она отшвырнула их под столик, нагнулась, пошарила рукой под диваном и вытащила лакированные лодочки. Володька улыбнулся. Она встала, посмотрела на него и вдруг засмеялась.

— Ах ты, добренький мальчик мой... — сказала она. — А то б мне совсем... Наревусь дома — и к вам чаек пить... Смотрю — такой хороший-хороший мальчуган сидит, глаз не подымает... Ну, ладно, не красней, пожалуйста...

Легко простучав каблучками по коричневому линолеуму, Нелли Константиновна подошла к столику, сдернула салфетку. На столике стояли три тарелки и два стакана в серебряных подстаканниках, на тарелках — тоненькие ломтики сыра, две селедки, кружочки огурцов, на клочке газеты — стопка нарезанного хлеба, рядом — открытая банка консервов.

— Прошу. Будем пировать назло Гитлеру.

— И папе Павлику.

— И папе, — усмехнулась Нелли Константиновна. Она нагнулась и достала из-под дивана темную бутылку, откинула подушку к перборке, ткнула в нее кулачком, села.

— Прошу!

— Быть мне сегодня в углу, — сказал Володька, усаживаясь рядом с Нелли Константиновной. — Мамуля этого пиршества не перенесет.

— Вали все на меня, мне все равно теперь...

— Ого, хватит, хватит! Полный же!

— Ну-у, Вовонька. Ведь девятнадцать!

— Ну, будь счастлива... Неленька. Можно так?

— Тебе — да. Ты же мой старый друг.

Она так закашлялась после первого глотка, что выступили слезы.

— Тоже мне комиссарша... — сказал Володька, опасливо глядя на свой стакан. Морщась, выпил глоточек. Покосился на Нелли Константиновну и, мысленно холодея, опорожнил стакан до дна.

— Жив?

— Х-хо... жив.

— На, быстренько. — Нелли Константиновна подсунула вилку.

... — Повторим? — сказал Володька. Он осторожно поднял правую ладонь к плечу Нелли Константиновны, провел указательным пальцем по теплой ткани, потом палец двинулся дальше и коснулся шеи. Володька неслышно засмеялся.

— Повторим, — сказала Нелли Константиновна, повернула голову и стала очень внимательно рассматривать Володькину кисть, которая лежала на ее плече.

— Слушай, Владимир Павлович, ты принял меня за кого-то другого. Ты совсем пьяненький, да?

— Средственно.

— И говоришь черт знает как! Ты что, толковый словарь под подушку кладешь, да?

— Во мне играют ярославские кровя, а также подыгрывают трохи одесские биндюжники. Знаешь, мой дед был зверским контрреволюционером. Нет, прадед, да, прадед. Граф Толмачев. Его герпетъ не мог Витте. У мамы вообще родня подозрительная...

— Ну, и хоро-ош же ты...

— У меня серые глаза. Валуха любила меня только за серые глаза... И у папы серые глаза.

— Ты пьяненький. Совсем.

— Мы перебьем их, всех перебьем... Они будут валяться, как собаки... Нет, не хочу о войне... Возьму и выпью. Я хочу выпить с тобой! Если б не ты, я пропал бы. Ты самая лучшая. Ты умная. Такая чистая, как облачко. Как Мирва. Я сейчас налью и выпью с тобой. За тебя и Мирву. Мирва будет меня ждать. Я знаю, она будет ждать. Мы выпьем и будем сидеть рядом. Я не боюсь тебя. Мирва была потом. Я хочу сидеть с тобой рядом и говорить. Просто хочу говорить. Вот так.

Володька поднял голову.

— Я люблю ее.

— Да, Володенька.

— Я хочу выпить за нее. С тобой.

Нелли Константиновна выпила, зажмурившись. Володька взял из ее вялых пальцев стакан. Она все не открывала глаз.

— Черта с два, я выпью до дна,— сказал Володька, глядя на остатки коньяка в стакане Нелли Константиновны.— Сейчас мы возьмем бутылочку... не прольем ни малюсенькой капельки... за Мирву нельзя пролить ни капельки... Спросите меня по истории. После Анны Иоанновны на престол взобралась дурища Анна Леопольдовна... или наоборот, аб-со-лют-но не имеет значения для мировой революции... Садитесь, Коробов, вы бездарный зубрила. Садитесь! Ну-у, во-от, вся жидкость в одном сосуде... Можно, Неленька? Я пьян. Папка, я, знаешь, пьян. Да, я пьян, черт побери. Неленька, я выпью за... Почему ты плачешь? Неля, почему ты плачешь?

Нелли Константиновна откинулась к спинке дивана. Глаза ее были закрыты, по смуглой щеке текли слезы. Володька поставил стакан. В висках у него стучало. Он уткнулся лбом в плечо Нелли Константиновны. Потом попытался приподняться.

— Не уходи. Я боюсь,— сказала Нелли Константиновна.— Поспи. Я посижу. Поспи.

9

Третий час был, когда Микола вернулся к своим, просядив-таки последнюю партию в подкидного (хитра пехота одноногая, мухлюет — ну никакого терпения). Времечко и подзаправиться — самый раз, да Анна Евстафьевна что-то притихла, не то спит, не то на свет божий смотреть ей тошно... И хлопчики где-то по пароходу болтаются, и Володи нету.

Микола чемоданы и узлы глазом окинул для порядка (до шкоды при такой езде — плюнуть не успеешь, с добром распрощаешься) и опять к одноногому в кубрик носовой подался.

10

Под затылком подрагивала переборка. Володька не открывал глаз. Его правая ладонь лежала на чем-то мягком, теплом. Откуда-то издалека донесся голос Нелли Константиновны:

— Шестнадцать ему. Двадцать пятого июля отмечали, в лагере бригады. Он добрый мальчик, я люблю его. Пейте...

Володька открыл глаза. За столом сидел механик, держал в руках стакан с коньяком. Ну, пусть. Разве он здесь?

Две пуговицы сверху синего кителя механика были расстегнуты. Володька видел резкий профиль с горбатым носом, морщинистое ухо, маленький подбородок.

Старик смотрел на фотографию узколицей женщины.

— Фрида, я выпью,— сказал старик тихим просящим голосом и закивал бритой головой.— Я выпью за тебя, Фрида.

— Выпейте, Фалк Шлемович,— сказала Нелли Константиновна.

Володька отнял свою ладонь от ее плеча.

— Я выпью, Фрида.— Старик опустил голову, посмотрел на стакан, подрагивавший в руке.— Вы молодые. Вы знаете, как любят? Я знаю... Я знаю. А вы разве можете знать?! У меня был такой друг. Исаак Иоффе у меня был. Думаете, я хотел тогда воевать? Мы с Исааком сидели на пересылке. Меня Решетов сцапал, дурак. Его в восемнадцатом расстреляли, дур-рака. Вы не знаете, что такое любить чело-

века. Я знаю. Она пришла к Иоське. Она была его невеста, Иоськи. И я вечером убежал. Я подошел к забору и сказал себе: «Фалк, ты только сейчас видел свое счастье. Двадцать минут видел. Она не любит Иоську. Она не давала ему целовать свои губы. Она не любит Иоську, понимаешь ты это, Фалк?» Хе, забор... Вы думаете, я боялся, что меня подстрелят на том заборе? Я видел, что она не давала ему целовать губы. Я видел. И я убежал, а потом, когда пришли наши, я пошел на почту и дал этому старому Мартынову заработать. Я сжег девять писем Иоськи. Я три месяца палил эти бумажки! Я сделал это, да, и что?.. И я пошел к хозяйке Фриды и сказал: «Отдайте мне Фриду, Маня. Она сирота, вы у нее за мать. Думаете, мне приятно палить бумажки Иоськи? Отдайте мне Фриду — и я буду целовать ваши следы, если Фрида не увидит счастья!» И мы сели с Фридой на пароход, и в каюте была наша свадьба. Комиссар Горностаев сказал Фриде: «Принимаем вас, Фрида Ароновна, до нашей краснофлотской семьи, славной Днепровской флотилии...» Я кончал вахту и бежал к Фриде на камбуз. Комиссар говорил, что я не должен мешать Фриде выполнять ее революционный долг, потому что если каша пригорит, так это уже не каша для военмора, да, он был хороший, комиссар...

— Выпейте, Фалк Шлемович,— сказала Нелли Константиновна, касаясь ладонью его колена.— И я с вами.

— Да, я выпью, Неля.

— Еще будет. Будет хорошая жизнь.

— Жизнь?.. А где моя Фрида? Где мои девочки? Что вы знаете о жизни?... Фрида выбежала на улицу, когда они летели... Разве я думал, что они будут летать? Я боюсь идти по Румянцевской. Я не хочу видеть, где эта яма... У Сейнеле были белые волосы... Белые, как снег.

Нелли Константиновна взяла из пальцев Фалка Шлемовича стакан и поставила на стол.

— Двадцать два года я говорил: «Я Феликс Соломонович»,— усмехнулся старик.— Я не очень любил говорить, что я еврей. И пусть советская власть. Феликс Соломонович... Я — Фалк Шлемович! Пусть меня спросят эти обезьяны с крестами, я скажу им: «Я Фалк Шлемович! Я еврей! Я еврей! Я уже две тысячи лет еврей!» Я скажу им это, обезьянам...

Володька медленно склонился вперед, осторожно взял сухую широкую ладонь Фалка Шлемовича. Старик повернул к нему заплаканное лицо.

— Иди к маме,— сказал он и улыбнулся.— Пусть она ничего не видит. Сделай так. Маме будет больно тебя видеть. Мама будет бояться за тебя. Я всю жизнь боялся за Сейнеле и Сарру.

— Да,— сказал Володька, не выпуская его ладони.

— Я думал, тебе восемнадцать.

— Мне шестнадцать.

— Ты должен быть мужчиной. Не надо мучить Нелю. Ей плохо.

— Мне хорошо,— сказала Нелли Константиновна и подтянула потуже поясok платья.

— Тебе плохо. У тебя мокрая подушка. Смотри. Ты плакала, тебе плохо. Я знаю, почему тебе плохо? Что я — бог?

— Мне хорошо. Я хочу выпить с вами за счастье.

— Все евреи любят пить за счастье, но им нельзя пить. Этот умник бог запретил, ему больше нечего было делать, дур-ра-ку...

Старик посмотрел на фотографию жены.

— Я выпью за их счастье, Фрида. Я выпью.

Он лежал, сцепив руки на тяжело дышавшей груди. У него отцовы брови. И отцов упрямый рот с нижней губой, разделенной впадинкой.

— Сынок...

Не открывая глаз. Володька положил ладонь на плечо матери.

— Все хорошо... мам. Все хорошо,— проговорил он едва слышно.— Я люблю тебя, мам. Ей девятнадцать.

— Спи, родной мой.

— Девятнадцать, мам.

Он уснул, так и не сняв руку с ее плеча. Ладонь у него была холодная.

Анна Евстафьевна

Если стоять на краю обрыва долго — смотреть на выжженную до красна, иссеченную трещинами глину,— поплывет, карусельным бегом закружится перед глазами багровая пропасть. И кажется — до заливанного волнами песчаного берега моря будешь лететь вечно...

Часами нескитанными ставала здесь Нюся четыре года назад, а когда брела домой, старухи хуторские низко кланялись ей, скорбно крестились, с дороги сворачивали. А в конце третьей недели услышала, как на спину легла тяжелая ладонь, легонько прищлепнула... Нюся узнала старика — Охрим Савчук, председатель сельрады в Санжейке.

— Шо ты там, доню, не бачила? — сказал Охрим. Взял Нюсю за локоть коричневыми пальцами, заставил отшагнуть от обрыва.— Посыдыть со мною, Анна Евстафьевна... Ноги в мене гудуть, стары, чертяки, аж терпенья нема...

Охрим сел на край промоинки, потер на коленках стиранные до белизны солдатские штаны. И сапоги у него были солдатские — немецкие пехотинцы в таких, видела Нюся, по Одессе ходили.

— Та сидай, доню, чего ж...

Нюся села, он взял ее за локоть, усадил поближе к себе.

— От мы с тобою, Анна Евстафьевна, по секрету побалакаем... Хай моя стара на мене макитры покидае...

Первый раз за полгода — с того утра, когда на тачанке привезли из порта убитого папу,— Нюся улыбнулась.

— Тоби вже скільки е?

— Четырнадцать,— тихонько сказала Нюся.

— Ну, ще годика два чи три — и свадьбу зыграем...

Слышно было, как шуршали оползни по обрыву. В степи кто-то изредка постреливал.

— Пограничники... гарны хлопчики,— сказал Охрим.— Молодые. Мне як раз було четырнадцать рокив, гвой дед мене плетюганями добре отпоров, добре-таки... Строгий граф був. А я соби живу. Ты бильше не ходи сюдой, Нюсенку... Така ж скаженная высота, хай ей грещь... Впадешь — а на шо? Не ходи. Не надо. Да ты ж не смотри на мене, я ж тильки так говорю... Голова там кружанеть — и нема Анны Евстафьевны. Не ходи, не надо. Ты к моим внучкам, Василинке та Олеське, заходь. Спивают дивчатки. Та й хлопчики. Кажы своему дяде — шо ты за самостоятельность, та й до нашей хаты! Хай дядя жалобу до мене строчить, я ее пид сукно... та к вам спивать басом чи дискантом, колы трохи горилочки моя стара пиднесе! Ну, шо ты на мене смотришь, голубые очи?..

Нюся попятилась от обрыва, уколола босую ступню. Как тогда, четыре года назад, закружилась голова... Попрыгав на одной ноге, выта-

шила гибкую ржавую колючку. Выпрямилась, подняла голову — по тропе через кукурузное поле ехал к ней на высоком коне всадник в белесой гимнастерке с темно-синими полосками поперек груди. Уйти бы, да некуда...

— Скажите, будьте добры, не вернулся ваш дядя?

Голос у всадника был глуховатый, и сразу понятно — кацап, российский говорит...

Нюся глянула через плечо. Всадник улыбнулся. Лицо загорелое, глаза от этого еще светлее под широкими темными бровями...

— Не знаю,— сказала она тихо.

Всадник молчал, только конь под ним поигрывал, бил копытом в белую пыль. Вдруг всадник сказал тихо:

— Вы приходите, пожалуйста, к Савчукам...— И, тронув коня шпорой на высоком сапеге, подъехал совсем близко к Нюсе.— Приходите, Нюсенька... к Савчукам.

Нюся удивленно подняла глаза:

— Вы... знаете меня?

— Мне всех положено знать...

Теперь голос у него был веселый.

— Я комендант заставы. Уж девятый день. Красивое у вас село, Нюсенька... А я с Ярославля родом, у нас солнце северное... Приходите, Нюсенька. Я вас ждать буду. Придете?

Нюся, молча улыбаясь, попятилась к кукурузе.

— Нюсенька...

— Нет... Нельзя... Нет...

И побежала по тропинке... Оглянуться осмелилась только у сарайчика, что на краю дядино двора. Всадника на шляху уже не было. Нюся присела на арбу. Смешной какой. Светлоглазый. Нет, это же надо посметь — звать к Савчукам, комендантшишка несчастный... Думает, наверное, что без его шпор и этих синеньких полосок она теперь жить не сможет. Надо было сказать ему: «Прошу прощения, товарищ комендант, но боюсь, что у меня не будет свободного времени»... А она помчалась от него, как девчонка, стыд какой...

Нюся положила левую ступню на коленку, стяхнула с нее ладошкой пыль. Даже следа от колючки не осталось. И больно не было. Вот так, мой дорогой комендант. Придется вам поскучать сегодня одному. И завтра. Пусть ваши шпоры звякают для Василюшки.

Дядя Трося вернулся из Одессы, когда солнце скатилось уже за обрыв.

Видела от сарайчика Нюся — по-над обрывом, где и пешему-то страшно пройти, гнал он бричку нещадно, а по проулку пустил Борьку шажком... Догадалась — гульнул дядя в Одессе.

Она соскочила с арбы, забежала во двор, откинула засов, распахнула железные ворота. Борька, похрапывая, простучал копытами по выложенному плитами ракушника двору к конюшне.

Нюся подошла к бричке. Дядя Трося, похлопав ладонями по полам новенького коричневого френча с костяными пуговицами, по синим галифе — пропылился за дорогу, — приподнял ковровое сиденье брички и достал сверток из зеленой бумаги, перехваченный розовой ленточкой.

— Ну, шо? Купил тебе дядя? Чи не купил? — дурашливо говорил дядя Трося, стараясь не встретиться глазами с Нюсей.— Купил-таки! У самого Цукермана. Это ж фирма! Не-е, не дам, пидемо до хаты, тетя тебе вручит! Та ты шо? Чи не рада?

Нюся убежала в дом и, пока дядя Трося явился, успела наплакать-

ся. Это было первое платье после того, как убили папу. Четыре года тетя Саша ей из своего старья перешивала...

Тетя Саша, выйдя из кухни, увидела Нюсю, прослезилась.

— Та шо ты, моя риднесенька. Я ж тебя кохаю, Нюсеньку... Та ты ж моя девоньку, ты ж моя любая...

Поплакали, а потом Нюся надела обнову — голубое платье с пояском ниже талии, у одесских модниц такие в ход пошли с этой весны. Дядя Трося даже каблуками шелкнул.

— Разрешите, мадемуазель Капустенко? — И под локоток, посмеиваясь, провел Нюсю мимо жены, склоня стриженную ежиком голову к голубому плечу, как в далекие времена водил одесских красавиц в залах дедова особняка. Лихим кавалером был когда-то младший сын графа Толмачева!..— Восьма польщен, мадемуазель!..— И лихо, покорнетски поцеловал загорелую руку Нюси.

— Трося, а шо ж ты Борьку бросил? — сказала тетя Саша, выглядывая в окно.— От же ж хозяин!

Дядя Трося посмотрел в голубые глаза племянницы, улыбнулся. Нюся тихонько коснулась его руки...

— Ничего, Нюсек. Ничего. Мы еще поживем,— сказал дядя Трося, часто помаргивая.— Носи, маленькая, на здоровье.

Нюся поцеловала дядю в дрогнувшую щеку.

— Можно, я к Савчукам пойду? — сказала она, подергивая за поясик нового платья.

— Ше шо! — Тетя Саша удивленно посмотрела на нее.

— Пусть идет девочка,— сказал дядя Трося.

— Та перестань морочить голову.

— Сашуня...

— Нет, ты думаешь, шо говоришь? Шоб Нюся... со всякими байстрюками? Нет — я кажу. Нет!

— Сашенька, прошу тебя, перестань шокать. Говори по-человечески. Ты же не на Привозе. И не в сельраде. Прощу.

Тетя Саша высоко подняла черные брови и удалилась в кухню. Это было испытанное средство укрощения непокорных. Но, видно, дядя Трося добре-таки посидел в чайной на Привозе, а может статься, и в ресторанчике где-нибудь в Аркадии или Люстдорфе... Он достал из кармана френча пачку турецких сигарет, закурил, уселся в тяжелое дубовое кресло рядом с книжным шкафом (кресло называлось «опозицией» в противовес кухне — «правлящим кругам»). Перекрестив шутливо дверь в кухню, дядя Трося обернулся к Нюсе, прищурился.

— Как говорят наши благодетели большевики, «классовый враг отброшен от завоеваний революции и ушел в подполье...— Он поманил Нюсю пальцем.— М-да-с, дражайшая Анна Евстафьевна, урожденная Капустенко... В тебе начинает играть демократическая кровушка Евстафия... Э, собираемся плакать? Не рекомендую портить глазки... Глазки еще тебе пригодятся, Нюсиню, как средство борьбы за свои интересы классово чуждой невесты, хе-хе... И не изображай, пожалуйста, на своем личике благородное презрение к моей контрреволюционной личности...

— Я пойду к Савчукам,— тихо сказала Нюся.

— О, изволь.— Дядя Трося бросил сигарету себе под ноги.— Теперь мы все демократы, хлеборобы и беспартийные коммунисты. Изволь, изволь, золото мое. Изволь, дорогая.

Нюся подняла сигарету с ковра, положила в пепельницу и медленно пошла к двери.

— Нюся...— сказал дядя Трося.

Она обернулась, держась за фарфоровую ручку двери.

Дядя Трося потер залысый лоб ладонью. Поднял на Нюсю глаза — поблекшие, усталые...

— Не сердись, девочка. Тебе будет трудно с ними. Трудно, Нюсек. Я прятал Охрима от немцев и поэтому я жив. Но они не забудут, кто ты... Я хочу, чтобы ты не строила себе иллюзий, маленькая... Твои слезы только начинаются. Не обижайся на меня, чертовски устал я от всего, Нюсек...

Нюся покивала, зажмуривая мокрые глаза. И вышла, тихонько прикрыв за собою высокую белую дверь.

Господи, как давно это было. В двадцать четвертом... Павлик, я так хочу к тебе. Я так хочу к тебе, Павлик. Мы все хотим к тебе. Мы все, Павел...

12

«Тимирязев» подходил к маленькой пристани.

Володька и Микола, прислонившись к борту, смотрели на невысокий берег. По берегу брела растянутая колонна. Кто-то низенький, в шинели, повернулся на ходу лицом к колонне (люди шли еще в своем, в штатском, но строем). Пятясь, низенький взмахнул рукой...

— Ну, сейчас грянут — Волга остановится, — сказал, подходя к ним, одноногий. — Глянь, ребята...

И верно, с берега донеслось:

Если завтра война, если враг нападет,
Если те-емная си-ила нагряне-ет...

Низенький все пятился поперед колонны, но песня как-то растаяла...

— Во, проснулись... Если, если... — сказал одноногий. — Километров двадцать верняком оттяпали. А то и тридцать. Певуны из них, как с меня плясун.

Подняв воротник пальто (задувало здесь, на корме, крепко), Володька смотрел на колонну, растянувшуюся по дороге у самого песчаного обрывчика к воде. Шагах в пятидесяти сзади колонны, где маленькими кучками и в одиночку брели последние мужики, ехало несколько телег. На какой-то из телег тоненько вскрикивал женский голос...

Одноногий бросил окурок в серую воду.

— Бабоньки свое дело лучше справляют...

Матрос в черной телогрейке, в черной зимней шапке с отогнутыми на затылок наушниками торопливо распутывал моток грязной тонкой веревки.

— Набрали сопляков, вахту не выстоит — в санчасть, мать их... — бормотал он, зло щеря маленький рот под седыми усиками.

— Гитлеру жалобу подай, дядя, — сказал одноногий, застегивая крючки шинели.

— Отдайсь, зашибу, — проворчал матрос, легонько отпихивая Микола от борта, чтобы удобней было бросать привязанный к концу веревки красный пробковый шарик. — Две вахты оттюкал, а смены опять нет, это как?

— Говорю — Гитлеру жалуйся. Надежней всего.

— Эх весел ты, гляжу...

— А что горевать, дядя? Приеду — с учительшей какой свадьбу сыграю, а вы тут воюйте себе на здоровьице...

Володька покосился на одноногого. Увидел прищуренные глаза, и почему-то бледное, с едва приметными веснушками лицо показалось ему красивым...

К корме парохода быстро набегал маленький дебаркадер со стеклянной будочкой посредине крутой тесовой крыши. Какие-то женщины в черных платках стояли на дебаркадере.

— Колька, может, сорганизуем маленькую, а? — сказал одноногий. — Тошно мне чего-то нынче... Может, у какой бабочки в корзинке лежит наша родная белоголовая?

— Поспробуем, — сказал Микола, отводя черные глаза от лица Володьки и хмурясь.

— Танкиста, что ль, в компанию? — сказал одноногий. — Я без компании не уважаю. На кой ляд?

— Я заскочу до танкиста, — сказал Микола. — А ты пошукай в разведке, тоби жинки продадут, а в мене морда красна!

На дебаркадере, куда Володька от нечего делать увязался за одноногим, стояли кучкой оркестранты, жевали огурцы.

— Причастились, — улыбнулся одноногий. — Без этого дела им на дудки глядеть тошнехонько...

— Где Леонид Лукьяныч? — кричал кто-то с берега. — Выходи строиться. музыка!..

— Припадок у человека, а тут... — сказал старик в сером пальто с бархатым воротником, швырнул огрызок огурца в воду и пошел к сходям на берег. Под мышкой у него торчала флейта.

Оркестранты, позевывая все сразу, побрели за стариком. Их было девять, — посчитал почему-то Володька...

В двадцати шагах от разъезженного телегами проселка стояла в мутных лужах под березой черная «эмка». На ее подножке сидел мужчина в кожаной куртке, низко надвинув на белесые брови коричневую кепку с пуговицей на макушке. Мужчина читал, пожевывая потухшую папиросу, листок бумаги на коленке.

К нему подошел низенький командир в шинели с мятыми лапами, — Володька узнал его: тот самый, что перед колонной пятился.

— Здравст, товарищ Симаков! — тяжело дыша, сказал командир. — Прибыли в полной численности. Прикажете построить?

— Иду, — густо, с хрипотой отозвался Симаков.

Володька пошел за Симаковым к колонне, выстроеной в шесть неровных шеренг на грязной, истоптанной копытами площадке перед деревянной трибуной.

Вяло шевелились над задней невысокой стенкой трибуны линейные красные флажки. Белые буквы плаката на выгоревшем кумаче размыло дождями, но Володька разобрал слова: «Смерть немецким оккупантам!» Наверное, еще в июне плакат вывесили...

Придерживаясь рукой за шаткий поручень, Симаков медленно поднялся по узким ступенькам на трибуну, посмотрел на молча стоящих перед ним людей, снял кепку. У него были коротко стриженные седые волосы. Он достал из кармана куртки футляр от очков, долго протирал стекла платком, потом надел очки на самый кончик носа.

— Товарищи! — неожиданно выкрикнул он, отталкиваясь руками от рейки поверх барьерчика трибуны и снова хватаясь за нее. — Товарищи! Разрешите мне от имени райкома ВКП(б), исполкома райсовета и всех трудящихся нашего района передать вам, дорогие товарищи земляки, горячий большевистский привет! Мы, товарищи, с гордостью рапортуем сегодня о том, что в ответ на призыв мы, товарищи, организованно и в срок, как этого требует сложившаяся на данном отрезке времени обстановка, создали, товарищи, славное народное ополчение!

Кто-то в строю неуверенно захлопал в ладоши. И еще захлопали.

— И перед всем миром, товарищи, мы доказали, что патриоты на-

шей земли, как один, грудью на защиту завоеваний...— Симаков поперхнулся, взмахнул рукой.

Оркестр заиграл «Интернационал».

— Уговаривает... Не на лесозаготовки...— сказал за спиной Володьки одноногий.

Володька оглянулся, удивленно посмотрел на одноногого. Одноногий стоял рядом с Миколой, выпрямившись и подняв к виску правую ладонь. Микола, тоже взяв под козырек, прижимал к животу кулек с огурцами.

— Р-равняйся! — закричал низенький командир, пятясь спиной к трибуне, на которой стоял все еще без фуражки Симаков.

Шеренги зашевелились... Шагах в десяти за ними стояли кучкой женщины в темных платках. Одна, высокая, в синем пальто, торопливо перекрестилась.

— Смир-ра-а! Напр-р-ра-а... в-во! Ша-агом... мар-рш! — вбирая шею в плечи, выкрикнул командир.

Колонна замаршировала к сходим на дебаркадер, огибая трибуну. Симаков натянул кепку, поднял к козырьку ладонь ковшиком. И женщины все враз сдвинулись плотнее, пошли сбоку колонны, как слепые, меся грязь, бега глазами по каменным лицам мужчин.

Мимо Володьки, широко расставляя костыли, прошагал одноногий, полы его шинели закручивались вокруг ноги — куда-то спешил.

— Товариш старший лейтенант! — крикнул он командиру.

Тот оглянулся, но не остановился.

— Р-рота... стой! — горловым голосом скомандовал одноногий.

Колонна замешкалась, с ноги сбилось сразу несколько человек. Старший лейтенант, повернувшись, испуганно смотрел на одноногого.

— Проститесь-то дайте, товариш командир...— сказал одноногий, тяжело дыша, и провел ладонью по лбу.

— Ты что? Ты пьяный? Молчать! — закричал старший лейтенант. Он побежал вдоль колонны, остановился.— Шагом марш!

Женщины заплакали в голос. Мимо старшего лейтенанта пробежала высокая в синем пальто.

— Сеня-а-а, Сеня, Сенюшка-а-а! — всхлипывала она, неловко размахивая руками, догоняя колонну.

— Распустите.— негромко сказал старшему лейтенанту Симаков, останавливаясь рядом с Володькой и одноногим.— Пять минут разрешаю ча личные нужды.

Симаков из-под низко надвинутого на брови козырька смотрел на одноногого, улыбаясь. Зубы у него были металлические, и полное, с розовыми прожилками на щеках лицо показалось Володьке совсем старым.

— Как фамилия, товариш?

Одноногий, привычно приподнимая подбородок, ответил армейской скороговоркой:

— Младший лейтенант Дубравин, товариш...— Он запнулся.

— А по батюшке?

— Алексей Никифорович, товариш уполномоченный.

— Одобряю, Алексей Никифорович.— Симаков протянул одноногому руку.— Недоучли Моральный дух... м-да!

— Ребята головы могут сложить, дело такое... товариш уполномоченный,— сказал Дубравин.

Симаков опять руку протянул.

— Ну, всего вам, товариш Дубравин. Сын у меня старший... тоже вот. сейчас... Надо!

По сходим плотной толпой подымались на пароход ополченцы. Женщины жались к ним, оркестр играл «Катюшу». Два милиционера

загоняли торговок с корзинами на нос дебаркадера. Кожаная куртка Симакова показалась в кучке плачущих женщин. Парень в черном пальто и в такой же, как у Симакова, коричневой кепке проталкивался мимо Володьки...

— Папа!

Симаков обернулся, заморгал, блеснули в приспущенном уголке рта металлические зубы.

— Не отставай, Борис. Ну, давай... Положено, говорят вот женщины... на прощанье.

Симаков криво улыбнулся.

Борис обнял отца, прижал загорелое лицо к его щеке.

— Иди, Борька. Все, все... Смотри мне... Борька, ты держись. Пиши сразу... Иди!..

— Двести тридцать восемь... Двести тридцать девять... Поживей, товарищи! Двести сорок три...

Володька повернул голову, увидел рядом, у барьера сходни, старшего лейтенанта.

— Сорок восемь... Не отставать! Сорок девять... Быстро!

Темные впавшие глаза старшего лейтенанта бегали по лицам ополченцев, скользнули по Володьке.

— Я не ваш, — сказал Володька. — Минус один штык...

— Проходите!

— Тороплюсь.

— Проходите... вы! — Под правым глазом старшего лейтенанта задрожал мускул.

— Вон в кустиках пятеро в очко режутся. Не ваши, начальник? — сказал Володька. — По виду явные дезертиры... А?

— Я вам говорю — не мешайте погрузке воинской части! — закричал старший лейтенант, поправляя за чем-то козырек фуражки.

Володька, выше его на голову, с ненавистью смотрел в его поднятое лицо.

Кто-то бросил с верхней палубы огрызок яблока под ноги старшего лейтенанта. Там засмеялись...

— Иди, друг, иди. — сказал за спиной Володьки Симаков.

Володька оглянулся. Симаков смотрел, подняв лицо, на верхнюю палубу.

— Есть, — хмуро сказал Володька.

На фуражку старшего лейтенанта шлепнулся огрызок яблока.

— Идите, Мартемьянов, — сказал Симаков. — Все уже. Идите.

Насупив брови, Микола неспешно возился у своего чемодана — отрезал ножиком кусок сала, располовинил буханку черного хлеба. завернул припасы в газету...

— Я туточки до хлопцев, Анна Евстафьевна, — пряча глаза под козырьком, сказал он скучным голосом.

— Вижу, Коленька. — Анна Евстафьевна улыбнулась. — Вчера до хлопцев, та й сегодня до хлопцев...

Микола вздохнул обиженно, прижимая к груди сверток.

— Та шо ж такого, Анна Евстафьевна? Яки я безобразия дозволяю, чи шо? Трохи побалакаю с хлопцами, ну и ничего бильше.

Черные глаза Миколы посмотрели на сидевшего рядом с матерью Володьку.

— Пусть проветрится,— почему-то сердито сказал Володька, отворачиваясь.

Анна Евстафьевна прилегла на мешках, прикрыла одеялом лицо. Бродили перед глазами Володьки люди, возились с мешками, рылись в чемоданах, ели, говорили о чем-то такими голосами, какими говорят в квартирах с тонкими стенками, а то дремали, привычно укрываясь с головой, оберегая тепло... За это время он уже привык не замечать соседей, да и на него внимания никто не обращал. Знал Володька, что рядом с входом в коридор разместились гомельчанки — старуха с двумя дочерьми в одинаковых беличьих шубках, зеленых беретках и в новеньких серых валенках с галошами из красной резины — видно, удачной покупкой на каком-то приволжском базарчике. Круглолицая рыжая женщина в синем плаще — из Минска. Пятеро молчаливых теток, лежавших рядком под стеной машинного отделения, — из Невеля... На трех чемоданах, положенных вдоль стенки, лежала молодая, с мелкими белесыми кудряшками на лбу женщина в голубом пальто. Вот уже второе утро она подходила к Коробовым, с улыбочкой сыпала шепелявой скороговоркой слова, поблескивая золотыми зубами, просила налить кипяточку в поллитровую алюминиевую кружку:

— Извините, бога ради, мадам... Я одна, вы понимаете, не могу отойти... О, благодарю...

А когда усаживалась на свое место, доставала стакан в голубом подстаканнике с витой массивной ручкой и, приоткрывая крышку одного из чемоданов, выуживала из его глубин чайной ложечкой варенье...

Сейчас золотозубая, застегивая свое голубое пальто, шепталась с девицей в беличьей шубке.

Володька прислонился спиной к мешкам. Никому он не пужен. Никому. Каждый думает о себе. «О кандидатах в призывники думать некому, мой дорогой. Может, этот старший лейтенант подумает?.. И зачем я сцепился с этим дурачком? Нет, он не дурак. Что-то в его глазах было такое... Какая-то уверенность, что он делает все правильно, так, как надо делать. Те пять минут, которые пришлось вдруг отдать на не предусмотренные нигде, не записанные в инструкциях поступки людей, совсем, видно, выбили его из колеи... Да, злость и испуг — вот что было в глазах старшего лейтенанта... Впрочем, я тоже вышел из колеи. На откосе вверх колесами мой паровозик...»

Володьке вдруг захотелось увидеть Нелли Константиновну. Почему бы в самом деле не сказать ей «доброе утро», почему бы и не сказать?

Володька поправил на плечах пальто, наброшенное внакидку, поднялся, посмотрел на мать. Она спала. Володька пошел к коридору. Покосился на белую дверь с синими буквами надписи «Служебная», но так и не решился постучать. Побрел в третий класс. У самой двери кубрика сидел на белом мешке маленький мальчик в зеленой бархатной курточке. Знакомые инициалы «Т. С.», выведенные на мешке совсем расплывшимся чернильным карандашом, заставили Володьку остановиться.

Лицом к нему, накинув на плечи пальтишко, присела на корточки перед малышом та самая девочка из Великих Лук, которая стирала тогда, в Казани, на берегу. Она глянула на Володьку большими серыми глазами и сразу опустила их.

— Пей. Славонька, ну, пей же,— сказала она хриловато.— Пей, неслух ты мой.

— Не! — отдернул темноволосую голову мальчик от кружки, которую держала девочка.— Ди!

— Куда ж — уйди? Пей. Славик умный, Славик сейчас возьмет и выпьет, потом он хлебца поест. Да? Да, маленький? Ну!..

Володька пригнулся над мальчиком.

— Я вот его ремешком сейчас...— Он посмотрел на потупившееся личико девочки.— Здравствуй. Тамарочка... Что же ты брата плохо воспитываешь, а?

Мальчик запрокинул голову, посмотрел на незнакомого человека серыми, как у сестры, глазами.

— Сиди, упадешь,— дернула его за руку Тамара.— Ой, неслух, ой, горюшко. А то дядя тебя возьмет!

Мальчик, все держа голову запрокинутой, неожиданно сморщил худенькое лицо и кашлянул. Тамара торопливо притянула его к груди, но мальчик уже забился в кашле.

— Вот, баловнюха, вот опять!

Тамара, прижимая голову брата, стала качать его маленькое дрожащее тело. Ее густые брови сошлись на переносице.

Присев на корточки, Володька погладил мальчика по спине, спина билась короткими судорогами...

— Мам, мамка! — Правой рукой Тамара отбросила с кого-то лежавшего рядом полу черного пальто, и Володька увидел соскользнувший с затылка женщины тяжелый узел темных волос.

Женщина медленно приподняла голову, серые глаза ее — удивительно ясными, словно нарисованными делали их густые дуги бровей — смотрели безучастно. Она высвободила из-под пальто руку, обхватила мальчика и опять уронила голову на грязную маленькую подушку.

Мальчику стало легче. Он глотал воздух полураскрытым ртом, но кашель уже не тряс его. Он всхлипнул и уткнулся лицом в затылок матери.

— Колотит — и все,— сказала Тамара, смущенно прикрывая спину матери полрой пальто.

— Душно здесь,— сказал Володька.— Ты на палубе погуляй с ним.

Мальчик поднял голову, протянул руку к кружке, которую Тамара поставила на пол рядом с коричневым фанерным футляром швейной машинки.

— Попей, Славуточка, попей...

Славик жадно пил, потом сестра достала ему из кармана своего пальто сухарь и бросила в кружку.

— Подожди ты,— шлепнув ладонью по руке брата, сказала Тамара. Она улыбнулась, посмотрела на Володьку.— Ничего не понимает. Зубы шатаются, а он грызть хочет.

Володька смотрел на сухарь, плавающий в кружке.

— Мамочка твоя спит, девочка?

Володька оглянулся. Перед ним стояли золотозубая и дочка старухи из Минска, набросившая на плечи беличью шубку.

— О-о, вы старые знакомые? — Узнав Володьку, золотозубая сделала радостную улыбку и потрогала мизинцем белесые кудряшки надо лбом. Володька заметил встревоженный взгляд, который она бросила на свою подругу в шубе.

— Свататься пришел,— хмуро сказал Володька.

Золотозубая опять переглянулась с беличьей шубкой.

— Девочка, разбуди, будь любезна, маму,— сказала она сухо. Нагнулась, погладила Славика по голове, тот дернулся.— Мы слышали, вы продаете машинку?.. Разбуди, девочка. Мы хотим посмотреть.

Тамара провела ладонью по подбородку.

— Ничего не продаем. Больно надо.

Беличья шубка усмехнулась. Присев, она двумя пальцами потрогала черное пальто, под которым спала хозяйка машинки.

— Гражданочка... Будьте любезны, дорогая. Извините.

Сероглазое, очень белое лицо приподнялось с подушки.

— Вы продаете машиночку, мадам? — Золотозубая, снисходительно улыбаясь, тоже присела на корточки рядом с беличьей шубкой. — Мы прилично дадим... Мы же понимаем, что... Мы хорошо заплатим, не подумайте, мадам...

— Ничего мы не продаем! — сказала Тамара и устала на золотозубую.

Та перестала улыбаться.

— Когда говорят взрослые, дети должны молчать, маленькая, — сказала беличья шубка.

— Больно надо.

Мать откинула полу пальто, села, поправила белое мятое платье в синий линялый горошек. Маленькие руки медленно подняли узел волос к затылку. Она воткнула в узел несколько шпилек, ошупью нашарив их на сером байковом одеяле. Движения ее были вялыми, неуверенными. Серые глаза смотрели на дочь.

— Я... не знаю я, — проговорила она неожиданно звонким девичьим голосом, и ее темные брови дрогнули.

Тамара отвернулась от матери.

— Позвольте глянуть, мадам? — сказала беличья шубка. — У вас первого завода?.. Футляр, кажется, первого...

— Мамка! — глухо сказала Тамара.

У Володьки по лицу медленно разливалась бледность. Щекам стало холодно. Он знал, что сейчас может сорваться и... Он знал, что это холодное сдавливает сердце, и этот холод пройдет только тогда, когда Володька даст волю своей ярости. С ним так уже было два раза...

Володька провел ладонью по лицу...

— Все торговые операции этой фирмы идут через меня, — сказал он тихо. — Только через меня, вам, надеюсь, это понятно, почтенные?

Золотозубая выпрямилась с достоинством. Беличья шубка улыбаясь из-за плеча подруги. Подошло несколько женщин, они молча смотрели на них.

— Молодой человек! — сказала золотозубая.

Кто-то взял из трясущихся рук Володьки кружку с водой, и голос одного сказал:

— Отойде-ет... Ну-у, горяч, курицын сын, а?

Володька потер холодное и влажное лицо ладонью. Он сидел на мешке, на котором недавно бился в кашле Славик. Перед ним на коленях сидела мать Тамары в белом платье с бледными синими горошинами, держала в руках кружку...

— От же ж байстрюк, га? — проговорил за спиной Володьки довольный голос Миколы. — Це вин в маму, це хохлацкая кров! Ах, шоб тебя, Вовчик!

— А что, правильно, браток! — Володька узнал голос кавалериста. — По-казаки — раз — и наша взяла! Спекуляшки паскудные... Последнее добро у человека рвануть, люди-и...

Володька опять потер ладонью лицо, его бросило в пот. Женщины — их было много — стояли молча, улыбаясь, смотрели на него.

— Не сердитесь... пожалуйста... Я не хотел... Извините.

— Эге-ге, це не по-солдатски. Вовчик! — засмеялся Микола.

— Магарыч за избавление от супостатов положено требовать, казак. — сказал весело кавалерист, похлопывая тяжелой ладонью по спине Володьки. — Хозяюшка, ставь!

— Поставила б... да... — Белолицая не договорила, махнула рукой и засмеялась.

- У нас денег нет,— сказала Тамара, глядя на Володьку.
 — Молчи уж, Томка,— сказала мать.— Хуже погорельцев мы.
 — Совсем нет,— сказала Тамара упрямо.
 Одноногий почесал переносицу.
 — Володь... Ребята... Пошли-к на военный совет.
 Они пробрались на привычное место, на корму.
 — Да-а, братики мои, на жалование наркомовское корову не купишь,— сказал одноногий, усмехаясь.
 Собрали приятели, разделив всю наличность пополам, сто восемнадцать рублей.
 — Хороша мамаша,— сказал кавалерист.
 — Приметил? — насмешливо спросил одноногий.
 — Не слепой...
 — Видал, казак, сухаришко пацаненок-то грызет?
 — Да уж харч...
 — Хлопцы, продуктов у сэбэ в торбах пошукать треба,— хмуро сказал Микола. Он отвернулся, сплюнул за борт.
 — Само собой,— согласился одноногий.
 Володька медленно повернул к нему голову. Опуская глаза, проговорил негромко:
 — Алексей Никифорович... Я попробую... у Нелли Константиновны в долг...
 Алексей засмеялся.
 — Не голова у тебя, Володь, Дом Советов. Ей-ей. Генералом тебе быть — точно.

14

- Кто-то робко постучал в дверь каюты.
 Нелли Константиновна торопливо провела ладонью по глазам, села, свесив ноги с дивана.
 — Да, пожалуйста.
 — Доброе утро,— сказал Володька, закрывая за собой дверь. На его плечи было наброшено пальто. Он неуверенно улыбнулся.— Разбудил?
 — Нет. Посиди.
 — Я на минутку.
 — Посиди. Ты целый день не был.
 Он сел у самой двери и по знакомой уже Нелли Константиновне привычке сжал ладони меж колен. Нелли Константиновна видела его профиль — нос с легкой горбинкой, крепкий подбородок, темный пушок над верхней губой.
 — Володя...
 — Да? — не поворачивая головы, отозвался он.
 — Тебе... нравится Павел Сергеевич?
 Серые глаза Володьки растерянно глянули на нее. Володька отвернулся, запахнул на коленях полы пальто.
 — Меня твой Павел Сергеевич не интересует. И вообще, не каждый же день тебе девятнадцать лет?
 Нелли Константиновна вздохнула.
 — Ну, ладно, не свирепей... Я так рада, что ты пришел.
 Володька нахмурился.
 — Мне надо двести рублей.
 — Хорошо. Только не смотри на меня так... Я дура. Я знаю.
 — Перестань, Неля. Сама виновата. У твоего Лемешко глаза волчьи...

Нелли Константиновна опустила голову, посмотрела на свои ноги в черных чулках. Вздохнула.

— Холодно. Я лягу, извини..

Она забралась под одеяло, но не легла, опустила на согнутые в коленях ноги подбородок, уткнулась лицом в колени.

Володька поднялся. Подошел к иллюминатору. На розовый песок низкого берега набегали розовые волны. Далеко в степи поднималось солнце.

Он заставил себя посмотреть на Нелли Константиновну. Она сидела все так же. Он подошел и положил ладонь на ее вздрагивающую спину. Он не знал, почему это надо было сделать, но чувствовал, что надо, и, когда рука его коснулась спины Нелли Константиновны и ощутила ее тепло, он вдруг подумал, что первый раз в жизни касается спины женщины. Он вздохнул и засмеялся.

— Перестань реветь. И хватит тебе валяться в этой келье. Идем-ка, блесни красой перед доблестным воинством. Ну?

Нелли Константиновна приподняла с колен лицо. Часто помаргивая влажными ресницами на покрасневшем лице, она удивленно посмотрела на Володьку.

— Пойдем, покажись миру,— сказал он и пошлепал ладонью по спине Нелли Константиновны.— Пусть «Тимирязев» дрогнет от клотика до кила, а? Ручаюсь, Микола с ходу сделает тебе предложение!

Черные влажные глаза смотрели в лицо Володьки.

— Ну, что? — Он улыбнулся, с радостью чувствуя в себе сейчас, что он и сильнее и старше Нелли Константиновны. И спокойно взял ее за плечи, легонько тряхнул.

Она засмеялась.

— Дурачок... Ой, какой ты еще дурачок..

Нелли Константиновна протянула к Володьке руки и обхватила его за шею.

— Но-но, комиссарша...— пробормотал он упавшим голосом.

Она поцеловала его в лоб.

— Иди. Я сейчас... Сколько тебе надо? Двести?

Володька отшатнулся. Нелли Константиновна опять засмеялась и похлопала кончиками пальцев по Володькиной щеке.

Он встал. Пальто его валялось на коврик. Он набросил его на плечи, подошел к двери, оглянулся.

— Пойду у мамки медаль попрошу. За героизм в борьбе с комиссаршами.

— Геройчик из тебя липовый, Вовка-морковка. Это мне надо медаль. Иди. Я сейчас..

Перешагнув через спящего на проходе у самой двери старика в коричневом пальто, Нелли Константиновна остановилась. Длинный кубрик третьего класса был залит солнцем. На нешироком проходе между выкрашенными в темно-желтый цвет трехэтажными нарами плотно сидели и лежали люди. Нелли Константиновна растерянно улыбнулась.

— Шагай смело, они в конце,— сказал за ее спиной Володька, хлопывая дверь кубрика.

— Володя... Мне неудобно. Я пошутила,— проговорила Нелли Константиновна тихо.— Тут же не пройти. Я вернусь.

Володька взял ее за локоть, легонько подтолкнул.

— Э, так не пойдет. Проверим твою проницательность... Угадай-ка эту тетушку... Граждане, пропустите женщину с дитем! — сказал он и, высоко приподымая ноги, стал переступать через лежащих на полу людей.

Покраснев, Нелли Константиновна пошла следом. Ей пришлось сразу же приподнять узкую черную юбку и, когда она перешагивала между кирзовыми сапогами двух бойцов, накрывавшихся одной шинелью, сидевший с краю нар стриженный парень в синей телогрейке с готовностью протянул ей руку.

— Не упади, красивая!

Нелли Константиновне пришлось опереться на жесткую ладонь парня, чтобы не зацепить каблучком за чьи-то колени в зеленых армейских брюках.

— Спасибо.— Она улыбнулась.

— На руках могу доставить...— сказал ей вслед парень.

— Эт-та явление, братики,— со смешком сказал кто-то за спиной Нелли Константиновны.

— Хороша девка, да не про нас писана.

— Эй, черноглазая, вертайся скорее!

И женский голос воркотнул строго:

— Уж солдатня, боже ты милостивый!.. Не пропустят!

Сзади засмеялись...

Нелли Константиновне вдруг захотелось увидеть лица этих парней. Она остановилась рядом с Володькой — тот стоял, посмеивался,— медленно оглянулась.

— Вертайся, черноглазая, а? — сказал весело парень в телогрейке и подмигнул с такой дружелюбностью, что Нелли Константиновна рассмеялась.

Володька оглянулся.

— Э, служивые, мою мамашу не обижать!

— Не обидим, сынок!

— Ты свою мамашу не уступишь, а?

— Нас семеро — все как есть сироты!

Парни, что лежали под шинелью, сели.

— Мамаш, мы вот двойняшки! — сказал один, торопливо застегивая ворот гимнастерки.— От нас на танцы гуляй смело!

— Мы тихие! — сказал второй брат.

— Нам и молока не надо!

— Перцовочкой обойдемся, а, Семка?

Володька быстро глянул в лицо Нелли Константиновны, розовое от солнца.

— Потрясающий успех, мамочка.

— Вот назло буду здесь целый день ходить! — засмеялась она.

— Ого, глаза горят...

— Ну и пусть. Где твоя тетушка?

Нелли Константиновна провела ладонью по волосам, оглядывая полукруглый конец кубрика, на котором не было нар, увидела слева зеленую фуражку Миколы. Микола сидел на чемодане, прислонившись спиной к коричневому линолеуму стены под широким окном. Шинель его была наброшена на плечи, воротничок гимнастерки расстегнут. Прищурив черный глаз, Микола заглядывал в карты соседа справа — долговязого красноармейца в шинели с кавалерийскими петлицами, плотно сжавшего сухие губы.

Спиной к Нелли Константиновне сидела на чемодане женщина в черном пальто. Узел темных, блестящих на солнце волос был так велик, что прикрывал весь затылок женщины.

— Ничего себе тетушка,— сказала Нелли Константиновна.— У тебя вкус, Владимир Павлович...

— Не ехидничай. Подойдем.

— Как ее зовут?
 — Зоя Николаевна. Она славная.
 — Знаешь, я вернусь. Нет, правда. Слишком много дел ради двух сотен...

Володька, хмурясь, положил ей руку на плечо, легонько сжал. Она улыбнулась, и они пошли.

— Ой, лышенько! Та в Алешки ж уси пики, голова садовая! — скрипевшись, закричал Микола и с остервенением шлепнул картой по желтому фанерному чемодану, положенному плашмя. Он страдальчески поднял черные глаза и увидел Нелли Константиновну. — Нель Константиновна! О це правильно! — обрадованно сказал он. — Хлопцы, це Нель Константиновна!

— Не помешаю? Доброе утро... Володя вот меня... Да вы играйте!

— Милости просим к нашему шалашу, — сказал парень в шинели кавалериста, прищуривая глаза, и опять плотно сжал рот. Его сосед поскреб пальцем рыжеватую щетинку усиков, кашлянул неопределенно. Сидевший на вещмешке слева от Зои Николаевны одноногий улыбнулся Нелли Константиновне как старой знакомой: первую ночь на пароходе рядом на мучных мешках спали.

— Зачисляем в компанию, Неля! Во, ко мне рядком примашивайтесь, — сказал он, сдвигаясь на вещмешке в сторону, чтобы освободить место госте.

Нелли Константиновна присела. Ее правое колено касалось теперь ноги Зои Николаевны. Зоя Николаевна опустила голову, медленно перебирая карты на коленях, туго обтянутых ситцевым платьем в горошек.

— Шо ж, по новой треба! — сказал Микола, сгребая на чемодане карты. — Зоечко, давайте ваши... Казак, тоби перекур! Геть, тож мини игрок! Вовчик, сидай до Зои.

— Я же плохо играю, Коля, — сказала Нелли Константиновна, поглядывая на игроков чуть прищуренными глазами. — А я с кем?

— Со мной, та ось ще кавалерия, — сказал Микола, послюнил большой палец правой руки и начал раскидывать карты по углам чемодана, хлестко шелкая ими и озабоченно хмуря брови. — Мы ще зараз покажем вам, де раки зимують... Кавалерия, по коням!

— Таких цыплят мы левой рукой обсадим в дым, — сказал парень с рыжими усиками и засмеялся. — Опять шестерок накидал, хохол чертов...

— Ты вже помовчи, танковая часть, а то в резерв главного командования назначу. — Микола усмехнулся и с особым шиком бросил последнюю карту. — Ге! Наше дело правое, враг будет... Пики! Ну, Нелечко, бейте врагов, як их наши хлопцы бьют!

— Козырь старый, дурак новый, — сказал танкист. — Держись, Коляка!

— Кто, я? Хе-хе! Нель Константиновна, голубонька. хвайте же ж карты! Чи вы не бачите, шо Зоя так и пасеця в вашем огороде, бо очи в нее — дай бог моей дочке!

— Ой, Коля, креста на вас нет... — Зоя Николаевна засмеялась и оглянулась на Володьку, стоявшего за ее спиной. — Володечка, вы мне помогайте...

Володька отвел глаза от Нелли Константиновны.

— Что?

Он покраснел

— Я говорю — помогите. — Зоя Николаевна улыбнулась, чуть дрогнув темными бровями.

— Попробую...

— Зоечко, сердэнько, та ходиць же! — нетерпеливо сказал Микола. Зоя Николаевна повернула голову к игрокам.

— Семерочки хватит,— проговорила она степенно и карту не бросила, как делали все, а положила.

Володька подсел к Зое Николаевне, она шепотом советовалась с ним. Он отвечал иногда невпопад, неохотно, и Зоя Николаевна вздыхала.

Играли азартно, с присказками. Только Алексей, рассеянно улыбающийся, помалкивал. Беря карту (ему не везло вот уже третий кон), покусывал нижнюю губу. Иногда он левым локтем задевал свои костыли, стоявшие у стенки, и лицо его делалось раздраженным. Наконец он сунул костыли на пол за чемодан Миколы.

— Алексей Никифорович, поменяемся местечком, вам сидеть плохо,— тихонько сказала Зоя Николаевна.

— Чего там,— не сразу отозвался Алексей, хмурясь.— Ходи, Коля...

Володька заметил, как дрогнул в руках Зои Николаевны веер карт. Она опустила руки на колени.

— Зоечку, а ну вдарьте тузиком! — азартно сдвигая фуражку на затылок, сказал Микола.

— У меня... нет.

— Та як же нет, Зоенько?! Вы ж приняли от кавалерии! А ну, я гляну...

Микола нетерпеливо приподнялся, заглянул в карты Зои Николаевны, выхватил из них туза червей и с маху шлепнул им по чемодану.

— Вовчик, ты брось на ушко шептать.— Он засмеялся.— От ще консультант выискався... Тягай, Алеша, тягай, бо с нами ще тоби играть раненько!

Алексей молча собрал с чемодана карты. На его бледном лице проступил пот. Алексей потер лоб рукавом шинели.

— Последний кон, хватит. Чайку попить надо.

— Сдавайтесь, Алеша,— сказала Нелли Константиновна.— Все шестерки забрали...

Алексей усмехнулся твердым ртом.

— Невезучий я человек, Нелли Константиновна. Видать, мамаша за меня молилась плохо. Видать, так...

— Живому грех так говорить,— негромко сказала Зоя Николаевна и впервые за всю игру прямо глянула на Алексея.

— А мертвые голоса не имеют,— сказал он.— Ты не обижайся, Николаевна, только я верно говорю... Они свое отходили, этс живому судить — везет или не везет. Так вот.

Зоя Николаевна отвела глаза от лица Алексея, помолчала, перебирая карты, потом положила их с краю чемодана, выпрямилась.

— Моего тоже... Алексеем звали,— словно про себя, едва слышно проговорила она.— Алексей Иванович... Еще в польскую получила похоронную... А он для меня все одно живой. Грех вам так говорить, Алексей Никифорович...

Неловким движением ладони она провела по лицу.

— Вот... наплакалась, окаянная,— сказала она, пробуя улыбнуться, но губы ее не слушались.

— Ну и жарища здесь,— сказал Алексей.

Он отвернулся и долго доставал из-за чемодана костыли.

— Неля! Вон арбузы, мы пошли! — крикнул Володька, но Нелли Константиновна, оглянувшись, продолжала стоять перед длинным рядом молочниц. Рядом с нею прихлебывала молоко с перевернутой крышки

бидона Зоя Николаевна, ветер трепал полы ее черного пальто. Целый час уже, наверное, толкались пассажиры «Тимирязева» по базару Сызрани.

Сердито махнув рукой, Володька догнал Фалка Шлемовича. Механик в одном кителе — не по-октябрьски теплое, парное было утро — шагал на негнувшихся ногах, бережно нес в правой руке плетенную из желтых ремешков авоську. Там трепыхались два сазана.

— Не надо мешать женщинам, — сказал старик. — На базаре женщина — царица. Она возьмет молоко — так это-таки будет молоко. Ты ел когда-нибудь фарфул на молоке? И молчи.

— Я молчу. — Володька улыбнулся.

Под выгоревшим белым, в широких синих полосках тентом двумя грудями лежали арбузы. Молоденькая продавщица в надвинутом на брови черном берете, в черном халате сидела на фанерном ящике и курила, сбивая мизинцем пепел с длинной папиросы.

— Пальчик сожжете, — сказал Володька, поглаживая прохладную кожу арбуза.

Фалк Шлемович положил на песок кошелку, взял арбуз, стиснул в широких ладонях.

— Не ваша печаль, молодой человек, — сказала продавщица — И нечего тут шупать. Камышинские. По случаю получили. Берите.

Она отбросила папиросу, сняла медные гири с весов, стоявших на ящике, стукнула друг о друга тарелками.

— Пылища проклятушая. С утра песку насело — глаз не открыть... А вы сверху?

— Военная тайна, — сказал Володька. — Против одесских арбузники ваши — мура кислая.

— Одесские теперь фрицы лопают. Вы сверху, а?

— Я же сказал — военная тайна.

— Уж прямо! Вон ваш «Тимирязев» стоит...

Фалк Шлемович положил арбуз на весы.

— Прикиньте, любезная.

— Нет, правда, сверху? — быстро накидывая гири на медную тарелку, спросила продавщица. — Пять семьсот... шестьсот пятьдесят. Еще будете брать, папаш? Прямо сахар один. Берите.

Фалк Шлемович молча бросил деньги на тарелку, опустил арбуз в кошелку.

— А я знаю, вы ленинградский, — улыбаясь Володьке, сказала продавщица. — В таких кепочках ленинградские больше.

— Плакатик вам надо. О соблюдении военной тайны. Вот на этот столбик.

— Тайна! Кака тут тайна, когда шпионов кругом полно, мора на них нету, дьяволов! Восемь четыреста. Давайте-давайте тридцаточку, разобью.

Чья-то тень упала на ящик с весами, и влажный блеск арбуза погас.

— Простите, вам не нужны часики?

Володька взял арбуз, положил его на сгиб левой руки. Спина к нему, перед Фалком Шлемовичем, стояла невысокая женщина в сером драповом пальто, в пыльных желтых ботиках. Длинные, очень светлые волосы свисали до плеч. Нет, это не женщина, это девушка, девчонка...

Фалк Шлемович, шуря от солнца глаза, смотрел на нее.

— А ну, дай гляну, милая, — сказала продавщица, деловито протягивая руку.

Светловолосая повернула голову. Очень высоко над синими глазами были темные, почти черные брови, и казалось — удивлена чем-то девчон-

ка... Было ей лет пятнадцать. Да, не больше. Пятнадцать или шестнадцать, этой девчонке с синими глазами.

На ее ладони лежали квадратные золотые часики с голубым ремешком.

Продавщица взяла их, приложила к уху.

— Идут...

Темные брови девчонки чуть дрогнули.

— Очень хорошие часики,— сказала она и глянула искоса на Володьку.

— Сколько? — спросила продавщица.— Нынче золото, правду сказать, одна видимость...

— Триста... Триста пятьдесят.

— О-о, милка, на, на и не надейся,— сказала продавщица, протягивая часики.— Вон папаша богатый, а мне до такой деньги еще семь верст лесом...

— Деньги... Это разве цена — триста пятьдесят? — сказал Фалк Шлемович, сердито глядя на девчонку.— Это только смеяться, триста пятьдесят. Да. Они стоят восемьсот.

— Хорошие часики,— тихо сказала светловолосая.— У меня... деньги украли. И документы.

— А ты куда едешь? — спросила продавщица.

— Я?.. Я... в Астрахань... К тете.

Она опять посмотрела на Володьку и отвернулась.

— Возьмите ее, папаш, а? Вам же можно? — облизнув губы, сказала продавщица.

— Пойдем,— сказал Фалк Шлемович светловолосой.

Она испуганно попятилась от него.

— Нет-нет... Не надо...

— Пойдем,— сердито повторил Фалк Шлемович и взял ее за руку.

Она неуверенно пошла за ним. Володька побрел следом.

Они шли по грязному тротуару узкой улицы. Впереди, за красными крышами складов и пакгаузов, голубела Волга. Ветер тянул по бульжной мостовой обрывки газет, рогож, взвихрялся песчаными облачками Рысской бежали к пристани пассажиры «Тимирязева». Сестры в беличьих шубках шли сзади золотозубой, тащили тяжеленный узел из простыни. Было похоже, что в узле — швейная машинка... Володька усмехнулся. Табунком прорысили пять теток из Невеля, все с одинаковыми зелеными чайниками в руках.

— Жаркий город Астрахань,— сердито проговорил Фалк Шлемович и почему-то остановился.— Тебя как зовут?

— Меня?.. Мария...

У нее были шершавые, обветренные губы. Она все смотрела в темные влажные глаза Фалка Шлемовича и вдруг, неловко ступив в сторону, запнулась за выбонну в тротуаре и толкнула Володьку.

Володька выронил арбуз, и он с сочным хрустом распался на две неравные половины.

— Ой... простите, пожалуйста, простите,— растерянно проговорила светловолосая.

Володька посмотрел на Фалка Шлемовича, вздохнул, потом небрежным толчком ботинка отпихнул остатки арбуза к забору.

— Я дам свой, Владимир,— сказал Фалк Шлемович и засмеялся.

Он достал из кармана кителя аккуратно сложенный конвертом платок, вытер глаза.

— Вот реквизирую твой будильник, тогда будешь знать, красавица,— сказал Володька, взглянув на светловолосую и опуская глаза.

— Ну вот что, Мария,— сказал Фалк Шлемович.— Я возьму тебя

в свою каюту. Да. За триста пятьдесят — такие часы. Это коммерция? Это смеяться надо. Ты почему едешь в Астрахань, а? И почему дуришь мне голову своей теткой?

Светловолосая испуганно взглянула на него и вдруг покраснела.

— Нет-нет, — быстро сказала она. — Я не поеду. Я не поеду с вами...

— Она откроеет здесь торговлю фамильными драгоценностями, — сказал Володька.

— Молчи, Владимир. — Фалк Шлемович сердито глянул на него и снова повернулся к светловолосой. — Опять дуришь мне голову, да! Тебе стыдно, да. Я тебе хочу помочь, а ты зачем говоришь неправду? Или я не вижу?

— Ну и пусть! И пусть! — выкрикнула вдруг светловолосая и закрыла лицо руками. — И пусть, и пусть! — повторяла она, всхлипывая. — Я не могу... я не могу так. Лучше я вернусь... Все равно, пусть!.. Я вернусь...

— Мария, — тихо сказал Фалк Шлемович.

Светловолосая опустила руки, подняла к нему дрожащее лицо.

— Я не Мария! — сказала она с вызовом. — Я Марта! Я немка, вот!.. Вам надо знать, да? Надо знать?.. Мы немцы, вот! И мою тетку выслали... Из Энгельса... Нас выслали, а я убежала, вот!..

Она посмотрела на Володьку и вытерла глаза ладонью.

— Да, конечно. Это да, — проговорил хрипло Фалк Шлемович и вытер лицо платком.

— Ну вот, видите... — сказала, вдруг успокоившись, Марта. — Я пойду, до свидания... Спасибо вам...

Фалк Шлемович спрятал платок в карман и перехватил свою кошелку левой рукой.

— Пойдем, Мария, — сказал он тихо.

— Марта... Меня зовут Марта.

— Пойдем, Мария, — повторил спокойно Фалк Шлемович и взял ее за руку. — Тебя зовут Мария. Маша. И все, не надо больше говорить.

Он повернулся и посмотрел на испуганное лицо Володьки.

— Ты слышал, Владимир? Ее зовут Маша. Да.

По пыльному лицу Марты снова потекли слезы.

— Ну все, все... И пошли, — сказал Фалк Шлемович.

Вытирая слезы рукавом пальто, Марта покорно пошла за ним.

Володька постоял, сунул руки в карманы и двинулся следом.

— Феликс Соломоныч, душа родная, мы же семнадцать минут! — крикнул с верхней палубы капитан, перегибаясь через поручень. Махнул рукой в желтой кожаной перчатке. — Отдать концы...

Взяв Марту за локоть, Фалк Шлемович медленно ступал по трапу, круто падавшему с дебаркадера на глубоко осевшую грузовую палубу. Марта похрамывала в пыльных резиновых ботиках.

Володька шел следом, сунув руки в карманы пальто. Среди множества лиц мелькнуло мамино... Конечно, уже успела поплакать. Володька отвел взгляд. Братья стояли впереди мамы.

— Разве он купит, мам? — сказал Олежка прерывающимся голосом. — Лучше бы ты. Купит он, жди!

Игорь уже опустил голову, закусив нижнюю губу.

— Перестаньте, — сказала мама.

— Да-а... Вот он всегда-а, вот всегда он! — Олежка замахнулся на старшего брата кулаком.

— Аленька... — сказала мама.

— Идем, Аль. Пусть он попросит что, пусть вот,— пересиливая слезы, сказал Игорь.

— Мам, ну, не могу. Я купил. Потом... Я расскажу, мам. Я сейчас. Володька посмотрел в глаза матери.

— Я потом расскажу, мам.

— Зачем ты взял двести рублей?

— Надо,— хмуро сказал Володька.— Откуда ты знаешь?

— Женщины видели.

— Эта золотозубая гадина?

— Володя!

— Что — Володя?

— Нет, ты совсем еще мальчик, Володенька. Ну, как это... Для незнакомой женщины... Нет, ты совершенно не думаешь. Пожалуйста, посиди здесь. Я устала от твоей беготни.

Володька молча смотрел, как мать пошла к своему обычному месту, тяжело опустилась на мешки. Игорь и Олежка уже сидели там.

Володька отошел к борту. Пахнувший степью горьковатый ветер ударил ему в лицо. Володька оперся грудью о широкую доску, перебивавшую дверной проем борта. С тяжелым всплеском отбегала от колеса парохода зеленая волна, за нею стремительно возникла другая... Прозрачные пузыри взметывались на зеленых гребнях, сливались, тяжело колыхаясь, в пенные полосы, на гребнях волн вспыхивали ослепительные солнечные искры. Володька зажмурился...

Лагерь Манави, 4—5 августа 1943.

— Взво-од... р-равняйся!. Отставить! Взво-од... равняйся!

Это уже в шестой раз Жора, как мы зовем своего лейтенанта Арзамасова, заставляет нас поворачивать головы направо. Дело привычное — правое ухо выше левого, подбородок приподнят, смотри в грудь четвертого в шеренге, чуть подавшись всем телом вперед.

— А-а-атставить!

Лицо у Жоры сугубо уставное, даже мрачное, только черные глаза, кажется, веселы...

Понятно. У Жоры есть какая-то новость. Это его любимая манера — перед тем как сообщить взводу что-нибудь веселенькое, приправить новость перчиком...

— Взво-од, смиррр!..

Мы смотрим прямо перед собой. На желтый песок передней линейки. На дневального первокурсника из 744-го взвода, поигрывающего под грибком, в холодке, шашкой. На крутой взлобок, густо заросший орешником. На белую собачонку начальника штаба третьего дивизиона, которая нагло рыснет по разметанному с утра песку передней линейки, не признавая, что это место священное,— только начальник училища или дежурный по лагерю имеют право топтать серебряный песочек своими сапогами...

— Дневальный, спите? — говорит Жора, и первокурсник, встрепенувшись, заманивается ножами шашки на собачонку.

Порядок восстановлен. Однако, друг наш Жора, мы уже три минуты стоим как мертвые.

— Распустились,— негромко говорит Жора своим глуховатым голосом.— Сапоги, как у дезертиров. Это у вас шпоры, Кудашов, или ухваты вашей любимой бабушки? Айрапетов, я команды «вольно» не давал!

Нет, наверняка у Жоры сногшибательная новость... Уж не досрочный ли выпуск нас ждет, а?

Похрустывая щегольскими сапогами — носки их сделаны по самой модной модели, «парской», тупыми,— Жора выходит против середины строя.

— Десять минут сроку. Построение в шинелях в скатку. С оружием. За бабушкины ухваты вместо шпор поотрываю головы.

И это все?.. Жора, у тебя нет совести.

— Я в Тбилиси хочу привезти взвод курсантов, а не хозвзвод. Ясно?

— Ясно! — в тридцать две глотки отвечаем мы.

— Едем охранять зимние квартиры. На месяц. В месяце — четыре выходных, не так ли? Суббот тоже четыре. Увольнительные записки — в моей сумке. Караульная служба имеет, товарищ Кудашов, кое-какие отличия от тисканья девиц в кустах, не так ли? Без благодарности в приказе по гарнизону за отличное несение караульной службы я в лагерь возвращаться не намерен. Звякать шпорами по Тбилиси будут только те, кто отстреляется на миниатюр-полигоне не ниже чем на четверку. Так. Указываю ориентир... Курсант Листвин, выйти из строя!

Я вздрагиваю от торжественности тона Жоры... Я делаю два шага вперед, поворачиваюсь кругом, — теперь на меня смотрят, как на мученика... Черт его знает, Жору, что он сейчас выкинет?..

— Курсант Листвин имеет на сегодня самый высокий балл успеваемости. Четыре и восемь. Кудашов, перестаньте строить из себя Швейка. Так. Я рад, что в моем взводе есть курсанты, которых не стыдно представить комиссии Генштаба. Нашему взводу оказана честь — выделить пять курсантов для проверки комиссией. Назначаю: младший сержант Коробов, курсант Листвин, курсант Айрапетов, младший сержант Геогджаев, курсант Никитин. Так. Комиссия приступает к проверке завтра. В субботу мы выезжаем. Так. Курсанту Листвину за отличные успехи в боевой и политической подготовке выношу благодарность!

— Служу Советскому Союзу!

— Становитесь в строй.

— Слушаюсь!

Через три дня в полночь взвод садится на полустанке в вагончик пригородного поезда. Вагончик без стен, за невысокими перильцами, как у одесских летних трамваев, медленно плывут редкие огоньки горных деревушек.

Мне оказана честь — из самого лагеря таскаю тяжелый чемодан лейтенанта, в котором напиханы продуктовые посылки женам офицеров нашего дивизиона, что остались в Тбилиси.

На правах личного адъютанта я сижу в купе, где разместились вся знать нашего взвода — лейтенант, старшина Цыганок, командир первого отделения Володька Коробов, второго — Сивогринов, третьего — Геогджаев, здесь же коновод лейтенанта Васька Кудашов и коновод командира батареи Колька Плотников, оба в нагло обрезанных против требований строевого устава куцых гимнастерках и с густой плетеной ремней, пряжек и карабинчиков на левом боку, разумеется, тоже не предусмотренных уставом...

Жора сияет. Он в парадном кителе, пуговицы надраезы с величайшим усердием. Вчера перед строем офицеров училища генерал-лейтенант из Москвы тряс Жорину руку... Еще бы! Ведь наша пятерка набрала за два дня проверки комиссией Генштаба умопомрачительную сумму баллов — 4,75!

— Товарищ лейтенант, у меня сегодня день того... рождения, — говорит Миша Цыганок и скребет толстым пальцем по фляге, что у него на поясе. — Це ж дата, га?

— В седьмой раз день рождения? — шурится Жора, но мы видим: все в порядке, он разрешит отметить и седьмой за год день рождения...

А на другой день мы чистим шпоры.

Мы надраиваем их шомполами от учебных винтовок выпуска 1915 года, пемзой, свернутыми в моток обрывками стальной проволоки из телефонного кабеля, мелом и просто шепками.

Через сорок минут старшина Цыганок вручит первому и второму отделениям оловянные бляхи увольнительных знаков, и наши шпоры начнут вызванивать по гротуарам проспекта Плеханова...

Но нам так и не суждено было увидеть Тбилиси в этот вечер.

Лейтенант Арзамасов, посверкивая пуговицами нового кителя из английского габардина, медленно идет вдоль ружейной пирамиды. Со шегольским звоном отбрасывает

кверху рукоятки карабинных затворов старшина Цыганок и передает очередной карабин лейтенанту. Тот поднимает к правому глазу казенные части стволов, и солнечное пятно размером с гривенник вспыхивает на его лице.

Так и есть. Шестой карабин Арзамасов, скривившись, молча сует в руки старшины. Цыганок облизывает губы и бросает на стоящего рядом Володьку Коробова злой взгляд.

— Чей?

— Курсанта Алекпатова,— отвечает Володька.

Через десять минут Алекпатов, сняв выходную гимнастерку, кладет свой карабин на длинный стол в конце веранды, толстые доски которого за десятилетия пропитались ружейным маслом насквозь...

Алекпатов неторопливо раскладывает тряпочки, паклю, отвертывает колпачок масленки. Скуластое лицо его кажется каменным.

Володька Коробов берет его карабин. Он долго смотрит чуть прищуренным серым глазом в канал ствола.

— Поставьте, Алекпатов. Все в порядке. Лейтенант ошибся.

Алекпатов смотрит на отделенного.

— Поставьте.

Володька вытирает руки ветошью и идет в каптерку батарен, что за нашей спальней. Там лейтенант нагоняет жару на старшину Цыганка... Володька возвращается через три минуты. Мы не смотрим на него.

Володька садится на табуретку.

За огромными окнами веранды — начинающее терять синеву небо. Две нижние шибки рам по всей длине веранды еще в начале войны закрашены охрой кирпичного цвета. Едва ли не каждый дневальный по батарее постарался за эти годы выцарапать на стекле памятку о себе. По традиции оставили здесь свои метки сотни выпускников.

Не надо смотреть на Володьку. Лучше почитать надписи на стекле.

«Степанян Сурен. 28.12.1941. Да здравствует Москва!!!».

«Не забудем ТАУ! Гаврилюк И. З., Панькин Д. Л., Файншмидт Г. А., Суворинский М. П., 4 мая 42 года».

«Дашка — моща! Плехан. проспект, дом 49. Советую. К. Ф. Д.».

«По первому кубарю — есть! Млад. л-ты Н Савчик, Евген. Афанас. Дробышев, И. Иванов-Третий. 4.5.42».

«Сестра, за тебя отомщу. Глеб Макаревич. 10.2.42».

«Прощай, Грузия!!! 10.9.42».

«Трусить не будем. Сергеев, Мельников, Пузыревский, Лордкипанидзе. 10.9.1942».

«Начнем в Сталинграде, кончим в Берлине! Павлов Егор Ефремович».

Я отвожу глаза от окна.

Подходит Цыганок. За ним медленно позвякивает шпорами лейтенант.

Мы встаем с табуреток.

— Почему не идете? — спрашивает лейтенант. Лицо у него хмурое.

— Боюсь, будет дождь, товарищ лейтенант,— негромко говорит Володька Коробов.

Эх, Жора, Жора... Ведь напорол горячку. Ты же не можешь не поверить Коробову, что карабин Алекпатова чист?.. Ну, ладно. Мы не пойдем в город. Мы не были в городе четыре месяца. Но мы не пойдем, брат Жора. Мы тебе не мальчики. Мы старшекурсники. Вот так.

Лейтенант молча смотрит в лицо Володьки.

Он уходит по веранде.

— Ребята... Володя... Ну... Да вы...

Алекпатов махнул рукой, ссутулился, его большие руки неуклюже берут карабин...

— Будет дождь,— сказал Володька.— Серега, тащи домино, а?

— Слушаюсь, товарищ младший сержант! — говорю я.— Ливень будет страшный, вы правы.

— Слухай, Павлович, а шо ты про Нелечку травить бросил, га? — говорит старшина Цыганок, плотно усаживаясь на табуретку.— Интеллигентная же история!..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Эми

Она была голубоглазая, Эми... Эмма Циммерман...

— Такая девонька — и косенькая... Ты ее не обижаешь? — говорит мама.

— Не, мам. Я не дерусь с девчонками. — Вовка крутит стриженной головой. Он стоит перед швейной машинкой, положив подбородок на ее откинутый столик.

Мама шьет штаны Вовке. Из зеленого бархата. С двумя широкими ляжками, которые надо будет перекидывать крест-накрест на груди. А белая рубашка уже лежит на диване. И желтые сандалии стоят возле дивана. Правда, Вовке еще ноги надо вымыть, потому что сандалии только вчера принес папа из магазина.

— А ножки? — как раз говорит мама.

Вода из крана идет теплая, и Вовка, забравшись на табурет, торопливо трет ладошкой загорелые ступни, потому что скоро пойдет холодная.

Он натягивает рубашку. Мама закатывает ему рукава, присев на корточки. Мама смешная — толстая, а зимой была худая. Тетя Маргот, мама Эми, говорила зимой: «О, прима фигур».

Широкие ляжки перекрещивают грудь. Желтые сандалии скрипят тоненьким голоском, как папины ремни с блестящими медными пряжками. Иногда Вовка надевает ремни, затягивая их пряжки на самые верхние дырочки, но все равно поясной ремень болтается чуть выше коленок...

Выбежав на улицу, он задирает голову, чтобы посмотреть на маму в раскрытом окне второго этажа.

— Только не пачкайся, Вовонька!

— Ага!

Улица широкая. Слева — асфальтовый тротуар с липками, а справа еще тротуара нет — песок, на котором можно играть в футбол.

Вовка набирает полную грудь теплого воздуха, сжимает кулаки и пускается бежать по тротуару. Мимо Сережкиного дома, мимо Толькиного, мимо дома, где живет Женька, у которого одного на всю улицу коньки «нурмис» на ботинках. А за Женькиным домом начинаются опасные края, где надо бежать как можно быстрее, потому что здесь живут враги, «верхневские», а Вовка — «нижний», его домом кончается улица.

Проскочив верхневский конец, Вовка переходит на легкую рысь. Он поворачивает налево, пересекает по широкой песчаной тропе сосновый реденький лесок и выбегает на большую поляну.

На левой опушке — два четырехэтажных дома. На балконах в деревянных ящичках — цветы. И перед домами цветы. Это немколония. Немцы живут. Из Германии приехали. Красные немцы, все за нас.

Вовка вытирает с разгоряченного лица пот. Срывает лохух и чистит сандалии. Руки становятся зелеными, и Вовка тихонько вытирает их о штаны — штаны тоже зеленые, мама не заметит.

Он идет медленно. Может, увидит Герарда. Прошлый раз Герард давал ему подержать саблю. Игрушечная сабля, а как настоящая, вся блестит. И к двум колечкам на черных ножнах прикреплен серебряный ремешок. Но Герарда сегодня не видать.

В третьем подъезде третий этаж. Вовка долго стоит перед дверью, не решаясь постучать. А до белой пуговки звонка не дотянешься. Наконец стучит кулаком.

Дверь приоткрывается. Перед глазами Вовки полосатый — белый с голубым — фартук.

— О-о-о.. Мейн ли-и-ибер... — тоненьким голоском говорит тетя Маргот Циммерман.

Теперь надо потерпеть... Теплые губы тети Маргот целуют Вовку в стриженую макушку. Потом она берет его руки в свои и медленно пятится в коридор.

— О, мейн короши малшик... о, маладес... Корошо! Гости! Эми-и! Эми! Ком. Кук маль, Эми!

Вовка ждет, когда тетя Маргот отпустит его руки. Он знает, что потом она хлопнет в ладоши и еще раз чмокнет Вовку в макушку. И в коридор, медленно приоткрывая дверь, выйдет Эми.

Она молча будет смотреть на Вовку голубыми глазами...

— Д-доброе утро, — всегда первым говорит Вовка.

Эми приседает, немножечко сгибая левую коленку, как будто стоит над обрывом и ей хочется заглянуть вниз.

— Здравствуй, Вова, — говорит она. — Ты пррришел, да-а?

— Ага.

Тетя Маргот, молча улыбаясь, пятится к двери в кухню и скрывается там.

Эми протягивает правую руку ладошкой вверх и делает плавный взмах. Вовка, осторожно ступая по паркету, проходит в комнату. Но в большой комнате они не останавливаются — идут в спальню.

Эми оборачивается к нему.

— Ты ддрружны со мной, да-а?

— Еще бы, — признается Вовка.

Эми смеется. Она смеется и кружится, кружится на одном месте, потом приседает, сжав ладошки меж коленок. Ее голубые глаза смотрят на Вовку, правый чуть косит — и Вовка не может выдержать этот взгляд, опускает голову. Ему так жалко Эми, что щекам холодно.

— Черепаху покажешь? — спрашивает он.

— Она спит.

— А мы тихонько.

Фанерный ящик, где живет черепаха Брунгильда, стоит под кроватью Эми. Кончиком карандаша Вовка осторожно трогает темно-коричневую лапку Брунгильды. Лапка прячется под панцирь.

— Злючина... Ух, какая...

Эми отнимает карандаш.

— Она устала-устала-устала. Она спит-спит-спит. Да!

Вовка нерешительно смотрит на Эми.

— Давай про забастовку посмотрим, а? — говорит он. — Мы посмотрим — и все. Я руки, знаешь, мыл, честное слово!

Эми достает из шкафа с большим зеркалом во всю дверцу толстый альбом. Крышка альбома обтянута шершавой тканью темно-голубого цвета. На ней в серебряной рамочке цветная картинка: красные маки на лугу, а за лугом — голубые горы. И домик с красной крышей справа, от него дорожка убегает в горы, а по ней идут к дому девочка и мальчик в зеленых шляпах, за руки держатся.

Первые страницы Вовка старается перелистнуть побыстрее: тут то дядя Карл, Эммин папа, то тетя Маргот в белом платье, то Эми на какой-то шкуре лежит, совсем маленькая, то старуха с горбатым носом, то опять Эми — с резиновой кошкой в руке. А вот первая картинка, на которую Вовка смотрит долго, хмуря выгоревшие брови...

Дядя Карл стоит у железных высоких ворот. Ворота закрыты. Над ними вывеска — прикреплены к сетке толстые смешные буквы, похожие на головастики. Эми говорила уже, что тут написано про завод, ну, вро-

де ИНЗа, который охраняют от белых и фашистов красноармейцы Вовкиного папы.

Вовка никак не может насмотреться на эту картинку. Дядя Карл в кожаной куртке. Он стоит, сложив руки на груди. Ноги в сапогах широко расставлены. Дядя Карл улыбается. А справа от него — какие-то дяди, четверо. Двое в кожаных куртках, один в плаще, а самый крайний, толстый старик с усиками, с трубкой в зубах, обнял тетю Маргот за плечи.

— Это кто?— спрашивает Вовка.

— Дедишка.

— Деду-у-у-ушка.

— Деду-ушка. Дедушка. Я так и хотела заговорить. А скажи — пять!

— Фюнф,— говорит Вовка.

— А скажи... а скажи-и... восемь!

— Ну — ахт. Ну, не мешай же! Генуг!

Вовка знает про дедушку. Он знает, что дедушка был здорово храбрый. Он тоже дрался с этими, штрельбрехерами или как их... А в каталажку его не сажали. У дедушки было два железных креста. Это такой орден у немцев дают. Как у нас буденовцам.

Потом они листают альбом дальше. Тетя Маргот — на краю низенькой сцены. А за столиками, которые стоят прямо на траве, сидят дяди и тети. Тетя Маргот в гимнастерке, через плечо — узкий ремень. Видно, что она поет, подняв правый кулак до плеча. Рот фронт! Вовка всегда здороваается с Герардом так.

— Как этот город, я забыл?

— Бернау-бай-Берлин.

— Ага! А ты там была?

— Да-а! Я была маленьким... ой, маленькой! Да, Вова? Да, правильно?

— Угу,— не сразу отзывается Вовка. Он смотрит на открытку: неширокая улица, а тротуары — широкие, двухэтажные каменные дома, а вдали справа — высоченная церковь с узенькими окошками...

— Мюлленштрассе,— говорит Эми.— Красивая улинька, да, Вова? А это Мариенкирхе, да. У-у-у, до небеса!

— Ничего,— не очень охотно соглашается Вовка.— Наша улица тоже будет скоро, ого! Тротуары будут! Посмотрим еще, у кого лучше!

— Германия самый красивый! Да!

— Видали мы! А у вас Волги нет! А Одесса у вас есть? А-а!

Эми сердито захлопывает альбом и прячет в шкаф. Ничего. Вовка уже насмотрелся. Теперь можно идти к тете Маргот и пить там черный кофе. И можно будет покрутить ручку маленькой блестящей штучки, куда тетя Маргот насыплет коричневых зернышек.

Вовка долго намыливает руки, забравшись на голубую табуретку, трет ладонь о ладонь изо всех сил. Тетя Маргот говорит:

— Маладес, Вототшка. Лютчче, лютчче, зо! Ецт генуг, довольн.

Потом залезает на табуретку Эми, но, высунув язык, только плещется зря. Тетя Маргот смеется и говорит что-то своим тоненьким голоском. Ругается. Понарошку.

Вовка скромно стоит в дверях кухни. Он вел себя хорошо. Не придерешься. Руки-то у него и так были чистые, но ничего. Можно и помыть, раз тете Маргот это надо. Можно зато дома не мыть. Хватит.

Потом они пьют кофе. Без молока. Наверное, так пила тетя Маргот в своем Бернау-бай-Берлин. Тетя Маргот дает Вовке спичечную коробку, в которую положены булавки с голубыми шариками на концах. Это надо маме. Она шьет.

— Данке ше-е-ен,— опустив глаза, говорит Вовка.

Теплые губы тети Маргот целуют его в макушку.

— Мутти-и, ихь ви-и-и-иль.— Эми выпячивает нижнюю губу.

Вовка знает: Эми хочет идти к нему в гости.

— О, Эми!— говорит тетя Маргот.

— Абер ихь ви-иль!

Они спускаются по лестнице не спеша. Тетя Маргот стоит в раскрытых дверях и машет им вслед рукой.

— Прривьет Анна Австаффин!

— Гут!— кричит Вовка.— Ауфвидерзейн!

Бежать нельзя и на поляне — тетя Маргот теперь стоит на балконе и опять машет рукой...

Свернув у рыжей низенькой сосенки на тропинку, Вовка и Эми останавливаются. Носком красного туфля Эми проводит на песке черту. Они становятся рядом, выдвинув правые ноги к черте и прижав кулаки к груди.

— Айн... цвай... драй!— кричит Вовка и срывается с места.

Эми сразу отстает, но Вовке слышно, как она быстро перебирает туфлями за его спиной. Эми бегаёт здорово.

Они вылетают на улицу, на верхневский конец.

А верхневские уже в футбол на левой стороне, на песочке гоняют. Человек десять. И Вовка сразу узнает среди них Генку Лимонова, его синюю рубаху.

— немецкая колбаска! немецкая колбаска!— кричит Генка.

И все верхневские бросаются к тротуару, наперерез... Только судья Мишка Рыбин садится на мяч и ждет, когда отлупят Вовку и можно будет начать со спорного...

Вовка с разбегу насккивает на трех верхневских, которые успели загородить тротуар, сцепившись за руки. Он больно ударяется носом о чье-то плечо, но прорваться не удается. И Эми почему-то не убегает назад, а бежит сюда... Вовка бьет кулаками, но старается не нарушать правила — по носу нельзя. И под дыхало нельзя. И верхневские бьют его честно, по груди и по рукам. И по спине тоже.

— Трое, да?! Трое?! — кричит Вовка, и от обиды у него делается мокро в глазах. Но плакать он не будет! Он видит, как мелькает перед глазами синяя рубаха...

Генка пинает своих приятелей и кричит нехорошие слова.

Вовка успевает прижаться к калитке. Горячие руки обхватывают его шею. Эми! Она кричит. По-немецки. И по-русски тоже:

— Дурраки! Ферфлухте! Швинни! Забачки!

Прикрыв левым локтем грудь, Вовка держит правый кулак у самого подбородка. Дядя Карл показывал ему. Пусть попробуют. Честно. Один на один!

— Фашисты!— кричит он.— Трое, да?! Трое?! Штрельбрехиры! Фашисты!..

Генка трет нос ладошкой.

— Валяй, сосед. Ладно. Заметано. Катись, шалавы, ну!

Это Генка на своих, на верхневских... Он вразвалочку трусит через шоссе к мячу. Верхневские идут за ним. Эми теперь, когда все кончилось, сидит у забора и плачет.

— Пойдем, что ли,— говорит Вовка, запихивая подол рубашки в зеленые штаны.

Эми качает головой, потом встает.

Они идут медленно.

— Эй, сосед!.. Сыграем вечерком, а?

Вовка оглядывается, смотрит на Генку... Он понимает, как важно, что сейчас ответить Генке.

— Мяч — ваш. — говорит Вовка.

Генка оглядывается на своих. Это ж нахальство — играть в мяч верхневских... Но Генка снисходительно машет рукой и сплевывает.

— Без обуви!

Ну, что ж, можно и босиком. Даже лучше. Все равно мы сегодня будем лупить мяч верхневских. Не жалко.

— На нашем поле! — кричит Вовка.

Ну, это уж совсем нахальство — приглашать на игру верхневских вниз, в чужой край улицы... Генка вытирает ладошкой нос.

— Десяточек накидаем! — кричит он.

— В свои ворота, — говорит Вовка негромко, потому что надо и совесть знать...

Он удаляется медленным шагом человека, которому некуда спешить.

Эми идет сзади и молчит.

— Живая ты там?

— Да-а, я живая...

Вовка оглядывается.

Голубые глаза улыбаются ему.

17

Володька все стоял у доски, что перекрывала распахнутую дверь нижней палубы.

Мамины ладони легли на ребро доски... Володька отвернулся, стал смотреть на зеленые волны.

— Устала я, сынок... У меня сердце изболелось за вас...

Володька медленно повернул к матери лицо. Мать улыбнулась.

Боже мой, ведь сейчас у него Павловы глаза... Так легко увидеть, когда он чувствует себя виноватым, маленький мой... Не хмурься, ты же знаешь, что виноват.

— Володенька, что это за девушка?

Взгляд серых глаз сына становится неуловимым, текучим. Нет, он ничего не скажет сейчас, глупый...

Он отворачивается.

— Нет, посмотри на меня, Володя...

Он медленно глянул на мать.

— Мам, ты помнишь Ижевск? — сказал он, улыбнувшись едва заметно уголком еще по-мальчишески пухлого рта.

— Ижевск?.. Что — Ижевск?

По лицу матери видел Володька — знает мама, о чем он хочет сказать, и почему-то напугана этим...

— Ты думаешь, я был маленьким и ничего не понимал? Я все помню... Папа тогда сказал: «Я прав, Нюсенька, я же знаю, что прав... Я все равно докажу, что я прав...» Ведь папа не испугался. Он же не испугался, мам...

— Я... не понимаю, — тихо сказала мать.

— Ты знаешь, что я ничего плохого не сделал... Ты знаешь. Я не умею по-другому, мам. Не умею. Разве все просто было для тебя тогда, в Санжейке?.. Для меня тоже не просто, мам... Ты все понимаешь, мам...

Мать смотрела на зеленые волны, выбегающие из-под борта. Он же был тогда совсем маленьким. В каком он учился? Да, перешел в третий... Мы только приехали тогда в Ижевск... Как называлась эта комната. где мы разместились? Стрелковый класс, да, стрелковый. Мы жили там две недели, пока не освободилась квартира. Володька целы-

ми днями возился с «максимом», что стоял у окна... И тогда, поздним вечером, когда за стеной класса, в полковом клубе, шло партийное собрание, он еще не спал...

Анна Евстафьевна прикрыла ладонью глаза, вспомнив, как открылась высокая белая дверь класса и вошел Павел. По его лицу сразу поняла — случилось страшное. Он пробовал улыбнуться, все еще стоя у двери. Она подошла к нему, схватила за руку, что прикрывала лицо...

— Пап, кино будет? — закричал от пулемета сын.

— Будет. Иди,— сказал Павел.

Они смотрели на сына... Не надо было тогда смотреть, но они смотрели. Он шел к отцу, стараясь за улыбкой спрятать свой страх. Он понял по лицу отца, что случилось что-то страшное.

Но он сказал:

— Пап, я пойду?

— Иди, маленький,— сказал отец.

Но он не пошел тогда в кино... Она увидела его на лестнице, когда шла к телефону дежурного по штабу, чтобы позвонить Машковцевым... Она хотела, чтобы Машковцевы пришли. Ей было страшно смотреть на лицо Павла... Маленький сидел на ступеньке, сжав ладошки меж коленок...

А потом мы с ним ждали из Москвы телеграммы. Никто не надеялся, что Москва поможет, но Павел поехал. Это было через десять дней после того, как убили Кирова... Телеграмму принес посыльный по штабу... Он не уходил, пока я не прочла два слова телеграммы. «Все хорошо». Я заплакала. Посыльный улыбнулся, козырнул, ушел, забыв прикрыть за собой дверь...

Павел рассказывал... Да, они тогда сидели у Машковцевых, и Миша Машковцев еще требовал: «Ты нам, Павлушка, давай слово в слово!» В Москве его принял заместитель наркома. «Симпатичный мужик»,— говорил Павел. У него все люди — симпатичные...

Заместитель наркома спросил:

— Вы знали, что ваша супруга — дочь жандармского офицера?..

— Ее отец был офицером пограничной стражи. Это не корпус жандармов. И его не расстреляли. После революции он служил в Одесском порту. Его убили григорьевцы в сентябре девятнадцатого года. Он не хотел участвовать в какой-то крупной спекуляции... Вас ввели в заблуждение, товарищ заместитель наркома.

— На вас по службе... кто-нибудь в претензии?

— Эта бумажка написана не в полку, товарищ заместитель наркома.

— Я знаю, где она написана. А почему вы в автобиографии так неясно изложили происхождение своей супруги, а?.. Вот у вас написано: «До 1917 года — учащаяся, после — домохозяйка». Туман, а?.. Что же вы своего родича графа Толмачева обидели, в этой бумажке не упомянули?

— Моей жене было восемнадцать лет, когда я увидел ее...

— В каком году?

— В двадцать четвертом. Я был комендантом погранзаставы на румынской границе.

— Вам, конечно, было известно, что она, ваша будущая супруга,— внучка генерал-губернатора Одессы?

— Я знал, что она — Нюся...

— Та-ак... А если вам из-за Нюси придется расстаться со званием коммуниста?

— Я плотник, товарищ заместитель наркома. Прокормлюсь.

— Не виляйте, Коробов, шутить вам рано, дорогой, ой, рано.

— Партии моя жена не страшна. Вот те, кто пишет вам бумажки, товарищ заместитель наркома...

— Почему ты написал жалобу Валерьяну Владимировичу?

— У товарища Куйбышева я работал... В двадцать девятом году.

— Память у него хорошая, понял?

— Понял, товарищ заместитель наркома...

Замнаркома отодвинул от себя зеленую сафьяновую папку, поверх которой лежал лист бумаги. Павел смотрел на уголок этого листа. Знакомым крупным почерком Валериана Владимировича было написано синим карандашом: «Коробова знаю. В архив. Куйбышев».

А ниже этой строчки стояла еще одна резолюция: «К исполнению. Дать директиву в Иж. полк»...

— Я тебе говорю — счастливее ты, Пашка! — засмеялся Миша Машковцев. — Теперь готовься какой полчишко принимать, черт счастливый! Везет же твоему плотнику, Нюся!

...Анна Евстафьевна пошевелила пальцами правой руки... Тогда, семь лет назад, Павел так сжал эти пальцы, что она чуть не вскрикнула. Да, чудо их спасло тогда, просто чудо... Случись позднее, когда Куйбышева уже не стало, и...

— Я к ребятам, мам, — услышала она голос сына. — Ты отдохни, мам...

Она не ответила, только улыбнулась, не открывая глаз.

18

Володька никак не мог уловить причины странно веселого возбуждения, которое чувствовалось в суетливой возне вокруг сидевшей на диване светловолосой.

Влажные волосы ее (видно, что немка только что из душа) были заплетены в две толстые косицы с голубыми бантиками на концах — бантики эти Володька видел раньше у Тамары... Черный свитер — из запасов Нелли Константиновны — великоват для немки, и она подвернула рукава до локтей. Ее босые стройные ноги, прикрытые до колен одеялом, свешивались с дивана.

— С легким паром, — сказал Володька не очень уверенно, но засмеялись сразу все — и Нелли Константиновна, подшивавшая подол своей серой юбки, и Зоя Николаевна, что позвякивала стаканами у столика, и Алексей, сидевший на коврик перед диваном.

Синие глаза немки медленно глянули на Володьку. Над темными ее бровями топорщилась уже подсыхавшая челочка...

— Спасибо, — сказала немка.

— На здоровье. — Володька поклонился.

— Хорошее здоровье, — усмехнулся добродушно Алексей, и Володька увидел в его руке пузырек. — Потерпеть придется маленько, барышня... Чур, ногами не дрыгать. Володь, иди-к, подсоби!

Володька присел рядом с ним, взял пузырек с йодом. Алексей, обхватив щиколотку левой ноги немки, поставил ступню на свое левое колено. Темные ссадины и язвочки на ступне с крутым подъемом густо усеивали чисто вымытую белую кожу...

— Я сама... — тихонько проговорила немка.

— Попалась — не выпустим. — Алексей засмеялся и удивившими Володьку легкими, уверенно-небрежными движениями правой руки стал мазать ранки ваткой в йоде.

— Погуляла ты, эх, мать честна...

Немка терпела.

— Следующий, извольте бриться,— сказал Алексей, и его колена коснулась другая ступня. Он перебинтовал ступни, пошлепал ладонями по крепким икрам и сказал, посмеиваясь: — Всем бы невестам согласился... Нашего брата служивого перевязывает фельдшерница — крику не оберешься, разбалуется солдат, как в теплой постели поспит чуток... Терпелива ты, Машуня, молодец...

— Мы против вас, мужиков, завсегда терпеливей,— сказала, усмеиваясь, Зоя Николаевна.

Нелли Константиновна встряхнула юбку, приподняв перед глазами, озабоченно осмотрела подшитый подол.

— Кажется, ровненько... Мальчики, будьте любезны, за дверь. Машеньке надо померить.

— Отработали — и нас, значит, взашей? Ай-ай, девицы. — Алексей засмеялся, оперся руками о колени немки и встал. Зоя Николаевна подала ему костыли.

— Мы быстро,— сказала она.

— Магарыч за труды праведные мы заработали?

— Идите-идите, магарыч им! — Зоя Николаевна шутливо подтолкнула Алексея в спину.

Володька распахнул дверь, пропуская мимо себя Алексея, обернулся — на него встревоженно, недоуменно смотрели синие глаза немки...

— Николаевна, там компания честная скучает... Не подойдешь на часок?

Зоя Николаевна нахмурила брови, сумрачно улыбнулась.

— Уж не знаю... Да вы к нам, Алексей Никифорович, лучше...

— Ладно. Мешать не буду.

И Алексей ушел. Люди в коридоре освобождали ему дорогу. Володька пошел за ним.

На своем обычном месте Микола резался в подкидного. Сидели перед чемоданом кавалерист и красноармейцы, что размещались в проходе кубрика. Алексей взял карты. Посмотрел на Володьку, почему-то смущенно усмехнулся.

— Беда с бабьем, ну их к дьяволу, не угодишь никак... королевы!

— А шо це за дивчина, Алеша? — спросил Микола. — Белесенька...

— Да так, приبلудная, не знаю.

— Мабудь, вже забронирована, га, Вовчик?

— Пошел к черту.

— Э-э, Вовчик, тебя дивчатки уважають... Ну, шо ты на мене смотришь, як взводный на самовольщика? — засмеялся Микола и покосился на кавалериста. — Не мухлой, козаче... Трефей туточки нема!

— Вот чертов сын, углядел!

Володька присел на чемодан рядом с кавалеристом. Тот, с готовностью подвигаясь, повернул к Володьке лицо. Было оно сегодня чисто выбритым, только шрамчик на подбородке темнел. Кавалерист улыбнулся, приоткрыв шербатый рот.

— Стало быть, свободна девка-то, а, казак?

Да, свободна, черт бы вас побрал... Свободна. Она может улыбаться вам, вояки, если ей захочется показать свои зубки. А почему ей не захотеть? Какое, черт побери, кому дело? Меня это не касается. Я ее не приводил в свою каюту. У меня нет каюты. Это привел Фалк Шлемович, пусть он и возится с этой девчонкой. Он благодетель. А я нет, черт бы вас побрал. Свободная! Она свободная — строить вам глазки, если захочет. Плевать я хотел на всех немок. Меня это не касается. Вот так. Я не вел ее в свою каюту. Я представления не имею, что это за девица с синими глазками. Нет, нет и нет. Она свободна, пошли вы все...

— Братцы, дайте сыграть,— сказал Володька.

— Ой, лышенько! А как мама увидит? — Микола прижмурил черный глаз.

— Сдавай...

— От диты пишли, га?

19

Зоя Николаевна нагнулась над Алексеем, отвернула полу шинели.

— Алексей Никифорович, спите?

Он лежал, подложив под щеку ладонь. Медленно открыл глаза.

— Алеша... Пойдемте уж, чего там...

Белое лицо Зои Николаевны было так близко, что Алексей почувствовал ее дыхание. Провел ладонью по лбу, приподнялся на локте.

— Без меня, чай, весело...

— А мне с вами веселей будет,— сказала Зоя Николаевна, легко выпрямляя крепкий стан.

— За какие заслуги? — усмехнулся Алексей и перевел взгляд на стоявшего рядом с Зоей Николаевной улыбавшегося Володьку.— Это ты меня тормозил давеча, друг?

— Пойдем, Леша,— сказал Володька.— Дамы без твоей персоны совсем скисли... Пойдем.

Алексей пригладил светлые волосы, опять усмехнулся. Лицо его при слабом свете плафона под потолком кубрика казалось высеченным из мрамора. Зоя Николаевна, сложив руки под грудь, молча смотрела на него.

— Прискачу. Идите.

Зоя Николаевна взяла лежавшие рядом с нарами костыли, поставила в ногах Алексея.

— Обидеть меня — трудов мало,— сказала она и протянула Алексею полную белую руку.— Вставайте, Леша...

— А у вас — хара-актер, Николаевна.— Словно удивленный ее настойчивостью, Алексей улыбнулся и легко поднялся, так и не взяв белой руки.

— Оживела я... Вам с Володечкой спасибо. Маленькие сыты — и слава богу.

— Немного вашему брату надо,— сказал Алексей, прилаживая костыли.— Еще б мужичка под бочок — и в раю...

Зоя Николаевна медленно повернулась и пошла вдоль стены кубрика, задев плечом черную штору светомаскировки на окне.

Алексей сел на нары. Глаза у него были полуприкрыты.

— Зря, Леша... Она славная,— сказал Володька.

Белое лицо Алексея дрогнуло.

— А я не знаю?.. Эх, Володька, не дай тебе бог...— сказал он тихо. И вдруг взорвался: — Ну что, что смотришь?! Чего пристал?! Если хочешь знать, вот она, золотая звездочка, в кармане! Вот! А что я могу?! Герой одноногий...— Алексей отвернулся.— Эх, парнишечка мой хороший, завернула б тебе жизнь-паскуда такую петлю вокруг шеи...

Володька испуганно смотрел, как Алексей прилаживал под мышки дуги костылей, криво усмехаясь.

— Ну, двигай,— сказал Алексей и концом правого костыля легонько ткнул в колено Володьки.

— Алеша...— шепотом сказал Володька.

— Ладно, потопали. Уважим бабочек.

— Нет, ты... правда? Алеша, правда?..

— Топай.

— Алеша... пожалуйста! Покажи, Алеша! Покажи!

— Да пропусти ты, ради бога...

— Алеша! Я... Нет, я хочу!

Алексей посмотрел в глаза Володьки, усмехнулся, потом расстегнул левый карман гимнастерки, достал что-то, завернутое в красную резину и перехваченное крест-накрест черными нитками.

— Эх, черт дернул меня за язык...— сказал он с досадой.

Володька осторожно взял с ладони Алексея красный сверточек и сразу ощутил его тяжесть. Он с мольбой глянул в насмешливо-дружелюбное лицо приятеля.

— Упакуешь, как у меня,— сказал Алексей.

— Ну, что ты, что ты! Я хорошо...

На крутых гранях Золотой Звезды бегали искорки. Едва касаясь пальцем, Володька погладил теплое золото ордена с профилем Ленина...

— Алеша, за что, Алеша?

— В финскую... Ну, ладно, ладно.— Алексей улыбнулся.— Их в Кремле много, достанется и тебе, не бойся... Пакуй давай, настырная душа...

Он спрятал сверточек в карман. Когда дошли до двери в каюту Фалка Шлемовича, Алексей сказал:

— Володь, ты, это, не шуми... Не люблю до смерти, понял?

Володька напряженно глянул в его лицо.

— Ну, почему, Алеша? Ведь это же...

— Тебе как другу. И все, кончено. Стучи, что ль...

Володька вздохнул, вяло постучал в дверь.

Наверное, он сидел рядом со светловолосой часа три. На диване было тесно. Ее теплый бок иногда придвигался к нему плотнее, и от этого почему-то к сердцу подкатывала злость.

Кто-то подал ему стакан с синеватой жидкостью на доньшке. Смеялись парни, что-то говорила Нелли Константиновна. Он молча выпил. Микола сунул ему в руку кружок колбасы, ломтик хлеба.

— Шо ж ты, Вовчик?

Черные глаза Миколы смотрели на него.

— Н-ничего. Уйди, ефрейтор.

— Ось зараз можно тоби на строевой смотри! А то, бачу, спыть коло дивчины! — засмеялся Микола.— А шо тоби ефрейтор, Вовчик? Ефрейтор — це тоби старший солдат, ось!

— Ты, Володь, с ефрейтором не шути, браток.— Алексей улыбнулся, принялся открывать финкой банку тушенки.— Один генерал было начал ефрейтора драконить. А ефрейтор ему, значит, замечание высказывает: «Отойдемте в сторонку, товарищ генерал». Ну, генерал — в рык: «Что-о?!» И такой, и сякой, и как твою маму звали... по-генеральски шумит. А ефрейтор ему: «Нехорошо, солдаты видят, товарищ генерал, как начальство меж собой ругается... Давайте уж в сторонку!»

— Це правильный був ефрейтор,— сказал, смеясь, Микола.— Хлопчики та дивчати, треба выпить за ефрейторов! Гей, наливай!

Микола сел на чемодан, потянулся рукой за стаканом на столике, но Зоя Николаевна шлепнула ладонью по его пальцам.

— Поопасись, Коля, больно самогонка вредная.— Она засмеялась и повернула возбужденное, красивое лицо к сидевшему рядом Алексею.— Алексей Никифорыч, командуйте, вы ж командир!

— Я гость,— усмехнулся Алексей.

— Наливай,— сказал вдруг Володька, перегибаясь через колени светловолосой к Алексею.— Алеша, хочу с тобой! Налейте нам с Алешей, ну!

Зоя Николаевна встала, подступила к нему... Теплые ладони легонь-

ко сжали Володькины щеки. Казавшиеся сейчас черными глаза Зои Николаевны были совсем рядом.

— Идем умоемся, миленький? — прошептала Зоя Николаевна. — Идем, хороший мой? Водичкой студененькой... И хорошо, и ладно будет... А?

— А где Неля? Нет, где эта комиссарша?

— Да здесь твоя Неля, господи боже мой... Напоили парнишечку, бесстыдники!

Володька медленно обвел каюту взглядом широко раскрытых глаз... Нелли Константиновна стояла у приоткрытого иллюминатора, говорила о чем-то с танкистом. Володька откинулся спиной к переборке, зажмурился — в глазах поплыло, заструилась в пенной кипи зеленая вода... Он вздрогнул, с трудом выпрямился.

— Попей, — тихонько проговорила светловолосая, протягивая стакан с водой. Худенькое лицо ее застенчиво улыбалось, над длинными синими глазами пушилась челочка.

— Без сантиметров... сантиментов, черт возьми! — пробормотал он, отталкивая руку со стаканом. — Синие глаза... да? А мне твои глаза... Дайте пить, ч-черт!

Он пил. Зоя Николаевна поцеловала его в лоб, засмеялась.

— Лучше тебе, Володечка?

— Мне... всегда... хорошо...

— Живой, живой, вижу... — засмеялась Зоя Николаевна. — Ну, посидишь?

— Данке шен, — сказал Володька. — Данке...

Он опять попил холодной воды... Откинулся к стенке, притих.

Микола пристраивал на полу чемодан.

— Ще разок в пидкидного, граждане пассажиры!

Играли... Было душно. По верхней палубе топали люди — опять, видно, пристань скоро... Володька вздохнул. Светловолосая все сидела рядом... Как же ее звать? Марта — вот как ее звать. Марта. Немка Марта с синими глазами... Приблудная Маша с синими глазами... Сказать сейчас этим картежникам... А?.. Кто из них первым рванул бы за «милтоном», а? Микола?.. Или этот, в синей телогрейке? Алеша не побежал бы. Плевать ему на все теперь. Он-то побывал в Кремле, а ты сиди с этой светловолосой... Тихая. Носик у нее ровенький... Ну, и прелестно. И к чертовой бабушке всех немок. Фалк Шлемович привел? Да, он привел эту синеглазую... А мое дело, товарищи судьи, донести свои кости до славного града Еревана, а там хоть трава не расти. Мое дело — нарвать армянских цветочков и явиться к окошечку комиссарши.

— Ви хайст ду?¹ — шепотом сказал Володька, пригибаясь к плечу светловолосой.

— Что? — тонким голоском спросила она. Слабые, тоненькие девчоночьи пальцы водили по складке серой юбки... — Тебе плохо, Володя?

— Мне хорошо. Мне очень хорошо. Смотрю на твои глаза и лечу в Кремль.

Марта осторожно слезла с дивана, с трудом надела на свои перебинтованные ступни боты, набросила на плечи пальто. Володька встал, тоже потянулся за пальто — оно висело у двери.

— Молодым гулять трохи треба, — сказал Микола.

— Заткнись, ефрейтор!

Все засмеялись. Микола сделал плачущее лицо.

— За шо, Вовчик?

Володька со злостью распахнул дверь. Марта вышла. Володька

¹ Как тебя звать? (Нем.)

переступил порожек, захлопнул дверь — в каюте засмеялись. В конце коридора он увидел высокую фигуру Фалка Шлемовича.

— Владимир! — негромко крикнул старик. Неловко вскидывая длинные ноги — люди на полу лежали тесно, — Володька стал медленно пробираться к каюте. Фалк Шлемович посмотрел на смущенно улыбающуюся Марту и прижмурил выпуклые глаза.

— Ноги как? Больно ноги?

— Нет... Спасибо вам.

— Я не бог. Я не могу делать, чтобы всем было хорошо. Да. Люди умеют делать больно, это они умеют. — Фалк Шлемович потрогал козырек фуражки, опустил руку до верхнего кармана кителя и достал оттуда какую-то бумажку. Пожевав тонкими губами, сказал Володьке: — Вот. Билет. До Астрахани. Мы идем в Горький. Да.

Володька взял билет, испуганно посмотрел в выпуклые влажные глаза старика.

— В Горький?.. Почему... в Горький?

— Под раненых. И молчи, — сердито сказал Фалк Шлемович. — Я знаю, почему под Москвой бьют людей? Что ты мне дуришь голову? Или это я начал войну?

Володька переступил с ноги на ногу. В висках тяжело билась кровь. Он боялся поднять глаза. Он видел только забинтованные до щиколоток ноги Марты.

— Я... слезу, — услышал он ее шепот.

— Не дурите мне голову. Она слезет! — сказал Фалк Шлемович раздраженно и закашлялся. — Ты поедешь с Владимиром. Или я для кого брал билет? И молчи.

Старик опять полез в карман, вытащил свернутые трубочкой деньги и протянул Марте.

Она взяла деньги, стиснула в кулачке...

Фалк Шлемович строго смотрел на Володьку.

— Ты хороший человек, Владимир. И молчи. Я знаю. Идите спать. В три причалим. Идите. Не потеряй билет. Ну, что ты стоишь?

Володька вздохнул.

— Я не хочу спать.

— Дурите мне голову.

— Правда, Фалк Шлемович, совсем не хочется.

— Не потеряй... Она раскисла. Она думает, что старый Фарберов — бог.

— Спасибо вам, — тихо сказала Марта.

— Идите спать. Да!

Володька потер кулаком мокрый лоб.

— Пойдем на корму? Дышать нечем...

— Хорошо, — сказала Марта.

Плескалась невидимая вода. И лица Марты тоже не было видно. Фалк Шлемович оказал тебе высокую честь — быть опекуном этой девицы. Это благородно. Да. Очень благородно — быть спасителем синеглазых девиц. А если б она была уродиной, все равно — ведь надо быть благородным. Надо. Фалк Шлемович доверяет эту миссию тебе. Никому иному. Тебе. Ты же считаешь себя, ну, человеком. Считаешь ведь? Никто еще не говорил, что ты — подлый тип. Никто. Весь в отца. Это мама говорит... Весь в отца. Батя... понимаешь, со мной стоит эта девчонка. Ты же все понимаешь, батя? Я один знаю, что она... Я один. Потому что Фалк Шлемович уезжает в Горький. Я один знаю. Один,

батя, ты это понимаешь? Один! А эта девчонка стоит рядом... Только руки протянуть. Рядом со мной, батя... Ведь если узнают, что твой сын, батя, стоит рядом с немкой... Тебе тоже будет плохо, батя? Я знаю, будет... А она стоит рядом...

— Марта... Слушай, Марта... Давай договоримся, что ты...

Он протянул руку... Марты рядом не было. Володька побрел к стенке, припал к ней спиной. Потом присел. Плескалась вода. Он уткнул лицо в колени и заплакал.

— Володя...

Он не поднимал головы. Теплые пальцы Марты коснулись его виска, скользнули по щеке.

— Володя... дай мне билет.

Он поднял голову.

— Уходи...

В Саратов причалили поздно ночью. Прижавшись спиной к дощатому павильончику, Володька прикрывал братьев полами пальто от дождя. С дебаркадера все шли и шли пассажиры «Тимирязева». Синие лица проплывали в дрожащем световом круге от фонаря и таяли во тьме. За углом павильончика слышалось приглушенное бормотание.

— Володь...— глухо сказал Олежка из-под полы.

— Ну?

— А почему мы пересаживаемся?

— Потому. Стой.

— Володь, ну!

— Раненых надо везти.

— Их в Москве ранили, да?

— Не дрыгайся.

— Володь, скажи, Арарат — это сколько километров? Ну, в вышину — сколько? Папа писал, что он из окошка видит, помнишь? Сколько?

— Километров пять. Перестань болтать, таракан.

— Я не болтаю. Я интересуюсь просто.

— Папка нас ждет-ет, ждет-ет, а мы все никак не доедем,— сказал Игорь.

— Так война же,— сказал Олежка. — Раненым, думаешь, хорошо? Тебе бы... как осколком врезало, сразу заорал бы.

— Жди.

— А я бы не заорал. Потерпеливей тебя, не бойся.

Из-за угла павильончика выскочил Микола.

— Володь, давай! Мы замочек сбили у цей халабуды! Ничего, война спишет... Хлопчики, бегом марш! Хе, с Миколой хлопчики не пропадут, с Миколой вони до батька скоренько доидуть. Ну, швидко, орлы!

Он схватил мальчиков за руки, и все трое рысцей побежали за угол.

Володька поднялся по деревянным ступенькам в приоткрытую дверь.

— Свечечку б, ребята,— сказал невидимый в темноте кавалерист.

— Сейчас, сейчас, есть у меня,— откуда-то из угла у двери отозвалась Зоя Николаевна.— Чиркните спичечку кто...

Взяв в руку зажженную свечу, кавалерист приподнял ее над головой. Свечка была тоненькая, длиной с карандаш, она едва осветила длинное узкое помещение с прилавком слева, с пустыми полками, застланными кое-где газетками...

— Где церковь ограбила, Николаевна? — Алексей засмеялся.— От батюшки какого-то свечечка...

— За кровные куплено, Алексей Никифорович,— почему-то с обидой сказала Зоя Николаевна.

Алексей кашлянул.

— Баржу не скоро дадут — завтра или послезавтра... — Он повернулся к Анне Евстафьевне.— Можно и поспать. Ребятенки, вам куда лучше?..

Он подхватил левой ладонью Олежку за подбородок.

— Что, Олег? Всю дорогу не ревел, и здесь нам реветь неча, верно?

— Ну!

— Во и хорошо. Анна Евстафьевна, располагайтесь. Мы с мужиками оборону держать будем, какая милиция в атаку пойдет...

Никола уже распахивал тюк с периной. Марта стояла теперь рядом с Володькой. Челочка ее прилипла ко лбу.

— Изволили промокнуть, Марья Ивановна? — сказал Володька.

— Немножечко... — Марта спокойно улыбнулась.

Девочка не из робких. Да. Определенно. Улыбается, как у родной мамочки под боком. Нет уж, дорогая, больше кислой лирики, как тогда, на корме, не будет. Не ждите. Я не нанимался устраивать ваши делишки. Я вас посажу на баржу, билет у меня в кармане. Едет Марта Ивановна Неизвестная... Едет себе эта девица — и весь сказ. Посадил ее по законному билету некий кандидат в призывники В. Коробов. Просто из любви к синеглазым девицам. Знать не знает, что это за гражданка, — Марья Ивановна, а может, Егоровна, Петровна, Васильевна... Абсолютно не знает, что это за гражданочка. Вот так, товарищ полковник. Приблудная девица. Неизвестная. Паспорт у нее не спрашивал, я не милиционер. Едет и едет, мало ли кто сейчас едет? Половина России в бегах, товарищ полковник. Можно идти, товарищ полковник? Будьте здоровы...

Володька прикрыл поплотнее дверь.

— Машенька, номер люкс со всем комфортом готов! — негромко сказала из дальнего угла Нелли Константиновна.— Все ухаживают за супругой подполковника, а за бедной комиссаршей... увы!

Все засмеялись. Марта прошла в угол, сняла пальто, легла.

— Э, где наша не пропадала... — сказал кавалерист, сбрасывая шинель на прилавок.— Ложись, служивые.

Улеглись. Потушили свечку. В толевую крышу барабанил дождь.

— Пивом, слышь, пахнет... — сказал кавалерист и вздохнул.

— Наварим по-новой, будет срок, — отозвался Алексей.

— Одессу вчера, слышать, наши...

— Что? Одессу? Что? — гулко отозвался испуганный голос Анны Евстафьевны.

— Может, врут... — сказал кавалерист.— Утречком Левитана послушать надо...

В павильончике стало тихо.

Приподнимаясь на локте, Володька протянул руку, погладил мать по мокрой щеке.

— Тетя Аня... не надо плакать, — услышал он шепот Марты.— Не надо, тетя Аня...

Марта

Каждое утро начиналось одинаково.

В коридоре слышались быстрые, но неторопливые шаги.

— Иргард Карловна!..

Девчонки вскакивали с соломенных матрацев.

Иргард Карловна энергичным директорским движением руки от-

крывала дверь, из-под очков смотрела на девочнок. Синее суконное платье ее было отутюжено, белый воротничок сиял декабрьским снегом.

— Здравствуйте, девушки,— говорила она деловито.— Седьмой «Б» уже давно умылся.

— Так они же совсем младенцы, они же с вечера как лягут, так и спят,— говорила Марта, прыгая на одной ноге и натягивая узкие лыжные штаны.

— Оберхоф, не разводите теорий!..

А в то утро Иргард Карловна, открыв дверь, сказала:

— Товарищи, перед завтраком открытое комсомольское собрание. Попрошу не опаздывать.

Марта натянула брюки, набросила на плечи жакетку синего вельвета, схватила полотенце и побежала умываться.

Она простучала тапочками по скрипучему крыльцу и, спрыгнув на песчаную дорожку, остановилась. У колодца обливался водой табунок мальчишек и девочек из седьмого «Б»...

Собрание было тут же, у колодца. Три класса расселись прямо на лужайке. Иргард Карловна и Эрн Шварцберг из девятого «А», член комсомольского комитета школы, стояли у крыльца, о чем-то говорили, у Эрны в руке был свернут листок бумаги.

— Тихо, граждане, Чапай думать будет! — крикнул кто-то из семиклассников.

Эрна Шварцберг, похрамывая (уже два дня, как она упала с молотилки и разбила левую коленку), подошла к ребятам, оглянулась на директора школы.

— Да, да, Эрн,— сказала Иргард Карловна.— Товарищи, прошу внимания. Горохов, помолчите. Товарищи, разрешите начать открытое комсомольское собрание девятого класса. Мы пригласили принять участие и пионеров, чтобы...

— Ясно! — крикнул Горохов.— Давай конкретно!

— Ввиду того, что... нам совместно...

— Без пионеров — и ни туды и ни сюды! — опять крикнул Горохов, и семиклассники зашевелились...

Эрна подняла руку. Смех утих. Иргард Карловна вздохнула. Стало совсем тихо.

— Товарищи, комсомольская организация выдвигает на ваше обсуждение следующую повестку нашего собрания...

— А президиум? — крикнул Горохов, и семиклассники засмеялись торжествующе.

Президиум избрали из пяти человек — Эрн, Иргард Карловна, Женька Горохов, от правления колхоза помощник бригадира Иван Иванович Читнев и Эмма Мачке.

— Повестка дня — наш личный вклад в защиту родины,— сказала Эрн.— Слово имеет Слава Прудков, восьмой «А».

Марта повернула голову, стала смотреть на широкое лицо Славки.

— Проклятые немцы хотят нас в порабощенье! — говорил Славка.— Они всех убивают, никого не жалеют! Немецкую грабьярмию наша Красная Армия разгромит!

Марта перевела взгляд на лицо Эрны Шварцберг. Глаза Эрны смотрели на нее... Марте стало жарко.

— Немецкие бандиты, которые сейчас... — начал опять Славка, топорливо смахивая ладонью пот со лба.

— Фашисты будут разгромлены! Фашисты!

Славка умолк. Марта испуганно глянула на него. Неужели это она, Марта, крикнула про фашистов?..

— Товарищ Оберхоф, вы хотите выступить? — сказал Женька Горохов, улыбаясь Марте.

— Да, хочу.

Марта встала.

— Я немка. И... еще... много немцев... здесь. Нас здесь... нас половина в школе! Но разве я... разве мы все! — Марта все смотрела в растерянное лицо Славки. — Мой папа погиб... в Испании погиб... вы же знаете все, все знаете! Он немец! Фашисты — это... это не немцы!

— Ну, ладно тебе, Марта, ну, завелась! — отчаянным голосом закричал Женька Горохов. — Что мы, дураки?

Ребята зашумели, заговорили все разом...

А потом... Что было потом?

Потом она стояла в очереди перед окошечком паспортного стола. Она была девятой, да, девятой. Перед ней стоял длинный парнишка в черном пиджаке, все время оборачивался и говорил: «Девушка, вы что-нибудь потеряли? Мамочку? Ребята, тут ребенок мамочку потерял, не видели?» — И четверо мальчишек, что стояли сзади нее, ахали и охали, делали испуганные лица...

— Оберхоф здесь?.. Пройдите ко мне, пожалуйста, — сказал капитан Никитин и закрыл свое окошечко.

— И в милиции без блату ни туды и ни сюды, — сказал парнишка в черном пиджаке.

Капитан Никитин и две женщины за письменными столами смотрели на нее.

— Присаживайтесь, товарищ Оберхоф, — сказал капитан, и обе женщины почему-то сразу уткнулись в свои бумаги.

Капитан был очень рябой. Он долго смотрел на нее. Под правым глазом у него прыгала жилка.

— Ну, как живем-можем, товарищ Оберхоф?

— Спасибо. Хорошо.

— Так, так. Шестнадцать вам девятнадцатого августа стукнуло? А вы пришли за паспортом только сегодня. Нарушеньице, а? Вот Агриппина Васильевна сейчас заложит бумажку в машинку, актик настучит, мы с вас рубликов сотню и оттяпаем в госбюджет. А?

— Я же в колхозе работала, со школой...

— Шучу, шучу.

Капитан потер рябую щеку ладонью.

— Отец ваш в Испании, когда... ну... то есть...

— Десятого февраля тридцать восьмого.

— Мамаша у вас...

— Мама умерла двадцать второго марта.

— Это после... как получили уведомление?

Женщина, что сидела у окна, вдруг поднялась со стула так неловко, что стул упал. Она выбежала в соседнюю комнату. Наверное, она знала, что мама отравилась...

Капитан не шевельнулся. Только мускул под правым глазом бился так заметно, что она отвернулась.

— Марта, вот какое дело... Тебе Самойлов не говорил?..

— Нет.

— Он заходил ко мне, просил пока не выдавать тебе паспорт. Он хочет тебя удочерить. Человек он хороший, сама знаешь. С отцом твоим друзья были... Ну как, а? Зачислим тебя в русский народ? Будешь Самойлова — и порядок... а?

Она смотрела в пыльное окно. Решетка на окне была выкрашена в голубой цвет.

— Марта... тебе водички, может? — тихо сказала женщина.
 — Спасибо.
 — Да ты не горюй, у любой войны конец есть,— сказал капитан.— Ты где сейчас, у тетки?
 — Да.
 — Ну так как?
 — Нет,— сказала она.— Спасибо. Пусть будет моя фамилия. Пишите — «немка»...
 — Ну, смотри, воля твоя... Марта Генриховна.— Капитан посмотрел на женщину, вздохнул и стал что-то писать...

22

— Дем к водишке, де-ем...— хныкал Славик.— Дем!
 — Да пойдем сейчас, пойдем, мамка придет — и все, и пойдем к водичке,— привычно похлопывая брата ладошкой по спине, говорила Тамара.— Пароходики увидим, мно-ого пароходиков, лодочки увидим, да, маленький, да, хорошенький? И кашлять Славонька не будет... Гитлер будет, а он не будет, да, маленький?
 Отбросив одеяло, Володька сел. В приотворенную щелястую дверь павильончика несло холодком, сыростью... За стенкой простуженный тенорок, похрипывая, говорил кому-то:
 — Горы там, точно. Я еще по географии Чефранова помню — горы Среднего Урала, полуразрушенные, точно.
 — Да что ты мне про горы долдонишь? — отозвался голос старика.— Я куда сунусь с тремя сопляками, а? Да старуха, да Саньки краля на восьмом месяце, господи, прости, времечко выбрала семейству штат прибавлять. А?
 — Расквартировку обязаны дать,— уверенно похрипывал тенорок.— Мы по решению эвакуируемся, не тяп-ляп, уноси ноги! Ты, дядь Николай, не паникуй. Это ты зря. Точно. Расквартировка — и ваши пироги пожалте печь...
 — Балабонь!
 — Да наш завод там с музыкой встретют, я тебе точно говорю! Смех слушать, дядь Николай... Да уральские донецких — будь спок, не обидят, своя рабочая косточка ж придет! Работнем, уральских не сдрейфим. Уж ежели на броне приходится по тылам кантоваться — чего тут, надо ж понимать... Работнем!
 — Ты мне погрузку обеспечи, оратор. Крановщицу видал? От маткиной титьки вчерась отстала. Гробанет ящичек — пиши тогда жалобу наркому... Дорогой, мол, нарком, ваш приказ выполнили новокраматорцы с честью, гробанули единственный в стране десятитысячный пресс. А?
 — Ладно, дядь Николай. Ты меня не пугай. Погляжу. Погрузим. Бомбы с неба туточки не валяются...
 — Подведет эта хозяйка, чует мое сердце...
 — Ничего не подведет! Отдышался, дядь Николай?..
 — Полегчало вроде... Вот зараза, схватит — моченьки нету, аж в глазах...
 — Погрузимся — отлежишься, дядь Николай... Пошли?
 — Не бежи. Тихесенько тронем.
 С крылечка павильона, куда вышел Володька, были видны спускавшиеся по крутой деревянной лестнице к причалам двое мужчин. Слева старик в брезентовом плаще шел, придерживаясь за перила. У длинного, молодого, коричневая шляпа была ухарски заломлена, светлое пальто в пятнах на спине — нараспашку.

Володька присел на крылечке. Сзади, за дверью, все покашливал Славик и что-то тихонько напевала брату Тамара сонным голоском. День только начинался. Серенькое небо с узкой розовой прогалиной над левым, низким берегом Волги было спокойным, теплым.

Откуда-то подошла Зоя Николаевна.

— Господи... ты спишь иль чего? — сказала она весело, неправдоподобно весело, потому что серые глаза ее были растерянны и лицо бледно.

— Н-нет,— сказал Володька, вставая с крыльца.

— Мамка, где ты блондишься? — крикнула из павильончика злым голоском Тамара.

— Я сейчас, доченька,— виновато сказала Зоя Николаевна, поднимая белые ладони к лицу и опуская их до груди.— Сейчас я. Господи, Володя, ведь я остаюсь.

Она с виноватым и в то же время решительным лицом смотрела на Володьку.

— Оставаться надумала. Вот идем, глянь, Володечка, объявлениице висит. Останусь я, просто больно хорошо подошло тут, вот глянь, Володя. Я же как раз на оверлоках работала, вот уж как хорошо подходит, чего я еще искать буду, останусь, нельзя ехать, чего я искать буду, уж хватит, истерзалась...

Володька торопливо прочитал объявление на листе фанеры, прибитое к телефонному столбу рядом с павильоном. Черные буквы на желтом: швейная фабрика имени Клары Цеткин. Швей-мотористки. Работницы на оверлочные машины. Ручницы. Телефон 6-97.

— На оверлоках я, Володечка! Вот уж подвезло, господи... Эвакуированным, видишь, жилплощадь? Да мне уголок какой, гос-споди! Ой, не знаю, растерялась я, голова кругом идет, сколько можно мучать маленьких-то моих.

Зоя Николаевна смотрела на объявление, по матово-бледным щекам ее текли слезы. Она повернула к Володьке заплаканное лицо и вдруг засмеялась.

— Вот ведь дура... дура! Дура я, тебя-то зачем расстраиваю? Ой, Володенька, как поездишь так-то, да людей разных навидеешься, да... чего я тебя расстраиваю, дура!

Она медленно вытерла слезы тыльной стороной ладони, провела по ярким губам. Увидела стоящего на крылечке павильона Алексея в наброшенной на плечи мягкой шинели, вздохнула. Лицо ее стало спокойным.

— Чего митингуете с утра? — крикнул им Алексей.— Здорово, православные... Выспались?

Зоя Николаевна еще раз глянула на объявление. Пошла рядом с Володькой к крыльцу, легко переступая полными ногами в черных остроносых туфлях.

— Остаюсь, Алексей Никифорович.

Алексей смотрел на ее красивое белое лицо.

— Вольному воля...

— Уж не знаю... Да — была не была!

Зоя Николаевна торопливо прошла в дверь мимо посторонившегося Алексея.

Он крутил сигарку. Крепкими зубами покусывая краешек газетного клочка, достал из кармана брюк кожаный портсигар, натрусил двумя пальцами махорки — махорка желтым облачком сыпанулась с газетного клочка на кирзовый сапог...

— А, сволочь,— вяло сказал Алексей и, скомкав клочок, швырнул к ногам Володьки.

— Алеша, она остается,— сказал Володька.

— Слышал, не глухой.
 — Алеша, я же...
 — Ладно, ладно,— очень спокойно сказал Алексей.— Не просят — не подавай.
 — А мне... мне...
 — Не кипи.
 — Мне наплевать, что не просят...— тихо сказал Володька и подступил к Алексею.— Что ты из себя строишь, ну, что? В тряпочку завернул, да? Людей тебе жалко, да?!

— Не шуми, чудик... Спят.— Алексей оглянулся на прикрытую дверь павильона, но Володька видел — губы Алексея дрожали.
 — Исусик ты, понял? Людей жалеет, ха! А сам... ты... не человек, да? Ты — сам, кто ты, Алеша? Кто?

Они стояли лицом к лицу. Затравленные, несчастные глаза Алексея под влажным от испарины белым лбом в крапинах веснушек растерянно смотрели на него.
 — Уйди ты... к дьяволу. Уйди, Вовка.
 — Не уйду. Боишься, да? Боишься ее? Ты в карты играл — я видел... твое лицо видел! Исусик ты!

Володька вдруг почувствовал, что кто-то еще стал за спиной Алексея, увидел белую дрожащую ладонь. Он отступил от Алексея, опустил голову.
 — Алеша... ты пособил бы мне? — сказала Зоя Николаевна, и по ее голосу Володька понял: все она слышала.
 Он медленно поднял глаза, вздохнул. Лицу стало жарко.
 — Когда баржа... Алеш? — сказал он.
 — Послезавтра... Успею...— Алексей усмехнулся.— А за Исуса я тебе... сволочь ты, Володька.

23

Ветерок с низовья тянет, с юга, вроде и теплее здесь, на палубе, чем в трюме. Нет-нет ветер и дошвырнет облачко дыма из трубы буксирчика, что едва тащит баржу встречь волне, и тогда защекочет ноздри гарью, будто от баткиного фартука из прожженной за годы черной кожи.

Василий потер нос кулаком, опять привалился спиной к ровно обмотанному канатом кнехту. Он уже давно, часа два — как отвалила баржа,— сидел так, перекрестив длинные ноги в начищенных яловых сапогах, да и куда идти-то? Подохнешь с тоски на этой клятой посудине, скорей бы, что ли, Сталинград... Танкист сошел в Саратове, Микола спит... Здоров спать парень...

— Володь, а Володь!

Володька, сидевший на соседнем кнехте, медленно повернул голову.

— Володь, чего там слышать?

— На Харьковском направлении.

— Весела жизнь... Прут и прут, а? Четвертый месяц идет, а они все прут, сволочи... Володь, вот ты... башка у тебя толковая, сразу видать... Вот ты мне скажи, слышь, как это называется, а? Ну, хорошо, внезапность эта самая, оно, конечно, ежели ты спишь в холодке под амбаром, а я тебя кулаком под дыхало суну — тут так, это верно. Сколько ж можно глаза-то продирать?! Октябрь, почитай, кончается, зима гребется, а мы все зенки трем. А? Как это выходит?

Володька поднял воротник серого пальто, ногу на ногу, руки в карманы упрятал, нахохлился.

— В Генштабе спроси...

— Меня оттель взашей, браток, выпрут... Да-а, нам кислая жизнь,

рядовому пешке, а у начальства — еще хуже. Я из винтовки отсадил, на-конь да наметом к другой деревне, мне о Юго-Западном направлении и не болит...

Володька повернул голову, уставил на Василия серые глаза.

— Ты... ты в самом деле так думаешь?

— А что?

— Врешь.

— Это как?

— А если так думаешь... знаешь, ты кто?

— О-го-го... Выразаться, милоч?

— О России думать надо.

— Стратегию натошак жевать?

— А не думать — лучше подохнуть...

Василий погладил лоб, усмехнулся.

— О России, милоч, чуток пораньше б думать надо, — сказал он, сгибая длинные ноги и укутывая их полами шинели. — Я, брат, когда от Невеля пеши шел... надумался, по гроб хватит, как надумался...

Василий поднялся, свернул сигарку, долго шарил спички в карманах — ушел прикурить. Вернулся с Алексеем...

Алексея последние два дня перед отправкой баржи Володька почти не видел — тот пропадал у Зои Николаевны. Говорил, жилье помогает устраивать, а сам глаза счастливые прятал... От кого таился, чудак? Все же сразу всё поняли...

Сегодня утром пришли с Зоей Николаевной, объявили. Алексей был со Звездой... А потом, после ахов, охов, криков, поздравлений (все торопились, началась посадка на баржу, даже отметить событие толком не удалось) сидел с Зоей Николаевной на бочонках под стенкой пакгауза... На прощанье поцеловались, Алексей поднялся на баржу и так, видно, и стоял на корме до сих пор...

Алексей сунул руку в карман шинели, достал что-то.

— Возьми, сваток, — сказал он, улыбаясь Володьке. На его ладони лежал складной, с рукояткой серенькой кости, ножичек. — Зоя тебе просила передать — Алексея Ивановича память. На...

Володька взял ножичек.

— Ну, спасибо... Алеша.

— Поддел ты меня... Исусом. Поддел, Вовка...

Василий взял у Володьки подарок, отбросил сточенное посредине лезвие.

— Послужил хозяину, видать... — сказал он уважительно и поскреб лезвием ноготь большого пальца. Щелкнул, закрывая, лезвием, глянул на Алексея.

— Хороший косарик...

— Хороший, — сказал Алексей.

— Значит, все, Алеха?

— У меня в башке ветру нет.

— Оно так... Аттестат пошлешь? Иль к себе брать будешь?

— Отвяжись, Васька. В Астрахани устроюсь — возьму к себе...

— Пол-литра гони!

— В Сталинграде поставлю...

— Володь, свидетель! Выпьем на росстанях.

— Покурим, Вася. — Алексей подошел к стенке рубки, костыли к ней приставил, сел неловко. — Садись, Володь, в ногах правды нет. Не подымишь, а?

— Не хочу.

— Правильно, здоровше будешь, — сказал Василий, присаживаясь на корточки рядом с Алексеем. — Значит, Зою определил, порядок? Ой,

хор-роша баба, счастливый ты билет выудил, козаче. С такой бабой да по станице прошкандылять в праздничек — шапки долой, граждане ка-заки! Точно говорю, ребята. Где ты ее на баз поставил, Леш? На швейную взяли?

— Рапорт тебе представить? — Алексей засмеялся, чиркнул спичкой. Огонек из ковша ладоней осветил прижмуренные глаза, белые зубы...

— По всей форме! Я ж тебе как кум, со Славчонком сколь времен на палубе сапоги бил, о твоём наследнике пекся... Умнехонек хлопчик, верно. А Томка-а... ох, папаша, вырастет у тебя девка — смертушка нашему мужинскому роду! Ить как глядит, а? Королевна будет, Леха, сволочь ты счастливая...

Алексей молчал, затягиваясь сигаркой так, что потрескивала махорка... Темень была над Волгой, ни звездочки. Только впереди нет-нет столбик искр подымется из трубы буксира, и ветер его повалит, расшвыряет во тьме... Да справа огонек попрыгивает — бакен, наверное, под правым берегом, волна-низовка бакеном играет...

— Про Исуca... слышь, Володь.— Алексей кашлянул, помолчал.— Верно ведь... Видать, своим умом, в особицу, человек всегда напетляет чего-нито...

— Это ты чего про Исуca? — сказал Василий недоуменно.— Это ты куда гнешь?

— Вот к тому, что Володька против меня — щенок, зелень против меня, а в точку ударил, понял? Слышь, Володька, помирать буду, а ведь тебя, паразит, не забуду... Я тебе... понять ты можешь, Володь? Ну, и все... Ножик береги.

— О чем это вы гуторите? — Василий отшвырнул окуроч.— В монастырь захотели? А? Мне на твоего Исуca наплевать, я в бога с сопляков ни в какую не приверженный. Бабка драла меня — беда. Ты мне про Николаевну толком скажи, черт...

— Порядок, Вася. Нормально вышло.

— Тыфу ты, пехота задрипанная! Я ж тебя прошу по-людски расказать! Вот гуторь с таким...

— А что говорить-то? На работу Зою устроил, жильё есть...

— Ну темнишь, пехота.

— Чего мне темнить, чужак?

— Ты куда в Астрахани-то править будешь? Тебе ж вчистую положено...

— Да вот попросился у начальства в запасный полчишко, хоть каптером бери. Ты не гляди, что я на одном скате бегаю, собрать «максимку» или «дегтяря» парнишек научу — будь здоров, с завязанными глазами насобачатся... На копейку с меня пользы будет — и то могу спокойно хлеб жевать...

— Ты свой клин отпахал, Никифорыч, — сказал Василий.

— Отпахать-то отпахал... А вот иной раз сплю — не сплю, думаю... Ну, не могу я на печи валандаться, когда кругом горит... Я это вам — как на духу, я такими словами бросаться не мастак, ребята... А, ладно. Ветер похолодал. Тьма была глухая, октябрьская, лютая.

По палубе кто-то шел. Покачивался фонарь «летучая мышь», постукивали чьи-то каблучки. Володька узнал Нелли Константиновну, рядом с ней показалась Марта.

— Чего гуляете, невесты? — сказал Алексей.

— Алеша? — Нелли Константиновна остановилась. Голос ее почему-то прозвучал смущенно.— Это вы?

— Да вот, дышим...

Мимо протопал сапогами парнишка с фонарем, сын шкиперши Зиновий, открыл дверь надстройки.

— Давайте, а то свет,— баском сказал он.

— Да, да,— торопливо отозвалась Нелли Константиновна.

Она подхватила чемодан, быстро простучала каблучками до двери. Марта прошла за нею.

— Ловка бабенка.— Василий добродушно усмехнулся.

— Барынька твоя комиссарша, Володь,— сказал Алексей.— Все в тепло норовит...

— Какая она, к черту, моя? — зло сказал Володька.

— Да уж такая... Сейчас, гляжу, наш брат мужичок уж больно к бабьему племени в блок входит... Прямо — несокрушимое единство, как в газетах пишут. Оплошали братики мужички, позор — выше головы... Драпец знатный учинили, что и говорить, от Москвы до самых до окраин... Ну — одна дорога — пожалела баба, на душе и легче вроде... Кислая жизнь-то идет, а, мужики?..

Валюха

Асфальт темный, влажный, только кое-где успел его подсушить ветерок, нализать сереньких пятен. Валюха Зогова, наверное, смотрит в окно. Она живет на первом этаже. Всегда возле поворота со двора на улицу, где в оградке из штакетника выломаны подряд три дощечки, он слышит за спиной шаги, чуть шаркающие от торопливости, и голос Валюхи, утренний, свежий, милый Валюхин голосишко:

— Доброе утрс, синьор Вовуля!

— А-а, это вы, почтеннейшая? Гут морген, майн пупхен! Решила по триге?

— Черта с два,— говорит Валюха.— А ты решил, зубрила?

— Было дело под Полтавой во зеленых во кустах...

— Ты у нас умный. Хорошо быть умным.— Валюха покачивает желтый портфельчик, подцепив одним пальцем за ручку...

Нет, она славная, Валюха...

— Ты опять ресницы намалевала, мадам? О, бедные-бедные мальчишки из десятого «В»! О, несчастенький Витя Гришин! Не устоят. Топчи их галошами!

Валюха останавливается. Глаза — серые, с длинными ресницами — смотрят на него с обидой, и он подымает левую руку.

— Сдаюсь. Это Люська Порфирьева малюет, а ты — ни боже мой!

— Дурак,— говорит Валюха.

Эх, Валюха, Валюха... Добрые у тебя глаза, Валюха. Ты не знаешь, как мне хорошо было с тобой. У тебя легкая походка. И через лужу ты красиво тогда перепрыгнула, взмахнув желтым портфельчиком. Волосы твои рассыпались по плечам, и ты трянула головой, приподняв лицо к серому теплomu небу и прижмурив на секунду глаза...

Когда она так же поднимала лицо? Да, зимой. Когда они сидели в палатке после окончания этой дурацкой игры в войну. В парке. В Русской Швейцарии. Их 81-я проиграла тогда. Девчонка в синем пальто, из 20-й, несла синий флажок, захваченный их разведчиками. А он стоял, спрятав руки в карманы батиного белого полушубка, и Валюха сказала, что он посинел... Он и правда уже давно не чувствовал ног. В двадцать три градуса фетровые бурки хороши только у печки. И она злилась, что он не идет в палатку, где сидело городское пионерское начальство и где, наверное, было тепло, потому что из ржавой жестяной трубы сбоку палатки стремительно вылетал розовый дым.

— Дурак, ты же посинел весь,— сказала она и потащила его за руку.

Они вошли в палатку. Тугощекая девица в черном пальто с серым каракулевым воротником сидела за столиком с раздвижными железными ножками. Она грызла кончик красного карандаша. И еще человек семь было в палатке. Ему было неловко, а Валюха толкнула его к печке...

— У тебя носки, да? — сказала она сердито.— Посуши! Ты же весь синий!

А как она отругала эту девицу в черном пальто...

— Выносливость! Закалка! — говорила она, сидя на корточках у печи, по жестяной стенке которой бегали фиолетовые искры.— В двадцать три градуса выгнали!.. Поморозили всех, начальники мне нашлись!

— Девушка, вы из какой школы? — спросила после зловещей паузы тугощекая и положила карандаш, сцепив пальцы рук перед собой.

— Из советской,— сказала Валюха.

— Вот именно,— сказала тугощекая.— Вы же пионерка, я надеюсь, так? Мороза испугались, в котором двадцать градусов, так? А наши бойцы с белофиннами — как? Сражаются ведь, так? Защищают город Ленина! Так?

— Давай носки, вояка,— сказала Валюха ему.— Снимай-снимай! У-у, ледяные... Вот ненормальный, вот надо было тебе мерзнуть, с ума спятил...

— Он выполнял свой долг,— сказала тугощекая.

— Слышь, Зинаида, ты б дала местечко парню погреться,— сказал ухмыляющийся почему-то парень, и тугощекая, покраснев, резко встала с табуретки.— Говорили же в обкоме — отставить надо. А! Теперь половина пацанвы переболевает, чёрт бы драл! За такую моральную поддержку фронтовики нам башки поотрывают... Прямо до смерти мы белофиннов напугаем своей игрой...

— Это твоя точка зрения, так? — сказала тугощекая.

— Ну, моя.

— Держи ее при себе. Рекомендую. Мы белоручек растить должны, так? Которые закалки не имеют, так?.. Стыд слушать, товарищ Ерофеев, от члена горкома.

Ему почему-то было жалко ее, эту тугощекую. Она была какая-то неуклюжая. И глаза ее были неуверенные. Наверное, она скучно жила, эта тугощекая...

Парень засмеялся, пошел из палатки. Все ушли, кроме Валюхи и его. Они сидели у печки, и она зажмурилась и подняла лицо...

А потом почти всю третью четверть он провалялся в постели. Валюха приходила, садилась на стул и читала «Квентина Дорварда». Ее колени касались одеяла. Она хорошо читала, Валюха, и ему хотелось быть Квентином Дорвардом. Но только он не был им... Он не был им и в тот вечер, уже в сентябре... Он запомнил этот вечер на всю жизнь... Они шли по улице — Валюха, Берта и он, держались за руки. Они проверяли светомаскировку на Краснококшайской, на своем участке. Они шли почти ощупью, и у Валюхи с Бертой руки были горячими. И вдруг Валюха остановилась и сказала:

— У меня... Мой папа убит,— сказала она.— Мама еще не знает, принесли без нее... Я боюсь идти домой...

Они стояли молча. И на Краснококшайской была тишина. Надо было что-то сказать, надо было непременно что-то сказать ей, а он молчал...

И потом, когда они сидели в ее комнате... Он тысячу раз был в этой длинной, в два окна комнате с зелеными обоями и зеленым абражуром, под которым на столе всегда по вечерам валялись ее учебники... И старый портрет Ворошилова над черным комодом с медными начищенными ручками ящиков висел, как всегда, на своем месте... Она сидела перед столом и все обводила, все обводила пальцем чернильницу-непроливайку. Он следил за этим тонким длинным пальцем и краешком глаза видел стоящие тесно друг к другу черные ботинки Берты с матовыми пуговичками на боках.

— Идите,— сказала она, все продолжая кружить пальцем у чернильницы.— Мы с мамой... Идите, Берта, идите. Ничего. Спасибо.

— Валь...— сказал он, стоя в дверях рядом с Бертой.

Она не повернула головы. Ее волосы блестели от лампочки.

— Валя...

— Спасибо тебе,— сказала она спокойно.

— Володя, не уходи! — неожиданно сказала Берта, пятясь от него в глубь темного коридора.— Не уходи, Володя, пожалуйста, не уходи!

Грохнула за Бертой дверь квартиры, лязгнула цепочка у замка... Он смотрел на Валюху и молчал...

— Иди, Володя, иди. Спасибо,— сказала она и протянула ему руку. И лицо у нее было спокойное. Только глаза были черными.

— Никому не говори. В школе не говори. Я сама... Иди.

И только когда он спустился по семи ступенькам к двери подъезда, он услышал, как скрипнула дверь ее квартиры. Он оглянулся, но ее уже не было. Ему хотелось вернуться, он знал, что ему нужно вернуться, он даже знал, что ему нужно было сказать ей, но он боялся, что это будет неправда. Да нет, наверное, ему просто было страшно... И она осталась одна в пустой комнате с зелеными обоями... Почему он ничего не сказал ей, не заставил себя вернуться?

Как мне плохо сейчас без тебя, Валюха... И как мне нужно, чтобы ты сказала мне сейчас что-нибудь. Шагать бы с тобой по серому асфальту... Я очень устал, Валюха. Я не могу спать. Я лежу, как мертвый. Мне даже шевельнуться не хочется. Все люди спят, а у меня есть эта Марта... Я так и не знаю фамилии этой проклятой Марты. Я даже лица ее не могу вспомнить... Я скоро расстанусь с ней, но это ничего не изменит. Ведь она была. Была эта проклятая.

24

Выставив чуть впереди себя костыли, Алексей прижмурил светлые глаза, огляделся.

— Вот и дождались погодушки,— проговорил он довольно.— Солнышко-т прям пекет!

Вылезший следом за ним из люка Володька подергал плечами, поправляя сползавшее пальто внакидку, и тоже прижмурил.

Солнце — уже высокое, позднего утра — раскидало по голубоватой, как в летнюю жару, Волге золотую сеть, и под этой спящей до боли в глазах сетью бились голубые, синие, фиолетовые живчики, вспыхивали вдруг мартовским снегом, с рыжинкой, гребни увалистых волн, что бежали встречь барже от буксирных колес.

Несколько пассажиров умывались у синего ведра с белыми цифрами «1243». Спиной к Алексею и Володьке стояла высокая, ладная. Приспустив сиреневую рубашку, она с наслаждением плескала на загорелые плечи пригоршни воды. Обернувшись, весело взглянула дымчатыми большими глазами. Капли воды слетали со смуглых щек, маленький рот был блаженно приоткрыт...

— Сглажу вот,— сказал Алексей и почему-то вздохнул.

Она засмеялась. Неспешно подцепила пальцем кружевные плечики рубашки. Стоявшая рядом тоненькая девушка лет шестнадцати, в зеленом свитере, сердито набросила на левое плечо золотоволосой махровое полотенце, искоса глянула на Алексея серыми строгими глазами.

Алексей добродушно шурился, скручивая длинную козью ножку. Тоненькая что-то сердито сказала высокой не по-русски, та засмеялась.

— О-о... немножко холодно...— сказала она весело и взяла у тоненькой кофту, набросила ее на плечи, зябко дрогнула. Ее дымчатые глаза под широкими темными бровями смотрели в лицо Алексея.

Кашлянув, Алексей повернул голову к Володьке, сказал чуть смущенно:

— Не ровен час... сматываться надо, а? Не устоим?

— М-да-а,— сказал Володька.— Уноси ноги, дядя Леша, пока не взорвалось твое слабое сердце...

Алексей попыхивал козьей ножкой, смотрел на высокую — она завязывала узелком узкий поясок кофты, улыбалась.

— Дядя Леша, побойся бога,— сказал Володька.— Донос Зое настрочу...

— Дай ты мне на человека поглядеть, зверь.— Алексей добродушно поморгал.— Эк какой человек по земле ходит... Любота поглядеть, а?

— Донесу...

Алексей почесал небритую щеку мизинцем левой руки, засмеялся.

— Хор-рошая это штука — люди, брат Вовка... И ногу не жалко огдать, дьявол меня съешь, верно. Хорошая штука...

— А Зоя Николаевна? — Володька ехидно прищурился.

— Чудило... Зоя — жена.

— Не улавливаю твоей мудрой мысли.

— Книгоед, потому и не доходит.

— Привет, Алексей Никифорыч!

— Чего — привет! Жена — это... это все одно что я. Понял? А то — люди, народ. Вот рыженькая эта, ну ты, ну Колька наш, Васька... Да чего тут не понять-то?

— Ты — великий гуманист. Эразм Роттердамский из Иванова...

Алексей засмеялся.

— Ума у тебя — палата, а мордяха не мыта. Пойдем сполоснемся... Эразм! Я ж не ивановский, я — шуянин. Чистых шуйских кровей. Рабочий класс, понял, книгоедная душа? У нас вся семья по текстильному делу.

— Алеш, а почему ты домой не поехал?

— Нечего там, браток, делать. Мамане-то я... ранен в ногу, легкое, писал, ранение. Пускай мамка радуется покуда, что жив Леха, да еще и в тылу кантуется на тихих хлебах... Мамаши, знаешь, народ боязливый. Вот к той осени дошибем Гитлера, тогда и домой можно. Мать у меня — золотая старуха...

— К осени?

— Самый край — к зиме.

Они пошли по чисто вымытой палубе к носу баржи.

В рубке негромко разговаривали. Володька кашлянул. Хотелось почему-то увидеть Марту. После того ночного разговора на корме он не сказал Марте и десяти слов... А она даже не смотрела на него. Ну, что ж. Так даже лучше. Пожму в Астрахани ручку: «Будьте здоровы, фройляйн Неизвестная. Выходите замуж за генерала! Я не нанимался спасать немок. Меня немки не интересуют, фройляйн». Вот так.

Они стояли у борта, Алексей курил. Володька провел по лицу ладонью, посмотрел на небо.

— Тепло сегодня...

— Тепло.

Подошел Микола, поморгал, потер ладошкой щеку. Лицо у него было скучное.

Из рубки вышла Нелли Константиновна. Ее черный шелковый халат полыхнул огоньками. Она кивнула.

— Здравствуйте, мальчики,— сказала она без всякого выражения и стала мыть зубную щетку.

Черные глаза Миколы прищурились.

— Яка гордая стала. О казанских хлопцах скучае комиссарша чи шо?.. В той Казани таки гарны хлопцы е... Я ще с одним побалакал трохи, як приехав. С вашего дому хлопец, Вовчик, у серой шляпи, а очи — як то небо, и ботиночки жовты. Хтось це, Вовчик?

— В серой шляпе?..

Володька медленно глянул на Нелли Константиновну, вытиравшую лицо длинным мохнатым полотенцем.

— Не знаю. У нас в доме не было...

— Та як же не було, Вовчик?

— Я в швейцарах не стоял.

Володька отвернулся, припал грудью к борту. Нет, он помнил этого парня в серой шляпе,— это он сидел тогда, ночью, в пустом трамвае... Нельке, конечно, Нельке помахал он на прощанье... Володька даже фамилию этого парня вспомнил — Кирин, майор Кирин. Этот веселый парень с двумя «шпалами» в голубых петлицах на гимнастерке, с орденом Красной Звезды над левым карманом написал красным карандашом на Володькиной комсомольской путевке в авиационную спецшколу: «Прием окончен. М-р Кирин».

— Вот так, сталинский сокол,— сказал Кирин.— Вытри слезы и жми в Горький, там морская спецшкола разворачивается.

— Товарищ майор... может, еще...— просил Володька, боясь глянуть в веселое лицо Кирина, потому что слезы едва держались в глазах.

— А чем море хуже неба? — Кирин засмеялся.— Нам не страшны ураганы, нам не страшен океан и так далее. Все, морячок, ставь паруса — и в Горький. Бывай!

Он даже руку Володьке пожал...

Володька оглянулся, но вместо Нелли Константиновны у рукомойника поплескивала водой Марта... Господи, скорей бы Астрахань. Не может он смотреть на эту синеглазую... За нее не подерешься, как тогда за Эми... Да и с кем драться? С кем? С Миколой?..

— Васек там бреется еще, Коль? — спросил Алексей.

— Эге. Я за ним хочу. Бритва моя чегось села, править треба. Вже дома поправлю.

— До Сталинграда часа два еще? Успеем, поскоблится. Никак бритву не куплю, надо в Сталинграде поискать.

Неслышно ступая по палубе резиновыми ботиками, Марта прошла мимо Володьки к носу баржи. Она подвернула рукава вязаной кофты до локтей, тонкие белые руки теребили бахрому полотенца. Марта села на бухту каната рядом с Нелли Константиновной, та обняла ее за узкое плечо.

Володька отвел глаза. Солнце жгло по-летнему. Пыльный столб покрутился на плоском берегу, добежал до воды и рассыпался.

Из трюма на палубу вылезали пассажиры. Тетки из Невеля сняли платки, пригорюнились, запели по-белорусски что-то жалобное.

— Мамаши, у нас на борту покойника нет,— сказал какой-то парень в телогрейке и подмигнул Марте. Он смотрел на нее, не отводя глаз. Володька отвернулся, сплюнул в воду и закрыл глаза...

Эми

Он стоял с Эми в подъезде и смотрел, как пузырятся лужи, как выпрыгивают из травы крошечными голубыми взрывами струйки дождя, словно еще подавая зеленого огня майской траве.

А потом Эми выбежала во двор, подняв руки к небу, и закричала что-то... И Володька кружил в луже, где кричала Эми, по босым ногам хлестал зеленый огонь, и мальчишки с девчонками тоже прыгали по этому зеленому полыханию...

Двенадцать палочек лежали кучкой на конце доски, которую Володька притащил со стройки за сараями немецкой колонии.

— Аты-баты, шли зольдаты...

Эми досчитала и ткнула пальцем в Володькину белую (нет, к вечеру она уже была не очень белой) рубашку с закатанными рукавами и ойкнула. Ей было жалко, что Володька будет «вадой», но так уж шли и пришли солдаты...

А потом на зеленую траву пришла девчонка. Она была большая. Ей было лет двенадцать. Она жила на конном дворе возле стройки.

— Меня примааете, немчура?

И, высоко подняв согнутую в коленке крепкую ногу, она изо всех сил ударила ступней по концу доски...

Как ненавидел Володька эти серые глаза большой девчонки, ее тоненькое подпевание «Только пять еще!.. Только шесть еще!.. Ай, седьмую наше-е-ел!..» Она вертелась перед глазами Володьки до последней ненайденной палочки, подол ее белого платья в алых вишенках бился над коленками, потом она взвизгивала и мчалась в шель между сараями...

Ладони Володьки были в липкой грязи. Он вытирал слезы рукавом рубашки и бегал, бегал по зеленой траве. Нет, не собрать двенадцать палочек. Никогда не собрать. Они веером взлетали в воздух, с глухим стуком сыпались на траву, и Володька опять видел перед глазами белый подол в алых вишенках...

Нет, никогда не собрать двенадцать палочек на зеленой траве.

Тбилиси, 9 августа 1943.

Маленькая книжка в ледериновой обложке стального цвета. Сверху на обложке красными буквами выдавлено — «Бессмертие», а ниже — синей краской — трехдюймовая пушка и три фигуры артиллеристов в касках.

Книжку из этого переплета я выдрал и шил в него тридцать восемь листиков ватмана. Ради бумаги мне пришлось целое воскресенье натирать полы в холостяцкой квартире преподавателя топографии капитана Соколова. Хозяина дома не было — повел курсантов в Оперу, на другой берег Куры, — и я обманул его старшую сестру Наталью Александровну, высокую старуху в пенсне, что мне дали комсомольское поручение: в порядке уважения к заслугам Александра Александровича в пропаганде среди курсантов благородных традиций передового русского офицерства натереть паркет, чтобы он затмил солнце...

Мою просьбу о бумаге Наталья Александровна передала брату: старик пришел вечером того же воскресенья к нам во взводную спальню (мы укладывались после

отбоя), держа под мышкой три листа драгоценной, довоенных времен ватманской бумаги...

— Листвин, вы изволили выкинуть изрядный кунштюк, да-с,— сказал мне старик шепотком (он не разрешил мне подняться с койки).— Для любовных писем бумага непригодна, насколько я понимаю...

— Это не для писем, Александр Александрович...

— Журнал или подневная записка по примеру Петра Великого?

— Да что-то в этом роде, Александр Александрович... Вы извините, если...

— Пустое. Возьмите. Спасибо вам. Наташа в восторге от вас. Ну, отдыхайте.

Книжка — мой курсантский дневник.

Девятого августа сорок третьего года я записал:

«Володьку К. зачем-то вызывают в лагерь.

«Командовать фронтом»,— сказал он. Взводный тоже ничего не говорит, да, кажется, и сам не знает, в чем дело.

А если тут замешан подполковник М., то дела Володьки совсем плохи... Дядя из этого заведения шутить не любит.

Самое удивительное — Володька посмеивается, как всегда. На его месте я совсем бы скис.

Цыганок кричит: «Караул, выходи строиться...»

Надо шагать».

А через час Володька пришел к караульному помещению. Мы, свободная смена, сидели на лавочке.

С левого плеча Володьки свисал на лямках старенький вешмешок, свою шинель он нес на согнутой левой руке.

— Ну, братишки, не поминайте лихом,— сказал Володька.— Литеру мне Жора приволок, сейчас сяду в мягкий вагон и буду всю дорогу пить кахетинское.

— Володь, ты не вертухайся,— сказал Миша Цыганок.— За каким дьяволом едешь?

Володька почесал мизинцем переносицу (была у него такая привычка), сощурил серые глаза.

— Была в первом отделении мелкобуржуазная тенденция тянуть после отбоя колхозный виноград?.. Была, Миша. Вот — начальство решило устроить показательный процесс для вразумления сопляков первого курса. Сам прокурор Закфронта будет государственным обвинителем. Я уж и завещание написал потомкам.

— Ты брось, салага, вола за хвост крутить,— обиделся Цыганок.— Карабин смазал чи так сойдет?

— Стоит, как невеста, Мишенька. Так бы и похлопал по бочку...

— Хиба с одесского толку добьешься? От брехун ты, Володька. Ну, шагай, бо мягкий вагон ждать не буде. До субботы вертайся, возьму тебя до Люськи.

— Слушаюсь, товариш старшина.

Володька улыбнулся, посмотрел на меня.

— На минутку, Сергей... Конкретные указания дам, а то распустишь мне отделение, либерал.

Мы отошли с Володькой к крыльцу офицерского собрания. За лето нанесло на каменные ступени толстый слой пыли.

— Позарастали стежки-дорожки, где проходили офицерские ножки.— Володька усмехнулся, посмотрел на меня.— Ходим-ходим, а потом ни черта не останется... Впрочем — кто знает?

Странное сейчас было у него лицо. Я испугался.

— Володя, что-нибудь...— сказал я.

— Э, без паники.

— Не знаешь, зачем?

— Дай закурить.

Я вытащил из кармана брюк жестяную баночку от противохимического индивидуального пакета, где хранил махорку. Мы закурили. У Володьки подрагивал мизинец. Володька нахмурился.

- Нервочки. хм. О нервочках придется забыть.
Я молчал. Если надо, Володька скажет сам.
- Цедулку я писал в одно... богоугодное заведение. Еще перед подходом на Йору, в июне. Был у моего батьки друг. Ему писал. Хлопцам не говори, Сергей. Это уж я перед тобой слабину показываю.
- Он отбросил окурочек.
- Зря, что ли, я с Эми любовь крутил? Помнишь? Который час, глянь.
Было без десяти минут восемнадцать часов.
- Ну, без лирики, Сергей. Слезу урони.
- Проваливай.
- Володька засмеялся, достал из кармана шинели ножичек. Тот самый, что ему подарила Зоя Николаевна два года назад.
- На. Смотри, на вино не махни.
- Попробую... Володя, а где Марта?
- Он усмехнулся.
- Укусила девочка?
- Укусила.
- Уехала с полком морской пехоты. На каком-то разъезде мы тогда целый день торчали...
- Ну?
- Что — ну? Иди ты к дьяволу, Серега... Ничего не было. Я тебе говорю — ничего. Он отвернулся, посмотрел на крыльцо, потом пошел к ребятам — ирощаться.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

25

- Еще кружечку тяпнешь, хохол?
- Та ни, досыть. И так хочь пуп розвязуй!
- Осилишь, у тебя емкость на всю бочку как раз.
- Алексей достал из кармана гимнастерки пачечку денег, положил на прилавок десятку. Буфетчик татарин бережно взял ее, улыбнулся широким бледным лицом в оспинках.
- Пажаласта.— Он из руки в руку передал Алексею кружку с пивом.— Свежий, совсем свежий, у нас свежий держим. У нас в Астрахани хорош пиво.
- И Володьке он кружку подал в руку, и Миколу.
- Спасибо, папаш,— сказал Алексей.— Посидим, что ли?..
- Они заняли круглый столик под липкой клеенкой в дырках. Гудели мухи. Солнечный прямоугольник лежал на грязном некрашеном полу. Буфетчик — одна нога у него оказалась деревянной — подхромал, вытер полотенцем клеенку.
- Пили уже по третьей, не торопились. Полчаса назад Володька и Микола встретили Алексея во дворе санпропускника, что недалеко от пристани. Он сидел на скамье под старым тополем, помогал Анне Евстафьевне вязать узел — она упрятывала белье после дезкамеры. Нелли Константиновна, поставив у ног туго набитую зеленую авоську, блаженно откинулась рядом с Алексеем к стволу тополя. Олешка с Игорем, в новых матросских костюмчиках, разомлев после душа, степенно мусолили мороженое, сидя по бокам Марты. Марта раскидала по плечам влажные волосы и тоже ела мороженое.
- Потом они вернулись в санпропускник, где за щелястой, на скорую руку сколоченной стенкой из свежего теса был буфет. Узел прихватили с собой — Алексей не дал его Анне Евстафьевне.
- Три таких бугая, а вы тащить будете?

Анна Евстафьевна была в темно-вишневом шерстяном платье с пояском, она знала, что оно ей идет, и улыбалась, чуть шурясь на солнце. Она глянула на сына, протянув руку, поправила ему воротничок зеленой рубашки.

— Мам, мы сейчас пьянствовать по причине злой разлуки пойдём, дай субсидию,— сказал Володька.— Красивая ты сейчас, мамка!

— Придется тридцаточкой пожертвовать на гульбу.— Алексей засмеялся, вставая со скамьи, подхватывая костыли.— Уж если сын хватит, тут разговора не может быть, Анна Евстафьевна!

— Хитрая братва, шо тут говорить! — подхватил Микола.

Анна Евстафьевна дала сыну двадцать рублей. Володька благодарно улыбнулся, подхватил узел и пошел к двери санпропускника.

Анна Евстафьевна смотрела вслед сыну, и по тому, как он шел сейчас начищенными ботинками по утопанной песчаной дорожке, чуть склонив голову, и старался нести узел, как легонький чемоданчик, она понимала: деньги нужны были ему, чтобы чувствовать себя независимым от взрослых приятелей, и то, что мать догадалась об этом, тронуло его... Надо было ей догадаться раньше, когда Володя с этим длинным кавалеристом пришли в Сталинграде прощаться...

Буфетчик опять подхромал к столу, молча поставил тарелку с нарезанной колбасой и ломтиками черного хлеба, положил три вилки и, хотя никто не успел сказать слова, замотал головой, словно отклоняя благодарность, с достоинством застучал деревяшкой к своему месту...

— От житуха героям,— сказал Микола, сгреб кружки и пошел к стойке.

Он принес пива. Володька припал спиной к дощатой стенке, вытянул под столом ноги. Алексей и Микола курили. Небрежно раскрытая пачка «беломора» лежала возле тарелки, над которой жужжали мухи. Из раскрытого окна несло сладковатым запахом дезкамеры.

— Зачислили вже? — сказал Микола.

— Порядок. Инструктор учебно-пулеметной роты,— ответил неохотно Алексей. Он бросил окурочок в окно, ткнул вилок в кружок колбасы.

— Шо ж, мы тоже до дому пришкандыбаем.

— Билеты оформил?

— Эге.

— А то я хотел к коменданту заглянуть.

— Та я ж и сам не цуцня...

В комнату вошла невысокая татарка лет двадцати, в синем коротеньком халате, перехваченном пояском. Она несла перед собой таз, в котором плескивалась вода, из таза свисал конец тряпки — армейских лияных брюк.

Буфетчик что-то сказал ей по-татарски. Она остановилась, узкие темные глаза уставились на Алексея... Она облизнула пухлые длинные губы и покраснела. Потом опустила таз на пол, пошла к двери и закрыла ее на железный крюк.

— Дочка моя,— сказал буфетчик, робко улыбнувшись Алексею.— Комиссий придет, пол не чисто, ругать будет. Такой дохтур — собака! Плохой человек.

Микола, тяжело повернувшись на скрипучем венском стуле, смотрел на татарку. Сдвинув подкрашенные брови, она стояла у двери.

— Шо, красивая, солдат не бачила? — сказал Микола, стряхивая пепел с папиросы на сапог.

Татарка улыбнулась. У нее были ровные белоснежные зубы. Она молча подошла к тазу, нагнулась, стала выкручивать тряпку.

— Не пугай маленькую,— сказал Володька.

— Це така малєнька, шо... Мовчить, а чего вона мовчить, га?
 — Закуси колбаской, Колька,— сказал Алексей.
 — Отчепись. Я еще на строевой смотр могу. Як твое нмячко, чер-
 нобрива?

Татарка выпрямилась, легко пробежала к буфетной стойке из некра-
 шеной фанеры, неся перед собой тряпку, бросила ее на пол...

Володька стал выводить вилкой по клеенке загогулины. Бледное,
 в каплях пота лицо Алексея улыбалось. Микола, все сидевший на стуле
 боком, вдруг выругался шепотом.

— Говорыть з нами не хочет, га? За що мы воюем, га?..

Буфетчик вздохнул, улыбаясь виновато, и ушел в узенькую дверь
 за стойкой.

— Поешь колбаски, вояка.— Алексей усмехнулся.

— Геть... Я тэбе спрашиваю, чуешь?

Микола тяжело встал, пошел к татарке. Она выкручивала тряпку,
 стоя спиной к Миколу. Крутой бок ее, стянутый сатином, горел на солн-
 це синим огнем. Микола протянул руку и положил ладонь на этот огонь.

Татарка глянула через плечо на Миколу. Он все не убирал руки.

— Колька,— сказал Алексей и бросил в спину Миколы спичечный
 коробок.

Татарка нагнулась, подняла коробок, подошла к столу, оставляя
 за собой маленькие сырые следы босых ног.

— Садись, барышня. Пива хочешь? — сказал Алексей.

Татарка положила коробок поверх пачки «беломора».

— Не люблю пьяный,— сказала она тонким, как у девочки, голо-
 сом.

— Ну и садись. Мы тверезые,— сказал Алексей, взял татарку за
 полную загорелую руку и притянул к краю стола.

Она улыбнулась насмешливо... Она была очень красива, эта узко-
 глазая татарочка. Микола у стойки опять выругался.

— С тобой,— сказала татарка.

— Ну, и хорошо.

Она легко села на стул Миколы, оглянулась, сказала негромко:

— А ты стой. Совсем пьяный.

Микола прижмурил черные глаза, подошел к столу. Татарка отпила
 из кружки Володьки. Посмотрела на него.

— Красивый.

— А я шо — не красивый? — сказал Микола надменно, покачивая
 коленками.

Татарка засмеялась. Алексей подал ей вилку с кружком колбасы.

— Девочка любит, да? — Она кивнула на Володьку.

— Никто меня не любит. И вообще, милостивая государыня, люб-
 ви нет.

Длинные пухлые губы татарки плотно сжались.

— Да? — сказала она, склоняя голову к плечу.

— Да, красавица.

— Я зову — обнять меня хочешь,— сказала она уверенно.

— Це я пиду,— сказал Микола.

— Как тебя звать-то? — Алексей засмеялся.

— Хочу — он спросит,— сказала татарка, глядя в лицо Володьки.

— Це характер,— сказал Микола.— От бог дасть кому жинку...

— Назовись, красавица,— сказал Володька.

Татарка усмехнулась. Взяла кружку, отпила.

— Я красивый. Иди. Хорошо будет.

— Видите ли, красавица...
— Он пойдет.— Татарка дернула уголком рта, показала глазами на Миколу.
— Уже готов.
Володька выпрямился.
— А я — не пойду.
— Его убили,— сказала татарка.— Три месяца. Был — нету. Киев убили. Гунар звать. Муж мой.
Длинные губы ее дрогнули...
— Пейте,— сказала она.— Все мужики сволочи. Но-ожки красивый, глаза тоже красивый, рука целует — красивый. Говорят. Правда.
Микола потер лицо обеими ладонями.
— Какой мне разница? — сказала татарка.— Герой возьму. Этот пьяный возьму. Ты, красивый. тоже. Он все равно не видит теперь.
Она поставила кружку на стол, поднялась.
— Я помою, пойдем,— сказала она, глядя на Миколу.— Я через улицу живу. Отец кричал, теперь не кричит. Я хочу плохой жизнь. Забор мазали деготь. Сегодня встала — гляжу. Правда.
Микола выругался...
Она мыла пол, а они сидели и смотрели на нее.

Мирва

На эту татарочку я смотрю, потому что пьян.
На Мирву я не смотрел. Мы стояли, отвернувшись друг от друга. И мимо меня на куст ольхи летел голубой сарафан. И она сразу бежала в воду, маленькая. Плеск, плеск, плеск... Там было мелко, песочек был, и она бежала, расплескивая теплую воду. А я стоял на месте и боялся смотреть ей вслед... Я знал, что из-под зеленых трусиков с красными лампасами при каждом ее шажке проглядывают полоски розового тела. Нет, они кажутся совсем белыми, эти полоски. Я их видел только один раз, когда Мирва стояла спиной ко мне, собираясь нырнуть с плота, и концы бревен медленно тонули под ее тяжестью. Мирва оглянулась. Она посмотрела на меня, улыбаясь, и вдруг что-то случилось с ее глазами. Они стали какими-то пустыми, словно их прикрыли шторой. Да, она поняла тогда, что я смотрел на эти белые полоски... Она так и не нырнула, попятилась на середину плота, потом села на корточки боком ко мне, съежилась, словно ей стало холодно... Я нечаянно взглянул на эти белые полоски. Так вышло. Но я же не мог сказать об этом Мирве... Я видел ее профиль. У маленького, очень маленького левого уха я увидел родинку. Раньше я не замечал ее.

Она медленно повернула ко мне лицо. Глаза ее были теперь совсем другие, мне показалось, что она смеется. Она не улыбалась, но мне казалось, что она смеется, и я не мог смотреть в эти смеющиеся голубые глаза, не мог — ткнулся лицом в свои кулаки. От них пахло водой. От бревен плота пробивался горьковатый душок прелого дерева. Я закрыл глаза, белая полоска была перед ними...

На мою спину вдруг плеснуло теплой водой. И еще, еще... Я не открывал глаз... Я вспомнил, как в тот вечер, когда мы в первый раз пили под березой молоко, Вадька Кирпичников сказал мне: «Открывай Америку, а уж я буду Америго Веспуччи... Ты глянь, какие у этой кисы ножки...» И я сидел и щипал травку, как последний идиот. Вадька сказал: «Плевать я хотел на мерехлюндию. Хочешь, с Зойкой из десятого рандеву тебе сварганю, интеллигентный мальчик? Будь здоров, вся

мерехлюндия из твоей светлой головы вылетит, Вовочка...» А если б сходить на это «рандеву»?..

Я поднял голову и посмотрел на Мирву. Она плеснула пригоршню воды мне в лицо, тихонько засмеялась... Потом опустила голову, посмотрела на свои ноги, пожалала плечиком. Она стала болтать ногами, плот покачивало...

— Красивое имя — Вла-ди-мир,— сказала Мирва и повернула лицо ко мне. Она не улыбалась. Мы смотрели друг другу в глаза. Мирва опять пожалала плечиком, опустила голову. Потом вдруг опять подняла ко мне лицо и медленно сказала:

— Я тебя люблю.

Я совсем растерялся, даже покраснел, кажется... И вдруг разозлился.

— Любишь? А что это такое — любить? Пустые слова. Это все ложь... Да, ложь! Ты знаешь, что мне сказала сегодня Настасья? Мирва, перестань улыбаться, прошу тебя! Ты бы послушала, что сказала Настасья...

— Я знаю,— тихо сказала Мирва.— Она дура.

— Она... сказала тебе?

— Я ей тоже сказала...

— Мирва!

— Я сказала, что у меня уже было сто мальчиков.

— Мирва, перестань смеяться!

— Вы дураки, мальчишки. Мы все про вас знаем. Все-все-все. Ну?

— Мирва...

— Я знаю, что тебе приятно смотреть на меня. И мне гоже, когда ты смотришь. Ну и что? Ты мне два раза снился. Я плакала, а ты снова приснился... Вот бы мамка узнала!..— Она засмеялась.

Она смотрела мне в глаза и смеялась. Я был как раздавленный щенок.

— Тебе Зойка нравилась?.. Я знаю про Зойку. Девчонки мне столько про тебя наговорили-и...

— Перестань, Мирва... Ну, перестань.

— А я не боюсь тебя. Если тебе хочется смотреть на меня — смотри. Какая все это ерунда, Володенька... Я же знаю, что ты мне не сделаешь плохо. Я это чувствую. И когда ты вошел тогда в школу, я сразу почувствовала это. Да, Володенька. Просто у нас с тобой — все правда. А с Зойкой — нет. А у нас — правда. Я люблю тебя. Я не знаю, как любят, а я люблю. Я люблю тебя. Зачем ты смотришь... так? Ты дурачок.

Мирва опять плеснула мне в лицо пригоршню воды...

Правда... А я не знаю, что такое правда. Я пьян. Нет, просто от этого пива. Мне страшно. Если б была Мирва. А ее нет, Мирвы. И Микола плевать хотел на правду. Он пойдет с этой татарочкой. Пойдет... Конечно, пойдет Микола.

Нет, Мирва не знала правды. Разве есть правда, которая касается только двоих?.. Зойка — вот правда. И эта татарочка с длинными губами — тоже правда. И Нелька со своим летчиком — правда. И проклятая немка — правда. Она и не думает уходить от меня. Каждый ловчит, как умеет. Золотозубая таскается со своей машинкой. А Микола сейчас пойдет с этой татаркой. Алеша не в счет. Святой отец Алексей. К черту святого Алексея. Таким я никогда не буду. Я слишком много думаю о себе. Это, наверное, легче, чем думать о других. Ну и к черту, не собираюсь думать о других...

26

Алексей встал. Неторопливо простучал костылями по влажному полу.

— Хватит,— сказал он татарке.

Она выпрямилась, бросила тряпку в таз, медленно отерла руки изнанкой полы халата.

— Тихо пойдем,— сказала она, усмехнувшись.

— Добреду.

Микола вертел в руке вилку. Потом с силой всадил ее в стол.

Небо над Астраханью словно выгорело — солнце прокалило его до белесых пятен. А под небом, словно серая окалина, проступают на стенах облупины штукатурки, топорщатся почерневшие акации у обочин грязных тротуаров, трется в жидкой тени скопище беглецов со всей России...

Куда торопятся люди?

Пятый месяц не видно у людей неспешной походки.

Шаркают по семечковой шелухе тротуаров ноги старух, торопятся женские ноги, семят девчонки и мальчишки, уже устав задира к материным и бабкиным лицам нелюбопытные глаза.

Бегут по астраханским тротуарам одесситки, гомельчанки, ленинградки, минчанки, киевлянки, новгородки и те, у кого в сумках и чемоданах, в баулах и корзинах, а то понадежнее — в тряпочке у сердца — лежат паспорта с пропиской городов и полустанков без всякой славы на Руси...

— Стать бы уж на место, господи...

Володька бредет, сунув руки в карманы пиджака. Эти слова о «месте» заменяют сейчас женщинам все слова, даже те, которые они говорят, наверное, сами себе, когда на Астрахань падает ночь...

Он не знает, почему четвертый час носит его толпа то к кассам пристаней, то к пункту регистрации эвакуированных, то к очереди в продпункт, то просто кружит по пыльным улицам и переулкам. Если бы увидеть хоть одно лицо, смотреть на которое — счастье...

27

В зале пристанского агитпункта негромко похрипывал репродуктор. Было душно.

Микола притащил узел с бельем, стал бережно, слишком бережно пристраивать его сверху чемоданов Анны Евстафьевны: уминал, попикивал кулаком в пухлый бок узла... Не глядя на Анну Евстафьевну — та, сидя рядом с Нелли Константиновной и Мартой на длинном деревянном диване, молча улыбалась,— отошел к дивану напротив и завалился спать, сняв пыльные сапоги и аккуратно набросив портянки на голенища.

— Коленька, где же ты приятелей потерял? — сказала Анна Евстафьевна, но Микола промолчал.

Обиделся Микола на приятелей. Цуценя Вовчик пошел куда-то Алешка — тоже хорош, увел татарочку, черт одноногий. Тоже мне герой. Если ты герой, то и живи по положению. В глаза товарищу наплевать можешь, если ты герой, да? А ну вас всех к бисовой маме...

Заложив руки за спину и горбясь очень похоже на старшего брата, Олежа похаживал возле скамьи, где похрапывал под фуражкой Микола. Иногда он останавливался и, покачивая коленками, смотрел на Миколу.

— Цуценя.

Потом он подошел к концу длинного стола, за которым Игорь и дневальный по агитпункту, пожилой боец в новенькой пилотке, играли в шашки.

— Цуценья,— сказал Олежка, покачивая коленками.— Будет же вторая дамка у дяди!

— Мам, я ему... мам! — закричал, оглядываясь на мать, Игорь.

— Олег, перестань,— сказала Анна Евстафьевна.— Иди на крылечко, посмотри на пароходы.

— Дядя! Мой же ход! Дядя, мой же! — закричал Игорь, ерзая по скамье.

Нелли Константиновна засмеялась.

— Надо купить молодым людям мороженое, иначе они не остынут.

— Господи, скорей бы мы к Павлу добрались, сил моих нет,— сказала Анна Евстафьевна.

Она подняла руки, пощупала волосы.

— Высохли. На улицу выйти, дышать здесь нечем. Неленька, к коменданту не пора?

— Через полчаса Колю разбудим. Устал, бедненький, всех друзей потерял...

Анна Евстафьевна протянула руку к голове Марты, погладила светлую челочку.

— Гущина какая, ужас. Ну, не смотри на меня так, дурочка... Ты очень хорошая девочка, Машенька. Только нельзя быть такой гордой. Ты посмотри на Володьку — тень из-за тебя стал, а ты даже не улыбнешься ему. Вот бог послал мне невестушку,— засмеялась она.— Очи як небо, только сердце як камень... Ну не сердись, не сердись. Я же люблю тебя, глупая... Приедем в Ереван, заживем — всем врагам на зависть. Володька же добрый, ты не бойся его...

— Дядя! Мой же, мой же ход! — закричал Игорь.— Мне ходить, дядя!

— Цуценья,— сказал Олежка.

— Господи, не доедем мы,— сказала Анна Евстафьевна.— С ума меня сведут эти байстрюки. Только один у меня ангелочек — Марийка...

Марта посмотрела на Анну Евстафьевну, лицо ее дрогнуло.

— Я... Я не могу ехать с вами, Анна Евстафьевна. Простите меня...

Марта прижала ладонь ко лбу.

— Перестань, Маша,— сказала Нелли Константиновна.

Марта все терла лоб узкой ладонью, потом встала.

— Мне плохо... извините.

Желтые ботики Марты неслышно пробежали по красной ковровой дорожке к двери. Олежка испуганно попятился.

— Мария! — крикнула Анна Евстафьевна.

— Вот дикая дурочка.— Нелли Константиновна неуверенно засмеялась.— Пойду погляжу. Вот дикая.

Нелли Константиновна вышла на крыльцо, огляделась. Маши нигде не было видно. Нет, не Маши. Марты. Марта Оберхоф, вот как зовут эту девочку. Она сама сказала ей это сегодня. Сама. Она совсем не дикая, она очень хорошая девочка, эта Марта Оберхоф. Просто она гордая. Анна Евстафьевна сама не знает, как верно она сказала о ней сейчас. Хорошая гордая девочка.

Нелли

Она тоже была когда-то гордая. Как же — дочь комбрига, море по колено, никто пальцем не тронет... Пока не допрыгалась... Жена майора Лемешко. Девчонки поздравляли, завидовали, а она... что ей оставалось

делать? Самую себя пыталась уверить, что счастлива... Счастливая жена майора Лемешко...

Зачем она едет к нему? Ведь она же не верит ему. Она же презирает его.

Нет, не лги себе. Ты его не презираешь. Ты его боишься... Ты всегда боялась его. И в тот вечер боялась... Он целовал тебя, а ты думала о том, какие жесткие у него губы, и боялась смотреть ему в глаза...

А потом был этот вечер... Они сидели с Павлом в начале стола, прямо напротив отца, и поднялись вместе со всеми. Остроносые сапоги командующего поскрипывали. Этот скрип был единственным звуком в зале после того, как за длинным банкетным столом поднялись и застыли люди.

Она помнит, как рука мужа стиснула ее запястье. Она смотрела на широкую спину отца, торопливо шагавшего по красной ковровой дорожке навстречу командующему, на его густо побагровевшую шею и чувствовала, как дрожит рука мужа...

— Товарищ генерал! Командный состав и члены семей вверенного мне соединения по случаю дня Восьмого марта имеют честь...

Командующий, не останавливаясь, провел ладонью по глазам.

— Константин Васильевич, голубчик, строевой смотр уже был,— сказал он глуховатым голосом.

Он был молод, гораздо моложе отца. Белые зубы резко прорисовались на его смуглом сухом лице.

В огромном фойе бригадного клуба сразу стало празднично-шумно...

Командующий сел рядом с отцом. Темные, без блеска глаза под квадратным пенсне внимательно посмотрели на нее...

— Анатолий Павлович... вот... товарищи супруги ходатайство возбуждают, просят вас сказать...

Она не смотрела на отца, но знала, что тот краснеет. Всегда, когда отец волнуется, краснеет, как мальчишка.

Командующий улыбнулся, опять взглянул на Нелли.

— Речь?..

— Вот... женщины, беда с ними...

Командующий поднялся. Зал сразу утих. Звякнула чья-то вилка. Лемешко опять взял в руку ее запястье, ей стало почему-то противно, и она выдернула руку...

Командующий любил говорить. Нелли посмотрела на красное, потное лицо отца. Он улыбался.

— ...За верную службу нашей партии, нашему Сталину, товарищи, я поднимаю этот бокал,— закончил командующий.

Кричали лейтенанты. Мать старшего лейтенанта Давыдова, маленькая старуха, подошла к командующему, слезы мешали ей говорить, он обнял старуху. Нелли взглянула на мужа — тот стоял вытянувшись и не отрываясь смотрел на командующего. Подбородок его дрожал. Она вдруг засмеялась и быстро обернулась к командующему.

— Я хочу выпить с вами, товарищ генерал! — сказала она звонко, протягивая через стол руку с бокалом.

— Ваше здоровье, дорогая,— сказал командующий и приподнял бокал.

— Полный, Анатолий Павлович! Полный, пожалуйста! — потребовала она, и стоявший за стулом командующего подполковник торопливо долил вина в бокал генерала.

— Казанцы хотят вывести меня из строя,— сказал командующий, и его темные глаза под стеклышками пенсне опять встретились с глазами Нелли.

— Дочка моя, товарищ генерал,— сказал отец, утирая лицо платком. Он был очень счастлив сейчас, отец...

— Очень хорошо, очень,— сказал командующий, пригубил бокал и поставил.— Константин Васильевич, позволь согрешить гостю?.. Мы выпьем православной, пожалуй...

Он стал пить водку маленькими глотками, она засмеялась и вдруг поймала на себе взгляд мужа — какой-то странный, словно оценивающий. И потом, когда она подошла к командующему и пригласила его танцевать и он неторопливо повел ее в вальсе (в зале было тесно от танцующих, но их постоянно окружало свободное шага на четыре пространства), она тоже все время чувствовала на себе этот странный, подбадривающий взгляд.

А на следующий день в их квартире раздался звонок. Было уже поздно. Лемешко зажег свет, набросил на плечи длинный монгольский халат.

— Кто?

— Подполковник Лямин.

Подполковник Лямин прямо с порога подмигнул Нелли, свернувшись калачиком на постели, засмеялся беззаботно, протянул руку хозяину.

— Незванный гость хуже Ежова,— сказал он. Фуражка подполковника была сдвинута на затылок, шинель распахнута. Подполковник был молод — лет двадцати семи, как Лемешко.— Штопор есть? — Лямин достал из кармана шинели длинную темную бутылку.— Ну-с, комиссар... Хорошую весть тебе принес — давай выпьем!

Лемешко опустил глаза. Лицо у него было счастливое. Он вытер ладонью взмокший лоб.

— А мне стоит пить? — сказала она насмешливо.

— О! — сказал с обидой Лямин.

Он снова наполнил рюмки. У Лемешко ходили на скулах желваки. Он взял с ночного столика пепельницу, поставил рядом с бутылкой. Лямин посмотрел на Нелли.

— Курите,— сказала она.

— Утром будет шифровка,— сказал Лямин и раскрыл белую коробку папирос. Протянул Павлу.

Лемешко взял длинную папиросу. Она дрожала в его руке.

Лямин взглянул на Нелли, улыбнулся. Глаза у него были совсем трезвые. Он посмотрел на Лемешко.

— Завтра летишь в Тбилиси. Ты и майор Коробов. Будешь заместителем начальника политотдела дивизии. Э, не надо расстраиваться. Не заместителем по комсомолу, а первым заместителем. Ты понравился...

Лемешко опустил глаза. Его лицо было совсем мокрым. Господи, как он был счастлив, она видела...

— Хозяину представишься в десять. Я заеду сюда.

— Спасибо, Арсений Николаевич...

— Э, я маленький человек,— сказал Лямин, снимая такое же, как у шефа, пенсне.— Дай водички холодненькой, пожалуйста...

Лемешко пошел в кухню, стараясь не шаркать коврами тупфлями без задников.

Лямин склонился к ней.

— Вы молодец, Нелли Константиновна,— сказал он.— Хозяин просил передать вам привет. Он хотел, чтобы вы показали ему ваш миленький город, но, к сожалению, только что звонили из Москвы, мы утром улетаем.. Он надеется, что в следующий раз... Очень жаль, что мы уезжаем. Очень жаль...

Вошел Павел. Она растерянно посмотрела на него... Он отвел глаза, подошел к Лямину, протянул стакан.

— Пожалуйста, Арсений Николаевич...

С моря дул теплый ветер. Нелли Константиновна вытерла глаза. Она никому не рассказывала об этом. Никому. Даже Петру. Она боялась. Она все время боялась. Павел уехал на следующий день, и она все время ждала чего-то страшного. Порой ей казалось, что все это сон, что она все выдумала, но она опять вспоминала последние слова Лямина...

А потом началась война и она перестала бояться. Мать ругала ее, заставляла ехать к мужу, а она отговаривалась, откладывала... Ей было так хорошо с Петром. И вдруг эта телеграмма — о приезде командующего... Петр не уговаривал ее. «Решай сама, Неленька», — сказал он. А она ничего не могла ему сказать... Ничего. На следующее утро она согласилась ехать с Анной Евстафьевной...

Нелли Константиновна опять вспомнила лицо мужа — тогда, на банкете, и потом ночью, когда пришел Лямин, и заплакала, прижав к лицу ладони. Кольцо на безымянном пальце царапнуло кожу. Нелли Константиновна поднесла ладонь к глазам и стала снимать кольцо...

28

Анна Евстафьевна увидела сына. Он шел от дверей, медленно переступая пыльными ботинками. Небрежно-уверенным, мужским жестом тронул за плечо какую-то старушку в синем пальто, освобождая себе дорогу, рассеянно улыбнулся.

Сидевший рядом с Анной Евстафьевной Алексей переглянулся с Миколой.

— Прибыл в ваше распоряжение, товарищ мама, — сказал Володька хрипловатым голосом. — Как в смысле похарчиться, мам?.. Привет воинству!

Он сел рядом с матерью, вытянул ноги.

Анна Евстафьевна смотрела на загорелое лицо сына и никак не могла понять — что же беспокоит ее? Володька скосил глаза на мать, медленно улыбнулся.

— Честное слово, я еще жив, мам, — сказал он с незнакомой интонацией в голосе, легкая хрипотинка делала этот голос непривычно уверенным.

Анна Евстафьевна опустила глаза.

— Где ты...

— Кругом Астрахани бегал, а? — усмехнулся Алексей.

Володька молча улыбнулся, опять зашуршал в сумке.

— Володенька... Маша ушла, — сказала мать.

Володька посмотрел на мать. Бросил колбасу в сумку, медленно выпрямился.

— Куда ушла? — спросил он.

— Не знаю. Ушла. Еще в обед... Неля ее догнала, но...

— Надо найти, — тихо сказал Володька. — Она же без документов. Мама! Она же пропадет, идиотка... Она же...

Анна Евстафьевна смотрела почему-то не на сына — на Алексея...

— Девчонка тихая, — сказал Алексей, кашлянув.

— Та пошукаем трохи. — Микола шевельнулся на чемодане и поправил фуражку.

Анна Евстафьевна слабо улыбнулась.

Володька вздохнул. Шагнул к матери, поцеловал ее в висок.

— Выходи строиться,— сказал он смущенно, и мать увидела в его глазах такое привычное мальчишеское виноватое выражение. Он вернулся к сумке, отломил кусок колбасы и сунул в карман.

— Поел бы, Володенька... Ты же с утра...

— Ладно, мам. Алеша, нужен твой авторитет!

— Разменял двадцаточку-то небось?

— Цела!

— Поставишь бутылочку нам с ефрейтором. Коля, выручим кавалера, авось на свадьбу званы будем...

Ударила, ударила по концу доски та, в белом платье с алыми вишенками... Воспоминание о девчонке, так неожиданно пришедшее к Володьке тогда на барже, настигло его и сейчас...

И все эта проклятая немка... Она доверилась ему, а он — трус.

Да, трус. Ты струсил в Казани, когда смотрел на старика в золотых очках. И потом ты все время трусил. Ты боялся даже посмотреть на эту немку. Ты же рад, что она ушла, рад, рад... Теперь ты чист. Теперь тебе можно не бояться... Но какой, к дьяволу, она враг! Она просто девчонка. Она немка, но она — девчонка. Я должен найти ее, проклятую. Пусть мне оторвут голову, но я должен найти ее. Мама ничего не знает, и никто не знает. Знаю только я. Это мое дело. Мне поверил Фалк Шлемович, поверил, что я — человек... В Казани я струсил — хватит. Теперь я должен найти эту девчонку. И я найду ее, хоть бы мне пришлось остаться здесь одному...

В синих кругах света от цепочки фонарей на столбах, окружавших сквер перед павильоном касс, безлико толпилось людское месиво. Тяжело передвигая зачугуневшие от усталости ноги, Володька пробирался сквозь толпу, стараясь не упустить из глаз светлое пятно фуражки Микола. Рядом глухо постукивали по асфальту костыли Алексея, и почему-то от этого размеренного звука Володька почувствовал странное успокоение. Оно было неожиданным. Оно не должно было прийти сейчас...

Володька запнулся за край выбоины в асфальте. Его шатало. Зажмурясь, он ткнулся в плечо Алексея, попытался, стукнулся ногой о перекладину ограды цветника... Он упал бы, но Алексей успел ухватить его за лацкан пиджака, тряхнул.

— Вовка!

Володька оседал. Его подхватил Микола.

— Пустите... тошнит...

— Вовчик... От же цуценья,— бормотал Микола жалостливым бабьим голосом, похлопывая сидевшего на корточках спиной к ограде Володьку.— Як с ума хлопце зийшов...

— Пошел... к черту...— едва слышно проговорил Володька. Ему стало легче. Он сел на перекладину ограды. Позванивало в голове, но горький ком в горле растаял.

— Ой, бедненький,— сказал Алексей.

— Шо ты к хлопцу привязався? — сердито сказал Микола.— Гатарку свою жалей, кобеляка! Ну, шо. Вовчик? Ну, шо? Це ты ковбаски рубанул с голодухи, зараз ось воно и...

— А ты сволочь, Колька, оказывается,— усмехаясь, сказал Алексей. Микола озлился.

— А ты не матюкайся! Ты мне, Алешка, душу перекусив, ей-бо!

— Вот я и говорю — сволочь.— Алексей нахмурился, сел рядом с Володькой.— Разрисовать бы тебе морду, как тому художнику...

— Якому ще художнику?

— А тому самому, что дегтем баловался... Хорошо разрисовал — морда здоровая... На броне отсидивается, подлец... Эх, Колька, за кого ты меня считаешь, а?

— Та шо я тоби?! Я шо кажу? Шо ты чепляешься до мене... Чи шуток ты не понимаешь, га?

Алексей засмеялся.

— На, гляди, хохол...

Микола чиркнул спичку, стал вместе с Володькой рассматривать маленькую фотографию. Проступила крепкая фигурка в цветастом платье с белым пояском. Татарка стояла у лодки, глаза были узкие — шурилась от солнца...

На обороте чернилами, старательным почерком с неловкими завитками было написано: «Брату Алеши от Аольфие. Надолгую память. 29 октеб. 41 года».

Володька все держал фотографию.

— Коля, пожалуйста, оставь нас на минутку... — тихо сказал он. — Пожалуйста, Коля...

Микола отшвырнул окурочок.

— Шо ж, колы... — И не договорил, отошел.

Володька повернул голову к Алексею.

— Алеша...

— Ну? Зачем Кольку попер?

— Алеша... Я должен... Понимаешь, Алеша, я должен сказать...

— Да ты не крути...

— Нет, ничего...

Володька провел ладонью по глазам.

— Ну и хорош! — Алексей засмеялся. — Ну посиди чуток, ладно.

Он встал.

— Колька! Эй, хохол, где присох?

Володька сидел, уткнувшись головой в колени...

29

Нелли Константиновна осторожно отодвинула к спинке скамьи ноги спавшего Игорька — в пыльных ботинках с ободранными до белизны носками.

Она сидела, не сутулясь, словно что-то мешало ей расслабить усталое тело. Потом расстегнула пальто, потуже затянула поясok желтого вельветового платья и посмотрела на Анну Евстафьевну, прилегшую боком к узлу из одеяла.

— Анна Евстафьевна... Почему вы ничего не говорите мне?

Нелли Константиновна видела, как дрогнули ресницы серых глаз, и вдруг почувствовала какую-то сладкую злость к этой красивой и сдержанной женщине с крепкой по-девичьи грудью, круто поднимавшей зеленую шерсть платья...

— Почему вы не говорите мне? Почему? — очень тихо повторила Нелли Константиновна. — Вы давно знаете, все знаете... Я слышала ваши шаги тогда, в Казани... Вы не ложились всю ночь... Я не могу больше... Я не поеду к нему. Я не могу ехать...

Анна Евстафьевна приподнялась на локте.

— Иди ко мне. Сядь. — Она отодвинулась к спинке скамьи. — Сядь, девочка.

Нелли Константиновна зажмурилась, спрятала лицо в ладони.

— Я с ума сойду... Я не могу больше...

Рука Анны Евстафьевны дотянулась до колена Нелли Константиновны.

Нелли Константиновна потеряла лицо рукавом пальто.

— Я дура... Я себя проклиная, дура проклятая...

Анна Евстафьевна села. Поправила привычным движением рук узел каштановых волос на затылке. Посмотрела в лицо Нелли Константиновны.

Нелли Константиновна достала платок, вытерла мокрые щеки и вдруг опять заплакала, уронив руки. Она смотрела на Анну Евстафьевну и плакала.

— Ну, успокойся, Нелли, не надо,— сказала Анна Евстафьевна и погладила ее тихонько по руке.— Не надо, Нелля. Ну, я же все знаю. Я же видела, как ты ночью гладила его рубашку... На кухне. Когда Володя уехал в колхоз. Ну, не надо, слышишь? А то будет дочка ревушкой... Ну, Неленька... Я же все вижу...

Нелли Константиновна вытерла глаза, растерянно посмотрела на Анну Евстафьевну и, покраснев, смущенно оправила поясок платья. Потом она взяла маленькую загорелую ладонь Игорька, свесившуюся со скамьи, и положила ее себе на колени.

— Мне надо вернуться, Анна Евстафьевна.

— Ну и правильно. Не реви.

— Я не реву...

— Записочку напишу Зотовой. Передашь?

Нелли Константиновна опустила глаза.

— Передам, Анна Евстафьевна.

— Ну вот и ладно. Дурочка, я же говорила с ним. Ты спала, он вышел на кухню...

— Я... я так боялась вас,— слабо улыбнулась Нелли Константиновна.

— Он у тебя славный, ты ничего не понимаешь, девчонка... Бить тебя некому. Хорошей-хорошей палкой... Я его чаем угостила. Хотела сначала просто уйти молча, но он подошел и говорит: «Анна Евстафьевна, напоите меня чаем... Потом можете ругать. Только я люблю Нелю. Меня зовут Петром. Петр Кирин...»

— Ой, как я хочу в Казань,— сказала Нелли Константиновна и поцеловала ладонь Игорька.

Анна Евстафьевна засмеялась.

— Господи, какая ты еще девчонка, Нелля...

В длинном узком зале несколькими хвостами перепутались очереди к воинским кассам.

Нелли Константиновна пробралась к окошку помощника коменданта. Здесь стояла пожилая женщина в светлом габардиновом плаще и, разложив на полочке какие-то бумажки, растерянно перебирала их давно не мытыми худыми пальцами.

— Извините,— сказала Нелли Константиновна, и женщина торопливо сдвинула свои бумажки к краю полочки.

Нелли Константиновна заглянула в ярко освещенное окошечко.

Старший лейтенант с синими петлицами скущающе посмотрел на ее лицо, потом у него дрогнули подбритые рыжие брови.

Нелли Константиновна улыбнулась.

— Товарищ старший лейтенант, мне нужна ваша помощь. Мне надо вернуться в Казань.

— Да?

Старший лейтенант оттянул пальцем тугой воротник гимнастерки, широкое рябоватое лицо его покраснело. Он покрутил зачем-то блестящую никелированную крышечку на чернильнице.

— Если в моих возможностях...

— Мой муж — политрабoтник. Я ехала к нему в Ереван. Но, понимаете, я узнала...

— Документики позвольте, если вам нетрудно, — улыбаясь чуточку снисходительно, сказал старший лейтенант. — Боюсь, вы не жена политрабoтника... Вы не ошиблись? Вы не дочка политрабoтника?

Нелли Константиновне пришлось улыбнуться... Но она промолчала, протянула документы, и старший лейтенант взял их, оставив мизинец с длинным острым ногтем.

— Супруг политрабoтников мы не обижаем.

— А других обижаете? — не удержалась Нелли Константиновна.

— Ни в коем случае... Нелли Константиновна.

Старший лейтенант, прихмутив брови, задумчиво помаргивая, прочел паспорт от корки до корки, долго рассматривал отметку о браке...

— Ах, молодежь, молодежь... Что же, прикажете организовать вам билетик, Нелли Константиновна?

— Покорнейше прошу.

— На Казань в ноль пятнадцать «Крылов» отваливает. Это вам удобно?... Можно и утречком, на «Лермонтова».

— Лучше на «Крылова», пожалуйста.

— Утром я мог бы посодействовать лично...

— У меня один чемоданчик, благодарю вас.

Вздохнув, старший лейтенант вывел чернилами поверх слова «Махачкала» на голубоватом листке воинского требования слово «Казань». Еще что-то написал наискось требования, потом долго дышал на круглую печать, притиснул ее поверх своей росписи. Сказал удовлетворенно:

— Я лично обожаю супруг комиссаров. Прошу, дорогая Нелли Константиновна... Да, минуточку!

Он быстро написал несколько слов на листке, выданном из полевой командирской книжки, и, встав, протянул его в окошечко.

— Частного порядка. Покажете помощнику капитана. Золотой мужик. Обеспечит. А билетик — в седьмом окошечке, Нелли Константиновна, отсюда — налево.

— Благодарю вас.

Подбритые брови старшего лейтенанта поднялись, он вздохнул. Он был явно недоволен собой. Нужно быть шляпой, чтобы упустить такое приятное знакомство с молоденькой комиссаршей... Тут с ума сойдешь от этих старушечьих и бабьих лиц, что лезут в окошко целых двенадцать часов дежурства...

Нелли Константиновна неторопливо пошла к седьмой кассе.

— Тетка, не могу, — услышала она за спиной голос старшего лейтенанта. — Я не господь-бог, у меня ответственность. Ясно?

Нелли Константиновна оглянулась. Голова старшего лейтенанта резко выступала в ярком квадрате окошечка. По спине женщины в гардиновом плаще было понятно, что женщина плачет.

Нелли Константиновна вернулась. Старший лейтенант смотрел на нее. Потом оттянул пальцем тугий воротник, откинулся к спинке стула.

— Я вас очень прошу, товарищ старший лейтенант... Очень. Помогите женщине, — тихо проговорила Нелли Константиновна. И, чувствуя, что щекам становится жарко, сказала тем, таким ненавистным сейчас голосом, которым когда-то говорила с человеком в квадратном пенсне: — Я очень сожалею, что не могу ждать до утра... Не судьба, что поделаться...

Рука старшего лейтенанта потянулась к окошечку.

— Ах, эти супруги комиссаров! — сказал он.

Алексей пил квас у ларька.

— Алеша!

Он оглянулся, напряженно всматриваясь в тьму. Пламя коптилки, стоявшей на прилавке ларька, едва освещало его лицо.

Нелли Константиновна взяла его за левый локоть, засмеялась.

— Мне сейчас так везет, Алеша... Вот сейчас думала о тебе, а ты — вот!

— Кваску не желаешь?

— Пить хочу — ой!

Она пила квас из поллитровой банки, держа ее по-детски обеими руками. Потом ладонью отерла губы. При свете коптилки ее лицо казалось совсем девчоночьим.

— Алеша... Нет, идем. Мне очень надо.

Они отошли от ларька к столбу, остановились в синем кругу света.

Нелли Константиновна потрогала пальцем левый костыль Алексея, подняла лицо.

— Алеша... Нашли ее?

— Нет куда. Сыщем, не иголка. Я в оперпункте толковал, там парни дошлые.

Нелли Константиновна вздохнула.

— Алеша... Не знаю, может быть...

— Не крути, Константиновна,— усмехнулся Алексей.— Володька тут обеспамятел было, чертенюк.

— Алеша... эта девочка... Понимаешь, она мне сама сказала... Она немка.

Господи, как долго прикуривает Алексей... У Нелли Константиновны прошел по спине холодок.

— Крепко,— проговорил Алексей, взглядываясь в лицо Нелли Константиновны.

— Алеша... Я знаю, ты меня... ну... не уважаешь. Пусть. Я сама знаю, что я дрянь, Алеша.

— Не мели ты, бога ради.

— Алешенька, не надо обо мне... Эта девочка... Володя и Фалк Шлемович... Она мне рассказала сегодня. Ее зовут Марта Оберхоф. Ну, почему ты молчишь? Алеша!

Алексей выпрямился, приподняв плечи, высвободил костыли.

Нелли Константиновна подступила к нему, взяла за локти. Ее трясло ознобом.

— Алеша... Я уезжаю. Я билет взяла. В Казань. Так случилось, понимаешь... Спаси девочку, Алешенька...

Она плакала. Теплые волосы прижались к щеке Алексея. Ее трясло все сильнее.

— Упаду... Погоди, Неля,— глухо сказал Алексей.

Она отшатнулась. Потом обхватила Алексея и, покуда он не приладил костыли, крепко держала его.

— Алеша... Извини меня. Я боюсь...

— Анна Евстафьевна знает?

Она покачала головой. Лицо ее было виноватым.

— До уголка проводишь, Неля?... Нога у меня, понимаешь...

Нелли Константиновна растерянно посмотрела на него, потом вдруг обхватила его шею руками и неловко поцеловала в щеку.

По белому потолку каюты плывут голубоватые пятна. Они медленно подвигаются справа налево и тают на коричневом линолеуме переборки. А огненный серпик над дверью стоит неподвижно. Это отблеск медной рамы иллюминатора.

Наверное, скоро и Махачкала. Еще очень рано. Шхуну слегка покачивало.

Володька осторожно поворачивает на подушке голову. Миколы уже нет. На диване спит Марта. Щека у нее совсем розовая. Лежащая рядом с Мартой мать обняла ее полной рукой.

Вчера утром пришел Алексей. Он был весь какой-то непривычный. На нем топорщилась новая зеленая гимнастерка, на малиновых петлицах — по красному эмалевому кубуку. Над левым карманом — Золотая Звезда, а чуть пониже — орден с профилем Ленина. Красноармейцы, сидевшие на скамьях агитпункта, торопливо поднялись.

— Садитесь, садитесь, товарищи, — сказал Алексей негромко.

Володька робко улыбнулся ему. Микола, сидевший без ремня на чемодане, достал из кармана шинели ремень, затянулся...

— Здравствуйте, Анна Евстафьевна, — сказал Алексей. — Пропажу будете искать?

Анна Евстафьевна не спала эту ночь. Она проводила Нелли Константиновну, потом сидела за столом, бесцельно листала какие-то брошюры...

— Надо искать, — тихо ответила она. — Посидите, Алексей Никифорович...

Микола кашлянул. Он был явно обижен тем, что Алексей даже не протянул ему руки.

Алексей посмотрел на Володьку, нахмурился.

— Вот какое дело... — Он отвел глаза от Володьки. — Я могу при себе Машу оставить. Как-нибудь прокормлю. Только она ведь не захочет... Подвинься, Коля, чуток.

Присев рядом с Миколой, Алексей молча достал пачку папирос «казбек», протянул Миколу.

— Та спасибо, я вже махорочки...

Алексей усмехнулся.

— Вот какое дело, Анна Евстафьевна... Уговорите ее, а?

— Сначала надо найти, — хмуро сказал Володька.

— Она на барже. У шкиперши. Упросила ее оставить у себя. Только что встретил шкипершу, та и рассказала...

Володька смотрел на мать. Глаза у него блстели. Он потер кулаком вдруг пересохшие губы. Лицо матери было спокойным. Она улыбнулась.

— Ну, конечно, уговорю. Идите скорей.

Володька шел рядом с Алексеем. Миколу они не взяли с собой — надо было получать хлеб на продпункте, вечером хлеба не хватало. До третьего причала, где стояла баржа, было с полкилометра.

— Погоди, Володь... Ух, зараза, всю стер!

Володька посмотрел на бледное лицо Алексея.

— Нога, Алеша?

— Терпенья нет, понимаешь. Утром едва бинт оторвал. Посижу чуток, а? Успеем.

Алексей подошел к пыльному бревну, валявшемуся рядом с забором из горбыля в мазутных пятнах, присел, вытянул ногу.

— Алеша, я один схожу. Посиди.

— Сейчас... Может, не пойдет еще дурочка. Она ведь норовистая... Марта Оберхоф.

— Тебе... она сказала? — выдохнул Володька.

— Не заслужил.— Алексей засмеялся.— Это тебе отрапортовала бы... Мне Неля сказала. Нелька-то, кажись, золотая девка. Я поперва думал — просто стерва сытенная. Да-а, мудрено дело — человек...

Володька рыл каблуком ботинка ямку в грязном песке.

— Володька, ты, брат, смотри... Если с собой возьмете, шутки тут не придется шутить. Матери сказать — и думать нечего, понял? Это дело мужицкое. С батькой решать придется. Если узнают, тебе, может, и обойдется, а отцу... Тут ручаться нельзя. Да ты не расстраивайся... девка-то, кажись, не рябая?

Володька потер нос кулаком, отвернулся.

— Зацапают дурочку... Эх, жизнь сволочная — подперла нас, а, брат Вовка?

— Алеша... скажи... ну, такая девчонка... ну, что? Ну, что она?

Володькины мокрые глаза смотрели в лицо друга.

— До Берлина дойдем — оттуда видней будет... Сам понимать должен... Моя б власть... Я в жмурки играть не умею, не приучен, а с твоей девчухой, видишь, какая слякоть выходит? Тебе, парнишке, спуск еще можно дать, а мне?... Так выходит, будь она неладна, твоя королевна... Да ты не обижайся, чудак. Там видно будет, как войну пошабашим. Получит твоя зазноба паспорт «Советская Германская республика» — и делов всех! Кати с ней хоть в Берлин, хоть в Ереван — дорога свободная, а? — Алексей засмеялся.— На свадьбу позовешь?..

— Да ну тебя!

— И за что последнюю ногу доламываю?

— Сиди, Алеша. Я один.

— Ну, жми.

32

Микола сидел на низком длинном ящике у самого края верхней палубы.

Шхуна едва заметно покачивалась на утренней волне.

Впереди уже смутно белели дома Махачкалы. Перед ними угадывались глазом крошечные корбочки железнодорожных вагонов. Эшелон за эшелон медленно катились они — и все на юг...

«Тикают... Все тикают...» — подумал Микола, закрыл глаза.

Не спалось ему в душной каюте, выбрался сюда, на верхнюю палубу, полчаса назад, а тут вдруг потянуло в дрему...

Думалось о доме. Перед глазами встала сестра Софийка: Микола через плетень во двор перелез — с библиотекаршей Ганнусей прощался перед службой до самой зорьки, — а Софийка на крыльце сидит, кулачком щеку подперла, смотрит на Миколу... «Ты шо, Софийка?» — «Ничого». — «Тебе ж спать треба, ось я возьму ремень...» Микола сестру по голове погладил, но Софийка отдернула голову... «Та Софиечка же... ну, шо ты на мене?» — говорит Микола, а у Софийки глаза черные, так на Миколу смотрят, что у него что-то в сердце заныло... «Мамо плачут». — «Та шо ж плакать, колы...»

В восемь утра приказано было всем у клуба собраться, а Микола всю ночь по вишенникам над Сеймом с той Ганнусей пробродил, мамы не видел, Софийки не видел...

В дом вошел, а мама уже у грубки огонь разводит, на дорогу Миколе ватрушки печь заладила... Ой, мамо, мамо ридная, где твоя седая голова сейчас приклонилась? Софиечка, где ты, сестра моя любая?..

Сел кто-то рядом с Миколой. Он открыл глаза.

— А, Марийка...— Микола попробовал улыбнуться, но улыбки не вышло. Он привычно потянул за козырек фуражки, надвигая его пониже на глаза, отвернулся, стал смотреть на фиолетовую стену гор.

— Коля...

Промолчал Микола, только вздохнул.

— Коля...

— Ну, шо?

— Помоги мне, пожалуйста...

Микола медленно повернул голову. Марийка улыбнулась ему. Ветер шевелил ее светлую челочку.

— Ну, шо тоби, кохана моя?

— Коля, попроси Анну Евстафьевну. Она мне справку не отдает.

— Яку справку?

— Ну, что мне Алексей Никифорович достал.

Микола смотрел в спокойные синие глаза.

— Коля, ты не обижайся на меня. Я не могу ехать с вами. Я останусь в Махачкале.

— Ще шо? Ты боишься — у товарища подполковника куска хлеба не хватит? От же дурочка ты, Марийка...

Микола тихонько пошлепал ладонью по правой коленке девушки, отвернулся.

— Коля... Я виновата перед гобой. Я должна была сказать. Я немка. Я не Маша Самойлова... Я не должна была ехать с вами...

За их спинами что-то зашипело, и вдруг над пустынным рейдом взвыла сирена шхуны.

Когда Володька вернулся в привокзальный сквер (ходили с братьями на базар за виноградом), все было кончено...

Марта ушла.

Зеленая фуражка Миколы валялась под скамейкой. Микола лежал ничком, свесив правую руку.

Мама прикрыла Миколу шинелью.

Рядом с мамой сидел незнакомый младший сержант в голубой линейной фуражке, без шинели, и напряженно улыбался. Бледное веснушчатое лицо его поднялось к Володьке.

— Вбылы...— сказал младший сержант, и Володька понял, что это не улыбка была на его лице: младший сержант плакал.

Володька присел на корточки рядом с ним.

— Что? — шепотом спросил он.

— Не надо, сынка, не надо... боже мой.

Володька испуганно посмотрел на мать.

Младший сержант нагнулся, поднял фуражку Миколы и стал зачем-то подтягивать на ней ослабевший черный ремешок. Он, наверное, не замечал, что делают его пальцы.

— Кого... убили? — с трудом проговорил Володька, снизу вверх глядя на мокрое веснушчатое лицо.

— Хлопчик... шо я тоби кажу?.. Шо я можу? — хрипло сказал младший сержант. — Вбылы... Маты, сестру... За цю зеленую фуражку... Подлюги... Нема в Миколы маты, чуешь? Нема бильше. Нема... Я пьяный... Пьяный я, хлопчик... Це ж мий брат, Микола... Це ж двоюродный, чуешь?.. Нема бильше тетки Марии. И Софийку... замордовали каты Софиечку...

Младший сержант посмотрел на фуражку Миколы в своих руках, зажмурился.

— Простить мене,— сказал он.

Тяжело поднявшись, он пошатнулся. С минуту стоял, держась за плечо Володьки.

— Воды б... Хлопчики... Ополоснуть голову треба... Ой, пьяный ты, Василь, собака...

Володька лил из бутылки холодную воду на кирпично-загорелую шею младшего сержанта. Рядом стояли Игорь и Олег — загоразивали, чтоб не увидел кто-нибудь из круживших возле вокзала патрулей.

Они не смотрели на младшего сержанта. Они смотрели на маму.

Мама достала из сумки полотенце.

— Василий... возьмите.

— Та ни, товарищ Коробова, та шо тут...

Младший сержант утер лицо краешком полотенца, бережно свернул его.

— Ничого... Спасибо. Билеты я организую, трохи отдышусь... Я туточки в комендатуре служу. Хай Микола поспит. Девочку я пошукаю, товарищ Коробова... Микола це... с горячки. Пошукаю. А Микола хай спит. Позвольте документы, я до кассы пиду.

Он спрятал в карман гимнастерки требования на билеты, медленно поднес руку к козырьку.

Володька смотрел ему вслед.

— Мам, а где Маша? — сказал Игорь.

Олег посмотрел на Миколу, вздохнул.

— Он ее прогнал, да, мам?

— Надо помыть виноград, мальчики, — сказала мама. — Возьмите синюю кастрюльку.

Братья вздохнули.

— Пойдем, Ига, — сказал Олег, покачивая коленками.

— Не облейтесь, — сказала мама.

— Все равно он ее прогнал, — сказал Олег. — Вов, пойдем.

Володька взял кастрюлю, Игорь высыпал в нее из кулька зеленые гроздья винограда.

Братья шли впереди Володьки, взявшись за руки.

Они давно терпеть не могли ходить, взявшись за руки.

Олег оглянулся.

— Вов... Мы ее найдем, ты не бойся. Я ее тоже люблю.

Игорь тоже оглянулся. Увидел лицо старшего брата.

— Да иди хорошо. — Он дернул Олега и сердито сунул другую руку в карман.

Василий пришел в сквер, где сидели Коробовы, минут за двадцать до полуночи. Четверо красноармейцев разобрали узлы и чемоданы. Василий потормошил намертво спавшего Миколу, тот вяло шевельнул свисавшей к земле рукой, что-то пробормотал, не подымая головы... Нечего и думать было тащить его на посадку.

— От же турок, га? — сердито сказал Василий. — Микола, чуешь чи ни?..

— Вася, пусть он остаетя, — сказала Анна Евстафьевна. — Не трогайте его. Мы доедем. А утром он сам поедет, ничего, Вася. Вы его только до казармы доведите. Ничего.

Василий приказал одному из своих молчаливых помощников остаться возле Микола.

Напрягая глаза, Володька медленно шел за Василием. Он только полчасца назад вернулся в сквер, исходил за день полгорода, но Марты не было нигде... Самое страшное было то, что Марта забыла взять у мамы справку. Ее схватит первая же облава...

Бакинский подали ровно в полночь. Толпа раскидала жиденькую

цепочку патрулей, заливались свистки милиционеров. Со звоном сыпанулись стекла вагонного окна. Гортанным голосом кричала старуха проводница, которую стащили с подножки и притиснули к стенке вагона. «Вали-и, самарские-е!» Кто-то впереди Володьки засмеялся.

— А ну, отдайся! Видишь, мальцы!

— Хлопцы, женщину пропустите, эгей, задние!

— Тише, пехота задрипанная! Ребятишек подавите!

— Давай сюда, мамаша!

Над головами Володька увидел в желтом квадрате света, падавшего из разбитого окна, Игоря и Олега... Их передавали с рук на руки.

— Володя! — крикнул кто-то с подножки, и по голосу Володька узнал младшего сержанта. — Хлопцы, чи Гитлера испугались? А ну, не давься! Воло-о-одя-аа!

— Который тут?!

— Эй, сынок, давай, ты где?

— Ребята, мальчика где-то прижали! — сказал стоящий рядом с Володькой красноармеец в пилотке.

Володька молча протискивался к подножке. Кто-то подхватил его, подтолкнул вперед. Володька вцепился одной рукой в поручень.

— Ты? Ну, добре! — сказал младший сержант, втаскивая Володьку в тамбур.

Поезд тронулся.

На подножке висело человек шесть.

Младший сержант прыгнул на асфальт.

Желтый квадрат света из разбитого окна заскользил по толпе, блеснул по чьей-то светловолосой голове. В толпе стояла Марта и широко раскрытыми глазами смотрела на него.

Володька рванулся на подножку... Спрыгнул, ткнулся в чью-то спину. Побежал... Теплая щека припала к его рту. Он задохнулся.

— Беги! Ой, Володя, что ты делаешь?! Беги!

Володька засмеялся, взял ее за руки.

— Володя!

— Все равно ты поедешь со мной, понятно? Хватит играть в кошки-мышки...

— Володя, я не поеду. Я не хочу. — Марта отошла к невысокой кирпичной оградке, села. Посмотрела на Володьку и закинула ногу на ногу.

— Демонстрация протеста, — сказал Володька. — Стихийное возмущение масс. Пить хочется — терпенья нету... Я тебя очень прошу, Марья Ивановна, не надо бегать от меня, я все ноги из-за тебя стер. А?

Перрон уже опустел. У синего фонаря сидел на корточках бородатый человек в брезентовом плаще и ел что-то. На дальних путях залязгали буфера. Бородатый выпрямился, приволакивая левую ногу, подошел к Марте. Пошарил в кармане плаща, достал яблоко.

— Возьмите, доню. З Кременчуга. Не могу исты. Це последнее.

Бородатый застегнул плащ и пошел к вокзалу.

— Хочешь? — тихонько спросила Марта.

Минут десять не отводил Микола головы из-под ледяной струи, только постанывал едва слышно да отфыркивался...

— Та вже хватит, братку, — сказал Василий.

Потом Микола надел шинель, подпоясался, долго нахлобучивал фуражку... Лица его не было видно в густой тени от вокзала.

— Микола, я шо тоби должен сказать... Ще на той неделе тут бронепоезда прошли. Дивизион до Ростова, чуешь? Подполковник Коробов... Микола, ты слышишь? Я жинке его не хотел говорить...

— Подполковник?.. Шо... подполковник? — трудно ворочая языком, хрипло проговорил Микола и подступил к брату.

— Та батя ж твой с бронепоездами... Я ще газеты туда носил, до бронепоезда... Ну пишли, в казарме устрою, а утром вже и тронешься... Пишли!

Микола помотал головой. Повернулся к тоненько журчавшей струйке, стал плескать пригоршней воду в лицо.

— Микола, чуешь?

Микола вытер лицо рукавом шинели, молча натянул поглубже козырек фуражки.

— Ну, пишли,— сказал Василий.

— Нет. Я до батьки.

-- Тю, сдурел?!

Микола пошел через пути, пересек границу тени от вокзала, в лунном свете четко прорисовалась маленькая фигурка...

— Братку! — крикнул Василий.

Микола оглянулся.

— Васыль! Скажи коменданту, шоб телеграмму послав до Баку! Капитану Абрамову, чуешь? Хай встречае Анну Евстафьевну, чуешь? Марийку пошукай! Васыль, чуешь?

— Братку!

Но Микола уже поднырнул под вагон.

34

Состав товарняка, на котором ехали Володька с Мартой, стоял на полустанке с самого утра. До Баку оставалось еще километров триста.

Под босыми ногами с шорохом осыпалась омытая прибором галька.

Володька сбегал с пологого бугорка к самой воде. Подвернув до колен пыльные штанины, зашлепал по отмели. Черпнул ковшем ладоней прохладную воду, ополоснул лицо. Глаза защипало. Он засмеялся, пригладил волосы, оглянулся.

Марта стояла на вершине бугра. Маленький серый ишачонок рвал из ее рук пучок травы.

— Марта-а-а! Иди сюда! Вода теплая!

Ишачонок ткнул мордой в колени Марты. Она хлестнула его травой по спине. Побежала к воде, по-девчоночьи подняв локотки в стороны.

Щурясь, она смотрела на подходившего к ней Володьку.

— Когда мы увидим на арене новый аттракцион с вашим алжирским львом, фройляйн Оберхоф? — Володька улыбнулся и, пригнувшись, плеснул водой на Марту.

Марта не шевельнулась.

— После дождичка в четверг,— сказала она, медленно выговаривая каждое слово.

— Эге, вы знаток русского языка, фройляйн Оберхоф! Как чувствует себя ваш алжирский лев?

— Ничего себе.

— Хм, опять по-русски сказано...

— Володя... Неужели тебе не надоело... таким тоном. Как на переменках...

Синие глаза Марты ясно и строго смотрели на него. Володька вдруг почувствовал, что краснеет.

Он сел на гальку, скрестив ноги. Марта отвернулась. Медленно пошла по плотной песчаной каемке берега. Шагах в тридцати от Володьки она остановилась, попинала правой ступней воду...

— Не простудись, Мартхен! — крикнул Володька.

Ну и ну... Поделом тебе, Владимир Павлович. Все никак не можешь выйти из детского возраста. Ну и девчонка...

Марта медленно переступает белыми ногами по мелкой воде, уходя все дальше от берега.

Иногда нагнется, поплещет на ноги пригоршни воды и снова шагает, расставив локотки в стороны.

Только две полоски зеленого на белом — широкая и узенькая, от которой по плечам — две ленточки.

Не надо смотреть на девочку... Впрочем, она не из таких, чтобы смущаться. И не подумает. Гордая девчонка...

Володька откинулся на спину, стал смотреть в пустое небо. Солнце припекало лицо.

Они сидели на борту открытого пульмана и ели пресную лепешку лаваша, которую дал Марте сторож разъезда. Зерно пшеницы, насыпанное чуть не вровень с бортами, приятно грело босые ноги. В степи садилось солнце. У будки сторожа пофыркивал ишачонок. Эшелон стоял на разъезде уже полдня.

— Лаваш... Ла-ваш... — проговорил Володька рассеянно. — Французское что-то, а? Маркиза Марта де ла Ваш...

— Ну и фантазер же ты. — Марта засмеялась. Ее волосы давно высохли, ветер отшвыривал их от затылка. Она провела ладошкой по рту, вздохнула.

— После приема пищи полагается строевая песня, — сказал Володька, отряхивая ладони от крошек лаваша. — Ефрейтор Оберхоф, запевай! «Вахта на Рейне»¹. Р-рота, выше ногу! Направляющий, не чистить!

— О, господи, опять ты за свое. — Марта укоризненно посмотрела на него. И вдруг улыбнулась: — А сам только и знаешь «Анна унд Марта баден»².

Володька засмеялся.

— Моя дорогая, очень сожалею, но вы серьезно ошибаетесь, — сказал он по-немецки. — У меня была любимая учительница фройляйн Эмма Циммерман, настоящая берлинка из Веддинга... Я знаю, что берлинцы говорят не «фюнфцих», а «фуфцих»... Знаю, что они говорят «моэн», когда снимают шляпу перед девушкой с синими глазами, а не «гут морген»... Фройляйн Эми научила меня пить кофе по-берлински и ненавидеть штрейкбрехеров...

Темные брови Марты изумленно приподнялись. Она молча смотрела на обветренное худое лицо Володьки.

— Ты... ты меня напугал, — сказала Марта.

— Ну, ладно, — сказал Володька. — Больше не буду.

Он зачерпнул ладонями зерно, сжал кулаки.

— Хлеб... Никогда не думал о хлебе... Марта, а кто твой отец? Я ничего не знаю о тебе...

Марта медленно провела ладонью по розовой щеке. Она отняла руку, стала чертить что-то по зерну пальцем.

— Папа погиб... В Испании. А мама...

Она отвернулась, замолчала. Плечи ее дрогнули.

— Марта... Ну, не надо. Марта...

Она повернула к нему лицо, мокрыми, отчаянными глазами быстро взглянула на него и, вдруг уткнувшись Володьке в плечо, заплакала...

¹ «Вахта на Рейне» — немецкая шовинистическая песня.

² Первая фраза довоенного учебника немецкого языка: «Анна и Марта купаются».

Они все сидели на борту платформы. Марта совсем уже успокоилась. Володька заставил-таки рассказать ее обо всем. Она стала рассказывать и постепенно успокоилась... Господи, сколько пришлось пережить этой гордой девчонке с синими глазами! Девчонка... Нет, это он перед нею мальчишка. Сопливый мальчишка, который только думал, что что-то понимает в жизни. Он слушал ее и вдруг вспомнил об Эми. Мама сказала тогда, что дядю Карла срочно перевели в другой город, и они уехали. Но почему они не зашли проститься? Он только сейчас подумал об этом. Где она сейчас, Эми, что с ней?..

Зеленая звезда помаргивала над невидимым морем. Где-то истошно кричал ишак. Ветер раскачивал ветви карагача у будки сторожа.

— Марта... Ты, наверное, очень злишься на меня? — тихо спросил Володька.

— Теперь — нет.

— Только сейчас?

— Ты помнишь, как сказал «Марья Ивановна»? Тогда, в этом павильоне. Когда свечку зажгли...

— Помню... Я все помню, Марта.

— Ты сказал тогда... ну, понимаешь... — Марта положила кулачки на колени, посмотрела в глаза Володьки.

Володька взял кулачок Марты. От узкой ладони пахло теплым хлебом. Володька вдруг нагнулся и поцеловал ее. Марта быстро высвободила руку.

— Не надо, Володя.

— Не сердись... Я знаю, ты должна очень плохо думать обо мне.

— Да нет же. — Марта засмеялась. — Я злилась на тебя, но...

— Я был таким подлецом...

— Перестань, Володя... Ничего, ничего ты не понимаешь, глупый... Ну, давай спать.

Володька накрыл ее своим пальто.

— Я не замерзну, — сказал он. — Ты не боишься?

Марта не ответила.

— Спокойной ночи, Мартхен.

Утопая ботинками в зерне, Володька пошел к другому борту платформы, лег. Было тихо, только где-то вдаль, у полустанка, переговаривались приглушенные голоса.

— Володя, иди сюда, — тихонько сказала Марта.

Володька поднялся.

— Сядь рядом... Вот так. Посиди немного со мной...

Она взяла его руку, прижала к щеке.

— С праздником тебя... — сказала она шепотом.

— А... да, сегодня седьмое! — вспомнил Володька. — Спасибо. И тебя, — ответил он тоже почему-то шепотом.

Он сидел, не шевелясь, не отнимая руки, пока Марта не заснула.

Небо было звездным. Ковш Большой Медведицы стоял над крышей тормозной будки. Володька поежился, натянул фуражку поглубже. Покальвало зерно, набившееся за воротник рубашки.

Рядом с платформой темнели вагоны какого-то состава. В приоткрытой двери теплушки стоял человек, курил. За его спиной висел фонарь.

Кто-то тяжелой рысцой бежал вдоль состава.

— Эй, салага, политрук Зинченко чи не у вас?

— Глаза протрите, — баском сказал человек в дверях.

— Тю, товарищ старшина! Не признав, така теменюка. Виноват.

— В чем дело? — сказал недовольно старшина.

— Та насчет митинга у честь праздника. Товарищ комиссар приказав подготовить з вашей роты двоих выступающих. На следующей станции митинг. Одного беспартийного, з новобранцев, а другого — комсомольца чи то коммуниста. Та в вашей роте одесских говорунчиков богато ж!

— Передам. Отдыхает политрук.

— Ну, я до второго батальону.

— Паровоз там — как?

— Через час тронемось.

Шаги посыльного затихли. Потом зашуршали струйки зерна, и над Володькой склонилась голова Марты. Она набросила на него пальто.

— Ну... зачем, ну? — сквозь дрему пробормотал Володька.

— Холодно. Спи, спи,— шепотом сказала Марта.

Ранним утром, когда состав уже шел пригородами Баку, Володька увидел — куском угля по стенке тормозной будки торопливая россыпь букв: «Ты хороший».

ЭПИЛОГ

Я

Я сидел на скамье. Сентябрьский день был жарким. Я расстегнул верхние пуговицы воротничка.

В десяти шагах от меня, за песчаной дорожкой, обрывался вниз, к пристаням, к реке, откос. То, что это был знаменитый горьковский откос, я знал. А вот Ока играла серыми волнами или Волга — этого почему-то никак не мог припомнить. В географии для пятого класса, что ли, об этом было написано? Плохо ты знаешь географию, Сергей Листвин...

Я смотрел на реку.

Наверное, мне очень хотелось поскорее увидеть Волгу, потому что, думая о Волге, я видел серые глаза Володьки. Те, со слезами, которых он стыдился, протягивая мне руку девятого августа сорок третьего года.

А сейчас — сорок пятый. Только вчера я узнал, что Володька... Где я был 12 апреля? Я сидел на НП, на мызе Юрди, в Курляндии... Может, не надо мне было просить нашего генерала узнать о судьбе Володьки? Может, мне было бы легче, если бы не дали мне вчера этот лист бумаги, что лежит у меня в кармане гимнастерки? Может, мне не так уж и повезло, что командир полка отправил меня в командировку в Астрахань? Лучше бы я ничего не знал...

Я достал из кармана сложенный вчетверо плотный лист бумаги. Было душно. Я расстегнул воротничок до конца. Черные буквы расплывались по бумаге...

«Коробов Владимир Павлович, рождения 1925 года, из служащих, кандидат в члены ВКП(б) с ноября 1943 года, не судим, холост.

Зачислен на оперативную работу по рекомендации ВС Закавказья в августе 1943 года после Тб. арт. училища.

Выпущен из школы П. П. 2141 в апреле 1944 года, откомандирован в распоряжение I Белорусского фронта.

В сентябре 1944 года заброшен за линию фронта.

В апреле 1945 года при выполнении операции на Гогенцоллернканале в полосе 4 ТА был взят немцами.

Расстрелян предположительно 12 апреля в Бернау-бай-Берлин.

Посмертно награжден орденом Боевого Красного Знамени и медалью «За победу в Великой Отеч. войне 1941—1945 гг.».

Отец — Коробов Павел Васильевич, подполковник войск НКВД, погиб под Ростовом н/Д 7 ноября 1941 года.

Мать — Коробова Анна Евстафьевна, прож. — г. Ереван, в/ч 4816. Пенсии выплачиваются».

— Товарищ лейтенант, ваши документы. И застегнитесь!..

Передо мной стоял низенький майор в синей фуражке войск связи, за ним — в почтительном отдалении — трое курсантов в новеньких гимнастерках. Ремни их автоматов были обмотаны новыми бинтами. Такого форсу у нас, тбилисцев, не было. Это был комендантский патруль. Я знаю, нет ничего хуже патрулей из училища, а эти четверо — наверняка из Горьковского училища войск связи.

Я поднялся, свернул аккуратно листок, спрятал в карман.

— Простите, товарищ майор, чем обязан вашему вниманию?

Не знаю почему, но я сразу полез на рожон. От такого вопроса взбеленится даже старший лейтенант.

— Вы что, первый день служите? Извольте застегнуться!

Я молча смотрел на него. Гимнастерка из английской диагонали топорщилась на боках майора. Связист несчастный. Шпак. Даже заправиться как следует не способен, старый хрыч, а еще комендантский патруль... И над левым карманом гимнастерки — одна-единственная черно-оранжевая колодочка медали «За победу над Германией». Наверняка проторчал всю войну в училище. По возрасту ему и полковником быть как раз. До чего вредный старик, а?

— Вы думаете предъявить мне документы?

— Усиленно размышляю.

У старика побелели губы. Мне было жалко его, но... Я и сам не знал, почему так грубло ему. Майор оглянулся на курсантов. Те подобрали животы, составили каблук вместе.

— Вас не научили говорить со старшими!

(Э, теперь все равно старик меня загребет как миленького. Ну, старый черт, я тебе тоже попробую удружить.)

— Вы правы, товарищ майор. У меня эта практика не очень велика. Вчера, разрешите доложить, я в Москве говорил с генерал-лейтенантом. А вот с маршалами — не доводилось, виноват.

— Прекратите разговоры! Следуйте за мной! Ишь, мальчишка! И кант не по форме! Синий кант! А фуражка артиллерийская! Молчите! Вы будете следовать за мной?!

— С огромным удовольствием. Я давно собирался погулять по городу. Куда прикажете?

Я застегнул воротничок. Майор, вытирая лоб платочком, вперевалочку шагал впереди меня. А за мной похрустывали по песку сапоги курсантов.

Я знал, что сейчас майор сдаст меня дежурному по комендатуре. Если мне повезет, отделаюсь тремя часами маршировки по двору комендатуры в компании с другими горемыками. Горький — большой город, компаньонов мне найдут. Нет, похоже, что старик упрячет меня на гауптвахту. Пожалуй, это так и будет. Старик просто остервенел. А заправиться он все-таки не способен. Так носят гимнастерки только самые последние новобранцы на второй день службы. Все это очень интересно, но я должен быть в Казани. Я не могу не остановиться в Казани, я должен побывать там, где жил Володька. Мне надо повидать Валюху и Мирву.

Нет, с майором мне не по пути... Интересно, что бы сделал на моем

месте Володька? А? Так бы и шел за этим старым шаком?.. А если б его ждала Мирва или Валюха Зотова?.. Или Марта?

Но Володька идет по зеленой траве... У канала Гогенцоллерн должны быть зеленые берега. Он идет. У него связаны руки. Конечно, связаны. Он идет, Володька. Кто его взял? Ему в спину смотрят эсэсовцы. Двое. Нет, трое. Один рыжий. Это он, сволочь, связывал руки Володьке, конечно, он, рыжий, с небритой мордой. У него желтые сапоги. Он прихрамывает на левую ногу. Он подвернул ее, когда бежал за Володькой. Какая-то немка смотрит на молоденького обер-лейтенанта со связанными руками. Она встречает взгляд его серых глаз и отворачивается испуганно. У обер-лейтенанта почти оторван правый рукав мундира. Он без фуражки. Он идет по зеленой траве. Он идет по зеленой траве, и рыжий фриц орет на какого-то старика в черной кепке, чтобы тот убирался с дороги. А Володька идет по зеленой траве...

Я оглядываюсь.

Курсанты смотрят на меня.

Я показываю рукой в сторону откоса.

Они опускают глаза — все трое. Нет, они не будут усердствовать. Они же понимают, что майор зря придрался к человеку, который сидел на скамье трезвый и читал бумагу. И я помню, как они смотрели на мой орден...

Я беру фуражку в левую руку — и перепрыгиваю через невысокую деревянную балюстраду.

Откос — не гора Манавис-Циви. И даже не обрыв к ручью, в ледяной воде которого мы умывались. Это просто откос.

Валюха

Мне кажется, что я уже ходил по Казани.

Так, правильно. После моста — налево. А направо будет школа номер 81. Володькина школа. Четыре этажа. Мне не надо спрашивать дороги, я ее знаю. А что, если зайти в школу? Может быть, Анастасия Михайловна еще там? Завучи всегда подолгу сидят в школе. Такая работа. Нет, надо увидеть Мирву.

Я скажу: «Здравствуйте, Мирва». Мирва, наверное, улыбнется. Она же веселая девушка. Володьке сейчас было бы двадцать, значит, ей восемнадцать. Она улыбнется с достоинством. Она-то знает, как она красива. Такие девушки не могут не улыбаться с достоинством. Я очень рад передать вам, Мирва, привет от Володи Коробова. Он не успел вам написать, но напишет. Он не мог вам писать. Он разведчик. Мирва, знаете, служба тонкая... Я и сам в ней не разбираюсь. Но писать оттуда нельзя.

Вот здесь шел Володька, позвякивая подковками ботинок. У него был зеленый вещмешок, подарок Нелли Константиновны. Да, я же не знаю, где живет Мирва. Но зато где комната с зелеными обоями, знаю — там живет Валюха Зотова, Валентина Ивановна Зотова, Валенсия. А она знает все о Мирве.

Слева — Казанка. Где же ей еще быть, чудак ты, Серега. Конечно, слева. Темно, а то бы можно прочесть на Дворце культуры слова: «Культура сарае».

Нет, не надо сразу про Володьку. Мирва может испугаться. Вот возьму и скажу ей: один мой друг поручил узнать, не распилен ли на дровишки плот из трех бревен? Нет, это еще хуже. Мирва наверняка испугается. Не надо пугать маленьких, товарищ лейтенант. Скажите просто: Володя Коробов помнит вас, Мирва Шарафутдинова. А про плот

говорить нельзя. Плот не моего ума дело. Вот так. Не все можно сказать девушке, которой восемнадцать лет и которая улыбается с достоинством. Ведь плот — это только для Мирвы и Володьки. Не надо лезть в чужие души дальше какого-то предела. Даже другу нельзя.

А двор и в самом деле большой. И заборчик на месте. Вот из этого окна по утрам смотрела Валюха, дожидаясь, когда выйдет Володька... Или — из соседнего. Ведь в ее комнате два окна.

В окнах — свет. Володька не обидится, если я зайду сначала к Валюхе. Все равно я не знаю, где живет Мирва. Чудак ты, Володька, так и не сказал, где живет Мирва. Наверное, потому, что ты никогда не был у нее дома. Я побываю там за тебя.

Ты точен, Володька. Здесь семь ступенек, как ты говорил. Ну, что же... Постучу.

Дверь была не заперта, она легко приоткрылась, когда я на всякий случай потянул за ручку.

Но неудобно врываться эсэсовцем. Приучайтесь к мирному времени, лейтенант, когда в дверь стучат. Так. Кто-то идет.

— Пожалуйста, у нас открыто,— говорит Валюха.

Я знаю, что девушка в наброшенной на плечо черной вязаной кофточке — Валюха. Она смотрит, чуть улыбаясь. И прическа у нее та же, что была в сорок первом... Славная ты, Валюха.

— Принимайте гостя, Валентина Ивановна.

Она переступает с ноги на ногу.

— Пожалуйста... товарищ лейтенант.

Валя пропускает меня в комнату. Она смотрит, как я снимаю фуражку.

— Я привез вам привет от Володи Коробова.

Не надо было так сразу... Это же все равно что ударить спящего человека. Я не смотрю на Валю.

Чернильница-непроливайка стоит на столе. Наверное, та самая. Красный толстый том «Истории средних веков» лежит рядом с тетрадкой в клеенчатом переплете.

— Извините... Я...— говорит Валюха.

Надо, чтобы она не думала о Володьке.

— А портрет Ворошилова все висит,— говорю я.

Ну, вот, теперь Валюха смотрит на меня.

— Валюша, я все знаю о вас. Я учился вместе с Володей в Тбилиси. Моя фамилия — Листвин. Сергей Листвин. Напугал я вас? Я в командировку еду, в Астрахань. Ну и вот... решил...

Валя молча кивает.

— Садитесь, Сережа... У меня голова кругом... Он мне давно не писал. С сорок третьего...

— Ему было нельзя, Валюша. Он был разведчиком, то есть, я хотел сказать — в войну был...

— Вы вместе служите, Сережа?

— Нет... Встретились недавно. Случайно, в Москве. Он в длительную командировку уехал. Вы же понимаете, служба такая, что...

— Да, да...

Валя села напротив меня. У нее были большие серые глаза.

— Не надо волноваться, Валюша. Все будет хорошо.

— Я ничего не понимаю... Я не знаю... Я так дружила с Володей... Я даже не простилась тогда... Был комендантский час, и я просидела в комендатуре до утра... Я и Мося Бушканец. Из нашего класса.

Нельзя, чтобы она думала только о Володьке.

— Валя, а Мирва Шарфутдинова как себя чувствует?

Конечно, не совсем хорошо, что я напоминаю Вале о Мирве, но нельзя, чтобы она думала только о Володьке.

— Мирва?..

Валя прихмурила брови, словно имя Мирвы плохо ей знакомо. Потом она засмеялась.

— Мирва! Я сразу не сообразила... Большущая вытянулась! Хорошая девочка. Это же первая любовь была у Олеженьки с Игорем. Все время вместе бегали, такая тройца... Володя рассказывал о ней? Он ее смешно называл — «Мадам Чингисхан», черненькая-черненькая. Бой-девка была. Здесь живет. В третий уже перешла.

Я смотрел на Валю. Наверное, на моем лице было что-то такое, от чего Валя перестала улыбаться.

— Вам жарко, Сережа? Простите, я так растерялась, забыла вам предложить... Давайте вашу шинель.

Она встала. Я снял шинель и набросил на спинку стула.

— Ничего, Валечка. Сойдет. Не беспокойтесь.

— Угощу вас чаем. Нет, прошу вас, Сережа. Я вас теперь не выпущу...

Валя вышла в кухню.

Все было, как тогда, в этой комнате. Зеленые обои. Зеленый абакжур. Маршал Ворошилов скакал по проселку. И Валюха Зотова сейчас войдет.

Не было только Мирвы. Была другая Мирва, не Володькина.

Он смеялся над нами, Володька. Он просто травил баланду, как все. Как Миша Цыганок про свои подвиги в Севастополе. Как Эдик Айрапетов о своей старшей сестре Сильве. Мы так и не видели этой Сильвы, она была в лагере всего один час. Она уезжала на фронт, доктор Сильва Айрапетова.

Да, ты умеешь смеяться, Володька. Ты вспомнил маленькую девочку Мадам Чингисхан и сделал ее ангелом, голубым и розовым. Ни в сказке не встретишь, ни устно не доложишь, а? Я помню, как ты сказал это у костра на берегу Йоры.

Что ж, слушать сказки — не Змейку драить к строевой выводке. Спасибо, Володька. Ты здорово ее разделал, эту сказку. Я поверил. Весь взвод поверил. Даже наш Жора...

Мы пили чай. Мы смущались. Между прочим, Валя была первой девушкой, с которой я пил чай за одним столом. Позвякивали ложечками. Так пьют чай в ресторанах сельские учительницы. Я видел их в Горьком — четырех учительниц с пуховыми оренбургскими платками на крепдешиновых платьях. Такие платья шили до войны. Сейчас женщины не прячут коленей.

— Валя...

— Да, Сережа?

Она посмотрела мне в глаза.

— Можно мне учинить вам допрос с пристрастием, Валя?

Она не опускала глаз. Я догадался, что подумала Валя о допросе. У нее стало гордое лицо.

— Учиняйте...

— А почему вы не пьете чай?

— Я пью.

— Валя, скажите — был плот на озере? Тогда, в сорок первом. В колхозе.

Валя испугалась. Я это видел по ее лицу. Она испугалась. Она наконец-то опустила глаза.

Мы помолчали. Валя вынула из стакана ложечку и положила на

блюдец. Она перекатывала тонким пальцем осколочек сахара по голубой клеенке.

— И про плот вам рассказал?

Я промолчал.

— Сережа, скажите мне все. Я хочу знать.

— Что — все, Валюша?

— Все.

— Это долго рассказывать, Валюша. Я плохой рассказчик.

— Что вы знаете... ну, о плоте?

Валя, выпрямившись, смотрела мне в лицо. У нее сейчас были совсем черные глаза.

— Простите, Валя, но я что-то плохо соображаю, почему этот плот...

— Потому, что... потому, что...

Валя заплакала. Она смотрела на меня и плакала.

— Валя...

— Зачем он рассказал? Зачем?.. Я... Это так... это подло!

— Валя! Ну, что тут... не понимаю! Он говорил, что плавал на этих несчастных трех бревнышках с этой, с Мирвой.

Валя вздрогнула.

— С Мирвой?.. Он говорил о...

— Да, он был с Мирвой, а может, с Любовью Орловой, Диной Дурбин! Ну, это же такие пустяки, Валя! Он же просто трепался, Володька.

— Сережа... вы... господи! Он правда говорил о Мирве?!

— Он просто очень правдиво трепался, мой лучший друг. Давайте лучше пить чай, а?

— Сережа... Что он говорил обо мне? Только правду, пожалуйста, Сережа...

Я засмеялся.

— Давайте для ускорения процедуры нашего судебного заседания я отрапортую о самом главном. В трех словах. Вопросы — в письменном виде. Принято?

Валя скомкала платочек, которым вытирала мокрые от слез щеки.

— Я налью вам, Сережа.

— Э, нет, чаи потом будем. Сперва расправлюсь с Володькиной балладой о Мирве, потом — хоть до утра, всю Волгу выпьем.

Она слабо улыбнулась.

— Так вот, дай господь памяти. Первое. Вы сидели с Володькой в палатке? Зимой?

— И это рассказал?..

— Увы. Читали вы ему «Квентина»?

Валя засмеялась.

— Дальше. Вы сочинили списочек всех Володькиных любовей, так сказать?

— Нет. Это Берта. Берта Иванова.

— Не отпирайтесь, обвиняемая.

— Нет, правда, Сережа. Это Берта. Мы с Володей купались, ну, на плоту, потом пришли...

— Гм. Вообще... Ну, хорошо. Значит, на плоту были вы. Так. Список — это дело Берты. Два раза уже соврал братец Володька. Ну, дальше. Что он еще говорил о вас?

Валя опустила голову.

— Теперь я поняла. Он меня... Он никого не любил в Казани...

Валя сказала это, и словно что-то случилось с нею в эту минуту. Она стала какая-то другая. Я ей мешал сейчас думать о том, что она сейчас только поняла.

Ничего не поделаешь. Володька ничего не может изменить. Ничего. Он мертв. Он посмеялся над нами, а теперь он мертв. И никогда не узнать, почему у Мирвы были голубые глаза и родинка у левого уха, маленькая родинка, которую Володька увидел на розовой щеке...

Второй раз за эти сутки я стоял на истоптанном песчаном увале.

Я смотрел на обмелевшую Волгу.

Может, здесь стоял Володька?

Я не нашел твою Мирву, Володька... Я видел другую Мирву, Мадам Чингисхан. Видел ее два часа назад. Носишко пуговкой, глазки черненькие, косицы с белыми бантами и передник в чернильных кляксах. Мирва Шарафутдинова, дочь татарского народа. Солидная особа одиннадцати лет... Баллада о голубых глазах и розовой мордочке... А ей ведь было лет семь, когда Володька на Кавказ к отцу уезжал. В сорок первом. Володька так и не увидел его. Погиб отец. Под Ростовом. Седьмого ноября. Отца убили в начале войны, сына — в конце. Вот тебе и двенадцать палочек. Это ты, Володька, так говорил. Братцы, хочется собрать мне двенадцать палочек, говорил. Это — как счастье, понимаешь, Серега?

Да, счастье... Оно, кажется, и в руках, все, схватил, а тут... Мадам Чингисхан. Мирва, да не та. Мечтай об этом счастье, а оно, как дым после выстрела... Но ведь Валюха Зотова есть! Я же у нее был сейчас. И Нелли Константиновна была. Уехала с мужем в Иваново прошлым летом. Это Валюха рассказала. Вот только Мадам Чингисхан... Этого теперь никогда не узнать.

Вот нет Володьки, а он со мной... Без него я был таким дураком, вспомнить противно... Я же был сам в себя влюблен. Сергей Листвин — личность с большой буквы, в детдоме меня на руках носили: ах, Сереженька Листвин, ах, умный мальчик, ах, член горкома комсомола в шестнадцать лет!

А когда Володька пришел во взвод.. Что я был против него — ноль. Все для других глаз, все для того, чтобы люди ахали...

А он о себе не думал. Это я знаю. Я помню, как он мне говорил, Володька: «Спасибо судьбе — носом меня ткнула в сорок первом, я теперь — зрячий, Серега... Люди мимо меня и раньше ходили, а что толку было? Хорошо, когда всем людям хорошо, а не только тебе...»

Теперь, правда, я о себе уже не думаю. Вот о других еще думать не умею... Я потерял его следы... Но разве я только Володькины следы ищу? Я самого себя ищу. Я хочу найти его следы, чтобы продолжить их. Я тоже хочу собрать двенадцать палочек. Может быть, я их и не соберу. Но я хочу их собрать. Мне тоже надо собрать двенадцать палочек, всю жизнь собирать... Мои двенадцать палочек на зеленой траве.

Мирва

Я брожу по Астрахани.

Я не один: Володька идет со мной. Я, наверное, смотрю на город его глазами. Мне не нравится Астрахань. Четыре года назад она была еще хуже. Тогда, осенью сорок первого... Я вижу, как рядом со мной бродит по пыльным улицам мальчишка с измученными глазами. Ему страшно. Он один. Он не может разделить свою незримую ношу с другими. Даже с Алексеем...

Мысль об Алексее пришла мне в голову, когда я стоял у пивного ларечка. Трое речников в брезентовых плащах тянули уже по третьей

стеклянной банке пива. Старик с почерневшим от солнца лицом сказал одному из приятелей, парню в кожаной шапке:

— Нашел, голова? У меня только целкаш.

— Есть, есть, дядя Леня,— сказал парень.

— Ну-к, на чужие еще баночку,— засмеялся старик и протянул продащице пустую банку.

«Нашел...» — почему-то это слово старика все еще звучало у меня в ушах. Нашел... Нет, я же просто последний... Нет, болтаться по Астрахани и даже не подумать о том, чтобы попытаться найти Алексея Никифоровича!.. А если его здесь нет, может быть, удастся узнать, куда уехал. Он же член партии. В горкоме наверняка что-нибудь знают о нем!

В секторе партучета хмуро-вежливый заведующий в отутуженном коричневом кителе с черными пуговицами перебирает на столе картотеку.

Мне почему-то странно, что он не удивился на мой вопрос об адресе Героя Советского Союза товарища Дубравина Алексея Никифоровича... Он просто подошел к столу и начал рыться в картотеке. Когда он взял карандаш и на листке зеленой бумаги стал тщательно выводить каждую букву адреса, мне показалось, что все это какая-то удивительная игра. Вот я назвал имя человека из Володькиной баллады — и сейчас мне дадут его адрес...

— Вы на беседу его куда, товарищ лейтенант? — сказал заведующий, протягивая в окошечко, прорубленное в двери, зеленую бумажку.

— На какую беседу?

— Вы что, не от Дома офицера?

— Нет. Я... я по личному делу.

— Ну-ну. На той неделе к Дубравину племянница приехала, у нас адрес узнавала. Старшина морпехоты. Из Севастополя демобилизовалась. Передавайте привет Алексею Никифоровичу и Зое Николаевне.

...Стояла на лестничной площадке маленькая девушка в армейском зеленом платье.

За нею захлопнулась дверь — та самая, куда я должен был войти...
Никогда я не видел таких голубых глаз.

Девушка смотрит на меня. Она проводит ладонью по левой щеке, смущенно поправляя прядь очень светлых волос.

Я вижу родинку на розовой щеке. Маленькую родинку.

— Мирва...

Да, я, кажется, сказал это имя вслух.

Владимир Федорович Конюшев родился в 1925 году. Участник Великой Отечественной войны. Служил в армии с 1943 по 1955 год, кончил службу капитаном артиллерии. Живет в г. Шуя Ивановской области, работает собственным корреспондентом ивановской областной газеты «Рабочий край». «Двенадцать палочек на зеленой траве» — первое выступление В. Ф. Конюшева в литературе.



*Первого июля 1966 года Павлу Антокольскому исполнилось семьдесят лет.
Редакция журнала «Новый мир» сердечно поздравляет поэта, горячо
желает ему здоровья, счастья, новых успехов.*

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

★

НОЧЬ В ТЕАТРЕ

Я, кажется, вычитал сказку из книг,
А может быть, вспомнилось детство.
Начнем же, товарищ мой и ученик,
Попробуем в сказку взглядеться!

Мерцает кирпичная кладка стены.
Пуста и неприбрана сцена.
Но реют над ней благородные сны.
А полночь всегда драгоценна.

Начнем же, товарищ! Войди и окинь
Глазами гостей Капулетти.
Здесь некогда Гаррик влюбился. Здесь Кин
Безумствовал в прошлом столетье.

Пошла репетиция. Дверь на запор.
Свершается таинство наше.
Вас двое влюбленных, но вы до сих пор
Невенчаны в келье монашьей.

Джюльетта твоя молода и нежна.
Свисают шпалерами розы.
Но горе — навеки уснула она
В смертельных объятиях прозы.

Но горе! Едва только грянула мощь
Оркестра и белого ямба,—
Сквозь крышу закапал невежливый дождь
И чахнет дежурная лампа.

И сцена пуста. Ни кулис, ни холста,
Ни кубка, ни шпаги, ни пира.
Одна только крыса жива, да и та
Похожа на ведьму Шекспира.

Начнем же, товарищ! Два зрителя есть —
Та крыса, разносчица сплетни,
Да в ложу наверх ухитрился пролезть
Твой сын, мальчуган восьмилетний.

Он в мокрых трусах возвратился с реки,
 Забыл о затеянной драке...
 И фосфоресцируют, как светляки,
 Глаза мальчугана во мраке.

Когда-нибудь, лет через десять, ему
 Припомнится странная сказка:
 Вот кресел ряды убегают во тьму,
 Вот алый их бархат истаскан...

Летят облака по кирпичной стене,
 Стена ли проносится мимо,—
 А может быть, это приснилась во сне
 Таинственная пантомима...

Когда эту сказку он сможет прочесть,
 Испишется наша страница.
 Ну что ж! Для художника высшая честь —
 Кому-то моложе присниться.

Музыка

1

Я — как набросок или черновик —
 Нелеп, невылеплен, некрепок.
 Но вот летят за мной из века в век
 Рыданья труб и стоны скрипок.

О, сколько этих юношеских птиц,
 О, сколько гибнущих впустую!
 Кем бы я ни был, книга или чтец,
 Но затесался в ту же стаю.

А может быть, и рано родился,
 И только что успел родиться,
 Сам заблудился в собственном лесу,
 А дальше некуда мне деться.

Не соболезнуй, Музыка, не мучь,
 Не обольщай, что все уладишь:
 Погибшему не можешь ты помочь,
 А спасшегося — не разбудишь...

2

Мороз. Луна. Легко и колко
 Звенит по тротуару шаг.
 Вот свистом рвущегося шелка
 Ты начинаешься в ушах,—

Все та же, первая на свете,
 Несуществующая,— но

Сквозь режущий, колючий ветер
 Нам повстречаться суждено.

Я не отдам тебя, не выдам,
 Не выдохну из сжатых уст.
 Черна ты и ничтожна видом
 На выставке людских искусств.

Тебе никто не платит денег —
 Девчонке рыжей и рябой.
 Как видно, только я, бездельник,
 Согласен нянчиться с тобой.

Вокруг туман, ненастье, горечь
 Ночного часа, толчея
 Всех городских бессонных сборищ...
 А ты все та же и ничья.

3

Слепой играет на аккордеоне,
 Уставил в небо бельма кротких глаз.
 Над ним звезда зеленая зажглась,
 И небо стало ближе и бездонней.

Но инвалид в брезентовом плаще
 Не видит неба. Он звезду обидел.
 С тех пор, как загорелся истребитель,
 Он позабыл о звездах вообще.

О многом он забыл, не в этом дело...
 В течение двух иль трех секунд, пока
 Слепший падал вниз,— прошли века!
 Но им одно желанье завладело —

Во что бы то ни стало, вопреки
 Сожженной коже и железной стуже
 Пробиться сквозь ничто! Прослуаться тут же!
 И сохранить пять чувств и две руки!

...Но что же это — полька или чижик?
 О чьих несчастьях пьяницы кричат?
 Слепой играет. Ресторанный чад
 На нем клеймо отверженности выжег.

Куда податься — в омут, иль в собес.
 Или в коты наняться к спекулянтше?
 Он все забыл, что с ним случилось раньше,—
 Бездомен демон, сверженный с небес...

Слепой играет. И звезда чужая
 Горит над ним. И он не связан с ней.

.

Искусство! Я люблю тебя сильнее
 И горше, чем словами выражаю.

4

О босоногая! Я часто замечал
Твои следы на золотом побережье.
То было в юности, в начале всех начал,
Но с каждою весной бывало реже.

Так если никогда ты не придешь ко мне,
Не пробежишь по гальке в душном зное,
На берегу морском иль в звездной вышине
Не промаячишь, марево сквозное,—

О, если... Так пускай придвинется стена
Кирпичная — одна, другая, третья,
Потом четвертая. Я обойдусь без сна
Вплоть до конца двадцатого столетья.

Я буду ждать тебя в квадрате этих стен —
Всех четырех! В любой из одиночек...
О Босоногая, о Вечная, о Тень!
Здесь замурован твой транзитный летчик.

5

Слышишь, Музыка? Ты диктовала мне эти слова, сбереженные
в зимах и веснах, давно миновавших.
Слышишь, Музыка? Ты опьянила меня, правдолюбца-жгуна,
что случайно попался тебе на дороге.
Кто же ты, Боевая Подруга всех жизней моих, не вмещенных
вот в эту, растянутую на три четверти века?
Как тебя мне назвать, обозначить, замкнуть в сочетание
звуков, в движение ритма, в любое создание рук
человеческих, в танец иль в глину?
Как высоко поднять над собой — словно свадебный кубок,
подаренный кем-то, моложе меня или старше, не знаю...
Невозможно? Немыслимо? Нет основания для позднего пира?
Пора миновала? Пора не настала? — Неправда!



ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ЧЕТЫРЕ ЧУЛОЧНИЦЫ

По подвыпившим улицам ходят чулки,
на морозце к ногам примораживаясь,
и девчонки,
 слюня носовые платки,
вытирают чулки,
 прихорашиваясь.
И твистуют чулки,
 и пустуют чулки,
себя где-то на трубах высушивая,
и по скверам подрагивают,
 чутки,
что-то очень такое выслушивая.
А четыре чулочницы
 отдыха для
выпивают по случаю женского дня.
Кто не с ними — дурак!
 И барак — не барак,
и музыка гремит,
 как на лучших балах!
А в красильном цеху —
 там туман да туман,
а приходишь домой —
 там тумак да тумак,
зареветь бы,
 обнявши березку, ольху,
и туман в голове,
 как в красильном цеху.
У одной пьет мужик,
 у другой пьет мужик,
и у третьей он пьет...
 У четвертой — лишь пшик:
у четвертой — тоска,
 что вот нет мужика
(хоть бы пил,
 да хоть был...)
«Ну их к черту!» —
 сказала, хлебнувши, одна.

«Ну их к черту!» —
 вторая рванула до дна.
 «Ну их к черту!» —
 и третья очнулась от сна,
 а четвертая,
 хоть и ницья не жена,
 деловито и кратко послала их на...

Хорошо просто так полежать на боку,
 поглядеть в потолок,
 пожевать чесноку,
 целоваться-то не с кем,
 так выпей — и с ног!
 Так хрусти
 им, пьянчугам, в отместку
 чеснок!

А в соседней клетушке —
 там писк и «кыш-кыш!».
 Там живет среди кроликов,
 птиц
 и афиш

бывший вроде актер,
 ну, а ныне вахтер
 по прозванию дядь Миш.
 И заходит дядь Миш в безадамовый рай.
 На плече его важно сидит попугай.
 Ну, а бабы кричат:

 «Попугай, не пугай!
 Мы такое расскажем тебе, попугай,
 что хоть в Африку снова сбегай!»
 И — к дядь Мише одна,
 и, видать, не впервой:
 «Эх, дядь Миш,
 и какой же бессовестный — мой...»
 «Это точно...» —
 Дядь Миш чуть качнет бородой.
 «Ну, а был ты такой же,
 когда ты был муж?»

«Был такой же...» —
 кивнет борсодю дядь Миш.
 И дядь Мишу чулочницы весело бьют,
 и в селедку его борсодю суют,
 а потом,
 подобревши душою, встают:
 «Ну, а все-таки где наши сволочи пьют?»
 «Точно, сволочи...» —
 им подыграет дядь Миш.
 «Как так — сволочи? —
 тут же.—
 Чего ты дуришь?»

Все же наши мужья,
 а не то чтобы чьи...
 Если пьют они —
 все-таки пьют на свои...»
 «Мой имеет медаль как-никак за Берлин...»

«Ну, а мой — бригадир,
и такой он — один...»
«Ну, а мой — не герой,
ну, а все-таки — мой...»
И уходят три гордые бабы домой.
А четвертая —
та, что ничья не жена,
остаётся одна
и стоит у окна.
Ей так хочется тоже кого-то искать,
и таскать на себе,
и, дурного, ласкать.
А по улицам ходят чулки,
чулки...
У дядь Миши веселье —
родились щенки.
И дядь Миша заходит:
«Ну, мать, — хватит пить.
Подарю тебе лучше щенка,
чем топить».

ИТАЛЬЯНСКИЕ СЛЕЗЫ

Возле Братска, в поселке Анзёба
плакал рыжий хмельной кладовщик.
Это страшно всегда до озноба,
если плачет не баба — мужик.

И, корежась нечеловечьи,
удержаться старалось лицо,
но тряслись неподвластные плечи,
а из глаз все лило и лило.

Все выкладывал он до крохи,
как под Минском он был окружен,
как по дальней железной дороге
был отправлен в Италию он.

«Но лопата — пойми! — не копала
в огражденной от всех полосе,
а роса на шоссе проступала,
понимаешь — роса на шоссе!»

И однажды с корзиночкой мимо
итальянка девчущечка шла,
и что люди голодные, мигом,
будто русской была, — поняла.

Востроносая, словно грачонок,
протянула какой-то их фрукт
из своих семилетних ручонок,
как из бабьих жалетельных рук.

Ну, а этим фашистам проклятым —
что им дети, что люди кругом!
И солдат ее вдарил прикладом,
и вдобавок еще — сапогом.

И упала, раскинувши руки,
и лежала она на шоссе,
и заплакала горько, по-русски,
так, что сразу мы поняли все.

Сколько наша братва отстрадала,
оттерпела от дома вдали,
но, чтоб эта девчущка рыдала,
мы уже потерпеть не могли.

И овчарок, солдат — мы в лопаты,
рассекая их сучьи хрящи,
ну, а после уже — в автоматы:
оказались они хороши.

И свобода нам хлынула в горло,
и, вертлявая, точно юла,
к партизанам их тамошним в горы
та девчущечка нас повела.

Были там и рабочие парни,
и крестьяне — и я пободрел.
Был священник — по-ихнему «падре»...
Так что к богу я, брат, подобрел.

Мы делили затяжки, и пули,
и любой сокровенный секрет,
и порою, ей-богу, я путал,
кто был русский в отряде, кто нет.

Что оливы, браток, что березы —
это, в общем, почти все равно.
Итальянские, русские слезы
и любые — все это одно...»

«А потом?» — «А потом при оружьи
мы входили под музыку в Рим.
Гладиолусы плюхались в лужи,
и шагали мы прямо по ним.

Развевался и флаг партизанский,
и английский, как миленький, был,
и зебрастый американский —
лишь про нашенький Рим позабыл.

Но один старичишка у храма
подошел и по-русски сказал:
«Я шофер из посольства Сиама,
а посол был фашист — он сбежал.

Эмигрант я, но родину помню..
Здесь он рядом — тот брошенный дом.
Флаг, смотрите-ка,— алое поле,
только лев затесался на нем».

И тогда, не смущаясь нимало,
финкарями спорили мы льва,
но чего-то еще не хватало —
мы не поняли даже сперва.

А чернявый грачонок Мария
(пусть простит ей сиамский посол!)
хватать-ка ножницы из барберии ¹,
да и шварк! — от юбчонки псдол.

И чего-то она верещала,
улыбалась — хитрехонько так,
и чего-то она вырезала,
а потом нашивала на флаг.

И взлетел — аж глаза стали мокнуть
у братвы зарубелой, лютой —
красный флаг, а на нем серп и молот
из юбчонки девчущечки той...»

«А потом?» Похмурел он, запнувшись,
дернул спирта под сливовый джем,
а лицо было в детских веснушках
и в морщинах — недетских совсем.

«А потом через Каспий мы плыли.
Обнимались и в пляс на борту!
Мы героями вроде как были,
но героями — лишь до Баку.

Гладиолусами не встречали,
а встречали, браток. при штыках.
И угрюмо овчарки ворчали
на отечественных поводках.

Конвоиров безусые лица
с подозреньем смотрели на нас,
и кричали мальчишки нам «фрицы!»,
так, что слезы вставали у глаз.

Весь в прыщах, лейтенант-необстрелок
в форме новенькой — так его мать! —
нам спокойно сказал: «Без истерик!» —
и добавил: «Оружие — сдать».

И солдатики нас по-пастушьи
привели, как овец сосчитав,
к так знакомой колючей подружке
в так знакомых железных цветах.

¹ Барберия — парикмахерская (итал.).

И куда ты негаданно делась
в нашей собственной кровной стране,
партизанская прежняя смелость?
Или, может, приснилась во сне?

Опустили мы головы низко
и оружие сдали легко.
До Италии было неблизко,
А до дому совсем далеко.

Я, кидая оружие и шмотки,
под рубашкою спрятал тот флаг,
но его отобрали при шмоне:
«Недостойн...— сказали.— Ты враг...»

И лежал на оружьи безмолвном,
что досталось нам в битве святой
красный флаг, а на нем серп и молот
из юбочки девчужечки той...»

«А потом?» Усмехнулся он желчно,
после спирту еще пропустил,
да и ложкой комкастого джема,
искривившись, его подсластил.

Вновь лицо он сдержал через силу
и не знал — его спрятать куда:
«А — не стоит... Что было — то было,
только б не было так никогда...

Завтра рано вставать мне — работа...
Ну, а будешь в Италии ты:
где-то в городе Монте-Ротонда
там живут партизаны-братья.

И Мария — вся в черных колечках,
а быть может, в седых — столько лет!
Передай, если помнит, конечно,
ей от рыжего Вани привет.

Ну не надо про лагерь, понятно.
Как сказал, что прошло — то прошло.
Ты скажи им — им будет приятно —
в общем, Ваня живет хорошо...»

...Ваня, все же я в Монте-Ротонде
побывал, как просил меня ты.
Там крестьянин, шофер и ремонтник
обнимали меня, как братья.

Я не видел синьоры Марии,
только просто зашел в ее дом,
и смотрели твои голубые
с фотографии — рядом с Христом.

Меня спрашивали и крестьяне
и священник — весь белый, как снег:
«Как там Ванья?» «Как Ванья?» «Как Ванья?»
и вздыхали: «Такой человек!»

Партизаны стояли рядами —
столько их для расспросов пришло,
и твердил я, скрывая рыдания:
«В общем, Ваня живет хорошо...»

Были мы ни пьяны, ни тверезы —
просто пели и пили вино.
Итальянские, русские слезы
и любые — все это одно.

Что ж ты плачешь, опять наливая,
что ж ты цедишь: «А, все это блажь!»
Тебя помнит Италия, Ваня,
и запомнит Россия — не плачь!

СИЦИЛИЙСКИЙ РАЙКОМ

Под ночной неспасительной сенью
в городишке, не помню каком,
я набрел, как на самоспасенье,
на тебя, сицилийский райком.

Но я лучше припомню вначале,
как я шел сквозь кромешную тьму,
а собаки в отбросах ворчали
и боялись, я их отниму.

Пахло мерзостно местом отхожим.
Подбирали мальчишки «бычки»,
и, блуждая отдельно от кошек,
зеленели кошачьи зрачки.

Все играло в печальные прятки,
лишь выскакивал, мглу озаря,
словно нож изнутри рукоятки,
луч карманного фонаря.

И с вязаньем хозяйки сидели
на скамеечках в той темноте,
пусть с каждой петлею седея, —
только с каждой петлею — не те.

Но в беззвездной ночи трепетало,
клокотало, как только могло,
над хибаркой у края квартала
большевистское знамя мое.

Из окошка, строги и печальны,
озаряли убогость домов
лица, бурые, словно песчаник
полувыжженных солнцем холмов.

В этой комнатке бедной витала
боль сухих сицилийских полей
вместе с болью горящей Вьетнама,
вместе с болью и верой моей.

И мой Ленин улыбкою ясной
улыбался в кепчонке, как встарь,
словно он коммунист итальянский
и райкома того секретарь.

Тут словами нешибко владели,
но звучало с такой чистотой
непорочное имя идеи,
словно имя мадонны святой.

И я буду последним подонком,
если выбьюсь постыдно из сил,
если стану хоть малость подобным
тем, кто святость идеи забыл.

Если правдою ложь не осилю
и на удочку лжи попаду,
подведу я не только Россию —
сицилийский райком подведу.



ТАТЬЯНА БЕК

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Я знаю, что те слова, которые я ишу,
Давно до меня разысканы и охают надо мной,
Когда я стихи пишу, как мостовую мощу,
Где каждый из тысяч булыжников
Надо поднять самой.

Я слышу в чужих стихах, я вижу в любой строке:
Все выстрадано, все высказано, все найдено до меня.
Зачем же тогда, зачем — опять карандаш в руке,
И снова тетрадь открылась,
Как захлопнулась западня!..

ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА

Старая, скрипучая винтовая лестница.
Кружится, кружится — никогда не кончится.
А внизу, за окнами, улица плещется,
Веселая, усталая, словно велогонщица.

А здесь — ступеньки грязные да перила шаткие.
Винтовая лестница — ржавая пружинка.
С каждым кругом все темней темные площадки,
И, как мухи, за окном серые снежинки.

А с каждым кругом — круче, а с каждым шагом — тише.
Только слышно: сыплется сухая штукатурка...
Я давно уже звоню, но никто не вышел,
Накрепко закрыта дверь, как старая шкатулка.

На меня звонки глядят печально и степенно,
Говорят: «Ушли, ушли...» Ну что за околесица!
Как футбольные мячи, взлетают вверх ступени.
Снова вьется подо мной винтовая лестница.

ЗИМОЙ

Скрипит зима над городом, как мельница,
А город-мельник выпачкан мукой,
Торчит бородка остренького месяца
Над белою безлюдною Москвой.
Торчит бородка остренького месяца,
И вздрагивает тихо, и сопит...
Луна была как толстая помещица,
А он — худой. Он вздрагивает, мечется,
А он, я знаю, до утра не спит...

* * *

А мне не пишется, не пишется,
Как ни стараться, как ни пыжиться,
Как пот со лба ни утирать...
Орехов нет в моем орешнике,
Весь день молчат мои скворешники,
Белым-бела моя тетрадь.

И я боюсь, и мне не верится,
Что больше слово не засветится,
Не разгорится на губах.
...О, я очищу стол от мусора,
И наконец-то грянет музыкой
Мой долгий страх — молчанья страх.

И станет скользко, как в распутицу,
И немота моя расступится,
И — все напропалую трать!..
Зачем орехов нет в орешнике,
Зачем молчат мои скворешники,
Зачем белым-бела тетрадь?



ТРУМЭН КАПОТЕ

★

ЛЕСНАЯ АРФА

Повесть

Глава I

Когда ж я впервые услышал о лесной арфе? Задолго до той осени, когда мы ушли жить на платан; стало быть, какой-то другою осенью, раньше; и уж, само собой, это Долли мне про нее рассказала; больше никто б не придумал такого названия — лесная арфа.

Если выйти из города по церковной дороге, вскоре вам бросится в глаза невысокая горка, вся в белых, как кости, надгробьях и выжженных солнцем бурых цветах: это баптистское кладбище. Наша родня — Тэлбо и Фенвики — похоронена здесь; моя мать покоится рядом с отцом, а могилы всех родичей — десятка два или больше — расположились вокруг, словно стелющиеся по земле корни старого кедра. Под горкою — поле, оно заросло высокой индейской травой, меняющей цвет с каждым временем года; приходите взглянуть на нее осенью, в конце сентября, когда она становится красной, как заходящее солнце, когда багряные тени, словно отблески пламени, быстро проносятся над нею, и осенние ветры перебирают ее засохшие листья, вызванивая грустную человечесью музыку, — арфа, звучащая на разные голоса.

Сразу за полем темнеет Бережной лес. Должно быть, в один из таких вот сентябрьских дней, когда мы там, в лесу, собирали разные корешки, Долли сказала мне:

— Слышишь? Арфой звенит трава, день и ночь рассказывает она какую-нибудь из своих историй — ей известны истории всех людей там, на горке, всех людей, когда-либо живших на свете, и когда мы умрем, она так же вот станет рассказывать наши истории.

После маминой смерти отец — он был коммивояжером — отдал меня в дом к двум своим незамужним кузинам — сестрам Тэлбо, Вирене и Долли. До тех пор меня к ним никогда не пускали. По причинам, в которых никто так и не смог до конца разобраться. Вирена и мой отец не разговаривали друг с другом. Должно быть, папа просил у Вирены займы и она отказала; а может, она одолжила ему денег и он их не отдал. Как бы там ни было, можете быть уверены: все вышло из-за денег, ничто, кроме денег, не могло иметь для них такого значения, осо-

Талантливый американский писатель Трумэн Капоте уже знаком советскому читателю по повести «Завтрак у Тиффани» и документальному роману «Обыкновенное убийство». Капоте принадлежат также роман «Другие голоса, другие комнаты» и ряд рассказов.

бенно для Вирены — она была богаче всех в городке: аптека, магазин готового платья, заправочная станция, бакалейная лавка, контора — все было ес, и нельзя сказать, чтобы, наживая это добро, она стала покладастым человеком.

В общем, папа сказал — ноги его больше не будет у нее в доме. Ну и ужасные же он вещи говорил про обеих дам Тэлбо! Один из слухов, которые он распустил — будто Вирена гермафродит, — до сих пор еще ходит, а мисс Долли Тэлбо он без конца осыпал насмешками, так что даже мама не выдержала: и как ему только не стыдно, сказала она, издеваться над таким кротким и безобидным существом.

По-моему, они очень любили друг друга, отец с матерью. Она, бывало, плакала всякий раз, как он уезжал продавать свои холодильники. Когда они поженились, ей было шестнадцать; она не дожила и до тридцати. В тот день, когда она умерла, отец, выкрикивая ее имя, сорвал с себя всю одежду и выбежал раздетым во двор.

Вирена явилась к нам на другой день после похорон. Помню, я с ужасом глядел, как она шла по дорожке — тонкая, словно хлыст, красивая женщина: коротко подстриженные, тронутые сединой волосы, совершенно мужские черные брови, изысканная родинка на щеке. Она открыла парадную дверь и вошла в дом. После похорон папа ломал и расшвыривал вещи — не в припадке ярости, а спокойно и методично: войдет легким шагом в гостиную, возьмет в руки фарфоровую статуэтку, поглядит на нее в задумчивости и — бац о стену. Полы и лестницы были усыпаны осколками, всюду валялось столовое серебро, с перил свисала разорванная ночная рубашка — мамина.

Взгляд Вирены скользнул по обломкам.

— Юджин, мне нужно сказать тебе несколько слов, — проговорила она своим энергичным, холодным, надменным голосом.

И папа ответил:

— Ладно, Вирена, садись. Я так и знал, что ты явишься.

Под вечер пришла Доллина подруга Кэтрин Крик, собрала мои пожитки, и папа отвез меня в мрачный величественный особняк на Тэлблейн. Когда я вылезал из машины, он хотел было обнять меня, но я дико его боялся и вывернулся у него из рук. А сейчас мне так жаль, что мы с ним не обнялись тогда: через несколько дней по дороге в Мобил его машину занесло на повороте, и, пролетев пятьдесят футов, она свалилась в залив. Когда я снова его увидел, на глазах у него лежали серебряные доллары.

До тех пор никто не обращал на меня ни малейшего внимания, говорили только — слишком он мал для своего возраста, от земли не видать; а теперь люди стали указывать на меня, приговаривая — вот беда-то какая, несчастный малец Коллин Фенвик! И я старался принять самый жалостный вид — понимал, что людям так нравится. Не было в городе человека, который не оделил бы меня стаканчиком мороженого или коробкой воздушной кукурузы с патокой, а в школе я впервые стал получать хорошие отметки. Так что прошло порядочно времени, пока я настолько успокоился, чтобы заметить Долли Тэлбо.

И тогда я влюбился.

Вы только представьте себе, что это для нее было, когда в доме у них водворился я — шумливый одиннадцатилетний мальчишка, сующий во все свой нос. Засылав мои шаги, она стремительно убегала, а уж если встречи нельзя было избежать, вся съеживалась, словно листики норичника. Долли была из тех людей, что умеют стать неприметными, как предмет обстановки, как тени в углу. людей, чье присутствие едва ощущаешь. Она носила бесшумную обувь, простые девичьи платья чуть

не до пола. Хотя лет ей было больше, чем сестре, казалось — она приемыш Вирены, так же, как я. Вирена была центром нашего домашнего мироздания, и мы вращались вокруг нее каждый по своей орбите, подчиняясь силе ее притяжения и направляемые ею.

В июле чердака — захламленного музея, где призраками маячили старые манекены из Вирениного магазина готового платья, — многие доски отставали, и, раздвигая их, можно было заглядывать почти во все комнаты. Доллина комната отличалась от остальных, забитых грузной и мрачной мебелью, — в ней всего-то и было что кровать, письменный стол да стул. Совсем монашеская келья, только вот стены и все остальное выкрашено в какой-то диковинный розовый цвет, даже пол розовый.

Когда бы я ни подглядывал за Долли, она неизменно бывала поглощена одними и теми же делами: стоя перед зеркалом, подстригала садовыми ножницами и без того короткие желтоватые с проседью волосы, а если не стриглась, то что-то писала карандашом в блокноте из грубой бумаги. Она то и дело слюнявила карандаш кончиком языка, а время от времени произносила вслух фразу, записывая ее: «Сладкого — конфег или чего другого — в рот не берите, а уж соль убьет вас наверняка». Теперь-то я могу вам сказать: она писала письма. Но сначала эта ее переписка казалась мне страшно загадочной. Ведь единственной ее подругой была Кэтрин Крик, больше она ни с кем не встречалась и из дому не выходила, только раз в неделю отправлялась с Кэтрин в Бережной лес, где они собирали разные корешки — Долли потом варила из них снадобье от водянки и разливала его по бутылкам. Позднее я обнаружил, что на ее зелье находились покупатели во всем штате — им-то и были адресованы ее многочисленные письма.

В Вирениной комнате, сообщавшейся с Доллиной узким коридором, все было, как в zapравской конторе: стол-бюро с крышечкой на роликах, целая библиотека гроссбухов, картотеки. После ужина, надев зеленый козырек, Вирена обычно садилась за письменный стол — проверяла счета, листала гроссбухи, пока не погаснут уличные фонари. Хотя она со многими поддерживала отношения — дипломатического и политического свойства, — близких друзей у нее не было. Мужчины ее побаивались, сама же она как будто побаивалась женщин. За несколько лет перед тем Вирена сильно привязалась к веселой светловолосой девушке по имени Моды-Лора Мэрфи — одно время она работала у нас на почте, а потом вышла замуж за виноторговца из Сент-Луиса. Вирена очень тяжело переживала эту историю; она объявила во всеуслышание, что этот самый муж — ничтожество. Вот почему для всех был такой неожиданностью ее свадебный подарок молодым — поездка к Большому Каньону, где они должны были провести свой медовый месяц. Моды с мужем так и не вернулись; они открыли заправочную станцию неподалеку от Большого Каньона и время от времени посылали Вирене свои снимки. Их карточки были для нее радостью и горем. Иной раз по вечерам она так и не открывала своих гроссбухов — сидит, уронив голову на руки, и снимки разложены перед ней на столе. А потом уберет их, погасит свет и вышагивает по комнате, и вдруг оттуда доносится ржавый рыдающий звук — словно она споткнулась и упала впотьмах.

Та сторона чердака, откуда я мог бы заглядывать в кухню, была надежно ограждена от меня — здесь навалом были нагромождены сундуки, огромные, словно кипы хлопка. В ту пору мне больше всего хотелось разнюхать, что происходит на кухне — именно там была сосредоточена вся жизнь дома. Долли проводила на кухне большую часть дня, болтая со своей приятельницей Кэтрин Крик. В детстве, оставшись сиротой, Кэтрин Крик была взята в услужение к мистеру Урии Тэлбо, и они вы-

росли вместе — Кэтрин и сестры Тэлбо — на старой ферме, где теперь железнодорожный склад. Долли она называла «лапушка», а Вирену не иначе как «эта самая». Жила Кэтрин на заднем дворе в крытом железом домишке, серебрявшемся среди подсолнухов и шпалер с каролинской фасолью. Кэтрин уверяла, что она индианка, но люди только подмигивали в ответ — черна она была, как ангелы Африки. Впрочем, кто ж ее знает, — может, это и правда: одевалась она, безусловно, как истая индианка — носила бирюзовые бусы, а румяна накладывала таким толстым слоем, что от одного взгляда на нее можно было ослепнуть. Щеки ее пламенели, как негасимые задние фары автомобиля. Зубов у Кэтрин почти не осталось; она подпирала челюсти ватными катышками, и Вирена бывало, сердилась:

— Черт возьми, ты же, Кэтрин, слова путем не выговоришь, так скажи на милость, отчего ты не сходишь к доку Крокеру — пусть бы втиснул тебе в пасть какие ни на есть зубы!

И правда, понять, что она говорит, было трудно. Одна только Долли могла бегло перевести совершенно невнятное шамканье своей подруги. Впрочем, с Кэтрин довольно было того, что ее понимает Долли: они всегда были вместе и все, что им хотелось сказать, говорили друг другу. В своем чердачном укрытии, припав ухом к балке, я мог слышать дразнящий шум их голосов — он тек сквозь старое дерево, словно кленовый сироп.

Лезть на чердак приходилось по лесенке через бельевой шкаф: верх его служил крышкой чердачного люка. Как-то раз, занеся ногу над ступенькой, я вдруг заметил, что дверь люка откинута. Я прислушался. Сверху доносилось блаженное мелодичное мурлыканье. Звуки были приятные: так напевают себе под нос маленькие девочки, играя в одиночестве. Я собрался было удрать, но тут мурлыканье прекратилось и чей-то голос спросил:

— Кэтрин?

— Коллин, — ответил я и высунулся из люка.

Лицо Долли, всегда казавшееся мне большой снежинкой, на этот раз сохранило свои очертания, оно не растаяло у меня на глазах.

— Так вот ты куда забираешься, а мы все гадали... — сказала она шелестящим, мнущимся, как папиросная бумага, голосом.

У нее были глаза незаурядного человека — лучистые, прозрачные глаза, отливающие зеленью, как мятный мармелад. Глядя на меня в чердачном полумраке, они робко признавались: я вижу, ты ничего против меня не затеваешь...

— Вот ты куда ходишь играть! Так я и говорила Вирене — тебе будет у нас одиноко.

Наклонясь над бочонком, она шарила в его глубине.

— Ну вот что, ты можешь мне подсобить — поройся-ка в другом бочонке. Я ищу коралловый замок, а еще мешочек с разноцветными камешками. Думаю, Кэтрин по душе придется такой подарок — банка с золотыми рыбками, как по-твоему? Это ей ко дню рождения. Жили у нас когда-то в этой банке тропические рыбки и вот ведь черти какие — сожрали друг дружку. А я еще помню, как мы их покупали — мы тогда за ними в самый Брутон ездили, за шестьдесят миль. До того я ни разу за шестьдесят миль не ездила и не знаю, доведется ли еще когда. Смотри-ка, вот он, замок.

А мне вскоре попались и камешки — они смахивали на кукурузные зерна и на драже, и я протянул ей мешочек:

— Конфетку хотите?

— Вот спасибо, — сказала она. — Люблю конфеты, даже если на вкус они — камешки.

* * *

Мы были друзьями — Долли, Кэтрин и я. Сперва мне было одиннадцать, потом стало шестнадцать. И хотя лично мне особенно нечем похвастать, это были славные годы. За все время я ни разу никого не привел в дом на Тэлбо-лейн, да мне и не хотелось. Однажды я пригласил в кино одну девочку, и, когда мы возвращались, она спросила — нельзя ли зайти к нам попить воды? Если б я думал, что ей и вправду хочется пить, то сказал бы — пошли; но я знал, она это нарочно, просто чтобы зайти в дом, поглядеть, что и как — людям всегда хочется поглядеть, вот я и сказал ей — пускай потерпит до своего дома. А она мне:

— Всему свету известно: у Долли Тэлбо винтиков не хватает и у тебя тоже.

Мне эта девчонка здорово нравилась, но я все равно ей наподдал, и она сказала — ничего, ее брат разукрасит мне вывеску; и он таки разукрасил: у меня до сих пор шрам в углу рта, так он двинул меня бутылкой из-под кока-колы.

Я знаю, в городе говорили, что Долли — Виренин крест, а еще говорили — в доме на Тэлбо-лейн много такого творится, чего люди и вообразить-то не могут. Может, и так. Но все ж это были славные годы.

В зимние дни, когда я возвращался из школы, Кэтрин спешила открыть банку с вареньем, Долли ставила на плиту большой кофейник, а в духовку — сковороду с лепешками; и когда духовка распаивалась, оттуда шел запах горячей ванили; Долли ела одно только сладкое и вечно пекла — торт, булку с изюмом, какое-нибудь печенье — или варила помадку. Овощей она в рот не брала, а из мяса любила только цыплячий мозг — крошечная такая штучка, величиной с горошину, ее и распробовать не успеешь. В кухне топились плита и камин, и она была теплая, как коровий язык. Зиме только и удавалось что разрисовывать окна своим ледяным голубоватым дыханием. Если какому-нибудь волшебнику вздумается сделать мне подарок, пусть даст мне бутылку, полную звуков той кухни — раскатов смеха и шепота пламени, бутылку, наполненную до краев ее запахами — сладкими, масляными, сдобными; впрочем, от Кэтрин пахло, как от свиньи по весне.

С виду это была скорее уютная гостиная, а не кухня: кресла-качалки, на полу лоскутный ковер, на стенах картинки — котята во всех видах, — предмет увлечения Долли; был там горшок с геранью — она цвела и цвела круглый год, а на покрытом клеенкой столе стояла большая банка, где золотые рыбки Кэтрин, помахивая хвостами, медлительно проплывали сквозь порталы кораллового замка. Иногда мы складывали картинки-загадки, поделив между собой составные куски, и Кэтрин потихоньку прятала наши, когда ей казалось, что кто-нибудь кончит раньше нее. А еще они помогали мне готовить уроки. Вот была морозка! Долли была умудренной во всем, что касалось природы: она обладала инстинктом пчелы, умеющей отыскать медоносный цветок, грозу предсказывала за сутки, наперед знала, будет ли плодоносить смородина, могла найти грибное место, дупло с диким медом, яйца цесарки в хитро запрятанном гнезде; оглядываясь по сторонам, она нюхом чувяла, что творится вокруг. Но когда доходило до моих уроков, тут она была так же невежественна, как Кэтрин.

— Америка так и называлась Америкой еще до того, как Колумб объявился. Уж это само собой ясно. А то откуда бы ему знать, что тут Америка?

И Кэтрин подтверждала:

— Верно. «Америка» — древнее индейское слово.

С Кэтрин было еще трудней, чем с Долли: она требовала, чтобы ее

считали непогрешимой, и если, бывало, не запишешь все слово в слово, как она говорит, сразу взъярится и прольет кофе или еще что-нибудь. Но я перестал ее слушать после того, как она наплела про Линкольна, будто он бегал отчасти негр, отчасти индеец и только самую чуточку белый. Я и то знал, что это чушь. Но перед Кэтрин я в особом долгу: если бы не она, кто знает, может, я так бы и не дорос до нормальных размеров. В четырнадцать лет я был чуть побольше Бидди Скиннера, а ведь всем известно, что его приглашали на работу в цирк. Но Кэтрин говорила — не тревожься, милоч, нужно тебя маленько вытянуть, только и всего. И она тянула меня за руки и за ноги, изо всех сил дергала за голову, будто это яблоко на неподатливой ветке. Верьте не верьте, а за два года она вытянула меня на двадцать пять сантиметров — от ста сорока пяти до ста семидесяти; я могу доказать это по зарубкам, которые делались хлебным ножом на дверях кладовой. Ведь даже сейчас, когда многое безвозвратно ушло, когда в печке гуляет ветер, а в кухне царит зима, эти отметины — свидетельство моего роста — все еще там.

Хотя, в общем-то, Доллино зелье, видимо, шло на пользу ее пациентам, время от времени приходило письмо, где говорилось — дорогая мисс Тэлбо, больше нам снадобья от водянки не надо, потому как бедная сестрица Белл (или кто там еще) на прошлой неделе отдала богу душу, царствие ей небесное. В таких случаях кухня погружалась в траур. Слежив руки на животе и покачивая головами, обе мои подружки уныло перебирали все обстоятельства дела, и Кэгрин говорила — что ж поделаешь, лапушка, мы-то старались изо всех сил, да, видно, господь судил иначе. А еще настроение в кухне портилось из-за Вирены — она беспрестанно вводила все новые правила или же заставляла нас соблюдать старые: делай то, не делай этого, прекрати, сейчас же начни. Словно мы были часы, и она то и дело поглядывала на нас, не расходуется ли наше время с ее собственным, и горе нам, если мы спешили на десять минут или опаздывали на час: Вирена выскакивала, как кукушка из-за дверцы.

Ох уж мне эта самая! — скажет, бывало, Кэтрин, а Долли в ответ: тихо ты, тихо — словно пытается заглушить не ворчанье Кэтрин, а едва слышный мятежный шепот в себе самой.

Сдается мне, в глубине души Вирене хотелось почаще бывать на кухне, жить ее жизнью, но ведь она была как бы единственным мужчиной в доме, полным детей и женщин, и ей оставался один только способ общения с нами — воинственные наскоки:

— Долли, вышвырни этого котенка, ты что, хочешь, чтоб у меня астма разыгралась? Кто оставил открытый кран в ванной? Кто сломал мой зонтик?

Когда на Вирену находило, ее скверное настроение едким желтым туманом пропитывало весь дом. Ох уж мне эта самая... Тихо ты, тихо...

Раз в неделю, чаще всего по субботам, мы отправлялись в Бережной лес. Для этих вылазок — а уходили мы на весь день — Кэтрин жарила цыпленка и фаршировала десяток яиц, а Долли прихватывала еще обливной шоколадный горт и кулек с помадками. Снарядившись таким образом и захватив с собой три порожних мешка из-под зерна, мы шли по дороге мимо кладбища, потом через поле, поросшее индейской травой. На самой опушке леса стоял платан с двойным стволом — по сути дела, это было два дерева, но ветви их так тесно сплелись, что можно было переходить с одного на другое. В развилине были настланы доски. Получился древесный дом, поместительный, прочный, не дом, а загляденье — словно плот, плывущий по морю листья. Построившие его мальчишки, если только они еще живы, теперь, должно быть, совсем

старики. Древесному дому было уже лет пятнадцать или все двадцать, когда Долли его углядела, а ведь это случилось за четверть века до того, как она показала его мне. Залезть туда было легче легкого — все равно что подняться по лестнице: наросты на коре служили ступеньками, а ухватиться можно было за крепкие плети дикого винограда, опутавшие стволы. Даже Кэтрин — а она была тяжеловата в бедрах и жаловалась на ревматизм — взбиралась наверх без труда. Но у Кэтрин не было любви к нашему дому на дереве. Ей не дано было знать, как знала Долли, от которой об этом узнал и я, что на самом-то деле это корабль и что, сидя там, наверху, ты плывешь вдоль туманного берега каждой своей мечты. Попомни мои слова, говорила Кэтрин, доски-то старые совсем, гвозди стерлись, скользкие стали, как черви, того и гляди все развалится. Вот грохнемся, расшибем себе головы — будто я не знаю!

Спрятав провизию в доме на дереве, мы расходились в разные стороны с большими мешками для листьев, трав и каких-то неведомых корешков. Никто, даже Кэтрин, толком не знал, что входит в Доллино снадобье — этой тайной она ни с кем не делилась, даже нам не разрешалось заглядывать к ней в мешок. Она крепко прижимала его к себе. Можно было подумать, что там у нее запрятан таинственный пленник, заколдованный маленький принц с синими волосами.

Вот что она мне рассказала:

— Давным-давно, когда мы были детишками — у Вирены в ту пору зубы еще не сменились, а Кэтрин была вот такая, не выше столбика от загородки, — в наших краях так и кишели цыгане; было их словно птиц на кустах ежевики, не то что сейчас — за весь год, может, пройдет один-другой, да и только. Приходили они по весне. Появлялись неожиданно-негаданно, как цвет на кизиле, — глядишь, а они уже тут: на дороге полно и в лесу. Ну, а наши мужчины вида ихнего выносить не могли; наш папа, твой двоюродный дедушка Урия, так и сказал: если он кого из них поймает у нас на участке, застрелит на месте. Вот потому-то я, если увижу — цыгане воду берут из ручья или старые pekanовые орехи с земли таскают, я никому ни полслова. И вот как-то вечером — дело было в апреле, и дождь лил всюю — побежала я в коровник: Резвушка только что отелилась; гляжу, в коровнике три цыганки — две старые, одна молодая, и молодая лежит нагишом на мякине, ее всю так и корчит. Как увидели они, что я нисколько не напугалась и звать никого не стану, одна из старух попросила дать им огня. Побежала я в дом за свечой, а вернулась — вижу: старуха, та самая, что меня послала, держит за ноги ребеночка вниз головой, он весь красный, орет, а другая старуха доит нашу Резвушка. Ну, помогла я им вымыть ребеночка парным молоком, завернули мы его в шаль. Тогда одна из старух взяла меня за руку и говорит — я тебя сейчас отдарю: научу одно зелье варить. И сказала стишок. А в том стишке было про кору падуба и про стрекозиный папоротник — про все, что мы теперь здесь, в лесу, собираем: Кипяти до черноты, отцеди и вылей в склянку — будет зелье от водянки. Утром они ушли; я их искала повсюду — и в поле, и на дороге — нигде ни следа, только от них и остался тот стишок, что я затвердила...

Громко переключаясь, ухая, словно выпущенные на яркий свет филины, мы прилежно трудились все утро в разных концах леса. После полудня, когда наши мешки разбухали от корья и нежных израченных корешков, мы забирались в зеленую паутину платана и раскладывали еду. У нас была с собой банка из-под варенья с вкусной водой из ручья, а в холодные дни — термос с горячим кофе, и мы листьями вытирали масленые от цыпленка и липкие от помадок руки. А потом гадали по цве-

там, толковали о разных разностях, нагоняющих дрему, и казалось нам — мы плывем сквозь день на плоту среди ветвей дерева. Мы с этим деревом были одно, как серебрившаяся на солнце листва, как обитавшие в ней козодои.

* * *

Раз в год я прихожу к дому на Тэлбо-лейн и брожу по двору. Недавно я снова побывал там и наткнулся на старый железный чан. Перевернутый кверху дном, он чернеет в бурьяне, словно упавший метеорит. Долли... Долли, склоняясь над чаном, сыплет в кипящую воду содержимое наших мешков и помешивает, помешивает соструганым метловищем бурое, как табачная жвачка, варево. Свое снадобье она составляла сама, мы с Кэтрин только стояли и глядели, как на выучке у знахарки. Наша помощь требовалась позднее — мы разливали его по бутылкам, и, так как обычные пробки из них потом вышибало, моим делом было скатывать затычки из туалетной бумаги. Наш сбыт составлял в среднем шесть бутылок в неделю, по два доллара за бутылку. Деньги эти, как Долли считала, — наши общие, и мы тратили их сразу же, как только получали. Обычно заказывали всякую всячину по журнальным рекламам: «Учитесь резьбе по дереву — купите набор «Парчизи», «Игра для молодых и старых — из базуки может выстрелить каждый». Как-то мы выписали учебник французского: я рассудил, что, если мы выучимся по-французски, у нас будет свой секретный язык, тогда нас никто не сумеет понять — и Вирена тоже. Долли была не прочь попробовать, но дальше «Passez-moi ложку» она не пошла, а Кэтрин затвердила «Je suis fatigué» и больше учебника не открывала. Все, что ей нужно, она уже знает, объяснила она.

Вирена не раз говорила — если кто-нибудь этим зельем отравится, будет беда, но, в общем, особого интереса к нашему снадобью не проявляла.

Как-то мы подсчитали свою выручку за год, и выяснилось — мы работали столько, что нам надо бы платить подоходный налог. Вот тут-то Вирена и принялась задавать вопросы. Ведь деньги были ее добычей, она шла по их следу бесшумным шагом бывалого охотника, зорко подмечающего в пути каждую сломанную ветку. Что входит в состав лекарства? — выпрашивала она. Но Долли, хоть и была польщена и только что не пофыркивала от удовольствия, знай отмахивалась: да так, говорила она, то да се, а в общем, ничего особенного...

Вирена сделала вид, что поставила крест на этом деле. Но как часто во время ужина она в раздумье поглядывала на Долли, а однажды, когда мы стояли на заднем дворе у кипящего чана, я случайно взглянул на ее окно — Вирена следила за нами, не отрывая глаз: к тому времени ее план, должно быть, созрел окончательно, но действовать она начала только летом.

Два раза в году, в январе и в августе, Вирена ездила за покупками в Сент-Луис или в Чикаго. В то лето — мне тогда как раз минуло шестнадцать — она поехала в Чикаго и две недели спустя вернулась оттуда с одним человеком, неким доктором Моррисом Ритцем. Всем, ясное дело, не терпелось узнать, кто он такой. Этот доктор Ритц. Носил он галстуки бабочкой и пижонские костюмы самых броских цветов. Губы синие, сверлящие глазки поблескивают, как фольга, в общем — мерзкая крыса. Говорили, что он занимает лучший номер в отеле «Лола» и заказывает в кафе Фила бифштексы на обед. Днем он фланировал по улицам, резко поворачивая вслед каждому встречному сверкающую напомаженную голову. Но компании ни с кем не водил и на людях появлялся только с Виреной. Хотя, надо сказать, в дом она его ни разу не

приводила и даже имени его не упоминала, пока однажды Кэтрин, набравшись нахальства, не спросила ее:

— Мисс Вирена, а кто он такой, этот докторишка Моррис Ритц — до чего ж потешный!

И тут у Вирены побелели губы, и она раздраженно сказала:

— Ну, я могла бы назвать одну особу... Так она куда потешней.

Стыд и срам, говорили в городе, что Вирена связалась с этим еврейчиком из Чикаго. Ко всему он еще лет на двадцать моложе ее. Прошел слух, что они кое-чем занимаются на заброшенном консервном заводе в другой части города. Как выяснилось потом, они там действительно кое-чем занимались, но вовсе не тем, что имела в виду вся эта шатия в бильярдной... Почти каждый день можно было видеть, как Вирена и доктор Ритц шествуют к консервному заводу — заброшенной кирпичной развалине с выбитыми стеклами и покосившимися дверьми. Вот уже лет тридцать к нему никто близко не подходил, кроме школьников, бегавших туда курить сигареты и баловаться. А потом — дело было в начале сентября — мы вдруг узнаем из заметки в «Курьере»: Вирена купила этот самый консервный завод. Но что она с ним собирается делать, там сказано не было.

Через несколько дней Вирена велела Кэтрин нарезать двух цыплят — в воскресенье она ждет к обеду доктора Морриса Ритца. За все годы, что я у них прожил, доктор Ритц был единственным человеком, удостоившимся приглашения отобедать в доме на Тэлбо-лейн. Так что в силу ряда причин это было событие чрезвычайное. Кэтрин и Долли затеяли уборку, как перед пасхой: выбивали ковры, достали парадный сервиз с чердака, во всех комнатах стоял запах лимонной мастики и воска. Обед предполагался такой: жареные цыплята и окорок, зеленый горошек и сладкий картофель, сдоба и банановый пудинг, два торта и пломбир «тутти-фрутти» из аптеки-закусочной. В воскресенье омолоду Вирена зашла домой взглянуть на стол. В центре его расставалась ваза с чайными розами, тесно и прихотливо было расставлено фамильное серебро. Можно было подумать, что стол сервирован на двадцать персон; на самом же деле стояло всего два прибора. Вирена тотчас же поставила еще два, и тогда Долли сказала упавшим голосом — что ж, если Коллин хочет обедать в столовой — пожалуйста, а она остается с Кэтрин на кухне. Но Вирена была непреклонна:

— Не морочь мне голову, Долли. Дело важное. Моррис приходит специально, чтобы с тобой познакомиться. И пожалуйста, выше голову, сделай такую милость. На тебя смотреть тошно.

Долли перепугалась насмерть: она забилась к себе в комнату, и спустя порядочно времени после прихода гостя Вирене пришлось меня за ней посылать. Долли лежала на розовой кровати с мокрой тряпкой на лбу. Рядом сидела Кэтрин, разряженная и разубранная, нарумяненные щеки рдеют леденцами, ваты во рту напихано еще больше, чем всегда.

— Встань, ягодка, испортишь свою красивую обивку, — уговаривала она Долли.

Долли приподнялась, расправила ситцевое платье, которое ей привезла из Чикаго Вирена, но тут же снова легла.

— Если б Вирена только знала, как мне совестно... — беспомощно проговорила она, и тогда я пошел и сказал Вирене, что Долли захворала.

Но Вирена сказала — она сама разберется, и решительным шагом вышла из холла, оставив меня наедине с доктором Моррисом Ритцем.

Ох, до чего ж он был поганый!

— Так значит, тебе шестнадцать, — сказал он и подмигнул мне

своими сальными глазками, сперва одним, потом другим.— И ты забавляешься сам с собой? Заставь-ка старую леди в другой раз взять тебя в Чикаго — вот там есть с кем позабавиться!

Тут он прищелкнул пальцами и стал притоптывать ногами в остроносых фасонистых туфлях, словно в такт развеселому мотивчику из какого-нибудь ревию. Он вполне мог сойти за чечеточника или продавца газировки, если бы не портфель, свидетельствовавший о более серьезной профессии. Я подумал — если он считается доктором, то доктором чего, и совсем было собрался его спросить, но тут возвратилась Вирена. Она вела Долли, крепко держа ее за локоть.

На этот раз Долли не удалось слиться с тенями холла, с его мебелью в мягкой обивке. Не поднимая глаз, она протянула руку, доктор Ритц буквально вцепился в нее и принялся так энергично трясти, что Долли чуть не упала.

— Привет, мисс Тэлбо! Для меня большая честь познакомиться с вами! — воскликнул он наконец и подергал галстук-бабочку.

Сели за стол. Кэтрин внесла блюдо с цыплятами и стала нас обновить. Подала Вирене, потом Долли, а когда подошел черед доктора, он объявил:

— По правде сказать, из всей курицы я признаю только мозг. Надеюсь, любезная, ты не оставила его в кухне?

В ответ Кэтрин уставилась на свой нос — даже глаза стали косить. Потом, путаясь языком в катышках ваты, прошамкала:

— Эти мозги Долли взяла, они у ней на тарелке.

— Ох этот мне южный выговор! — с неподдельным ужасом воскликнул доктор Ритц.

— Она говорит, мозги у меня на тарелке, — объяснила Долли, и щеки ее стали краснее, чем румяна Кэтрин. — Но позвольте мне положить их вам.

— Ну, если вы в самом деле не возражаете...

— Нисколько не возражает, — вмешалась Вирена. — И вообще она ест только сладкое. Вот возьми-ка пудинга, Долли.

Вдруг доктор Ритц расчихался.

— Ох... Эти цветы... Розы эти... Давнишняя аллергия...

— О господи! — всполошилась Долли и, увидав, что представился повод сбежать на кухню, схватила хрустальную вазу с розами.

Ваза выскользнула и разбилась, розы с плеском шлепнулись в соус, соус выплеснулся на нас.

— Вот видишь, — сказала она самой себе, и слезы выступили у нее на глазах. — Вот видишь, все это безнадежно.

— И вовсе не безнадежно, Долли. Сядь и доешь свой пудинг, — наставительно сказала Вирена, и в голосе ее чувствовалась решимость. — И потом, у нас есть для тебя маленький сюрприз. Моррис, покажите-ка Долли наши красивые этикетки!

Доктор Ритц перестал счищать соус с рукава.

— Ладно, дело поправимое, — буркнул он.

Потом вышел в холл и вернулся с портфелем. Пальцы его быстро шарили в ворохе шелестевших бумаг, пока не нащупали плотный большой конверт; он извлек его из портфеля и протянул Долли.

В конверте были треугольные этикетки — женщина в пестрой шали с круглыми золотыми серьгами, а поверху — броская оранжевая надпись: «Зелье старой цыганки изгоняет водянку».

— Первый класс. а? — сказал доктор Ритц. — Сработано в Чикаго. Картинку мой приятель нарисовал, он художник что надо, этот парень.

Растерянно, с опаской Долли перебирала этикетки, пока наконец не раздался голос Вирены:

— Ты недовольна?

Этикетки запрыгали у Долли в руках.

— Что-то я не совсем понимаю...

— Отлично понимаешь,— ответила Вирена с жидкой улыбкой.— Все ясно как день. Я рассказала Моррису давнишнюю твою историю, и он придумал эту замечательную надпись.

— «Зелье старой цыганки изгоняет водянку» — вот это название. Так сразу и прилипает! — сказал доктор Ритц.— На рекламе выглядит колоссально.

— Это вы про мое лекарство? — спросила Долли, все еще не поднимая глаз.— Но мне не нужны наклейки, Вирена. Я сама их подписываю.

Доктор Ритц даже пальцами прищелкнул:

— Нет, это здорово! Отпечатываем этикетки с надписью от руки, ее собственным почерком! Так будет интимней — ясно?

— Мы и без того уже хорошенько потратились,— возразила Вирена и повернулась к Долли:— На этой неделе мы с Моррисом едем в Вашингтон — получать авторское право на этикетки. И потом надо зарегистрировать патент на лекарство. Разумеется, там будет написано, что это ты его открыла. А теперь вот что, Долли: сядь-ка и напиши нам подробно его состав.

Лицо Долли вдруг потеряло обычные очертания. Этикетки упали, рассыпались по полу. Упираясь руками в стол, она медленно поднялась. Постепенно лицо ее стало твердым, она вскинула голову и, прищурившись, посмотрела сперва на доктора Ритца, потом на Вирену.

— Не выйдет,— тихо проговорила она. Подошла к двери, взялась за ручку.— Не выйдет. Не имеешь права, Вирена. И вы, сэр, не имеете права.

* * *

Я помог Кэтрин убрать со стола. Розы были загублены, торты не нарезаны, к овощам так никто и не притронулся. Вирена ушла из дому вместе со своим гостем. Из окна кухни мы смотрели, как они шли к городу — то покачивали головами, то энергично кивали. Потом мы нарезали обливной шоколадный торт и унесли его в комнату Долли.

— Тихо ты, тихо! — сказала она, когда Кэтрин принялась крыть эту самую на чем свет стоит.

Но, казалось, мятежный шепот, который она заглушала в себе, перешел в хриплый вопль, и ей надо перекричать его, и она все твердила: тихо ты, тихо; и наконец Кэтрин обняла ее и тоже сказала — тихо!

Мы вытащили колоду карт, разложили их на кровати. Кэтрин, ясное дело, не преминула напомнить, что сегодня воскресенье. Нам-то, может, не так уж опасно заполучить еще одну черную галочку в Книге Страшного суда, а у нее и без того их хватает. Поразмыслив над этим, мы решили гадать по руке.

Уже смеркалось, когда домой возвратилась Вирена. Из холла до нас донеслись ее шаги. Она вошла в комнату, не постучавшись, и Долли, гадавшая мне по руке, крепко сжала мою ладонь.

— Коллин, Кэтрин, мы на вас не обидимся... — сказала Вирена.

Кэтрин хотела было забраться вместе со мной на чердак, но вспомнила, что на ней нарядное платье. Так что я полез один. В полу была порядочная дыра от выпавшего сучка — как раз над розовой комнатой. Но прямо под дыркой стояла Вирена, и сверху мне была видна только ее широкополая соломенная шляпа с гроздьё пластмассовых плодов — она надела ее, когда уходила из дому.

— Таковы факты,— говорила Вирена, и пластмассовые плоды колыхались, поблескивая в сизом сумраке.— Две тысячи — за старый за-

вод: Билл Тэйтум с четырьмя плотниками уже работают там по восьмидесяти центов за час. На семь тысяч заказано оборудования. Я уж не говорю о том, во что обходится такой специалист, как Моррис Ритц. А ради кого? Все ради тебя!

— Ради меня? — прозвучал голос Долли, печальный и угасающий, как последние отсветы дня. Ее тень передвинулась с одного конца комнаты на другой. — Мы с тобой одна плоть. И я нежно тебя люблю, всем сердцем люблю. Сейчас я могла бы это тебе доказать — отдать то единственное, что считаю своим. Ведь больше у меня в жизни не было ничего своего... Тогда уже все мое станет твоим. Вирена, прошу тебя, — голос ее задрожал, — не отбирай единственное, что у меня осталось.

Вирена щелкнула выключателем.

— Это ты-то все отдаешь! — Голос ее был резким, как этот внезапный, злой, ослепляющий свет. — Все эти годы я работала, как поденщица. Разве я не давала тебе решительно все? И кров, и...

— Да, ты давала мне все, — тихо вставила Долли. — И Коллину, и Кэтрин. Но ведь мы тоже как-то себя оправдывали: старались все делать, чтоб у тебя был уютный дом, разве не так?

— О, не дом, а мечта! — подхватила Вирена и сорвала с себя шляпу. Лицо ее налилось кровью. — Уж вы расстарались — ты и твоя шепелявая дура. А тебе ни разу на ум не пришло, почему я никого не зову в этот дом? Да по очень простой причине: мне стыдно. Ты вспомни, что было сегодня!

Я почувствовал — у Долли перехватило дыхание.

— Прости, — едва слышно выговорила она. — Сказать по совести, я всегда думала, что для нас в этом доме есть место. Что ты хоть немножко нуждаешься в нас. Ну что ж, Вирена. Теперь здесь все будет как надо. Мы отсюда уйдем.

Вирена вздохнула.

— Бедная Долли... Бедняжка ты, бедняжка... Ну куда ты пойдешь?

Ответ прозвучал не сразу, неуверенный, как полет мотылька:

— Я знаю такое место...

* * *

Потом я лежал в постели и ждал, когда Долли придет поцеловать меня на ночь. В моей комнате, расположенной за гостиной, в самой глубине дома, прежде жил их отец мистер Урия Тэлбо. Дряхлым, выжившим из ума стариком Вирена привезла его сюда с фермы. Здесь он и умер, не зная, где находится. Хотя со дня его смерти прошло лет десять, а то и пятнадцать, матрац и шкаф все еще были пропитаны стариковским запахом табака и мочи, а в шкафу на полке хранилась единственная вещь, которую он привез с собой с фермы, — маленький желтый барабан. Пареньком моих лет он маршировал с полком южан, выбивал дробь на маленьком желтом барабане и распевал песни. Долли рассказывала — девочкой она любила проснуться зимним утром и слушать, как отец ходит по дому, растапливая печи, и поет. С тех пор он успел состариться и умереть, но пение его то и дело слышалось ей среди поля, густо поросшего индейской травой... Ветер — скажет, бывало, Кэтрин, а Долли ей: но ведь ветер — это мы сами и есть, он вбирает все наши голоса, запоминает их, а потом, шевеля листву и травы, заставляет их говорить нашими голосами, рассказывать наши истории. Я слышала папу так ясно — ясней быть не может...

Должно быть, в такую вот сентябрьскую ночь осенние ветры волнами пробегают по упругой красной траве, высвобождая давно умолкшие голоса, и я подумал — поет ли вместе с ними и он, тот старик, в чьей постели я сейчас засыпаю?..

Я решил, это Долли пришла наконец-то поцеловать меня на ночь, потому что явственно ощутил — она здесь, в комнате, рядом со мной; но уже начиналось утро, первые блики света были как пышная листва за окном, и в дальних дворах громко кричали петухи.

— Ш-ш-ш, Коллин,— прошептала Долли, склоняясь надо мной. Она была в зимнем шерстяном костюме и в шляпе с дорожной вуалью, дымкой застилавшей ей лицо.— Я только хочу, чтобы ты знал, куда мы уходим.

— В дом на дереве? — спросил я, и мне казалось, я говорю во сне. Долли кивнула.

— Только на первое время. Пока не надумаем, как нам быть дальше.

Она поняла, что я испугался, и положила мне руку на лоб.

— Вы с Кэтрин? А я как же? — Меня бросило в дрожь.— Не можете вы уйти без меня!

На башне начали бить часы. Долли словно бы дожидалась, пока они смолкнут, чтобы только тогда принять решение. Пробило пять, и, когда замер последний удар, я уже стоял на полу, торопливо натягивая одежду. Долли только и оставалось сказать:

— Не забудь гребешок.

Кэтрин поджидала нас во дворе. Она вся согнулась под тяжестью битком набитой клеенчатой сумки, глаза у нее распухли, видно было, что она плакала, а Долли, странно спокойная и уверенная, говорила ей — ничего, Кэтрин, мы пошлем за твоими рыбками, как только найдем, где пристроиться.

Над нами темнели закрытые безмолвные окна Вирены. Мы тихонько прокрались мимо них и в молчании вышли за калитку. Залаяла собака, но улица была пуста, и никто не видел, как мы шли через город. Лишь арестант, которому не спалось, глазел на нас из окошка тюрьмы.

К полю, поросшему индейской травой, мы пришли вместе с солнцем. Утренний ветерок поднимал вуаль на Доллиной шляпе. Фазан и курочка, укрывшиеся в траве, взметнулись у наших ног. Их отливающие металлом крылья с силой стегнули багровую, как петушиный гребень, траву. Наше дерево было сплошное сентябрьское пиршество красок, зеленой и иззелена-золотой.

Вот грохнемся, вот расшибем себе головы, приговаривала Кэтрин, а вокруг нас, куда ни глянь, листья стряхивали росу.

Глава II

Если б не Райли Гендерсон, едва ли кто-нибудь узнал, что мы ушли жить на дерево,— во всяком случае так скоро.

Клеенчатая сумка Кэтрин была набита остатками воскресного обеда, и мы лакомились цыпленком и тортом, как вдруг по лесу прокатился треск выстрела. Мы так и замерли — торт застрял у нас в глотках. Внизу показалась легавая с лоснящейся шерстью, следом шел Райли Гендерсон: за плечом ружье, на шее — гирлянда окровавленных, связанных хвостами белок. Долли опустила вуаль, словно хотела маскироваться и здесь, среди листвы.

Неподалеку от дерева Райли остановился, его настороженное загорелое мальчишеское лицо напряглось. Вскинув ружье, он повел дулом, словно выжидая, когда покажется дичь. Кэтрин не выдержала напряжения.

— Райли Гендерсон,— закричала она,— не вздумай нас подстрелить!

Дуло опустилось, он резко повернулся, и белки взметнулись вокруг его шеи, как широченное ожерелье. Тут он заметил нас и, помедлив немного, сказал:

— Эй, Кэтрин Крик, привет! Привет, мисс Тэлбо. А что вы, братцы, делаете там наверху? На дикую кошку охотитесь?

— Просто так сидим,— поспешно проговорила Долли, словно боясь, как бы Кэтрин или я не ответили раньше ее.— А порядочно вы настреляли белок.

— Возьмите парочку,— сказал Райли, отцепляя двух.— Вчера мы зажарили несколько штук на ужин — до чего у них мясо нежное! Минутку, я вам сейчас их доставлю.

— Ну, зачем же, кладите прямо на землю.

Но Райли сказал — нет, их съедят муравьи, и полез на дерево. Его голубая рубашка была вся забрызгана беличьей кровью; пятнышки засохшей крови поблескивали и в разлохмаченных волосах цвета ременной кожи. От него пахло порохом, простецкое, четко очерченное лицо загорело до цвета корицы.

— Черт меня побери, настоящий дом на дереве,— удивился он и топнул по дощатому настилу, словно испытывая его прочность.

А Кэтрин сказала — может, это покамест и дом, но коли эдак вот бухать ногами, вскорости от него и помину не будет.

— Это ты его построил, Коллин? — спросил Райли.

Я так и опешил от радости, когда до меня дошло: ведь он назвал меня по имени! По правде, я думал, я для него все равно что пыль под ногами. Но я-то знал его, еще бы не знать! Ни об одном человеке в городе никогда еще столько не судачили, сколько о Райли Гендерсоне. Когда о нем заходил разговор, люди постарше удрученно побряхтывали, а те, кто был ближе к нему по возрасту — взять хоть меня,— не упускали случая обозвать его скотиной и чурбаном. И все оттого, что он позволял нам только завидовать ему, он никому не давал полюбить его, стать его другом.

Вот что вам мог рассказать о нем любой человек в городе.

Родился он в Китае, отец его, миссионер, был убит там во время восстания. Мать была родом из нашего города, звали ее Роза. Самому мне увидеть ее не довелось, но, говорят, она была красавица, пока не стала носить очки; к тому же она была богата — ей досталось большое наследство от деда. Из Китая она вернулась с тремя детьми: Райли — ему было в ту пору пять лет — и двумя девочками моложе его. Поселились они у ее неженатого брата мирового судьи Хорейса Холтона, желтого, как айва, толстяка с повадками старой девы. С годами у Розы Гендерсон появлялось все больше странностей: она грозила притянуть Вирену к суду за то, что купленное у нее в магазине платье село после стирки; чтобы наказать Райли, заставляла его скакать на одной ножке вокруг двора и при этом твердить вслух таблицу умножения; в остальное время он гонял без присмотра, и, когда пресвитерианский священник завел с ней об этом разговор, она объявила ему, что детей своих ненавидит и лучше бы они умерли. Как видно, она говорила это всерьез, потому что однажды утром, на рождество, заперла дверь в ванной и попыталась утопить двух своих девочек. Рассказывают, что Райли выломал дверь тэпориком — что ни говори, дело нелегкое для мальчишки лет девяти-десяти или сколько ему там было. После этой истории Розу увезли куда-то на побережье в психиатрическую лечебницу. Может, она и сейчас там живет; во всяком случае о ее смерти мне слышать не доводилось. А Райли и его дядюшка Хорейс Холтон не ладили между собой. Как-то вечером Райли угнал машину Хорейса «олдс мобайл» и покатил с Мэми Кертис в ресторан «Потан-

цуй-пообедай». Мэми была огонь-девчонка и к тому же лет на пять постарше Райли — ему в то время было не больше пятнадцати. Ну так вот. Хорейс прослышал, что они развлекаются в «Потанцуй-пообедай», и надел на шерифа, чтобы тот отвез его туда на машине, сказал — Райли следует проучить, и он уж добьется, чтоб его засадили. А Райли и говорит — шериф, не того ловите, кого нужно. И тут же, при всем честном народе обвинил своего дядюшку в том, что тот прикарманил Розины деньги, предназначенные для него и сестренки. Потом предложил решить дело дракой здесь же, на месте; Хорейс предпочел уклониться, и тогда Райли подошел и безо всяких дал ему в глаз. Шериф отправил Райли в тюрьму. Но судья Кул, старинный приятель Розы, начал судебное расследование, и тут выяснилось точно и определенно: Хорейс действительно прикарманивал Розины денежки, постепенно переводя их на свой счет в банке. Так что Хорейс попросту собрал вещички, сел в поезд и укатил в Нью-Орлеан. А через несколько месяцев до нас дошла весть — он объявил себя служителем Культа Любви и теперь занимается тем, что венчает парочки на прогулочном пароходе, совершающем рейсы по Миссисипи при лунном свете. С тех пор Райли сам себе хозяин. Заняв деньги под будущее наследство, он купил красную спортивную машину и стал лихо гонять по окрестностям поочередно со всеми шлюхами, какие были у нас в городке. Из приличных девушек в красной машине Райли появлялись лишь его сестры. В воскресенье под вечер он их обычно катал: чинно и медленно раз за разом объезжал городскую площадь. Они были прехорошенькие, его сестры, но веселого видели мало — он следил за каждым их шагом, и мальчишки просто боялись к ним подходить. Работу по дому у них делала верная цветная служанка, а вообще они жили совсем одни. Со старшей, Элизабет, я учился в одном классе. Отметки она получала сплошь отличные. Сам Райли школу бросил, но он не был из тех бездельников, что вечно крутятся в бильярдной, и ни с кем из них не водил компании. Днем он охотился и удил рыбу; в старом холтоновском доме он многое переделал своими руками — был он хороший плотник и к тому же умелый механик: к примеру, сам смастерил автомобильную сирену, пронзительную, как паровозный свисток; по вечерам с шоссе доносился ее оглушительный вой — это Райли мчал на танцульку в соседний город. Как страстно я мечтал стать его другом! И казалось бы, что тут такого невозможного, — ведь он был всего на два года старше меня. Но мне хорошо запомнился единственный случай, когда он со мною заговорил: элегантный, в белом фланелевом костюме, он зашел по дороге на танцы в Виренину аптеку — я там иной раз помогал в субботу вечером — и спросил пакетик «шедоуз». Но я толком не знал, что это за «шедоуз», так что пришлось ему зайти за прилавок и самому его достать; он рассмеялся — довольно беззлобно, но уж лучше бы он разозлился: ведь теперь ему ясно, что я кретин, — значит, нам не бывать друзьями.

— Райли, возьмите торта, — сказала Долли, и тогда Райли спросил — что это мы, всегда устраиваем пикники в такую рань? Потом сказал — это мысль, все равно что купаться по ночам.

— Я прихожу сюда затемно поплавать в речке. Когда опять устроите пикник, подайте голос — я буду знать, что вы тут.

— Приходите в любое утро, мы будем вам рады, — сказала Долли и подняла вуаль. — Думаю, мы тут еще какое-то время пробудем.

Должно быть, приглашение это показалось Райли довольно-таки необычным, но он ничего не сказал — просто вынул пачку сигарет и пустил ее по кругу. Кэтрин взяла одну, и Долли сказала:

— Кэтрин Крик, ты же сроду к табаку не притрагивалась.

Но Кэтрин ответила — как знать, может, она на этом и потеряла.

— Табак, он, наверно, большая утеха; недаром его столько народу нахваливает. А как доживешь до нашего возраста, лапушка, ищешь, чем бы себя потешить.

Долли закусила губу.

— Что ж, я думаю, большого вреда не будет,— сказала она и тоже взяла сигарету.

Есть на свете две вещи (если верить нашему директору мистеру Хэнду, застукавшему меня с сигаретой в школьной уборной), из-за которых любой мальчик непременно повредится в уме; с одной из них — курением — я покончил два года назад и не оттого, что боялся повредиться в уме, а просто подумал: вдруг я из-за этого буду хуже расти. А теперь рост у меня стал нормальный, и Райли, по правде сказать, был не выше меня, хоть и казался выше, потому что двигался он с нарочитой угловатостью верзилы-ковбоя. Так что я взял сигарету, а Долли, не затягиваясь, с силой выпустила дым и сказала — наверное, нас стошнит всех разом, но никого не стошнило, и Кэтрин объявила — в следующий раз она бы не прочь попробовать трубку: до чего от нее дух приятный! И тут Долли вдруг сообщила нам поразительную новость: Вирена курит трубку. А я об этом понятия не имел!

— Не знаю, курит она еще или бросила, только раньше была у нее трубка, и жестянка была с табаком «принц Альберт»; туда половинку яблока клали. Только вы никому не рассказывайте! — спохватилась она, вспомнив о Райли, когда тот громко расхохотался.

Когда Райли шел по улице или проезжал на своей машине, вид у него точно был задиристый, напряженный. А тут, на дереве, его отпустило: на лице то и дело появлялась очень красившая его улыбка — словно ему хотелось проявить дружелюбие, что ли, даже если он и не собирался заводить с нами дружбу. Долли тоже чувствовала себя с ним совершенно свободно — он, видно, был ей по душе. Она явно его не боялась — может быть, потому, что мы сидели в древесном доме, а здесь хозяйкой была она.

— Спасибо за белок, сэр,— сказала Долли, когда Райли стал собираться.— И непременно приходите еще.

Он спрыгнул на землю.

— Может, вас подвести? Моя машина на горке, у кладбища.

— Вы очень любезны,— ответила Долли.— Только, по правде сказать, ехать нам некуда.

Ухмыляясь, Райли вскинул ружье и навел его на нас, и Кэтрин во всю мочь завопила:

— Драть тебя, малый, некому!

Но он рассмеялся, помахал нам рукой и пустился бегом, и легавая с лаем помчалась за ним.

— Что ж, выкурим сигаретку,— весело проговорила Долли.

Он оставил всю пачку нам.

* * *

К тому времени, когда Райли вернулся в город, там жужжащим роем уже носились слухи, как мы среди ночи сбежали из дому. Оказывается, Долли, ничего не сказав ни мне, ни Кэтрин, оставила Вирене записку, и та обнаружила ее, выйдя к утреннему кофе. Как я понимаю, в записке только и было сказано, что мы уходим и больше не станем ей докучать. Вирена кинулась звонить в отель «Лола» своему другу Моррису Ритцу, и они вдвоем потащились к шерифу, брать его за бока. Этот самый шериф, приткий, наглый молодчик со зверской челюстью и бегающими, как у шулера, глазками, получил свою должность при поддержке Вирены. Звали его Джуниус Кэндл (можете себе предста-

вить — тот самый Джуниус Кэндл, что сейчас сенатором!). Помощников шерифа отрядили на поиски нас; шерифам других городов полетели телеграммы. Много лет спустя, когда уточнялось имущество семейства Тэлбо, я наткнулся на рукописный текст той телеграммы, составленный, как мне думается, доктором Ритцем:

«Объявляется розыск следующих трех лиц, уехавших вместе: Долли Огаста Тэлбо, белая, 60 лет, волосы желтые, проседью, худощавая, рост 5 футов 3 дюйма, глаза зеленые, возможно, душевнобольная, но для окружающих неопасна, описание примет вывесьте булочных, любит сдобное. Кэтрин Крик, негритянка, выдает себя индианку, возраст около 60, зубов нет, расстройство речи, рост низкий, сложение плотное, сильная, может быть опасной для окружающих. Коллин Тэлбо Фенвик, белый, 16 лет, выглядит моложе, рост 5 футов 7 дюймов, блондин, глаза серые, худощавый, сутулится, углу рта шрам, характер угрюмый. Все трое разыскиваются как беглецы».

— Ну, далеко-то они не удрали, ручаюсь,— сказал Райли на почте, и почтмейстерша миссис Питерс тут же стала названивать по телефону — передавать, что Райли видел нас в Бережном лесу, за кладбищем.

А мы тем временем тихо и мирно наводили уют в своем доме на дереве. Из клеенчатой сумки Кэтрин было извлечено розово-золотистое лоскутное одеяло, вслед за ним — колода карт, мыло, рулоны туалетной бумаги, лимоны и апельсины, свечи, сковорода, бутылка наливки из ежевики и две коробки из-под обуви, набитые всякой снедью: Кэтрин хвасталась, что хорошенько почистила кладовую — не оставила этой самой ни одного печеньица к завтраку.

Потом мы спустились к ручью, вымыли лицо и ноги холодной водой. Ручьев в Бережном лесу — что прожилок в листе; чистые, звонкие, они, извиваясь, сбегая к тихой речушке, ползущей через лес, будто зеленый аллигатор. На Долли стоило посмотреть — стоит в воде, подоткнув шерстяную костюмную юбку, а вуаль все колышется, докучая ей, словно рой мошкар. Я спросил ее — Долли, зачем ты надела вуаль? И Долли сказала:

— Но ведь дамам положено надевать вуаль, когда они путешествуют, правда?

Вернувшись к дереву, мы приготовили банку очень вкусного оранжада и принялись обсуждать свое будущее. Все наше богатство составляли сорок семь долларов наличными да несколько побрякушек. Среди них почетное место занимал золотой перстень с печаткой — Кэтрин обнаружила его в потрохах борова, когда начиняла колбасы. За сорок семь долларов, уверяла Кэтрин, можно доехать автобусом куда угодно. Она знает одного человека, так он с пятнадцатью долларами добрался до самой Мексики. Но мы с Долли были решительно против Мексики — прежде всего мы языка не знаем. А потом, говорила Долли, разве можно нам уезжать из нашего штата, и вообще мы только туда можем ехать, где лес под боком — а то как же мы станем готовить снадобье от водянки?

— По правде сказать, я думаю, надо нам поселиться именно здесь, в Бережном лесу,— задумчиво проговорила она, поглядывая вкруг.

— На этом вот старом дереве? Ну, ты это, лапушка, лучше выбрось из головы! — возмутилась Кэтрин. А потом говорит: — Помнишь, мы читали в газете, как один человек купил за океаном замок и весь его, до последнего камешка, перетащил домой. Помнишь? Ну вот, может, и нам тоже погрузить мой домишко на фургон, да и приволочь его сюда?

Но Долли сказала — домишко не наш, а Виренин, стало быть, перетаскивать его мы не можем.

— А вот и нет, ягодка,— объявила Кэтрин.— Коли ты стряпаешь человеку, стираешь на него, рожаеть ему ребят, стало быть, вы с тем человеком женаты и он, человек этот, твой. Так же вот, коли ты убираешь в доме, и поддерживаешь огонь в печах, и следишь, чтобы не пустовала плита, и все годы делаешь это с любовью, стало быть, вы с тем домом женаты и он, дом этот, твой. По моему разумению, оба те дома наши; да мы бы могли эту самую в шею прогнать и были бы перед господом правы.

Тут мне пришла одна мысль: ниже по реке стоит брошенная жилая лодка, полузатопленная, позеленевшая от плесени; ее хозяйина, старого рыбака, добывавшего себе пропитание ловлей сомов, выгнали из города после того, как он обратился к мировому за брачным свидетельством — хотел жениться на пятнадцатилетней цветной девушке. Мысль у меня была такая: почему бы нам не привести эту лодку в порядок и не перейти туда жить?

Но Кэтрин сказала — ей бы хотелось, если только это возможно, провести остаток дней своих на суше, «как нам и было предназначено господом», после чего перечислила еще кое-какие его предназначения — например, что деревья предназначены для обезьян и птиц. Вдруг она смолкла и стала подталкивать нас локтями, удивленно показывая вниз, туда, где лес расступался и глазам открывалось поросшее травой поле.

Оттуда по направлению к нам чинно и важно шествовала высокая делегация: судья Кул, его преподобие мистер Бастер, миссис Бастер и миссис Мэйси Уилер. Впереди — шериф Джуниус Кэндл в высоких шнурованных башмаках, на боку болтается пистолет в кобуре. Блики солнца порхали вокруг них, словно желтые бабочки, ежевика цеплялась за их чопорную городскую одежду, распрямившаяся лозина с силой хлестнула по ноге миссис Мэйси Уилер, и она отскочила, испуганно завизжав. Я рассмеялся.

Услышав мой смех, они вскинули головы, и на их лицах отразилось смятение и нарастающий ужас — словно пришли люди погулять в зоопарк и забрели ненароком в клетку к зверям. Схватившись за кобур, шериф Кэндл разболтанной походкой подошел к дереву и воззрился на нас, щуя глаза, словно глядел прямо на солнце.

— Послушайте-ка... — начал было он, но его тут же оборвала миссис Бастер:

— Шериф, мы ведь договорились поручить это дело его преподобию!

У нее был твердый принцип: мужу ее как представителю господа-бога должно во всем принадлежать первое слово. Его преподобие мистер Бастер откашлялся и стал потирать руки — ни дать ни взять скребущиеся друг о дружку сухие щупальца насекомого.

— Долли Тэлбо,— заговорил он, и голос его оказался неожиданно глубокоим и звучным для такого шуплого человечка.— Я обращаюсь к вам от имени вашей сестры, этой доброй, достойной женщины...

— Вот именно что достойной,— пропела его жена, а вслед за нею, как попугай, подхватила и миссис Мэйси Уилер.

— ...которой ныне был нанесен столь жестокий удар...

— Вот именно что удар,— в один голос пропели за ним обе дамы — привычно, словно в церковном хоре.

Долли глянула на Кэтрин, коснулась моей руки, как бы спрашивая: что им нужно, этим людям, бросающим на нас снизу свирепые взгляды, словно свора собак, окружившая дерево с загнанными опос-

сумами? Машинально, верней всего — просто чтобы было что повертеть в руках, Долли вынула сигарету из пачки, оставленной Райли.

— Ну и срам! — взвизгнула миссис Бастер, вскидывая свою лысоватую головку.

Те, кто называл ее старой ястребихой — а таких хватало, — явно имели в виду не только ее характер: кроме хищной птичьей головки, вдавленной в плечи, у нее был большущий живот.

— Срам да и только, — повторила она. — И как же вы это могли так отдалиться от господ? Залезла на дерево, будто пьяная индианка, сидит себе, сигаретки покуривает, как последняя...

— Шлюха, — подсказала ей миссис Мэйси Уилер.

— ...шлюха, и это в то время как ваша сестра лежит, словно пласт, убитая горем.

Может, они и впрямь не ошиблись, утверждая, что Кэтрин опасна для окружающих. Ох и взвилась же она!

— Эй, пасторша, кончай нас с Долли шлюхами обзывать, а то вот слезу сейчас да как трахну — костей не соберешь!

К счастью, никто из них ни слова не разобрал; иначе шериф, чего доброго, прострелил бы ей голову. Можете быть уверены. И многие белые у нас в городе еще сказали бы — правильно сделал.

Чувствовалось, что Долли потрясена, но держалась она превосходно. Понимаете, она просто счистила с юбки пыль и сказала:

— Поразмыслите-ка минутку, миссис Бастер, и тогда вы поймете: ведь мы к господу ближе, чем вы, на добрых несколько ярдов.

— Bravo, мисс Долли! Удачный ответ, ничего не скажешь! — Судья Кул захлопал в ладоши и одобрительно рассмеялся. — Ну, ясное дело, они ближе к господу, — продолжал он, ничуть не обескураженный холодными осуждающими взглядами остальных. — Они-то на дереве, а мы на земле.

Тут на него напустилась миссис Бастер:

— Я думала, вы христианин, Чарли Кул. А по-моему, не пристало христианину насмехаться над бедной полоумной женщиной да еще подначивать ее.

— Вы бы, Тэлма, подумали, прежде чем обзывать человека полоумным, — ответил судья. — Это тоже не очень-то по-христиански.

Тогда огонь открыл преподобный Бастер:

— Ответьте-ка мне, судья: разве вы не за тем явились сюда вместе с нами, чтобы выполнить волю божию в духе христианского милосердия?

— Волю божию? — иронически повторил судья. — Да вам не больше моего известно, в чем она состоит. Может, господь как раз и внушил этим людям поселиться на дереве. Признайтесь хотя бы в одном: вам-то не было господнего повеления их оттуда стащить — разве только считать господом-богом Вирену Тэлбо, а ведь кое-кто из вас готов допустить эту мысль, не так ли, шериф? Нет, сэр, я пришел сюда вовсе не для того, чтобы выполнить чью-то волю. Я здесь по собственной воле — просто мне захотелось пойти прогуляться: лес так красив в эту пору.

Тут он сорвал несколько побуревших фиалок и воткнул их в петлицу.

— К чертям все это... — начал было шериф, но миссис Бастер снова прервала его: богохульства она не потерпит ни в каком случае — вот пусть его преподобие подтвердит. И его преподобие поспешил подтвердить, что да, будь он проклят, если они потерпят.

— Здесь я распоряжаюсь, — уведомил их шериф и выпятил здоровенную челюсть громилы. — В это дело должен вмешаться закон.

— Чей закон, Джуниус? — спокойно осведомился судья. — Не за-

будьте, я просидел в судейском кресле двадцать семь лет — куда дольше, чем вы живете на свете. Так что поостерегитесь. У нас нет никаких юридических оснований что бы то ни было предпринимать против мисс Долли.

Нимало не уstraшенный, шериф полез на дерево.

— Давайте-ка лучше по-хорошему, — сказал он вкрадчивым голосом, ощеривая кривые клыки. — А ну, слезайте оттуда, вся гоп-компания!

Но мы по-прежнему сидели, не двигаясь, словно птицы в гнезде, и он еще сильнее ощерился. Потом стал со злостью раскачивать ветку, словно пытался стряхнуть нас с дерева.

— Мисс Долли, вы же всегда были человеком миролюбивым, — заговорила миссис Мэйси Уилер. — Прошу вас, пойдите с нами домой. Не оставайтесь же вам без обеда.

Долли ответила строго по существу — что мы не голодны, а они как? Для каждого желающего у нас найдется куриная ножка.

— Вы ставите меня в трудное положение, мэ, — объявил шериф Кэндл и подтянулся повыше.

Ветка затрещала под его тяжестью, и тотчас же по всему дереву пошел жалобный и зловещий гул.

— Если он кого-нибудь из вас пальцем тронет, дайте ему по голове, — посоветовал судья Кул. — А не то я дам, — добавил он с неожиданной галантной воинственностью.

Потом подпрыгнул, как потревоженная лягушка, и вцепился в один из болтавшихся в воздухе башмаков шерифа. А шериф в это время тащил меня за руки, так что Кэтрин пришлось обхватить меня поперек живота. Мы заскользили вниз, казалось, мы все вот-вот грохнемся, напряжение было ужасное. И тут-то Долли выплеснула шерифу за ворот остатки оранжада. Скверно выругавшись, он разом выпустил меня, и оба они — шериф и судья — рухнули наземь, подмяв под себя преподобного Бастера.

В довершение всех бед на них со зловещим карканьем повалились миссис Бастер и миссис Мэйси Уилер. Увидав, каких она натворила дел, Долли совсем растерялась. Пустая банка выскользнула у нее из рук и с гулким стуком грохнулась миссис Бастер на голову.

— Прошу прощения, — проговорила Долли, но в общей кутерьме никто не услышал ее.

Куча мала понемногу распалась. Участники ее поднялись на ноги. От смущения они готовы были сквозь землю провалиться. Его преодоление весь словно сплюсился, но, как выяснилось, кости у всех были целы, и только миссис Бастер, на чьей голове среди скудной растительности быстро вздувалась пирамидальная шишка, могла не без основания утверждать, что ей нанесено телесное повреждение. И она не замедлила это сделать:

— Долли Тэлбо, вы на меня напали, не вздумайте отпираться, здесь все свидетели, все видели — вы запустили в меня банкой из-под варенья. Джуниус, арестуйте ее.

Но шериф и сам был занят выяснением отношений. Подбочившись, надвигался он на судью, менявшего фиалки в петлице.

— Да не будь вы такой старый, врезал бы я вам сейчас — полетели бы вверх тормашками.

— А я, Джуниус, не такой уж и старый — не считаю возможным для мужчин вступать в драку у дам на глазах, — ответил судья.

Был он рослый, плечистый, осанистый, и хотя ему было под семьдесят, выглядел на пятьдесят с небольшим. Судья сжал кулаки — крепкие, волосатые, как кокосовые орехи.

— Впрочем, — добавил он хмуро, — я готов, если вы тоже готовы.

В ту минуту казалось — это, пожалуй, будет равная схватка. Вид у шерифа был уже не такой уверенный, и молодечества у него поубавилось. Он сплюнул и пробурчал:

— Ладно, не надо уж — по крайности никто не сможет сказать, будто я старого человека ударил.

— Или сумел ему быть достойным противником, — отпарировал судья. — Чего уж там, Джуниус, заправьте-ка рубашонку в штанишки и топайте полегоньку домой.

Шериф снова воззвал к нам:

— Не прите вы на рожон, слезайте-ка лучше да пойдите со мной.

Но мы и не шевельнулись — только Долли опустила вуаль, словно занавес, показывая, что с этим вопросом покончено раз и навсегда. Тут миссис Бастер, на голове у которой, словно рог, торчала шишка, торжественно изрекла:

— Ладно, шериф, вы их предупредили. — Она поглядела на Долли, потом на судью. — Может, вы воображаете, что чего-то добились, ну так знайте: вас ждет возмездие, и не на небе, а прямо здесь, на земле.

— Прямо здесь, на земле, — пропела ей в лад миссис Мэйси Уилер.

И они двинулись по тропинке, надутые, церемонные, словно свадебный кортеж, и вышли на залитое солнцем поле, и красная волнующаяся трава расступилась и поглотила их. Судья задержался под деревом. Он улыбнулся нам и с вежливым полупоклоном сказал:

— Насколько мне помнится, вы говорили — для каждого желающего у вас найдется куриная ножка?

* * *

Казалось, он сам сколочен из кусков дерева: нос — сучком; ноги — как крепкие старые корни; широкие, жесткие брови — будто полоски корья; серебряные бородки мха, свисавшие с самых верхних ветвей, были под цвет его волосам, разделенным на прямой ряд, а потемневшие, как сыромятная кожа, листья, что слетали с соседнего высоченного сикомора, — как раз в цвет его щек. Глаза кошачьи, лукавые, но в лице что-то по-деревенски застенчивое. Вообще-то он был не из тех, кто напускает на себя важность. Немало людей, пользуясь его скромностью, обращалось с ним свысока. Зато ни один из них не мог бы похвастать, что окончил Гарвардский университет или дважды бывал в Европе, как судья Чарли Кул. И все же находились такие, которые злобствовали и уверяли — судья задается: говорят же, что он каждый день перед завтраком прочитывает страничку по-гречески; и потом, что это за мужчина такой, у которого вечно цветок торчит в петлице? Если бы он и в самом деле ничего из себя не корчил, зачем ему было, скажите на милость, тащиться в самый Кентукки, чтоб выбрать себе жену, — не мог он, что ли, на которой-нибудь из наших местных жениться? Жены его я не помню; когда она умерла, я был еще слишком мал, чтобы знать о ней, и поэтому все, что здесь про нее рассказано, я повторяю с чужих слов.

В общем, город так и не подобрел к Айрин Кул — и как будто бы по ее же вине. Женщины из Кентукки вообще народ трудный — вечно взвинченные, своенравные, — ну а Айрин Кул, урожденная Тодд из Боулинг-Грина (та Мэри Тодд, что была женой Авраама Линкольна, доводилась ей троюродной теткой), всем и каждому в городе давала понять, что они люди отсталые, вульгарные: никого из местных дам она у себя не принимала, но мисс Палмер, портниха, рассказывала, до чего стильный стал у судьи дом, с каким вкусом Айрин его обставила — старинная мебель, восточные ковры. В церковь и обратно она ездила на роскошной

машине с опущенными стеклами и все время, пока длилась служба, прижимала к носу надушенный платок. (Ишь ты, божий запах — недостаток хорошо для Айрин Кул!) Никого из местных врачей она на порог не пускала, хотя сама была наполовину инвалид: из-за небольшого смещения в позвоночнике ей приходилось спать на досках. По городу ходили грубые шуточки: у судьи-де повсюду заноз полно. Тем не менее она принесла ему двух сыновей — Тодда и Чарльза-младшего; оба они родились в Кентукки — она уезжала туда перед родами, чтобы дети ее могли считать себя уроженцами Травяного штата¹. И все-таки тем, кто пытался доказывать, что Чарльз Кул — несчастный человек, что жена срывает на нем всю злость, в общем-то, козырять было нечем, а когда она умерла, тут уж их самым завзятым ругателям пришлось скрепя сердце признать — старый Чарли, должно быть, и вправду любил свою Айрин: последние два года своей жизни она была очень больна и раздражительна, и он ушел с поста окружного судьи, чтобы повезти ее в Европу — в те самые места, где когда-то они провели свой медовый месяц. Оттуда она уже не вернулась — ее похоронили в Швейцарии. Недавно одной учительнице из нашего городка, Кэрри Уэллс, довелось побывать в Европе с туристской группой. Единственное, что связывает наш городок с тем континентом, это могилы. Могилы солдат и могила Айрин Кул. Так вот, Кэрри, прихватив с собой фотоаппарат, решила их все обойти. До вечера таскалась она по кладбищу где-то в горах, под самыми облаками, но жену судьи так и не разыскала. А ведь забавно все-таки: лежит себе Айрин Кул безмятежно на горном склоне и по-прежнему не желает никого принимать...

Когда судья возвратился домой, оказалось, что здесь ему, в сущности, нечего делать: в городке уже всем заправляла банда политиканов во главе с Толлсэпом по прозвищу «Сам-с-усам». Эти ребята, ясное дело, не могли допустить, чтобы в судейском кресле сидел Чарли Кул. Грустно было смотреть на судью — изящного человека в отлично сшитом костюме, с черной шелковой лентой на рукаве и маленькой розой в петлице; грустно было видеть, что делать ему совершенно нечего — разве только сходит на почту или зайдет ненадолго в банк. Там, в банке, работали его сыновья — расчетливые, с брезгливо поджатыми губами. Они вполне могли бы сойти за близнецов: оба бледные, как болотная мальва, у обоих покатые плечи и водянистые глаза. Чарльз-младший, умудрившийся облысеть еще в колледже, был помощником председателя правления банка, а второй, Тодд, — главным кассиром. Они решительно ничем не напоминали отца — разве что оба были женаты на уроженках Кентукки. Эти-то невестки и распоряжались теперь в доме судьи. Они разделили дом на две половины с отдельными входами. Был между ними уговор, что старик живет то в семье старшего сына, то в семье младшего. Что ж удивительного, если теперь ему захотелось прогуляться по лесу...

— Благодарю вас, мисс Долли, — сказал судья, вытирая рот тыльной стороной кисти. — Таких вкусных куриных ножек я с самого детства не едал.

— Ну что вы, это такая малость — куриная ножка. Ведь вы так храбро себя вели!

Было в дрогнувшем голосе Долли что-то взволнованное, женское, и это поразило меня — неуместно как-то и ей не к лицу. Кэтрин, видно, тоже так показалось — она бросила на Долли укоризненный взгляд.

— Не хотите ли еще чего-нибудь? Может, кусок торта?

¹ Прозвище штата Кентукки. (Прим. перев.)

— Нет, мэм, спасибо, с меня предостаточно.

Судья вынул из кармана золотые часы на цепочке, отстегнул цепочку от жилета и накинул, точно лассо, на толстую ветку, выступающую над его головой. Часы висели на дереве, будто елочное украшение, и их мягкое, приглушенное тиканье казалось биением сердца какого-то слабенького существа — светляка, лягушонка.

— Когда слышишь, как движется время, день длиннее становится. А я теперь понял, какая это великая штука — долгий день. — И он погладил против шерсти убитых белок — свернувшись в клубок, они лежали в сторонке, и казалось, они просто спят. — Прямо в голову. Меткий выстрел, сынок.

Я, конечно, сообщил ему, на чей счет следует отнести его похвалу.

— Ах так, значит, это Райли Гендерсон! — воскликнул судья. И рассказал нам, что это от Райли стало известно, где мы находимся. — А они-то, пока узнали, должно быть, долларов на сто отправили телеграмм, — добавил он, явно развеселившись. — Пожалуй, Вирена оттого и слегла, что ее грызет мысль об этих деньгах.

Долли нахмурилась:

— Но ведь это уму непостижимо, что они тут вытворяли. До того разъярились — прямо убить нас были готовы. А я так и не понимаю за что. И при чем тут Вирена? Она-то ведь знала — мы уходим, чтоб ей было покойней. Я ей так и сказала. Да еще записку оставила. Но если она расхворалась... Судья, а она правда больна? Я что-то не помню, чтобы она хоть когда-нибудь болела.

— Ни одного денька, — подтвердила Кэтрин.

— Ну, она расстроена, это само собой, — не без удовлетворения отметил судья. — Но свалиться с такой болезнью, которой простым аспирином не вылечишь, — не в ее это духе. Помню, как-то затеяла она переделки на кладбище. Решила возвести там нечто вроде гробницы для себя и для всей семьи Тэлбо. Так вот, приходит ко мне одна из наших дам и говорит: «Судья, а не кажется вам, что Вирена Тэлбо — самый больной человек у нас в городе? О таком мавзолее для себя возмечтать — это же что-то болезненное». Нет, говорю, не кажется. Если и есть тут что-то болезненное, так только одно: она собирает деньги на это выложить. а сама ведь и мысли не допускает, что когда-нибудь и вправду умрет!

— Не желаю я слушать о моей сестре ничего плохого, — резко бросила Долли. — Она много и тяжело трудится. Она заслужила, чтобы в доме было все, как она хочет. Это мы виноваты. Вышло так, что мы ее подвели. Потому-то для нас и нет теперь места у нее в доме.

У Кэтрин за щекой заходили ватные катышки, будто табачная жвачка.

— Ты кто — моя лапушка Долли или святоша какая? Он нам друг, ему надо всю правду сказать — как эта самая и докторишка задумали наше лекарство стибрить.

Судья попросил, чтобы ему перевели ее слова, но Долли сказала — все это чушь и повторять ее не к чему. Потом, чтобы как-то его отвлечь, спросила, умеет ли он разделявать белок. Задумчиво кивая, он смотрел куда-то мимо нас, поверх наших голов, вглядываясь своими зоркими, напоминавшими желуди глазами в окаймленные небом листья, трепыхавшиеся на ветру.

— Может быть, никто из нас не нашел своего дома... Мы только знаем — он где-то есть... И если удастся его отыскать, пусть мы проживем там всего лишь мгновенье, — все равно мы должны почитать себя счастливыми. Ваш дом, быть может, тут, на дереве, — сказал он и ябько пожеглся. словно в небе раскрылись широкие крылья и бросили на него холодную тень. — Да и мой тоже...

Неприметно, под мерный звук времени, которое пряли золотые часы, день стал клониться к вечеру. Туман с речки, эта осенняя дымка, лунно серебрясь, потянулся меж бронзовых и синих стволов; вокруг побледневшего солнца напоминанием о зиме лег светящийся ободок... А судья все не уходил.

— Бросить двух женщин и мальчика? Ночью, на произвол судьбы и шерифа? Когда эти болваны замышляют бог знает что? Нет, я остаюсь.

Здесь, на дереве, судья, безусловно, нашел свой дом — даже больше, чем мы. На него приятно было смотреть: он был оживлен, весь в движении, словно заячий нос, он снова чувствовал себя мужчиной, больше того — защитником. Пока он разделявал белок складным ножом, я набрал сушняка и разложил под деревом костер, чтобы их зажарить. Долли откупорила бутылку наливки, сославшись в свое оправдание на то, что стало свежо. Жаркое из белок вышло на славу, нежное-нежное, и судья с гордостью объявил — нам непременно как-нибудь надо отведать жареного сома его собственного приготовления. Мы молча потягивали наливку. Запах листвы и дымка, курившегося над затухавшим костром, вызывал у нас в памяти другие осенние дни. Мы вздыхали и слушали, будто шум моря, разноголосое пенье травы. Тускло мерцала свеча, и шелкопряды, снуя вокруг пламени, колыхали его, словно направляя его желтую ленту меж черных ветвей.

И вот тут что-то нас насторожило — даже не звук шагов, а неясное чувство вторжения. Это мог быть просто восход луны. Но только луны еще не было. И не было звезд. Ночь была темная, как наливка из ежевики.

— Мне кажется, там кто-то есть. Там что-то такое, внизу, — сказала Долли, выразив наше общее чувство.

Судья взял свечу в руки и поднял. Ночные насекомые заскользили прочь от ее прыгающего света, между деревьями метнулась белая сова.

— Кто идет? — крикнул судья, и оклик его прозвучал внушительно, по-солдатски. — Отвечай, кто идет?

— Я, Райли Гендерсон. — И в самом деле, это был Райли. Он вышел из тени, в свете тускло горевшей свечи его запрокинутое ухмыляющееся лицо казалось искаженным и злым. — Просто решил посмотреть, как вы тут. Вы на меня не злитесь, а? Знал бы я, в чем дело, ни за что не сказал бы им, где вы.

— Да никто тебя не винит, сынок, — успокоил его судья. И я вспомнил — ведь это он тогда вступился за Райли и возбудил дело против его дядюшки Хорейса Холтона. Значит, они понимают друг друга. — А мы тут наливкой балуемся помаленьку. Я уверен, мисс Долли будет рада, если ты нам составишь компанию.

Кэтрин заворчала: и так места нет, еще чуток веса подбавить — и старые доски подломятся. Под угрожающий скрип настила мы все-таки сдвинулись поплотнее, чтобы дать Райли место, но не успел он втиснуться между нами, как Кэтрин схватила его за волосы.

— Это тебе за то, что нынче целился в нас из ружья, а тебе что было сказано: не смей! А это... — Тут она снова рванула зажатый в горсти вихор и вполне внятно произнесла: — Это за то, что шерифа на нас напустил.

Я решил, что это уже нахальство с ее стороны, но Райли только побурчал вполне добродушно, а потом говорит — как бы ей нынче же ночью не представился посерьезнее повод вцепиться кому-нибудь в волосы. И стал нам рассказывать. В городке разгорелись страсти. На улицах толпится народ, словно в субботний вечер. Больше всех мутит воду его преподобие вместе с супругой: миссис Бастер сидит у себя на веранде

и каждому посетителю демонстрирует свою шиншу. А шериф Кэндл угрожал Вирену, чтобы она разрешила ему подписать ордер на наш арест — на том основании, что мы-де похитили ее собственность.

— И знаете что, судья, — серьезно проговорил Райли, и вид у него был сконфуженный. — Они даже вас замышляют арестовать. За нарушение общественного порядка. И за попытку воспрепятствовать отправлению правосудия, так я слышал. Наверно, не надо бы этого вам рассказывать, но около банка я наскочил на одного из ваших ребят, Тодда, и спрашиваю, что он намерен делать — ну в связи с тем, что вас собираются арестовать. А он говорит — ничего. Они, говорит, так и ждали чего-нибудь в этом роде; а еще — что вы сами беду на себя накликali.

Подавшись вперед, судья загасил свечу, словно не желая, чтобы мы видели в этот момент выражение его лица. В темноте послышался чей-то плач, и секунду спустя мы поняли — это Долли. Ее всхлипывания вызвали в нас молчаливую вспышку любви, и, обежав полный круг, она крепко спаяла нас всех друг с другом.

Раздался тихий голос судьи:

— Когда они явятся, мы должны быть готовы их встретить. А теперь слушайте меня все...

Глава III

— Чтобы защищать свою позицию, мы должны ее точно знать — это первое правило. Итак, что нас свело друг с другом? Беда. Мисс Долли и ее друзья очутились в беде. И ты, Райли. Мы с тобой оба в беде. Наше место здесь, на дереве. Иначе бы нас тут не было.

Понемногу Долли затихла — уверенный голос судьи успокоил ее. А судья продолжал:

— Еще сегодня, когда я шел сюда вместе с шерифом и остальными, я был уверен, что мне так и не суждено хоть кому-нибудь рассказать свою жизнь, и она пройдет, не оставив следа. А теперь я думаю — меня не постигнет эта горькая участь... Мисс Долли, сколько же это лет прошло? Пятьдесят? Шестьдесят? Вот с каких пор я помню вас — застенчивой, поминутно красневшей девочкой. В город вы приезжали в отцовском фургоне и боялись вылезть из него — как бы мы, городские ребяташки, не увидели, что вы босиком.

— Ну, они-то, положим, были обуты — Долли и эта самая, — пробурчала Кэтрин. — Это я босиком разгуливала.

— Столько лет я встречал вас, но так и не знал, даже понятия не имел, кто вы такая, а вот сегодня понял — вы живая душа, язычница...

— Язычница? — встревоженно, но с явным интересом переспросила Долли.

— Ну, во всяком случае живая душа. А ведь этого не уловишь одним только взглядом. Живая душа распахнута для всего живого, понимает, что нельзя всех стричь под одну гребенку. И из-за этого вечно попадает в беду. Вот мне, например, не следовало становиться судьей. Сколько раз сидя в судейском кресле, я вынужден был защищать неправо дело — ведь закон не считается с тем, что все люди — разные. Помните Карпера, рыбака. — он жил на реке в старой лодке? Его выгнали из города за то, что он хотел жениться на этой славной цветной девчужке — по-моему, она сейчас у миссис Постама работает. И знаете, ведь она любила его. Бывало, как ни пойду на рыбалку, всякий раз вижу их вместе. Им было так хорошо друг с другом. Он нашел в этой девушке то, чего я не нашел ни в ком — единственного человека на свете, от которого ничего не скрываешь. И все-таки, если бы им удалось поже-

ниться, шериф был бы обязан арестовать его, а я засудить. Иной раз мне кажется — я в ответе за всех, кого за свой век признал виновными, настоящая вина легла на меня. Вот отчасти поэтому мне и хочется перед смертью хоть раз оказаться правым, защищая правое дело.

— А сейчас вы именно что защищаете правое дело, — вмешалась Кэтрин. — Эта самая и докторишка...

— Тихо ты! Тихо! — сказала Долли.

— Единственный человек на всем свете... — повторил Райли слова судьи и выжидательно смолк.

— Это значит, — отозвался судья, — такой человек, которому можно сказать все. Неужели я и впрямь идиот, если мечтаю об этом? Но ведь подумать только — как много мы тратим сил на то, чтобы прятаться друг от друга, как боимся, чтобы люди не распознали, кто мы такие на самом деле. А теперь стало ясно, кто мы и что — пятеро дуралеев на дереве. И это большая удача, если только суметь ею воспользоваться: нам уже незачем беспокоиться о том, как мы выглядим в глазах посторонних. Стало быть, мы теперь можем разобраться в истинной своей сути. А если мы сами в себе разберемся, нас уж никто отсюда не согнит. Ведь именно неумение разобраться в самих себе и заставляет сейчас наших приятелей строить все эти козни: не хочется им признавать, что люди могут быть не похожими друг на друга. Раньше я по кусочкам открывал себя чужим людям — случайным попутчикам, исчезавшим в людском потоке на сходнях, выходявшим на следующей станции из вагона. Может быть, если их всех собрать, и получился бы тот самый единственный человек на свете, только он был бы о десяти лицах и расхаживал сразу по сотне улиц. Но теперь у меня появился шанс обрести того человека: это вы, мисс Долли, и ты, Райли, — вы все.

Тут Кэтрин объявила:

— Никакой я не человек о десяти лицах, придумает тоже!

И тогда Долли сердито сказала — если она не умеет разговаривать с людьми уважительно, лучше пусть идет спать.

— Только знаете что, судья, — боюсь, я не совсем поняла вас. Что мы должны рассказать друг другу? Свои секреты? — добавила Долли невпопад.

— Секреты? Нет, нет.

Судья чиркнул спичкой и снова зажег свечу. Его лицо, внезапно возникшее из темноты, поразило нас своим трогательным выражением. Оно как бы молило нас всех: помогите.

— Говорить можно хоть о нынешней ночи или о том, что пока нет луны. Важны не слова, а доверие, с которым тебя выслушивают. Айрин, моя жена, была женщина замечательная — казалось, мы всем могли бы делиться друг с другом. Но нет, мы были с ней совершенно разные люди, не понимали друг друга. Она умерла у меня на руках, и, когда наступал конец, я спросил ее: «Ты счастлива со мной, Айрин? Была ли ты счастлива?» — «Счастлива, счастлива, счастлива» — были последние ее слова. И с тех пор я в сомнении, я так и не понял, значило это «да» или она повторила, как эхо, мои же слова. А ведь сумел бы понять, если б знал ее лучше. Или взять моих сыновей. Нет у них ко мне уважения. А мне так хотелось, чтобы они уважали меня. И не только как отца, главное — как человека. Но вот беда, им кажется, будто они обо мне знают нечто постыдное. Я вам сейчас расскажу, что именно.

Его живые глаза, освещенные пламенем свечи, остро поблескивали, их испытующий взгляд останавливался поочередно на каждом из нас, словно бы проверяя, внимательно ли мы слушаем, верим ли мы ему.

— Лет пять тому назад, нет, почти шесть, я нашел в поезде на сиденье детский журнал, оставленный кем-то из ребятишек. Я подобрал

его, стал перелистывать. Вижу, на последней странице обложки — адреса ребят, желающих переписываться с другими ребятами. Была среди них одна девочка с Аляски, мне понравилось ее имя — Хизер Фоллс¹, и я послал ей открытку с видом. Господи, казалось бы, это так безобидно и столько доставило мне удовольствия! Она ответила сразу же, и письмо ее поразило меня — до чего толково она рассказывала про жизнь на Аляске, так прелестно и живо описывала овцеводческое ранчо своего отца, северное сияние. Ей было тринадцать лет, она вложила в письмо свою карточку — хорошеюшкой ее не назовешь, но лицо смышленное, доброе. Порылся я в старых альбомах и нашел один снимок, с виду довольно новый, сделан он был на рыбалке. Мне там пятнадцать, я стою на солнышке, в руке — форель. Вот я и написал ей так, будто я сам еще мальчик: рассказывал, какое мне к рождеству подарили ружье, и про то, что у нас ошенилась собака, и как мы назвали щенят, и как к нам в город приезжал цирк. Вновь стать подростком и завести подружку на далекой Аляске — разве это не радость для старика, который сидит один-одинешенек и слушает тиканье часов? А потом она написала мне, что влюбилась в знакомого мальчика, и я испытал настоящие муки ревности, будто я и вправду юнец. Но мы остались друзьями: два года назад я написал ей, что готовлюсь на юридический, и она прислала мне золотой самородок — говорит, он должен принести мне удачу.

Он достал из кармана маленький самородок, положил его на ладонь, чтобы всем было видно. И она сразу стала нам такой близкой, Хизер Фоллс, словно этот талисман, слабо поблескивающий у него на ладони, был частицею ее сердца.

— И это они считают постыдным? — спросила Долли, и в ее голосе было недоумение, а не гнев. — То, что вы постарались, чтобы маленькой девочке где-то там, на Аляске, не было так одиноко? Да там же снег идет без конца!

Судья быстро прикрыл самородок сжатыми пальцами.

— Нет, мне они ничего не сказали. Но я слышал, как они говорили между собой по ночам, сыновья со своими женами, что они просто не знают, как со мной быть. Само собой, они проведали об этих письмах. Я не считаю нужным запирасть ящики: странно как-то, чтоб человек не мог обойтись без ключей даже в доме, который, хотя бы когда-то, был для него родным. В общем, они решили, что я... — И он постукал себя по лбу.

— А мне тоже однажды было письмо. Коллин, голубчик, плесни-ка еще чуток, — попросила Кэтрин, показывая на бутылку с наливкой. — Правда-правда. Было мне как-то письмо, оно и сейчас еще где-то валяется, годов двадцать его берегу и все думаю, от кого бы это. А в том письме было: «Здорово, Кэтрин, давай приезжай в Майами и выходи за меня, привет, Билл».

— Кэтрин! Человек просил тебя выйти за него замуж, и ты за все годы ни словом мне не обмолвилась?

Кэтрин только плечом повела.

— Ну и что ж, лапушка, ведь судья как говорил: не всем все надо рассказывать. Да потом я этих биллов целую кучу знала и ни за кого из них сроду бы не пошла. Мне только одно не дает покою: который из них написал то письмо? А интересно бы все же дознаться — ведь как там ни говори, а за всю жизнь только одно это письмо и получила. Может, это тот Билл, что крышу на моем домике делал, — ой, ну, верно, крыша-то в ту пору готова была. Господи, да я уже состарилась, видать, о таких делах совсем позабыла. А другой Билл — тот однажды весной у нас

¹ Буквально — вересковый водопад. (Прим. перев.)

огород вспахивал, в тринадцатом году было дело; что ж, этот парень умел борозду ровно тянуть, ничего не скажешь. И еще другой Билл — тот строил курятник; он уехал потом — устроился проводником в спальном вагоне, может, он и прислал то письмо. А то вот еще один Билл — ох, нет, того Фредом звали... Коллин, голубчик, наливка-то до чего хороша!

— Я и сама не прочь выпить еще глоточек,— сказала Долли.— Поэтому что Кэтрин...

— Хм-хм...— отозвалась Кэтрин.

— Если бы вы говорили помедленнее или жевали поменьше...— Судья, видно, принял за табачную жвачку ватные катышки у Кэтрин за щекой.

Райли, горбясь, сидел чуть поодаль от нас и молча вглядывался в полную жизни темноту. Я-я-я — прокричала какая-то птица.

— Я... Нет, судья, вы не правы,— сказал он.

— Почему же, сынок?

То постоянно сдерживаемое, напряженное беспокойство, которое всегда связывалось у меня с представлением о Райли, вновь захлестнуло его лицо.

— Нет у меня никакой беды. Просто я сам — никакой. Или вы скажете, в этом и есть моя беда? Вот я лежу по ночам, не сплю и все думаю: ну на что я гожусь? Охотиться, водить машину, лодыря гонять? И как подумаю, а вдруг я больше вообще ни к чему не пригоден — так меня жуть берет. А потом вот еще что: я никого не люблю, разве только сестренка, но это другое дело. Ну вот вам к примеру — встречался я с одной девчонкой из Рок-Сити чуть ли не целый год, я до нее ни с одной не гулял так долго. И вот что-нибудь с неделю назад ее вдруг прорвало: есть, спрашивает, у тебя сердце или нет? Говорит, если я не люблю ее, лучше ей умереть. Тогда поставил я машину поперек рельсов; ну что ж, говорю, подождем — как раз через двадцать минут скорый пройдет. Сидим, глаз друг с друга не сводим, а я думаю — скотство все-таки, вот я гляжу на тебя, а сам ничегошеньки не испытываю, кроме...

— Кроме самодовольства? — вставил судья.

Райли не стал отпираться.

— А если б мои сестренки были достаточно взрослые, чтоб о себе позаботиться, мне бы в тот раз и впрямь захотелось дожидаться, пока нас скорый разгрохает.

От его слов у меня в животе заныло, и так захотелось сказать ему: я хочу быть только таким, как он, и никаким другим.

— Вот вы тут говорили про единственного человека на свете. Ну почему она не могла для меня стать таким человеком? Это ведь как раз то, что мне нужно. Пока я сам по себе, ст меня проку мало. Может, если б мне надо было о ком-то заботиться — о таком вот единственном человеке,— я стал бы придумывать разные планы и их выполнять. Купил бы, к примеру, участки за пасторским домом, застроил бы их. Я бы сумел, только б внутри у меня все успокоилось.

Неожиданно налетел ветер, зазвенел листьями, разорвал ночные облака, и в разрывы потоками хлынул звездный свет. Наша свеча, словно напуганная ярким сверканием прояснявшегося, густо утыканного звездами неба, вдруг сорвалась вниз, и мы увидели над собой выплывшую из облаков далекую, позднюю, зимнюю луну. Она белела, словно снежный ломоть, и к ней из дали и близи воззвали живые существа: заквакали горбатые лунноглазые лягушки, когтистым голосом заорала дикая кошка. Кэтрин вытащила розовое лоскутное одеяло и заставила Долли завернуться в него. Потом обняла меня и стала почесывать мне затылок, пока голова моя не опустилась к ней на грудь.

— Озяб? — спросила она, и я придвинулся к ней поближе: она была теплая и уютная, как наша старая кухня.

— По-моему, сынок, не с того ты конца начинаешь, — сказал судья, поднимая воротник пальто. — Где уж тебе о девушке заботиться! Ты хоть о таком вот листочке позаботился когда-нибудь в жизни?

Не переставая вслушиваться с жадным охотничьим азартом в крик дикой кошки, Райли стал ловить листья, кружившие вокруг нас, как ночные бабочки; и вот уже один лист, трепещущий и живой, словно готовый вспорхнуть, зажат у него между пальцами. Судья тоже поймал слетавший лист, но у него в руке он выглядел как-то значительнее, чем у Райли. Бережно прижимая его к щеке, судья сдержанно проговорил:

— Мы тут толкуем о любви. Лист, горстка семян — вот с чего надо тебе начать; почувствуй сперва хоть немного, что это значит — любить. Для начала лист или струи дождя, а потом уже кто-то, кому можно отдать все, чему научил тебя лист, что взросло там, куда пролились струи дождя. Пойми, это нелегкое дело: на то, чтобы ему научиться, может уйти целая жизнь — у меня и ушла, а ведь я так и не овладел им, понял только одно: любовь — непрерывная цепь привязанностей, как природа — непрерывная цепь жизни.

— Если так, — заговорила Долли, порывисто вздохнув, — значит, я всю свою жизнь любила. — Она поглубже зарылась в одеяло. — Впрочем, нет, — упавшим голосом сказала она. — Пожалуй, все-таки нет. Я никогда не любила ни одного... — Долли запнулась, и, покуда она подбирала нужное слово, ветер, проказничая, вздувал ее вуаль. — ...Ни одного джентльмена. Вы можете возразить — просто мне не представился случай: ведь папа не в счет. — Она снова замаялась, словно решив, что и так слишком много наговорила. Дымка звездного света окутывала ее плотно, как стеганое одеяло; что-то — не знаю что: то ли речи лягушек, то ли тихие голоса травы — завораживало ее, заставляло ее говорить. — Но зато я любила все остальное. Вот хоть бы розовый цвет: когда я была ребенком, был у меня один-единственный цветной мелок — розовый, и я рисовала розовых кошек, розовые деревья; тридцать четыре года я прожила в розовой комнате. А еще была у меня такая коробка — она и сейчас стоит где-то на чердаке, надо бы попросить Вирену, чтобы сделала доброе дело, принесла ее мне, — как приятно было бы снова увидеть самые первые мои привязанности. Что там? Обломок сухого сота, пустое осиное гнездо — в общем, всякая всячина, а то вот еще — апельсин, утыканный сухими гвоздиками, и яйцо сойки. Каждое из этих сокровищ я любила, и любовь накапливалась, и выпархивала из меня, и носилась вокруг, как птица над полем с подсолнухами. Только лучше этого не показывать, а то людям становится тяжело, они чувствуют себя горемыками, даже не знаю почему. Вирена, бывало, бранит меня — говорит, вечно я забиваюсь куда-нибудь в угол. А я просто боюсь, как бы люди не напугались, если я покажу им, что они мне дороги. Вот как жена Пола Джимсона. Помните, он заболел и не смог разносить газеты, и она стала ходить вместо него? Бедняжка, худенькая такая — бывало, она еле тащится с этим мешком. И вот как-то раз — день был холодный — взошла она на крыльцо, а у самой из носа течет, глаза слезятся от холода. Положила она газеты, а я ей говорю — обождите, постойте-ка, и вынимаю платок, чтобы вытереть ей глаза. Мне хотелось сказать ей, если б я только смогла, что мне так ее жаль, что я ее полюбила. Я коснулась ее лица, а она слабо так вскрикнула, повернулась и бегом по ступенькам вниз. С тех пор она всякий раз швыряла нам газеты прямо с улицы, и, когда они шлепались на крыльцо, этот звук у меня в костях отдавался.

— Жена Пола Джимсона! Больно надо из-за эдакой швали переживать,— сказала Кэтрин, прополаскивая рот остатками наливки.— Ну, есть у меня золотые рыбки. Так коли они мне по душе, что ж мне теперь, весь мир полюбить? Этакий кавардак любить — вот еще, скажешь тоже! Говорите себе, что хотите, но проку от ваших разговоров никакого, один только вред; и кому это нужно — такое выкапывать, про что лучше забыть. Надо поменьше другим про себя рассказывать. В самом нутре своем люди, они ведь хорошие. Так что же от человека останется, коли он будет направо и налево все самое свое заветное выбалтывать? Вон судья говорит — мы тут потому, что у нас, мол, у всех беда, у каждого своя. Вот еще чушь-то! Мы здесь очень просто почему. Первое дело — этот дом на дереве наш, второе — эта самая и докторишка хотят наше кровное уворовать. А третье — вы все, каждый из вас, потому только здесь и сидите, что вам так хочется, ваше нутро того требует. А мое нет. Мне надо, чтоб была крыша над головой. Лапушка, ты б поделилась одеялом с судьей — вон человека так и трясет, ровно в день всех святых¹.

Долли смущенно приподняла угол одеяла, кивнула судьей, и судья, ничуть не смущаясь, скользнул под него. Ветви нашего дерева раскачивались, как огромные весла, что погружаются в море, которое медленно катит свои волны и выстывает под светом далеких-далеких звезд.

Райли, оставшийся в одиночестве, сидел, скорчившись, как несчастный сиротка.

— Иди сюда, упрямая башка, озяб, поди, не хуже других,— сказала Кэтрин, знаками предлагая ему пристроиться у ее правого бока, как я пристроился у левого.

Но, видно, ему это не особенно улыбалось — может, заметил, что запах от нее горький, как полынь, а может, считал, что это телячьи нежности. Тогда я сказал — давай, Райли, Кэтрин теплая и уютная, теплей одеяла. И, помедлив немного, Райли придвинулся к нам. Все молчали уже так давно, что я решил — они спят. Но вдруг я почувствовал — Кэтрин словно вся сжалась.

— А до меня ведь только сейчас дошло, кто мне тогда письмо послал: никакой это не Билл. Эта самая его мне послала и больше никто — вот не будь я Кэтрин Крик. Сговорилась с каким-нибудь черномазым в Майами, чтоб опустил мне письмо,— небось думала, я как дуну туда, только меня и видели.

Долли сонно пробормотала:

— Тихо ты, тихо, закрой глаза. Бояться не надо, ведь тут мужчины, они нас охраняют.

Качнулась ветка, дерево вспыхнуло в лунном свете, и я увидел — судья взял Доллину руку в свою. Это было последнее, что я увидел.

Глава IV

Райли проснулся первый и разбудил меня. На горизонте меркли три утренние звезды — свет приближающегося солнца затоплял их. На листьях сверкали блестки росы, в небо черной вереницей устремлялись дрозды — встречать разгоравшийся день. Райли сделал мне знак спуститься. Мы молча соскользнули вниз по стволу. Кэтрин храпела всюю и ничего не услышала; судья и Долли тоже не заметили нашего ухо-

¹ В этот день — 31 октября — в США отмечается праздник урожая. По народному обычаю, дети рялятся чертями и привидениями и ходят по домам. (Прим. перев.)

да — они спали щека к щеке, словно двое детей, заблудившихся в темном лесу, где хозяйничает злая колдунья.

Мы двинулись к реке, Райли шел впереди. Его холщовые штанины с шуршанием терлись друг о дружку. На каждом шагу он останавливался и начинал потягиваться, будто долго ехал в поезде. Вскоре мы набрели на муравейник — рыжие муравьи уже принялись за работу и оживленно шныряли взад и вперед. Райли расстегнул брюки и принялся их поливать. Не скажу, чтоб это мне показалось смешным, но я засмеялся, чтобы не нарушать компании, и тут он повернулся и обмочил мне башмак. Я, понятное дело, обиделся. Ведь это значит, что он ни капли не уважает меня. Я спросил его — ну зачем же он так.

— Ты что, шуток не понимаешь? — ответил он и закинул руку мне за плечо.

Если б можно было в таких делах устанавливать точные даты, я бы сказал — именно с этой минуты мы с Райли Гендерсоном стали друзьями; у него по крайней мере как раз в ту минуту зародилось теплое чувство ко мне, и от этого меня еще больше к нему потянуло. Шагая по бурому вереску, меж бурых деревьев, мы зашли далеко в лес и спустились к реке.

По ее зеленым медлительным водам плыли листья, похожие на багровую пятерню. Из воды торчал конец затонувшего бревна — казалось, это высунул голову любопытный речной зверек. Мы пошли к плавучему дому, там вода была чище. Корма старой лодки слегка осела. Прелый лист и слой ила, словно густая ржавчина, покрывали крышу каюты и покосившуюся палубу. Но странное дело — внутри каюта оказалась вполне обжитой: повсюду были раскиданы номера приключенческого журнала, на столе возле керосиновой лампы выстроился целый взвод жестянок из-под пива, на койке валялись одеяло и подушка с розовыми следами губной помады. Сперва я понял только одно — здесь чей-то тайник, потом по широченной улыбке на простецком лице Райли я догадался, чей именно.

— А самое главное — с борта удить хорошо. Только смотри, никому не проболтайся.

Я торопливо перекрестил переполненное восторгом сердце.

Все время, пока мы раздевались, я словно видел сон наяву. Мне привиделось: лодка идет по реке, на борту — мы все пятеро; парусом полочется наше выстиранное белье, в камбузе печется торт из кокосового ореха, в каюте рдеет герань. Мы плывем все вместе, и реки смеются друг друга, и все новые виды открываются нашим глазам.

Медленно выползавшее солнце еще кое-как разгорелось в остатках летнего тепла, но вода была холоднущая — едва окунувшись, я покрылся пупырышками и, лязгая зубами, полез обратно на палубу. Здесь я постоял, глядя на Райли, — он беззаботно носился от одного берега к другому. На отмели островком зеленел камыш, и стебли его, напоминавшие журавлиные ноги, легонько подрагивали. Райли стал пробираться сквозь камыши, шаря понизу зорким взглядом охотника. Потом подал мне знак. Холодная вода обжигала, но я все-таки спрыгнул с лодки и поплыл к нему. Вода вокруг камышей была чистая, здесь протока разделялась на несколько длинных луж глубиной по колено. Над одной из них наклонился Райли. В мелком бочажке лениво лежал угольно-черный сом — податься ему было некуда. Мы напрыгли пальцы, так что они стали твердыми, словно зубья вилок. и с двух концов подвели под него ладони. Сом метнулся назад и угодил прямо мне в руки. Острыми, словно бритва, усищами он глубоко рассек мне ладонь, но у меня хватило соображения не выпустить его. И слава богу, потому что это единственная рыба, которую я поймал за всю жизнь. Люди обычно не верят,

когда я рассказываю, что поймал сома голыми руками. А я говорю — ну что ж, спросите у Райли Гендерсона. Мы продели сому сквозь жабры камышинку и поплыли обратно к лодке, держа его над головой. Райли сказал, что ему редко когда попадались такие жирнющие сомы — принесем его к дереву, и раз уж судья нахвастался, что он такой мастер по этой части, пусть зажарит его на завтрак. Но никому так и не довелось полакомиться этим сомом.

В это время в нашем доме на дереве творилось что-то ужасное. Пока нас не было, снова нагрянул шериф Кэндл, на сей раз с помощниками и с ордером на арест. А мы-то с Райли, ничего не подозревая, лениво брели вдоль берега, сбивали по дороге поганки и время от времени останавливались, чтоб пошвырять камешки по воде.

Еще издали мы слышали возбужденные голоса. Их звуки отдавались в лесу, словно удары топора. До меня донесся вопль Кэтрин — даже не вопль, а рев. Ноги у меня сразу обмякли, я больше не мог поспевать за Райли — он подхватил с земли сук и пустился бегом. Я рванулся в одну сторону, метнулся в другую, повернул совсем не туда, куда надо, и наконец выбежал на край заросшего травой поля. И тут я увидел Кэтрин. Платье на ней было разорвано посерединке до самого низа. Она была все равно что голая. Три дюжих парня, дружки шерифа — Рэй Оливер, Джек Милл и Верзила Эдди Стовер, волокли ее по траве, осыпая ударами. Так бы и растерзал их! Видно, это же было и у Кэтрин на уме, но она не могла с ними сладить, хоть и старалась изо всех сил — бодала их головой, молотила локтями. Верзила Эдди, тот был поганый ублюдок по рождению, так сказать, юридически, а вот другим двум, чтоб стать такой поганью, пришлось потрудиться самолично. Верзила бросился на меня, но я хлестнул его сомом по роже.

— Ты мне ребенка не трожь, он сирота! — вскинулась Кэтрин. Потом увидала, что он обхватил меня поперек туловища, и как закричит: — В мошонку бей, Коллин! Лягни его, гада, в мошонку!

И я лягнул его что было мочи. Верзила разом свернулся, словно скисшее молоко. Тут меня чуть не зацапал Джек Милл (тот самый, которого через год случайно захлопнули в холодильной камере и заморозили насмерть, — что ж, поделом ему!), но я во весь дух побежал через поле и спрятался в самой высокой траве. Впрочем, им было не до меня — с одной Кэтрин хватало хлопот: она дубасила их без передышки, а я все смотрел на нее, и до чего же мне было тошно — ведь я ничем не мог ей помочь. Наконец все они исчезли из виду за гребнем горки, где начиналось кладбище.

Надо мной с хриплым карканьем пронеслись две вороны и снова вернулись, дважды прочертив в небе крест, словно сулили беду. Я пополз было к лесу, как вдруг совсем рядом, приминая траву, прошагали тяжелые башмаки. Это был шериф Кэндл и с ним его подручный Уилл Харрис — высоченный, как дверь, и здоровый, как буйвол, детина. Этому Харрису прокусила горло бешеная собака. На шрамы было жутко глядеть, но еще страшней был его попорченный голос — детский, писклявый, как у лилипута. Они прошли так близко, что мне ничего бы не стоило развязать шнурки у Харриса на ботинках. Он что-то втолковывал шерифу, и его тонкий пронзительный голосишко подпрыгнул — я расслышал имена Морриса Ритца и Вирены, но так и не смог разобрать что к чему, только понял — это имеет какое-то отношение к Ритцу и Вирена послала Харриса за шерифом.

— Да что ей нужно, к чертям, этой бабе, — целую армию, что ли? — взмушался шериф.

Как только они скрылись из виду, я вскочил и бросился к лесу.

Неподалеку от нашего дерева я спрятался за опухолью из папоротников: а вдруг здесь рыскает кто-нибудь из подручных шерифа? Но кругом не было ни души, только заливалась одинокая пичуга. И в доме на дереве не было никого. Дымчатые, как призраки, столбы солнца освещали его пустоту. Совершенно пришибленный, подошел я к дереву, прижался к нему лбом, и тут мне снова привиделась лодка: полощется наше белье на ветру, рдеет герань, а река несет свои воды, выносит нас в море, в широкий мир.

— Коллин! — Имя мое упало прямо с неба. — Ты? Ты что, плачешь?

Это Долли меня окликнула, но мне не было ее видно. Только забравшись на дерево, в самую его середку, я увидел высоко над собой ее покачивающуюся ногу в детской туфле.

— Осторожнее, мальчик, — раздался голос судьи, сидевшего рядом с ней. — Как бы ты не страхнул нас отсюда.

И правда, они примостились на самой верхушке дерева, словно чайки на мачте корабля. Долли говорила потом — оттуда такой потрясающий вид, ей просто жаль, что она раньше не удосужилась там побывать.

Как выяснилось, судья вовремя заметил шерифа с помощниками, и они с Долли успели укрыться там, наверху.

— Подожди, мы сейчас, — сказала она и, держась за руку судьи, стала неторопливо спускаться — совсем как благородная дама по ступенькам парадной лестницы.

Мы расцеловались. Все еще не отпуская меня, Долли сказала:

— Она ведь пошла тебя искать, Кэтрин. Мы не знали, куда ты делался, и я так боялась, я...

Страх ее передался и мне, у меня похолодели пальцы. Она испытывала то же чувство, что перепуганный дрожащий зверек, только что вынутый из капкана. Судья сконфуженно поглядывал на нас, все время что-то вертел в руках — видно, чувствовал себя лишним. Думал, должно быть, что предал нас, дав им схватить Кэтрин. Ну а что он, собственно, мог поделать? Если б он бросился ей на помощь, его самого бы схватили, только и всего: они сюда не за тем пожаловали, чтобы шутки шутить, — шериф, Верзила Эдди и остальные. Я один был во всем виноват. Не сойди Кэтрин вниз искать меня, им бы ее вовек не поймать... Я стал рассказывать, что произошло в поле.

Но Долли не хотела ничего знать. Словно отгоняя дурной сон, она резко отбросила вуаль с лица.

— Я все пытаюсь поверить, что Кэтрин с нами нет, — и не могу. А если б поверила, побежала б искать ее. Пытаюсь поверить, что это все натворила Вирена, — и не могу. Коллин, скажи, как ты считаешь, — может, все-таки мир и вправду плохо устроен? А ночью мне все представлялось совсем по-другому.

Судья посмотрел мне прямо в глаза — должно быть, хотел внушить мне ответ. Но я и сам его знал. Свой собственный мир всегда хорош по-своему, какие бы страсти ни составляли его; он никогда не бывает грубым и пошлым. Мир самой Долли — тот, который она разделяла со мной и Кэтрин, — сделал ее человеком настолько высоким, что она попросту не ощущала тех вихрей подлости, что бушуют вокруг.

— Нет, Долли, мир вовсе не так уж плох.

Она провела рукой по лбу.

— Если ты верно говоришь, значит, Кэтрин вот-вот появится. Она не нашла ни тебя, ни Райли, но все равно вернется сюда.

— А кстати, — сказал судья, — в самом деле, где Райли?

Он бежал впереди меня, и с тех пор я его больше не видел. Мы с судьей, разом встревожившись, вскочили и принялись громко звать его. Голоса наши медленно облетали лес, но снова и снова наталкивались

на молчание. А потом я понял: он свалился в старый индейский колодец. Таких случаев я мог бы вам рассказать сколько угодно. Только я собрался поделиться с судьей своей мыслью, как он предостерегающе приложил палец к губам. Слух у него был прямо собачий: я, например, пока ничего не слышал. Но он не ошибся — кто-то и вправду шел по тропинке. Оказалось, Мод Риордан и старшая сестра Райли, та самая умница-разумница Элизабет. Они были закадычные подружки и ходили в одинаковых белых свитерах. Элизабет несла скрипку в футляре.

— Послушай, Элизабет,— заговорил судья, и обе девочки вздрогнули от неожиданности: они еще не успели заметить нас.— Послушай, детка, ты своего брата не видела?

Мод опомнилась первая и ответила за подругу.

— Еще бы не видеть,— сказала она с ударением.— Я провожала Элизабет домой после урока, вдруг мчится Райли на бешеной скорости — миль девяносто в час. Чуть не сшиб нас. Ты бы с ним все-таки поговорила, Элизабет. В общем, он просил нас сходить сюда, передать, чтобы вы не волновались; сказал — он потом сам все объяснит. Понимайте, как хотите.

Раньше мы с Мод и Элизабет учились вместе, но они перескочили через класс и в июне окончили школу. С Мод я был ближе знаком — одно лето я учился у ее матери играть на пианино. Отец ее давал уроки скрипки, и Элизабет Гендерсон была его ученицей. Мод и сама чудесно играла на скрипке; как раз за неделю до того я прочитал в городской газете, что ей предложили выступить в Бирмингеме по радио, и порадовался за нее. Риорданы были славные люди — веселые, обходительные. Уроки у миссис Риордан я брал вовсе не потому, что хотел научиться играть на пианино; просто мне нравилась она сама — такая большая, светлая,— нравились умные, душевные разговоры, которые она вела со мной у сверкающего инструмента, пахнущего лаком и усердием. Ну, а больше всего мне нравилось, когда после урока Мод звала меня выпить с ней стакан лимонаду в холодке, на задней веранде. Мод была худая, как спичка, нервная девочка с вздернутым носом и маленькими ушками; от отца она унаследовала черные ирландские глаза, а от матери — платиновые волосы, блеклые, словно раннее утро, — и ничем не напоминала свою лучшую подругу, чувствительную и сумрачную Элизабет. Не знаю, о чем они говорили друг с другом — должно быть, о музыке и о книгах, но со мной Мод болтала о мальчиках и свиданиях, обсуждала услышанные в аптеке сплетни.

— Это же ужас, с какими жуткими девчонками водится Райли Гендерсон! Ах, до чего жалко Элизабет! Но правда ведь, она держится изумительно, несмотря ни на что?

Вовсе не надо было быть гением, чтоб догадаться — Мод неравнодушна к Райли; но все-таки я одно время вбил себе в голову, будто влюблен в нее. Дома я только о ней и говорил, и под конец Кэтрин вскипела:

— Уж эта мне Мод Риордан — до того тоща, ущипнуть не за что. Да ни один мужчина такой даже «здрасьте» не скажет — разве что полоумный какой.

Однажды я устроил Мод грандиозный кутеж: сам нарвал и приколот ей к корсажу букетик душистого горошка, повел ее в кафе Фила, где нам подали бифштексы по-канзасски, а потом мы пошли танцевать в отель «Лола». Но когда я хотел поцеловать ее на прощанье, она сделала вид, что для нее это полная неожиданность.

— А вот это, Коллин, пожалуй, уже ни к чему, хотя с твоей стороны страшно мило, что ты меня пригласил.

Я был очень разочарован, сами понимаете, но старался не киснуть,

и в дружбе нашей мало что изменилось. Как-то раз после урока миссис Риордан против обыкновения ничего не задала мне на дом. Вместо этого она ласково уведомила меня, что лучше нам прекратить уроки.

— Мы тебя очень любим, Коллин, и мне не к чему повторять, что в этом доме всегда тебе рады. Но, говоря откровенно, дружок, нет у тебя никаких способностей к музыке. Такое бывает, и мне кажется, было бы не очень честно — и с твоей стороны, и с моей — делать вид, будто все обстоит прекрасно.

Что ж, она была права, и все-таки самолюбие мое было уязвлено — мне все казалось, что меня вытурили; при одной мысли о Риорданах у меня делалось скверно на душе, и постепенно я как бы задернул их занавесом — на это потребовалось примерно столько же времени, сколько на то, чтоб позабыть те несколько пьесок, которые я с таким трудом разучил. На первых порах Мод останавливала меня после школы, приглашала зайти, но я всякий раз увиливал под любым предлогом. И вообще уже наступила зима, а в зимние дни я так любил посидеть на кухне с Долли и Кэтрин.

Кэтрин все допытывалась:

— Почему такое ты больше не говоришь про Мод Риордан?

Но я ответил — потому что не говорю. И точка.

Впрочем, хоть я и не говорил о Мод, должно быть, я все-таки думал о ней: вот и сейчас, стоило мне увидеть ее под деревом, как старое чувство сдавило мне грудь. Я впервые взглянул на нашу историю со стороны. Может, и впрямь мы все — Долли, судья и я сам — выглядим просто смешными в глазах Мод и Элизабет? Но обе они держались так, будто встретили нас на улице или в аптеке.

— Мод, как твой папа? — спросил судья. — Я слышал, он что-то неважно себя чувствует.

— Да нет, ему не на что жаловаться. Вы ведь знаете, мужчины, они такие — вечно ищут у себя какие-нибудь болезни. А вы как, сэр?

— Жаль-жаль, — рассеянно ответил судья. — Ну, ты кланяйся от меня папе. передай — я надеюсь, что ему уже лучше.

Мод с готовностью согласилась:

— Спасибо, сэр, передам. Я знаю, ему будет приятно ваше внимание.

Тщательно уложив складки на юбке, она опустилась на мох и усадила рядом с собой упиравшуюся Элизабет.

Никто никогда не называл Элизабет уменьшительным именем. Начнешь говорить ей «Бетти» — смотришь, через неделю она снова «Элизабет»: так уж она действовала на людей. Она была томная, вся словно без костей. Черные прямые волосы свисали вдоль сонного лица — по временам оно казалось ликом святой: недаром в эмалированном медальоне, висевшем на ее стройной, как стебель лилии, шее, она носила портрет своего отца, миссионера.

— Посмотри-ка, Элизабет, правда, у мисс Долли славная шляпка? Бархатная, с вуалеткой.

Долли встала, потрогала голову.

— Вообще-то я шляп не ношу, но мы собирались путешествовать.

— Да, мы слышали, что вы ушли из дому, — сказала Мод и добавила уже более откровенно: — По правде сказать, все только об этом и говорят. Верно, Элизабет?

Элизабет равнодушно кивнула.

— Господи, до чего же странные слухи ходят! Понимаете, по дороге сюда нам попался Гэс Хэм, так он говорит — эту цветную, Кэтрин Крюк (так ее, кажется?), арестовали за то, что она запустила в миссис Бастер банкой из-под варенья.

Долли проговорила замирающим голосом:

— Кэтрин... не имеет к этому... ни малейшего отношения.

— Но кто-то же ее все-таки стукнул,— возразила Мод.— Мы видели миссис Бастер утром на почте, она всем показывает свою шишку — довольно-таки изрядная. И как будто бы настоящая. Верно, Элизабет? — (Элизабет только зевнула.) — Мне-то решительно все равно, кто ее стукнул. Я считаю, тому человеку надо выдать медаль.

— Нет,— со вздохом ответила Долли.— Нехорошо получилось. Никуда это не годится. Всем нам еще о многом придется пожалеть.

Наконец Мод обратила внимание и на меня.

— А ты мне как раз нужен, Коллин,— сказала она торопливо, словно пытаюсь скрыть смущение — мое, а не свое.— Мы тут с Элизабет затеяли вечеринку на день всех святых, только чтоб костюмы и вправду были страшные-престрашные. И вот мы подумали: здорово будет, если тебя нарядить скелетом, и ты сядешь в темную комнату и будешь нам гадать. Ты ведь мастер...

— ...сказки рассказывать,— равнодушно закончила Элизабет.

— А гаданье и есть те же сказки,— уточнила Мод.

Уж не знаю, с чего они взяли, что я такой враль. Правда, в школе, когда нужно было выкручиваться, я проявлял сверхъестественные таланты. Я сказал — что ж, вечеринка — это, конечно, прекрасно, но лучше им на меня не рассчитывать: к тому времени мы, может, окажемся за решеткой.

— Ну, если так...— протянула Мод, как бы принимая очередную мою отговорку: я вечно что-нибудь придумывал, лишь бы не идти к ним домой.

— А кстати, Мод,— сказал судья, нарушив неловкое молчание.— Ты у нас становишься знаменитостью: я читал в газете — ты будешь выступать по радио?

Словно греза наяву, Мод стала рассказывать: эта передача — финал конкурса на премию штата; если она выйдет на первое место, то получит стипендию в музыкальном училище при университете, даже если на второе, и то дадут половину стипендии.

— Я сыграю папину музыку — серенаду. Он сочинил ее для меня в тот день, когда я родилась. Только это сюрприз. Я не хочу, чтоб он знал.

— Заставьте ее вам сыграть,— сказала Элизабет, расстегивая футляр скрипки.

Мод была щедрая, ее не пришлось долго упрашивать. Она нежно прижала к подбородку темно-красную скрипку и стала ее настраивать — раздались глубокие вибрирующие звуки. Бронзовая бабочка, усевшаяся было на кончик смычка, вспорхнула и закружилась, смычок помчался по струнам и запел. Это был вихрь летящих бабочек, сицилийская ракета весны, и радостно было слышать ее мелодию в обнажающемся осеннем лесу. Музыка становилась медленнее, печальнее — и вот уже серебряные волосы Мод упали на скрипку. Мы зааплодировали. А когда кончили, чья-то таинственная пара рук все еще продолжала хлопать. Из-за папоротников показался Райли, и Мод порозовела, увидев его. Думаю, если б она знала, что он ее слушает, ей бы так хорошо не сыграть.

Райли велел девочкам отправляться домой. Видно было, что уходить им не хочется, но Элизабет не привыкла перечить брату.

— Запри двери,— наказал он ей.— И вот что: Мод, хорошо бы тебе остаться у нас ночевать. Ну, а спросит кто-нибудь, где я, скажите — не знаем.

Пришлось мне помочь ему забраться наверх — он притащил ружье и полный рюкзак провизии: бутылку настойки, апельсины, сосиски, сардины, свежие булочки из пекарни «Зеленый кузнецик» и в довершение всего большущую коробку крекера в форме разных зверюшек. По мере того как он доставал эту снедь, настроение у нас повышалось, а крекер вконец растрогал Долли — она объявила, что Райли надо расцеловать.

Но от его рассказа лица у всех сразу вытянулись.

Когда мы с ним разлучились в лесу, он побежал на голос Кэтрин и очутился в поле. Тут он стал свидетелем моей схватки с Верзилой Эдди. Я спросил:

— Чего же ты мне не помог?

А он говорит — ты и сам с ним отлично справился; теперь Верзила тебя не скоро забудет — бедняга еле тащился, его совсем скрючило. И потом, сказал Райли, он так рассудил: никто ведь не знает, что он теперь наш, что он вместе с нами живет на дереве. Выходит, он тогда правильно сделал, что спрятался, — зато смог поехать следом за подручными шерифа, когда те повезли Кэтрин в город. Они швырнули ее на откидное сиденье старой малолитражки Эдди Стовера и покатали прямо в тюрьму. Машина Райли шла позади.

— Когда мы подъехали к тюрьме, Кэтрин вроде бы успокоилась. Там уже начал собираться народ — ребятишки, старики фермеры. Вы могли бы ею гордиться: она шла сквозь толпу вот так вот. — И он с королевским видом слегка склонил голову набок.

Как часто видел я у Кэтрин этот жест, особенно когда кто-нибудь выговаривал ей (за то, что прятала кусочки от картинок-загадок, за то, что плела небылицы, за то, что никак не хотела вставлять себе зубы); и Долли тоже узнала его и стала сморкаться.

— Но только она вошла в тюрьму, как тут же опять устроила бучу. В тюрьме всего-навсего четыре камеры — две для цветных, две для белых. Так Кэтрин объявила, что в камеру для цветных не пойдет.

Судья хлопнул себя по подбородку, покачал головой.

— А поговорить с ней вам не удалось? Надо было хоть как-то дать ей знать, что один из нас там, — все-таки ей стало бы легче.

— Я все стоял внизу, думал — может, она подойдет к окошку. Но потом услышал другие новости.

Вспоминая теперь тот разговор, я просто диву даюсь, как мог тогда Райли так долго молчать об этом. Ведь что оказалось — господи боже мой: наш дружок из Чикаго, этот гнус Моррис Ритц, смылся из города, прихватив из сейфа Вирены на двенадцать тысяч оборотных ценных бумаг и семьсот с лишним долларов звонкой монетой. (Потом мы узнали, что на самом-то деле он стибрил в два с лишним раза больше.) И тут меня осенило — так вот про что говорил тогда шерифу пискля Уилл Харрис. Что ж удивительного, если Вирена спешно послала за шерифом: все ее тревоги, вызванные нашим уходом, сразу же отошли на задний план. Мы узнали от Райли и кое-какие подробности. Обнаружив, что дверца сейфа распахнута (дело было в конторе, над магазином готового платья), Вирена стрелой понеслась в отель «Лола», а там говорят — Моррис Ритц накануне вечером выбыл. Вирена упала в обморок. Ее привели в чувство, но она тут же упала снова.

Мягкое лицо Долли разом осунулось. Ее все сильнее тянуло пойти к Вирене, и в то же время удерживало новое ощущение, что она — сама по себе. Она посмотрела на меня с сожалением:

— Лучше тебе узнать это сейчас, Коллин, — вовсе незачем ждать, пока доживешь до моего возраста: мир и вправду устроен плохо.

И тут с судьей произошло превращение, внезапное, как перемена ветра: он сразу стал выглядеть на все свои семьдесят, стал скучный, осенний, как будто Долли, признав, что на свете есть подлость, тем самым отреклась от него. Но я-то знал, что не отреклась: он назвал ее живою душой, а на самом деле она была живой женщиной. Откупорив бутылку с настойкой, Райли наполнил золотистой, как топаз, жидкостью четыре стакана, подумал — и налил пятый, для Кэтрин. Судья, поднося вино к губам, провозгласил тост:

— За Кэтрин, да не покинет ее надежда!

Мы подняли стаканы.

— Ох, Коллин,— проговорила Долли, взволнованная внезапной мыслью, и глаза ее расширились.— Ты да я — только мы двое на всем свете можем хоть слово разобрать из того, что она говорит!

Перевела с английского С. Митина.

(Окончание следует)



ИОГАНН-ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ

★

СТИХОТВОРЕНИЯ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

«Читая Гёте». Более точного определения для будущей книги я найти не сумел.

Здесь то, что я у Гёте прочел — те стихи, которые меня особенно волнуют в его великой лирике. И так, как я это прочел: попытки выразить русскими стихами то, чем эти гётевские стихи меня взволновали, поразили, тронули.

Попытки — разные. Порой — почти дословный перевод; порой — вольный перевод; порой — вспомним хорошие старинные слова — подражание, переложение.

Словом, и в выборе стихов, и в «методе перевода» каждый раз поступал так, как — мне казалось — будет ближе к Гёте.

Разумеется, в этом много рискованного. Но переводить стихи великого поэта — дело вообще рискованное. Ведь и с самыми высоконучными принципами перевода все равно рискуешь оказаться тем сказочным персонажем, который из пещеры, полной сокровищ, выносит на свет божий вместо жемчугов и алмазов — уголья и пепел... И сколько ни доказывай, что химический состав предъявленных тобою угольков и золы — в точности тот же, что у подлинных алмазов и перлов, все равно не поможет: цена другая...

Оправдался ли мой риск? Похож ли Гёте, прочитанный мною, на подлинного? Найдет ли он отклик у читателя?

Отвечать на эти вопросы, разумеется, не мне.

Убежден в одном: в решении гигантской, и по масштабу и по значению, задачи — создать «русского Гёте», задачи, решение которой по плечу лишь поколениям поэтов, — правомерна и такая попытка. Быть может, пригодится и то, что я долгие годы с великой любовью к вечно живому поэту собираю в свою малую котомку из неисчерпаемой его сокровищницы...

Вечное в мгновенном

Ах, весна, останься с нами,
Погоди еще чуть-чуть!
...Но она уже цветами
Устиляет лету путь...
Я бы радовался сени
Свежей зелени листвы,—
Но ведь скоро ветр осенний
Оборвет ее, увы...

На ветвях плоды алеют...
Руку к ним скорей тяни:
Ведь едва-едва созреют —
И уже гниют они,
И смывает непогода
Все, что так пленяло глаз...
Да! Два раза в те же воды
Не войдет никто из нас!..

Мы... Ты видишь — перед нами
 Вечные вершины гор;
 Вспомни — теми ли глазами
 Ты их видел до сих пор?
 Эту удаль молодую,
 Поступь серны, этот рот,
 С вечной жаждой поцелуя —
 Где они? Кто их вернет?

Где рука, что так любила
 Созидать, дарить, ласкать?
 Ты еще не лег в могилу,
 Но тебя — не отыскать;
 Тот, кто носит самозванно
 Имя прежнее твое —
 Лишь волна из океана:
 Океан — небытие...

И дано на этом свете
 Вам одним, любимцы муз,
 Узы временные эти
 В вечный превратить союз:
 Застывает бег явлений,
 Слиться с вечностью спеша,
 Если форму дарит гений,
 Содержание — душа.

1803 г.

* * *

Толпа послушна звонким фразам
 И презирает мудреца;
 Конечно — привлекает разум
 Немногих избранных сердца;

Но у искусства есть законы,
 Как есть они у злобы дня,
 И чудотворные иконы
 Обычно — жалкая мазня...

1798 г.

* * *

Богатой рифмой дорожат:
 Вполне естественно; и все же
 Есть кое-что и подороже
 Для тех, кто мыслями богат!

* * *

— Ты совершенно измотался!
 Побереги себя для нас!
 — Ни разу я не прочитался,
 Хоть переплачивал не раз.

* * *

Тут-то все и создается,
Если мы не сознаем,
Что и как мы создаем —
Словно даром все дается...

* * *

Своим ушам поверить я не мог!
Шепнул мне мой же собственный пупок:
«Старик,
Попробуй на голову встать!»
Такие штучки — мальчикам под стать!
А мы,
Как подобает зрелым людям,
Уж лучше
Голову держать повыше будем!

Эпитафия

Здесь худший из поэтов погребен.
Того гляди, опять воскреснет он!

* * *

Нет, бред больных не может мне понравиться!
Желаю авторам поправиться!

* * *

Вот беда, так уж беда:
Все полезли в господа,
И вдобавок — ни один
Сам себе не господин!

* * *

— Подумать! Королей смели
Метлой, как кучку пыли!..
— Вот-вот! Будь это — короли,
Они бы целы были.

* * *

Я бы проклял
Судьбу свою,

Окажись я
Один
В раю!

* * *

Жизнь, в общем, скверный анекдот —
Хотим мы — много, можем — мало;
Чего-то всем недостает,
Одних забот на всех достало...

Хотя иль нехотя — волочишь
Свой груз... До той поры, когда
Тебя поволокут — туда,
Где ты не можешь и не хочешь...

*Вольный перевод с немецкого
Бориса Заходера.*



ПУБЛИЦИСТИКА

С. ПЕРВУШИН

★

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА

(Заметки экономиста)

Решения XXIII съезда КПСС сосредоточили в себе все главное, чем живет наше общество; они содержат ответы на вопросы, волнующие тружеников города и деревни, работников, занятых в сфере производства и управления; они четко определяют на предстоящее пятилетие место каждого в хозяйственном и культурном строительстве.

Как ни разнообразны и важны были вопросы, обсужденные на съезде,— главное место среди них занимали проблемы экономической политики, изыскание путей и средств ускоренного развития производительных сил. И это вполне естественно: народ для того и берет власть в свои руки, чтобы подчинить производство служению главной и самой гуманной цели — постоянному росту жизненного уровня трудящихся. Поэтому так важно для нас проводить верную экономическую политику — от уровня ее научной разработки и практической реализации в конечном счете зависит успешное решение всех вопросов коммунистического строительства.

Из года в год, из пятилетия в пятилетие наша социалистическая страна наращивает производственные мощности. Только в истекшую семилетку построено пять с половиной тысяч новых предприятий, благодаря чему производственный фонд нашей страны почти удвоен. Это означает как бы создание еще одной промышленной державы таких же масштабов, какой наша страна была в 1958 году.

В 1940 году удельный вес экономики Советского Союза составлял десять процентов всего мирового производства, теперь он достигает двадцати процентов. Но это не предел. Напротив, это скорее исходные данные для последующего, еще более мощного подъема. А это требует неотложных мер в области хозяйствования.

С октября 1964 года последовательно и настойчиво совершается у нас восходящее движение по пути все более углубленного познания законов развития производства и совершенствования методов хозяйственного руководства.

В решениях мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС эта линия получила конкретное воплощение в области сельского хозяйства. Сентябрьский Пленум в том же году развил дальше эти принципы и определил новые формы управления и планирования, основанные на всемерном использовании товарно-денежных, хозрасчетных отношений во всех отраслях народного хозяйства.

Двадцать третий съезд не только одобрил и подтвердил необходимость хозяйственной реформы, но и поставил перед экономической наукой задачу постоянно вести поиски новых методов и форм хозяйственного руководства.

Если попытаться кратко сформулировать смысл и значение всех принятых мер по совершенствованию принципов хозяйствования, то они сводятся к повышению эффективности производства.

Эффективность — понятие весьма емкое. Оно включает в себя широкую систему экономических, организационных и научно-технических мер, позволяющих увеличивать

производство материальных благ при все уменьшающихся затратах средств труда на единицу готовой продукции. Только при осуществлении этих мер можно обеспечить быстрые темпы роста экономики и повышение жизненного уровня трудящихся. Вот почему на съезде проблема повышения эффективности производства стала главной.

Повышение эффективности общественного производства, повышение эффективности труда — как это вытекает из материалов и решений съезда — главное звено цепи хозяйственных мероприятий, генеральная линия развития экономики. Каждый раздел Директив по пятилетнему плану, принятых съездом, указывает на повышение эффективности как на главный путь решения наших первоочередных задач.

«Основные задачи промышленности в новом пятилетии состоят в том, чтобы поднять эффективность производства...» И далее перечисляются конкретные приемы решения этой задачи для каждой отрасли народного хозяйства. И когда речь идет о капитальном строительстве, опять-таки основная задача — наиболее эффективное использование капитальных вложений...

Проблеме эффективности было уделено большое внимание в основных докладах Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина, этому вопросу целиком посвящено выступление Председателя Госплана СССР Н. К. Байбакова, значительная часть выступления Председателя Совета Министров Украинской ССР В. В. Шербицкого и многие другие выступления.

Чем же объяснить столь настойчивое и последовательное подчеркивание необходимости повышать эффективность производства? Почему эта мера становится как бы главной стратегической линией, определяющей направление основного удара?

Дело в том, что все предшествующие годы социалистического строительства стремление добиться количественного роста средств производства явно преобладало над стремлением повысить степень использования уже имеющихся мощностей. В результате с каждым годом нарастал разрыв между ростом основных производственных фондов и объемом готовых продуктов и, как следствие, происходило неуклонное снижение эффективности производства, снижение эффективности капитальных вложений.

Чтобы получать запланированный прирост валового продукта, приходилось создавать все больше производственных мощностей в расчете на единицу приращиваемого продукта. А для этого требовались все большие суммы капитальных вложений. Но нажимать на этот рычаг беспредельно — значило создавать непреодолимые трудности в развитии производительных сил и — что особенно неприемлемо — лишать общество законного права на непрерывный рост жизненного уровня.

В нашей экономической жизни наступила такая пора, когда ускоренное развитие отраслей промышленности, производящих предметы потребления, не только обеспечит рост жизненного уровня народа, но станет одним из рычагов повышения эффективности общественного производства в целом.

Программа хозяйственного строительства, намеченная XXIII съездом КПСС — деловая и реалистическая, — делает важный шаг для создания более экономичной структуры нашего производства. Она создает предпосылки для последующего перехода к самым эффективным, самым экономичным приемам производства.

Существенная особенность нынешней пятилетки — это действенные меры для ускоренного развития отраслей, производящих предметы потребления: сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, а также сферы услуг. Этот поворот экономики в сторону ускоренного производства потребительных товаров требует коренной ломки сложившихся за прошлые годы методов хозяйствования. Речь идет не только о внедрении новой системы управления и планирования, но и о серьезных изменениях в структуре народного хозяйства.

Конечно, такой поворот в экономической политике не произойдет сам собой. Потребуется тщательно изучить опыт, накопленный в нашей стране, да и весь мировой опыт, и настойчиво осуществлять заданную линию при разработке пятилетнего плана и организации его выполнения.

И тут дело за экономической наукой. Ее роль в этом определилась и всем ходом обсуждения экономических проблем в последние годы, и наконец специальным указанием съезда о повышении роли науки в развитии производства. Приходится, к сожа-

лению, признать, что в течение десятилетий ученые-экономисты занимались преимущественно пропагандистской, комментаторской работой, вместо того чтобы исследовать экономические явления и формулировать конкретные рекомендации для народного хозяйства. Правда, такое ограничение задач экономической науки предопределялось в какой-то мере общими условиями работы, в которые были поставлены ученые. Но верно и то, что многим экономистам такая роль была по душе. Ведь куда спокойнее и менее ответственно выполнять функции, свойственные штатным и внештатным пропагандистам, чем открывать неизвестные истины и намечать конкретные планы на будущее, научно обосновывая их.

В последние годы обстановка изменилась в лучшую сторону. Экономисты проделали большую и плодотворную работу по подготовке новой экономической реформы. Они помогли определить основные направления развития экономики в предстоящем пятилетии. Заслугой ученых-экономистов и работников плановых органов можно считать и то, что в новом пятилетии столь большое внимание уделяется проблеме повышения эффективности производства. Правда, нельзя считать, что в этой области все уже решено и сделано: возможностей продолжать изыскания дополнительных средств повышения эффективности производства еще очень много.

В Директивах съезда перед экономической наукой ставится задача сосредоточить внимание на дальнейшей разработке теории планового руководства народным хозяйством на основе глубокого изучения и использования экономических законов социализма, на определении путей и методов повышения эффективности общественного производства. В связи с этим ответственным заданием хотелось бы высказать некоторые соображения. Тем более что проблема эта, как мне кажется, привлекает — и по праву — все большее внимание и научной общественности, и партийных и хозяйственных кадров.

Итак, поразмыслим о путях повышения эффективности производства.

Чтобы выяснить сущность вопроса, крайне важно сопоставить методы хозяйствования на разных этапах социалистического строительства в нашей стране. Полезно также привлечь и обширный зарубежный материал, вдумчиво отобрав и изучив его.

Общезвестно, что методы обеспечения высоких темпов производства, сложившиеся в первые годы индустриализации нашей страны, действенные и пригодные для своего времени, продолжали применяться и тогда, когда они уже перестали давать прежний эффект и в них, собственно, уже не было необходимости. Но для того, чтобы превратить нашу отсталую аграрную страну в страну индустриальную, да еще в труднейших исторических условиях, мы вынуждены были изымать максимум средств из сельского хозяйства, из легкой и пищевой промышленности, ограничивать развитие сферы услуг, сознательно ограничивать личное потребление. Ведь перед нами стояла задача — в предельно короткий срок обеспечить экономическую независимость и обороноспособность страны. Отражая атаки многочисленных врагов, прокладывая первыми путь к социализму, мы не имели ни времени, ни материальных возможностей отыскивать оптимальные, наиболее экономичные пути создания тяжелой индустрии. Очень часто приходилось решать задачу любой ценой. Добыть больше угля, нефти, произвести больше металла, машин во что бы то ни стало и в кратчайший срок — вот девиз, которым мы руководствовались в течение десятилетий, создавая материально-техническую базу социализма.

Для того времени всемерное увеличение капитальных вложений и расширение капитального строительства было единственно возможным способом в предельно короткий срок покончить с экономической отсталостью. Вполне понятно было и всемерное обеспечение высоких темпов воспроизводства и ускоренного расширения производственных фондов. Теперь же, когда создана мощная индустрия и в десятки раз возросли производственные фонды, прежние методы мобилизации накоплений и поддержания высоких темпов воспроизводства перестали отвечать интересам ускоренного развития производительных сил.

Если и в дальнейшем поддерживать высокие темпы воспроизводства — преимущественно за счет капитального строительства при существующей эффективности производственных фондов, — то с каждым годом, с каждым пятилетием придется увеличивать — и абсолютно и относительно — суммы капитальных вложений.

Такая линия, проводимая до последних лет в нашей экономике, вызывала прежде всего перенапряжение финансовых и материальных ресурсов. Она резко снижала эффективность капитальных вложений и в конечном счете приводила к замедлению темпов воспроизводства. Положение осложнялось и тем, что из-за недостатков в организации капитального строительства происходило непрерывное рассредоточение капитальных вложений между очень большим числом одновременно строящихся объектов. Строительство при этом затягивалось, а отдача капитальных вложений замедлялась.

В последние годы в стадии строительства находилось одновременно более двухсот тысяч объектов, а ежегодные суммы капитальных вложений составляли около двенадцати процентов всей стоимости строительства. При таких дозах ежегодного финансирования средний срок ввода в действие объектов составлял не менее восьми лет. В действительности же многие промышленные предприятия строились по восемь и даже по десять лет. А вместе с полным периодом освоения нового предприятия проходит до пятнадцати лет от начала строительства до того времени, когда вложенные средства начинают давать запроектированный эффект. По данным выборочного обследования, из семидесяти семи строящихся машиностроительных заводов четырнадцать начаты строительством более десяти лет назад; девятнадцать заводов — восемь — десять лет назад и двадцать заводов — пять — семь лет назад. А так как каждый новый завод еще в течение пяти — семи лет осваивается на полную мощность, то требуются десять — пятнадцать лет для того, чтобы капиталовложения начали давать положенный эффект. Но, как правило, за такой срок техника уже устаревает, и требуются новые вложения — на модернизацию.

Непрерывно возрастающие суммы накоплений и затяжка сроков строительства служили одной из главных причин увеличения того, что на языке экономистов называется капиталоемкостью национального дохода, то есть все увеличивающихся затрат на единицу прироста новой стоимости, новых богатств. Если в 1956—1958 годах на прирост одного рубля национального дохода затрачивалось полтора рубля производственных капитальных вложений, то в 1959—1963 годах на тот же рубль прироста нужно было затратить уже два рубля шестьдесят копеек. Еще больше затрачивалось вложений для прироста единицы национального дохода в сельском хозяйстве.

Все возрастающие масштабы капитального строительства в отраслях тяжелой промышленности вынуждали нас до последних лет изымать для них накопления из отраслей, производящих предметы потребления, и сферы услуг и искусственно сдерживать их развитие. В результате все более нарастала диспропорция между общим объемом производства и той его частью, которая идет на личное потребление.

В 1950 году еще пятьдесят процентов производства шло на удовлетворение потребностей населения прямо (через производство предметов потребления) и косвенно (через выпуск средств производства для этих отраслей); в 1958 году эта доля сократилась до сорока пяти процентов, а в 1963 году до сорока.

Из марксистско-ленинской теории воспроизводства следует, что за известным пределом уровень потребления трудящихся становится определяющим в обеспечении темпов развития экономики вообще. Иначе говоря, если рост производства не будет соответствовать росту жизненного уровня, то социалистическая экономика лишится стимула для развития со стороны потребительского спроса населения, а недостаточное потребление трудящихся снизит их производственную активность.

Кроме того, дальнейшее повышение удельного веса отраслей первого подразделения — оно было неизбежно при действовавшей практике — еще более снизит эффективность капитальных вложений и всего общественного производства. Известно, что за прошлое семилетие вместо ожидаемого сближения темпов роста группы «А» и группы «Б» усилился разрыв между ними, и это неблагоприятно отразилось на темпах общественного производства и его эффективности.

Оценивая такие неблагоприятные симптомы в развитии экономики, XXIII съезд КПСС отметил, что, наряду с большими успехами развития социалистической экономики, по некоторым показателям семилетний план оказался невыполненным. Недовыполнены задания по производству отдельных видов химической продукции, машин, топлива.

Отстает еще и сельскохозяйственное производство. А это в свою очередь отрицательно сказалось на темпах роста легкой и пищевой промышленности. В общем же, все это не позволило в полном объеме осуществить намеченные меры по подъему жизненного уровня народа.

В последние годы несколько замедлились темпы роста производства и производительности труда. Понижилась эффективность использования производственных фондов и капитальных вложений. В ряде отраслей не были своевременно введены в строй новые предприятия, а многие из построенных не достигли проектной мощности. В результате темпы роста национального дохода оказались меньшими, чем это было предусмотрено семилетним планом. За семилетие основные фонды возросли на девяносто процентов, а национальный доход только на пятьдесят три. По уровню (абсолютным суммам) капитальных вложений мы достигли девяноста процентов соответствующего показателя США, а по национальному доходу достигли лишь восьмидесяти процентов. Развивать дальше экономику при столь неэкономичных нормативах — значит затрачивать в полтора-два раза больше средств на экономический результат, равнозначный получаемому в развитых капиталистических странах.

Кроме того, сохранение прежних методов не позволяет поддерживать темпы воспроизводства на высоком уровне. А допустить снижение темпов — значит отдалить срок решения задачи превзойти капиталистический мир в сфере материального производства. В конечном счете это означало бы не только экономическую, но и идеологическую уступку буржуазному миру.

Нельзя также не считаться с тем, что объективная необходимость быстрого развития науки и техники требует быстрого развития новых отраслей, создания научно-технического задела для последующих этапов развития производительных сил, что невозможно без высоких темпов воспроизводства. Другими словами, мы никак не можем допускать снижения темпов — это означало бы застой науки и техники, застой экономики.

А коль скоро прежними методами стало все труднее ускоренно развивать экономику, то и этот аргумент решительно говорит в пользу немедленного перехода к более интенсивным приемам развития производства, основанным на более полном использовании производственного аппарата.

Итак, с каких бы позиций мы ни подошли к решению задач экономического строительства, выход из положения один — повышение эффективности производства. Вот почему вместо того, чтобы любыми средствами расширять производственные мощности, наша экономическая политика теперь будет основываться на более полном освоении и модернизации имеющихся мощностей. Если раньше ценили хозяйственника, способного как можно больше выпросить капитальных вложений и «освоить», то есть затратить их, независимо от того, что от этого получит общество, то теперь предпочтение должно отдаваться тем, кто просит меньше средств, а дает больше; тем, кто сокращает сроки строительства и быстро вводит в строй новые объекты; а еще больше тем, кто добивается увеличения производства при наличных средствах.

Было бы преждевременно надеяться, что этот курс всеми уже усвоен и принят к неукоснительному исполнению. Потребуется, видимо, большая разъяснительная работа и, главное, настойчивое внедрение экономических методов руководства, определенных сентябрьским Пленумом, чтобы обратить хозяйственников «в новую веру».

Строительство заводов, электростанций, шахт, рудников всегда ассоциировалось у нас со строительством нового, коммунистического общества. Пафос и романтика строительства легко увлекали людей. Молодежь охотно направлялась в самые далекие края на новостройки, видя в этом революционную романтику. Гораздо реже мы обращались к примеру работников, радеющих о том, как достигнуть увеличения продукции при меньших производственных фондах, способных с каждым годом давать больший результат на вложенный рубль. Выражаясь образно, у нас предпочтение отдавалось тем, кто распахивает целину, перед теми, кто обеспечивает прирост продукции на землях, уже освоенных.

Массовое новое строительство можно приравнять к штурму, к лобовой атаке, где сразу видны непосредственные результаты усилий. Экономически этот путь популярен тем, что на расширение производственных мощностей, на строительство новых заводов выдавались безвозмездно средства из бюджета в таких суммах, какие удавалось «выторговать». Увеличивать выпуск продукции при наличных средствах — значит изыскивать пути более экономного хозяйствования, кропотливой и вдумчивой работой, продуманными маневрами получать полтора-два рубля дохода там, где раньше получали один. Здесь и риска и заботы куда больше!

Конечно, строительство новых предприятий мы не можем и не собираемся сокращать. Особенно быстро и в широких масштабах необходимо строить электростанции, химические предприятия, увеличивать мощности по производству новейших машин и оборудования, электротехники, средств связи. Во все более возрастающих масштабах будет вестись жилищное строительство. Особенность момента состоит в том, чтобы пафос строительства дополнить пафосом ускоренного освоения и более полного использования уже созданных производственных мощностей.

Эта задача, быть может, менее романтична — решение ее требует кропотливой, подчас малозаметной работы по повышению коэффициента сменности оборудования, сокращения норм расхода топлива, сырья и материалов. Но, как показывают расчеты, как подтверждает отечественный и зарубежный опыт, — эти меры часто могут дать больший эффект, чем крупное строительство.

При известных условиях каждый рубль, не истраченный на строительство производственного объекта, обернется благом для общества, а всякий дополнительно вложенный в новостройку, но не обеспечивающий выпуска готовой продукции, — злом.

И все же призывы об ускорении строительства, об ограничении числа строек оставались нереализованными. Объяснялось это тем, что до последнего времени не были найдены и применены такие экономические методы, которые вынуждали бы хозяйственные органы более расчетливо и экономично организовать строительное дело. Сентябрьский Пленум ЦК КПСС выработал принципы, которые могут и должны оказать действительное влияние и на строительство.

Не менее значительный источник повышения эффективности — сокращение затрат материалов на единицу готовой продукции. Опыт ряда зарубежных стран говорит о том, что в современных условиях такие затраты можно сократить почти вдвое. Достичь этого можно не только за счет экономного расходования сырья при данных технологических условиях производства. Хотя резерв этот общедоступен и его никогда не следует исключать, он все же имеет свои пределы. Ведь если на костюм требуется три метра ткани, то попытка сшить его из двух с половиной метров не дает успеха. Речь идет о громадных резервах экономии топлива, сырья и материалов за счет внедрения новейших технологических приемов и более совершенных производственных процессов. При господствующих ныне методах металлообработки и машиностроения до сорока процентов металла идет в отходы. Как бы мы ни призывали экономно расходовать материалы — при данной организации дела большего результата не достигнешь. Необходима система технологических и организационно-экономических мер, в корне меняющих весь процесс машиностроения. Схематически они сводятся к тому, чтобы металлические заготовки по размерам и конфигурации приближались к изготавливаемой детали, чтобы обработка поверхности металлических отливок не вызывала большого отхода металла. Необходимо увеличить производство листового проката, гнутых профилей.

Переход к новым схемам производства, конечно, связан с капитальными вложениями, но во много раз меньшими, чем организация дополнительной добычи руды и производства металла. Потребность в металле сокращается за счет снижения веса машин — как за счет совершенствования конструкций, так и за счет создания более прочных материалов. Например, термическое упрочнение металла по своим последствиям равнозначно увеличению его производства, но при гораздо меньших затратах средств и труда.

В новой пятилетке будут предприняты важные шаги по снижению удельного веса топлива и материалов: проката черных металлов в машиностроении — на двадцать —

двадцать пять процентов; топлива в промышленности — на восемь—десять процентов; при выработке электроэнергии — на одиннадцать—четырнадцать процентов.

Решение этой задачи — важное условие выполнения пятилетнего плана. Ведь каждый процент снижения материальных затрат в промышленности увеличивает национальный доход более чем на полтора миллиарда рублей. Мы должны только в 1970 году сэкономить более восьми миллионов тонн проката черных металлов, сберечь восемьдесят пять миллиардов тонн условного топлива, сорок — пятьдесят миллиардов киловатт-часов электроэнергии и много других материальных ценностей, которые будут использованы в интересах страны, на благо народа.

Подобная экономия материалов, сырья, топлива равнозначна прибавке добычи их. А благодаря этому темпы роста добывающих отраслей — наиболее трудоемких и капиталоемких — могут быть тем меньшими, чем ниже нормы их расхода. Вот один из самых важных путей повышения эффективности общественного производства.

Пути и методы более экономичной организации производства разнообразны. Перечислять их сейчас было бы трудно, да в этом и нет необходимости. Уже приведенных примеров и соображений совершенно достаточно, чтобы наглядно показать крайнюю необходимость перехода от экстенсивных приемов увеличения производства материальных благ, связанных с обязательным расширением производственных мощностей, к интенсивным — когда при одних и тех же производственных мощностях и исходных материалах достигается увеличение готового продукта.

Наука и практика должны настойчиво изыскивать все новые и новые пути повышения эффективности общественного труда, но для этого необходимо так же настойчиво и последовательно преодолевать все отжившие, не соответствующие требованиям времени представления, отбрасывать предубеждения или убеждения, переставшие соответствовать конкретным условиям развития производства.

Очень часто в интересах повышения эффективности капитальных вложений куда выгоднее строить предприятия обрабатывающей промышленности в обжитых районах, особенно в малых городах, обладающих избытком трудоспособного населения, готовыми коммуникациями, жилым фондом и коммунальными учреждениями. Хотя с точки зрения общих принципов это может показаться непримлемым, но при существующих условиях так поступать целесообразно и необходимо.

Ускоренно внедряя новую технику, комплексную механизацию и автоматизацию на ведущих предприятиях, не следовало бы вместе с тем спешить с ликвидацией мелких, слабо механизированных предприятий, особенно в районах, располагающих резервом рабочей силы. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует в пользу необходимости разумного сочетания крупных высокомеханизированных предприятий со средними и мелкими, выполняющими вспомогательную роль в общественном производстве.

Большие резервы повышения эффективности общественного производства заключены в ускорении оборота общественного продукта. При методах управления и планирования, действовавших до прошлого года, преобладающее внимание хозяйственных руководителей направлялось на то, чтобы изготовить продукт. А найдет ли он применение и как быстро обернется, дойдет до потребителя — предприятиям, производящим этот продукт, экономически было безразлично. Поэтому-то в народном хозяйстве накапливалось большое количество бездействующего оборудования, сверхнормативных запасов сырья, топлива, материалов и большое количество потребительских товаров, не находящихся сбыта либо из-за плохого качества, либо из-за того, что они производились без учета действительной потребности в них.

Происходило это по многим причинам. Главная из них — недооценка проблемы реализации, проблемы рынка. А она в свою очередь вытекала из отрицательного отношения к товарно-денежным категориям в социалистическом хозяйстве. В последние годы формально товарная природа социалистического продукта стала признаваться, но это признание не доводилось до такой степени конкретности, чтобы могло оказать положительное влияние на хозяйственную практику. До последнего времени производство планировалось без тщательного учета стоимостных, товарно-денежных отношений. Очень часто, особенно в отраслях, производящих предметы потребления, производ-

ственная программа составлялась без действительного учета потребительского спроса населения, без учета рыночной конъюнктуры.

Новые методы управления и планирования, внедряемые на основе решений сентябрьского (1965) Пленума ЦК КПСС, исходят из необходимости более полного использования в хозяйственной практике товарно-денежных, рыночных отношений.

Сентябрьский Пленум определил стоимостные показатели, соответствующие природе товарного социалистического хозяйства, как показатели основные, директивные. Среди них наибольшее значение имеют показатели объема реализованной товарной продукции и прибыли (рентабельности), исчисленной по отношению к текущим и капитальным затратам.

Количественно в статистических и бухгалтерских документах показатель объема реализованной товарной продукции и показатель валовой продукции, находившиеся много лет на вооружении, мало различаются между собой. Но по своей социально-экономической природе, политэкономическому содержанию они качественно отличны. Показатель реализованной товарной продукции выгодно отличается от показателя валовой продукции тем, что в нем отражается не только величина необходимых общественных затрат труда, но и потребительная стоимость товара, его полезность. Поэтому показатель реализованной товарной продукции будет служить инструментом, который непосредственно свяжет производство со сбытом, с рынком, будет автоматически сигнализировать о возможностях реализации данного продукта, о его достоинствах или недостатках. Такой показатель станет экономически понуждать работников предприятий заботиться о качестве изделий, выявлять размеры потребности в них. Эти же свойства показателя будут содействовать переходу к равномерному выпуску продукции. Ведь зачет выполнения плана будет производиться по мере реализации, а ее трудно отнести только на конец месяца или другого планового периода.

Показатель прибыли и рентабельности непосредственно связан с реализованной товарной продукцией и в ряде случаев, особенно при производстве предметов потребления, рассчитанных на местный рынок, может быть главным обобщающим директивным показателем. Другие стоимостные показатели при этом будут играть подчиненную роль, а вся совокупность показателей окажется достаточной для того, чтобы осуществить целенаправленное планирование на основе полного хозяйственного расчета и содействовать экономичной организации производства.

Кратковременный опыт небольшого числа предприятий, перешедших на новую систему планирования, красноречиво доказал это. За счет дополнительных резервов только сорок три предприятия нашли возможным получить пятьдесят шесть миллионов рублей дополнительной прибыли в год. Тем не менее в экономической литературе до последнего времени появляются высказывания, предостерегающие против широкого использования в плановой практике товарно-денежных, рыночных категорий.

Точно так же теоретически правильное положение об объективной необходимости сохранять опережающее развитие отраслей, производящих средства производства, нередко рассматривалось как самоцель. На этой почве возникали и оправдывались не лучшие хозяйственные решения.

Каждому ясно, что без сырья и оборудования невозможно производить предметы потребления. Но так же ясно должно быть и то, что из каждой единицы сырья можно произвести неодинаковое количество готового продукта. В США, например, за последние сорок лет материалоемкость промышленной продукции уменьшилась почти вдвое, то есть из каждой единицы сырья производится в два раза больше готовых изделий. Значительно повысилась отдача машин и оборудования. За счет этого экономика США за те же годы развивается практически без опережающих темпов роста первого подразделения. Конечно, такая возможность возникла не сразу. Ее возникновению предшествовал период значительного опережения темпов развития отраслей, производящих средства производства. С 1879 по 1929 годы средства труда возросли там в тринадцать раз, а средства потребления в семь раз. С 1929 по 1962 год средства труда увеличились в два раза, а средства потребления в 2,68 раза.

Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов того, что подобные результаты в какой-то мере достигнуты за счет неэквивалентного обмена с другими странами, за счет

колониального грабежа. Но эти несправедливые источники отнюдь не единственная причина таких результатов,— в современном промышленном развитии капиталистических стран многое достигнуто благодаря техническому прогрессу, экономичной структуре производства и другим экономическим и организационным мерам. Это заслуживает тщательного изучения и заимствования всего того, что пригодно у нас. В частности, следовало бы позаимствовать опыт капиталистических стран в развитии отраслей, обслуживающих непосредственные потребности человека. Ускоренное развитие этих отраслей народного хозяйства, кроме непосредственного эффекта, то есть более полного удовлетворения потребностей народа, позволит резко повысить эффективность производства и создать более благоприятные возможности для роста национального богатства.

В первые годы социалистического строительства было понятным и оправданным стремление экономить максимум средств на потребительских отраслях, с тем чтобы направлять капитальные вложения в тяжелую индустрию. В нынешней же обстановке, когда удельный вес отраслей первого подразделения превышает семьдесят процентов, дальнейшее повышение удельного веса этих отраслей не может быть благом. Недаром в Директивах по пятилетнему плану предусматривается ускоренный рост легкой и пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Итак, внедрение новых методов хозяйствования, обеспечивающих наибольшую эффективность производства,— вот главное условие успешного создания материально-технической базы коммунизма и неуклонного роста жизненного уровня народа.

Можно не сомневаться, что если наше общество будет всеми средствами воспитывать стремление к поискам новых и новых путей повышения эффективности производства, то результат не замедлит сказаться.



В МИРЕ НАУКИ

Е. ПЛИМАК

★

РАДИЩЕВ И РОБЕСПЬЕР

Революция мудрая, трудная и сложная наука.

В. И. Ленин.

В истории человечества было немного потрясений, исполненных такого величия и трагизма, как господство якобинцев во Франции (июнь 1793—июль 1794 гг.). Революционная диктатура, организовавшая разгром внешнего врага, раздавившая внутренние мятежи, спасшая от голода Париж, через год оказывается сокрушенной изнутри, гибнет от распрей, раздирающих ее вождей. Вслед за монархистами и соглашателями-жирондистами падают под ударами террора обвиненные в измене ревностные республиканцы: Ру и Леклерк, Эбер и Шометт, Дантон и Демулен. Наконец на эшафот отправляются их обвинители — Робеспьер, Сен-Жюст, Кутсон.

На роковом заседании Конвента 9 термидора (27 июля) 1794 года не только проснувшиеся от оцепенения обитатели «болота», но и бывшие соратники Робеспьера — монтаньяры приветствуют его падение. Они искренне убеждены, что спасают революцию, свергают «нового Кромвеля», «тирана». Это мнение разделяют в ту пору многие решительные республиканцы. Некоторые из них — например, Бабеф — довольно скоро осознают, что 9 термидора было не днем спасения, а днем гибели свободы. Другие — как Билло-Варенн или Вадьс — «прозреют» лишь много лет спустя, пережив не только империю Бонапарта, но и реставрацию Бурбонов, не только термидорианский, но и монархический террор. Не одно десятилетие пройдет, пока прогрессивная мысль XIX века утвердит неумолимую в своей беспощадности истину: именно за год якобинской диктатуры, безжалостной рубки виновных и невинных голов, было совершено то великое, чем вошла в историю Французская революция, подрублен в своих основах отживший феодальный строй.

Долгие годы в спорах и сомнениях усваивала уроки якобинизма русская мысль; хотя революции XIX века отодвинули на второй план многие события и громкие прежде имена, ничто не могло ослабить впечатления от якобинского «царства террора», стеречь из памяти имя человека, стоявшего в центре революционного урагана, тщетно пытавшегося удержать стихию разбушевавшихся человеческих страстей...

Все это так, скажет осведомленный читатель, однако какое отношение имеет ко всему этому Радищев? Всего раз помянул он Робеспьера, да и то не специально, а мимоходом, повествуя о давних временах — кровавом правлении римского тирана Суллы:

Нет, ничто не уравнился
Ему в лютости толккой,
Робеспьер дней наших разве (I, 97)¹.

Может ли одна случайная фраза стать темой целой статьи? На вопрос ответим вопросом. Верно ли, что русский мыслитель посвятил якобинской диктатуре — величайшему в XVIII веке событию — одно и притом случайное высказывание?

¹ Римской цифрой обозначаем том. латинской — страницы полного собрания сочинений А. Н. Радищева, т. I—III, М.—Л. 1938—1952.

1. ПОПЫТКА РАСШИФРОВКИ «ПЕСНИ ИСТОРИЧЕСКОЙ» РАДИЩЕВА

Поэма на античные сюжеты?

«Песнь историческая», содержащая столь нелестное для Робеспьера сравнение, изучена мало. Специалисты-античники не относят поэму к произведениям, достойным особого интереса. Специалисты-радищеведы не считают себя компетентными в разборе деталей античных сюжетов. Более или менее часто в радищевской литературе встречается описание первых лет правления римского императора Калигулы:

Ах, сия ли участь смертных,
 Что и казнь тирана люта
 Не спасает их от бедствий;
 Коль мучительство нагнуло
 Во ярем высоко выю,
 То что нужды, кто им правит;
 Вождь падет, лицо сменится,
 Но ярем, ярем пребудет.
 И, как будто бы в насмешку
 Роду смертных, тиран новой
 Будет благ и будет кроток:
 Но надолго ль,— на мгновенье;
 А потом он, усугубя
 Ярость лютости и злобы,
 Он изрыгнет ад всем в души (I, 108).

Слова Радищева, как полагают биографы, метят в первые «либеральные» годы царствования Александра I.

Правда, не так давно Г. П. Макогоненко восстал против поисков в «Песни» политических аллегорий. «В действительности же,— писал он,— поэма посвящена реальной истории Греции и Рима»; Радищев еще не успел увидеть в Александре I «тирана более лютого, чем Павел»¹.

Обратившись, скажем, к реальной истории римских цезарей (чего не сделал Г. П. Макогоненко), можно было бы найти описание тех событий, которые дали повод для «аллегорической» строфы. «Дело в том, что большинство императоров приходили к власти в результате насильственной смерти предшественника. Стремясь упрочить свое, вначале несколько шаткое, положение, они в первые месяцы или даже годы правления заигрывали с сенатом, удаляли наиболее ненавистных приближенных предшествующего принцепса, официально, как Калигула, или официозно, как Нерон, осуждали его жестокости и злоупотребления, клялись, что будут править совершенно по-другому»².

Продолжая поиски, можно было бы определить источники, которыми пользовался Радищев, подсчитать число строф, написанных по мотивам «Биографий» Плутарха или «Анналов» Тацита и т. п. Но сколь ни заняты такие изыскания, они, думается, не приблизят нас к сути дела. Рискуя вызвать новые протесты, мы решимся утверждать: ключ к «античной» поэме надо искать отнюдь не в античности...

«Школа морали и политики» мыслителей XVIII века

Два века тому назад для просвещенного человека Франции античность не представлялась чем-то безвозвратно прошедшим — она осязательно присутствовала почти во всех его помыслах и делах. Этому способствовал и характер тогдашнего классического образования, которое строилось преимущественно на латинских образцах, и еще больше деятельность плеяды блестящих учителей человечества во главе с Монтескье, Мабли, Руссо — все они были страстными поклонниками и пропагандистами античности

¹ Г. П. Макогоненко. Радищев и его время. М. 1956, стр. 548.

² Е. М. Штаерман. Светоний и его время. В книге: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М. 1964, стр. 258.

На примерах героев Эллады и Рима просветители воспитывали своих современников, готовили (в зависимости от меры своего радикализма) и будущих «просвещенных монархов», и грядущих царей. Из античной литературы заимствовались не только нравоучительные примеры, но и теоретическое содержание просветительских работ. Так, от римских авторов — почитателей Траяна, Марка Аврелия берет начало концепция «просвещенного абсолютизма». Республиканская концепция «общественного договора» Руссо также опиралась на античные источники. В той же римской литературе следует искать корни пессимистического взгляда просветителей на прошлое человечества; все развитие Греции или Рима рисовалось по традиции (связанной с именами Ливия или Тацита) как путь от силы к бессилию, от величия к упадку, от добродетели к разврату. У тех же авторов заимствовалось представление о первопричинах этого упадка (развращающее влияние роскоши и властолюбия), а также рецепты если че грядущего спасения человечества, то хотя бы удержания его от окончательной гибели (насаждение простоты нравов, возможно большее «уравнение» богатств).

От просветителей «античные» формы мышления были унаследованы вершителями Французской революции. В те бурные годы не было ни одного сколь-нибудь заметного события, для которого не отыскался бы соответствующий «эквивалент» из жизни Греции или Рима. Ораторы революции восхваляют «римскую твердость» третьего сословия, отказавшегося подчиниться в Генеральных штатах повелениям короля; Пале-Рояль, откуда раздался призыв к штурму Бастилии, именуется ими «Римским форумом». Людовики XVI, особенно после его неудачного бегства из Парижа, грозят участью римского тирана Тарквиния; свержение монархии 10 августа 1792 года отмечается установлением бюстов Брута в клубах. Если поверить некоторым участникам борьбы Жиронды и Горы в Конвенте, то жирондисты мечтали об учреждении афинских, а монтаньяры — спартанских порядков (впоследствии «афинянами» назовут дантонистов, а «спартанцами» — робеспьеристов); заговор Жиронды именуется монтаньярами заговором Катилины (впоследствии кличку Катилины приклеют Дантону и наконец Робеспьеру). Якобинскую конституцию 1793 года ее защитники будут сравнивать с творениями Ликурга и Солона; приговоры революционных трибуналов враги якобинского террора назовут «проскрипциями» и т. д. и т. п. Борцы революционной эпохи порой встречали смерть подобно некоторым античным героям; так, не желая принять ее от рук врагов, пытались заколоться кинжалами вожди парижского плебса — Жак Ру, затем Гракх Бабеф.

В целом революционное возобновление культа античности, начатое еще в 1789 году Демуленом, развивалось вместе с республиканской традицией, оно достигло апогея в период якобинской диктатуры, когда плебейская Франция украсила себя красным фригийским колпаком, а Конвент переместился в зал, отделанный в стиле «*du bel antique*». «Традиции всех мертвых поколений, — писал об этой поре Маркс, — тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще бывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории»¹.

Не приобрела ли подобное «осовремененное» звучание античность в «Песни исторической» Радищева?

Исследователи останавливаются на полдороге...

Сравнением «Песни исторической» с французскими образцами занимались, кажется, всего два автора — В. Мияковский и Г. А. Гуковский. Первый обнаружил, что в своей поэме Радищев следовал знаменитому трактату о причинах величия и падения римлян² Монтескье. Второй расширил этот вывод: Радищев «излагает древнюю историю в том освещении, которое ей придали Монтескье, Мабли и т. п.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 8, стр. 119.

² В. Мияковский. «Песнь историческая» А. Н. Радищева и «*Considérations*» Монтескье. Журнал Министерства народного просвещения, № 2, 1914, стр. 236—248.

Даже самый подбор имен и тем, вызывавших его интерес, характерен для радикальной публицистики XVIII в.» (i, 455).

Можно согласиться с литературоведами — Радищев следовал радикальным мыслителям XVIII века. В основе его поэмы лежит все та же схема «падения» Эллады и Рима. Мы находим здесь предельную идеализацию ранних и предельное очернение последних периодов их истории, восхваление «предивной» Спарты, где Ликурговы законы обуздали на время разрушительную силу страстей, и обличение эпохи цезарей, когда разнузданные страсти окончательно погубили свободу.

Вместе с тем наметим отличия «Песни исторической» от классических образцов. Прежде всего явную суженность, лучше сказать, концентрированность замысла поэмы. В античной истории Радищева притягивает одно явление — роковая роль той ненасытной «алчбы власти», которую выявили в Риме период гражданских войн, затем эпоха цезарей. О том же писал и Монтескье. «Республика была, наконец, уничтожена; в этом исходе не следует обвинять честолюбие отдельных лиц, но человека вообще, который тем более стремится к власти, чем больше он ее имеет, и который, обладая многим, желает обладать всем»¹. Но то, что было одним из сюжетов «Размышлений», стало самодовлеющей темой «Песни». Радищев не только максимально использует тексты Монтескье, он дополняет их собственными обобщениями, вспоминает эпизоды, обойденные в куда более объемистом труде учителя.

Вот изложение Радищевым одной из мыслей Монтескье — о судьбах Римской империи:

Монтескье

Этот план покорить весь мир,
так хорошо задуманный,
выполненный и заверченный,
кончается только тем, что уто-
ляет алчное желание пяти-ше-
сти чудовищ!²

Радищев

И, поставив от начала
Присвоение вселенной
И намеренье блестяще
Столь умыслив остроумно,
Столь исполнив постоянно
И окончив столь счастливо...
Но на что ж?.. дабы злодеев,
Извергов, чудовищ пять-шесть
Наслаждалися всем буйно...

*Дополнение Радищева
к Монтескье:*

Иль се жребий есть всеобщий,
Чтоб возвышенная сила
Власть, могущество, блеск славы
Упали, были гнусны? (I, 110—111)

Резко различаются Радищев и Монтескье в акцентировке одних и тех же событий античной истории. Так, в описаниях единоборства Карфагена и Рима Монтескье больше всего занимает ход боевых операций, анализ причины побед и поражений знаменитого Ганнибала³. Главное для Радищева — бессмысленность и жестокость разрушения Карфагена, его мысль перерастает в разоблачение любых военных «подвигов» вообще:

Ах! се ль слава, се ль Иройство? — —
Разрушать единым мигом,
Что столетия создали!
Вопль и крик и скрежетанье
Умирающих булатом
Победителя во гневе.—
Пламя, всюду разлиянно,
Как река, сломив оплоты — — —
Плод изящности — в обломках —

¹ Ш. Монтескье. Избранные произведения. М. 1955, стр. 95.

² Там же, стр. 112.

³ Там же, стр. 61—66.

Разума твореньи — в щепках...
Се Иройство, слава!.. (I, 93—94)

С тем же мало свойственным бесстрастному летописцу гневом Радишев рисует внутренние междоусобия, увенчавшие завоевательные походы римских полководцев, а также цезарианские режимы, выросшие из гражданских войн. Мотив насилия и крови звучит здесь с потрясающей силой.

Вот, к примеру, Рим в руках «ненасытна граждан крови» Суллы:

Сулла меч свой, обогреной
Кровию доселе чуждой,
Он простер во сердце Рима.
Заградив на жалость сердце,
Хладнокровной был убийца
Всех, ему врагами бывших,
И трепещущие члены
Погубленных граждан Рима
Его были услажденье... (I, 97)

Тот же Рим под пятой Нерона, «чье имя в век осталось всех поноснее и гнусней»:

Он убийственную руку
Простирал на всех ближайших;
Мать, наставники, супруга
Всё сраженно упало
Под мечем сего тирана,
Столь мертвить людей умевша;
Насыщался ежедневно
Или сластия прегнусной,
Или кровью умовенной... (I, 113)

Текстовые отступления Радищева от Монтескье и разницу в тоне сличаемых произведений подметил В. Мняковский. Однако сюжетные вариации он не считал существенными, а различия тона объяснил легко — эмоции Радищева всего-навсего придавали «нужный колорит» поэтическому произведению. Пока не станем судить, так ли это. Вспомним о главном, что совершенно упустили из виду эти литературоведы. Незадолго до того времени, когда создавалась поэма, во Франции радикально изменились функции самой «радикальной публицистики». Не менее радикально изменилась и роль экскурсов в историю «античности».

Тацит в роли врага Робеспьера

Период междоусобной борьбы в стане революции, завершившийся в 1794 году падением якобинского правительства, поставил новые проблемы, которых не знали (или почти не знали) просветители, готовившие французскую нацию к штурму абсолютизма.

Накануне и в первые год-два революции расстановка противоборствующих сил и перспективы борьбы представлялись революционерам в достаточно четком виде. Франция делилась на лагерь свободы и лагерь деспотизма, во главе их стояли Национальное собрание, опиравшееся на восставший народ, и партия двора, опиравшаяся на поддержку «тиранов Европы». Несколько неясным в этой диспозиции было сначала место Людовика XVI, ставшего после октября 1789 года королем французов не просто «милостью божией», а «силу конституции». Обе стороны боролись за обладание этой фигурой: патриоты, пытаясь превратить монарха в добровольного главу нации, аристократы — в центр объединения контрреволюционных сил. Но и здесь ситуация была прояснена неудачным бегством «конституционного» короля из Парижа в июне 1791 года и наконец обнаружением его тайной переписки. Лозунг завершения революции приобрел в устах вождей Горы чеканный вид: короля — на плаху, «все злоупотребления будут жить до тех пор, пока будет жив король»¹.

Правда, живая действительность зачастую оказывалась куда сложнее ясных пред-

¹ Saint-Juste. Discours et rapports. Paris, 1957. p. 81.

ставлений и чеканных лозунгов. Крестьянская война, развернувшаяся с июля 1789 года, угрожала не только дворянам, но и многим буржуа, бывшим к началу революции или ставшим в ходе ее земельными собственниками. Голодные санкюлоты восставали не только против аристократов: они громили спекулянтов — торговцев хлебом, сахаром, мылом. После того как правительство Жиронды объявило войну «тиранам Европы», стали все больше озлобляться имущие слои городов и деревень, недовольные реквизициями и мобилизациями военного времени. Несогласия раздирали без конца само Национальное собрание, они были вызваны не только происками монархистов, но и соперничеством революционных фракций и вождей, по-разному представлявших себе сооружение великого здания Свободы. Однако вплоть до 1793 года в умах идеологов революции эти противоречия и раздоры сводились все к тому же элементарному противопоставлению: партия аристократов против партии свободы. Волнения народа стоящие у власти политики списывали либо за счет «анархии», либо за счет деятельности «подстрекателей», разумеется, подкупленных двором или Питтом. Соглашательством с королем радикальная оппозиция объясняла и непоследовательность стоявших у власти вождей революции.

В конце концов возмущения плебейских масс Парижа, возглавленных якобинцами, довершили крушение абсолютизма, начатое штурмом Бастилии 14 июля 1789 года. Восстание 10 августа 1792 года ликвидировало монархию. Восстание 31 мая — 2 июня 1793 года изгнало из Конвента последнюю из «соглашательских» фракций — жирондистов. Но ни казнь короля, ни чистка Конвента не стали завершением революции. К середине 1793 года против «очищенного» Конвента в Париже поднялась новая волна возмущения, возглавленного на этот раз «бешеными». На страницах газет «Друг народа» и «Публицист Французской республики» самозванные наследники убитого Марата — Леклерк и Ру начинают призывать (как и соперничавший с ними Эбер) к «четвертой» революции, к уничтожению скупщиков, спекулянтов, финансистов и прочих «кровопийц», нажившихся за годы революции, к изгнанию из Конвента новых «продажных властителей».

Мы не будем рассказывать об известных событиях внутренней жизни республики между июнем 1793 и июлем 1794 годов — расправе правительства Робеспьера с «бешеными» (затем эбертистами) и с их антиподами — «снисходительными», о последующем расколе внутри самой якобинской диктатуры. Поговорим о том, что ближе к нашей теме — использовании «античных» сюжетов в годину жестокой междоусобной борьбы. А осведомленному читателю, который может счесть углубление в столь «второстепенные» детали грандиозных революционных событий не вполне понятным и оправданным, напомним слова Энгельса: у мыслителей XVIII века «такие псевдо-исторические экскурсии всегда являются лишь словесным приемом, позволяющим рациональным образом объяснить возникновение чего-либо...»¹.

В июльском номере «Друга народа» за 1793 год Леклерк проводит любопытную параллель: «Наша рождающаяся республика являет картину всех пороков вырождающегося Рима: нас развешают и пожирают эгоизм, коррупция, амбиция, роскошь, изнеженность, спесь и дух мести; между патриотами нет никакого единства: все стремятся к тому же, но если, к несчастью, для достижения общей цели предлагаются различные пути, то вместо того, чтобы обсудить их и прийти к согласию, вступают в спор, затевают свару, в дело вмешивается глупое тщеславие, с этого времени общее благо уже ничего не значит — его место занимает дух партий... а средства, предназначенные для защиты родины, начинают применять для сокрушения соперника. Что получится из столкновения этих страстей, если мы не будем бдительными? Контрреволюция?»².

Преследования «бешеных» заставили и Жака Ру открыть кампанию против якобинского режима, особенно против принятого 17 сентября 1793 года «закона о подозрительных». Закон этот, писал редактор «Публициста», справедливо карал смертью врагов республики и народа. «Однако истолкование закона, самого по себе справедливого, может быть столь расплывчатым, что, согласно букве декрета, под угрозой ареста

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. т. 32. стр. 319.

² L'Ami du Peuple par Leclerc de Lion № III, 25 VII, 1793.

окажется огромное количество французов... Он явится в руках революционных комитетов орудием угнетения и мести. Я скажу больше: на протяжении двух последних веков не издавали столько королевских указов об аресте, сколько издано мандатов на арест за прошедший месяц».

Но если даже королевский режим не шел в сравнение с режимом якобинцев, то аналогия ему отыскивалась в правлении римских цезарей: «Я вынужден спросить: не живем ли мы в проклятое время, когда иной человек обвинялся в нарушении закона об охране нации за то, что рассказал сон, другой за то, что продал стакан теплой воды, третий за то, что разделся перед статуей, четвертый за то, что пошел в отхожее место с монетой в кармане, на которой была отчеканена голова императора. Я вынужден задать вопрос... не появились ли среди нас Калигулы, Нероны, Юлии Цезари, Германики, которые приказывали истреблять массы пленных, затруднявших их марши, и желали мира ценой уничтожения всей нации»¹.

Корнелий Тацит, описания которого вспоминал Жак Ру, стал, впрочем, союзником не одних только вождей «бешеных». Камилл Демулен, блестящий публицист фракции «снисходительных», вскоре вновь заставил римского историка сыграть роль обличителя якобинского режима на страницах № 3 «Старого Кордельера»: «В древнем Риме, как свидетельствует Тацит, существовал закон, определявший преступления перед государством и перед нацией, наказуемые смертной казнью... Императорам потребовалось всего несколько дополнительных статей к этому закону, чтобы подвергнуть проскрипциям и граждан и целые города...

Все возбуждало подозрительность тирана. Если гражданин становился популярным, значит, это соперник государя, который мог вызвать гражданскую войну. Это — подозрительный.

Если же, напротив, кто-либо избегал популярности и коротал время у своего очага, то такая уединенная жизнь выделяла его, обращала на себя внимание. Это — подозрительный.

Если вы были богаты, то возникала неотвратимая опасность, как бы народ не был развращен вашей щедростью. Вы тоже подозрительны.

Если же вы бедны, ну что ж! император прав, за этим человеком надо присматривать поближе; самым предприимчивым является как раз тот, кто ничего не имеет. Это — подозрительный...

Если это философ, оратор, поэт, посмей он приобрести славу большую, чем слава правителя! Разве потерпят, чтобы больше внимания оказывалось автору, пристроившемуся на галерке, нежели императору, восседающему в зарешеченной ложе? Это — подозрительный...

Одним словом, во время этих царствований естественная смерть человека знаменитого или просто заметного была столь редкой, что отмечалась газетами как событие и передавалась историками на память веков... Донос стал единственным средством выбиться в люди, и скоро весь свет кинулся в погоню за высокими и столь доступными званиями...

Если бы лев, став императором, составил бы свой двор из тигров и пантер, то и они не смогли бы разорвать в клочья большее число людей, чем это сделали доносчики, вольноотпущенники, отравители и головорезы цезарей, ибо зверство, порожденное голодом, прекращается с насыщением зверя, в то время как зверство, порожденное страхом, алчностью и подозрительностью тирана, не знает никаких пределов. До какой степени низости и падения мог докатиться человеческий род, когда подумаешь, что Рим терпел правительство чудовища, которое скорбело о том, что его правление не было ознаменовано каким-либо бедствием, чумой, голодом, землетрясением, которое завидовало счастью императора Августа, при котором обрушившийся в Фиденгах амфитеатр задавил пятьдесят тысяч человек; одним словом, это чудовище желало лишь того, чтобы римский народ имел всего одну голову, чтобы одним махом отрубить ее и выставить напоказ»².

¹ Le Publiciste de la République Française par l'ombre de Marat, l'ami du Peuple... № 270.

² Цит. по хрестоматии Gerard Walter. La Revolution française vue par ses journaux. Paris, 1948, pp. 331—334.

Разве не похожи на эти обличения Демулена, вполне доказавшие, что слово публициста может быть оружием острым, как нож гильотины, радищевские описания римских цезарей?

Правление Тиберия:

Тиран мрачной, он подернул
 Покрывалом тяжким скорби
 Рим; тогда не злодеянье
 В злодеяние вменялось;
 Но злодей -- кого Тиверий
 Ненавидел или думал,
 Что опасен он быть может.
 Действие, невинна шутка,
 Одно слово, знак, иль мысли
 Все могло быть преступленьем.
 Там донс, ночное жало,
 В бритву ядом изощренно,
 Носит нагло днем во Риме.
 Сын отцу и отец сыну,
 Брату брат, супруг супруге,
 Господину раб, друг другу
 Чужды стали и опасны.
 Оком рыси соглядаю,
 Лютость рыскала по стогнам
 И с улыбкою змеиной
 То чело знаменовала,
 Что падет при восходе солнца
 Иль увянет при закате... (I, 105—106)

Правление Калигулы:

Юнош тихой и покорной
 Был, доколе высшей власти
 Не имел в своей деснице;
 Потом тигр всех гаче лютой...
 Нравы, разум и законы,
 Человечество и честность
 Подавив пятою тяжкой,
 Каий омылся в кровях Рима;
 Он мучитель до безумства,
 Сожалел о том лишь только,
 Что народ, народ весь Римской
 Не одну главу имеет,
 Да сраженна одним махом
 Ниспадет ему в утеху... (I, 108—109)

Наконец, разве нет в «Песни исторической» прямых сопоставлений Суллы с Робеспьером? Может быть, этого достаточно для предположения о близости «Песни исторической» тем откровенным или зашифрованным под «античность» обличениям, которые вышли из-под пера противников якобинской диктатуры в республиканской Франции девяностых годов?

От «Песни исторической» к оде «Вольность»

На страницах «античной» поэмы Радищева слышны ясные отзвуки событий, происходивших в якобинской Франции. И все же говорить о полном сходстве позиций Радищева и разошедшихся с Робеспьером республиканских публицистов (будь то Демулен или Ру) у нас нет оснований (как раньше не было оснований говорить о тождестве позиций Радищева и Монтескье). Чтобы выявить ход мыслей русского писателя, нам придется в конце концов сравнивать Радищева с самим Радищевым.

Вернемся от малоизвестной «Песни исторической» к знаменитой оде «Вольность» — манифесту революционной веры русского писателя восьмидесятых годов. Будем тянуть нить от одного произведения к другому с предельной осторожностью: «Вольность» писалась в годы громадного духовного подъема, «Песнь» — в годы духовного кризиса писателя. И все же между появлением Мариа и Суллы в оде и

появлением тех же персонажей в поэме есть самая непосредственная связь — такая же, какая существует между ролью Кромвеля в первом из этих произведений и Робеспьера во втором...

Первый десяток строф «Вольности» — иллюстрация знаменитого афоризма Руссо: «Человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах». Свободные от рождения люди подчиняются сначала общей власти, закону; но со временем божественный закон превращается в святой обман, свобода — в рабство. Власть и вера начинают «союзно» угнетать общество.

Два десятка следующих строф — описание грядущей революции: приход «мстителя», восстание пробужденного его словом народа. Выводы из теории «общественного договора» и «примеров» Кромвеля и Вашингтона сделаны писателем с небывалым бесстрашием:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна,
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Мечь остр, я зрю везде сверкает;
В различных видах смерть летает;
Над гордою главою паря.
Ликуйте, склепанны народы;
Се право мщное природы
На плаху возвело царя (I, 358)¹.

На четвертом десятке строф читатель оды наталкивается на трудности. Расписав царство утвердившейся «вольности», Радищев внезапно рисует нам его гибель:

Но страсти изощряя злобу.....
Превращают спокойствие граждан в пагубу.....
Отца на сына воздвигают.
Союзы брачны раздирают,
И все следствия безмерного желанья властвовать..... (I, 361)

Далее автор возвращается от недавних времен к античности, от Кромвеля — к Марию и Сулле:

«Описание пагубных следствий роскоши. Междоусобий. Гражданская брань. Марий, Сулла, Август.....» (I, 361).

Присутствие римских героев в «Песни исторической» — поэме на античные сюжеты — вопросов не вызывало. Однако что делают те же персонажи в «Вольности» — оде, посвященной английской, американской революциям или грядущей революции в России?

Разгадка проста. На «античной» модели мыслитель еще в восьмидесятые годы ставил новую для просветительской идеологии проблему возможности вырождения революционного народовластья в режим единоличной военной диктатуры. Тема была навеяна событиями английской революции XVII века, когда победа парламентской армии над роялистскими войсками, последовавшие падение монархии, казнь короля и провозглашение республики (1648—1649) завершились узурпацией власти полководцем революции Кромвелем:

Великий муж, коварства полный,
Ханьжа, и льстец, и святотаты!
Един ты, в свет столь благотворный
Пример великий, мог подать.
Я чту Кромвель в тебе злодея,
Что власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил.
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы,
Ты Карла, на суде, казнил (I, 360)

¹ Здесь и далее мы цитируем оду по сжатому, конспективному варианту, включенному в «Путешествие».

Читателю XX века, знающему не только ближайшие последствия первой из великих буржуазных революций, нетрудно увидеть ограниченность подобного истолкования. Сложнейший переплет социальных антагонизмов, борьба различных политических сил сведены к противопоставлению «свободы» и «деспотизма», к единоборству народа и его вождя с королем, затем «двуличного» вождя — с освобожденным народом. Радищеву совершенно чужда истина, которую из сравнения тех же самых процессов выведет К. Маркс: «...События поразительно аналогичные, но происходящие в различной исторической обстановке, привели к совершенно разным результатам»¹. Но как раз такое сведение многосложных событий к абстрактной схеме позволяло мыслителю свободно перекидывать мостик от новой Англии к древнему Риму, выводить из однотипных, как ему казалось, примеров некую общую закономерность: «Таков есть закон природы; из мучительства рождается вольность, из вольности рабство.....» (I, 361).

В дальнейшем мы вернемся к смыслу этого «закона». Сейчас важно другое. Зная концепцию оды, легко подобрать ключ к поэме.

Если отвлечься от легендарных мотивов ее запева, то первая часть — тысяча с лишним строк — тематически вполне «укладывается» в четыре античные строфы оды. Описания подвигов вереницы «мужей дивных» (сначала в Элладе, затем в Риме) иллюстрируют простую мысль: величие античности неотделимо от свободы, гражданские добродетели расцветали там, где закон утверждался «на подножии незыбком простоты и бескорыстия» (I, 84). Но здесь и там богатство и власть породили «страсти бурные», страсти одолели добродетель.

Далее демонстрируется все та же закономерность обращения «свободы» в «наглость», увеличивается только число примеров; среди душителей «свободы» фигурируют теперь не только Марий, Сулла, Август, но и Филипп Македонский, Помпей, Цезарь, Октавиан (I, 85, 99, 101, 105 и т. д.).

Однако назвать «Песнь историческую» развернутой иллюстрацией к трем-четырем «античным» строфам «Вольности» мешают последние пятьсот строк поэмы. Оду писал в восьмидесятые годы убежденный революционер, перед восторженным взором которого стояли недавние победы свободолюбивой рати Вашингтона. Рассказ о событиях в древнем Риме или в новой Англии звучал — в общем контексте — предупреждением об опасностях революционного пути, на этом рассказе не было и тени пессимизма. Напротив, глубочайший пессимизм окрашивает всю «Песнь историческую», автор ее, как показывают заключительные строки выделенного нами сравнения Сулла — Робеспьер, не только осуждает все и всякие гражданские междоусобия, но и предпочитает им «мир неволи»:

Ах, во дни сии ужасны,
Где отец сыновней крови,
Где сыны отцовой жаждут,
Господу где раб предатель,
Средь разврата нагла нравов
Может разве самодержец,
Властию венчан всеильной,
Дать устройство, мир — неволи —
Пусть неволи, но отдохнет
Человечество от тяжких
Ран (I, 97—98).

Как же мыслится этот «отдых»? Ведь за картинами кровавых гражданских междоусобий следуют и в поэме картины не менее кровавых царствований цезарей, низводящих Рим до последней ступени падения человеческого рода.

Первый луч света в зловещем царстве тиранов пробивается ближе к финалу поэмы, когда на троне, «омыгом кровью» соперников-полководцев, появляется первый «добродетельный» царь Веспасиан (I, 114). За ним следуют «отцы народов» — Тит, Нерва, Траян, Антонин, наконец «отец отцов» Марк Аврелий (I, 115, 116, 117, 119, 120).

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 121.

Отказ от ряда идей «Вольности» (или «Путешествия») налицо. Раньше Радищев был за революцию, теперь он против гражданских междоусобиц; раньше он доказывал невозможность появления добрых царей, теперь он упорно ищет их в античной истории:

О, властители вселенной,
О Цари. Цари правдивы!
Власть, вам данная от Неба,
Есть отрада миллионов,
Коль вы правите народом,
Как отцы своим семейством (I, 111).

«Скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей, если не в Царской?» — спрашивал Радищев в «Путешествии» (I, 348). Напротив, в «Песни» сама «премудрость» восседает на престоле в образах Антонина или Марка Аврелия (I, 120).

Правда, по крайней мере два обстоятельства мешают Радищеву возложить все надежды на «мудрых» царей. Прежде всего «упадение» грозит, согласно его пониманию, всякой абсолютной власти вообще:

Ах, сколь трудно, восседая
Выше всех, и не имея
Никаких препон в желаньях,
Усидеть на пышном троне
Без похмелья и без чаду (I, 117).

Наконец, если волей случая на престоле и утвердится вполне добродетельный монарх, то нет никаких гарантий, что столь же добродетельным будет преемник. Тот же «премудрой» Марк Аврелий «смертной был». С его кончиной исчезло не только счастье Рима, но и все «благие помышленья о блаженстве рода смертных». Последующие цари и владыки, блиставшие затем «на ристалище вселенной»,

Перед ним суть разве слабой
Блеск светильника, горяща
В полдень ясной, в свете солнца... (I, 120)

Все это говорит о шаткости, непрочности «монархизма» Радищева. Но тем не менее воля «доброе царя» оказывается для него в эти годы последним шансом облегчить участь народа.

Еще одно свидетельство тому — ода «Осмнадцатое столетие».

Трагедия «осмнадцатого столетия»

Вот сюжет предсмертного произведения Радищева.

В бездонное и безбрежное море вечности течет река времени. Века бесследно утекли в это море. Но восемнадцатый век, столетие «безумно и мудро», будет незабвенным — здесь, почти у самой пристани, попал в страшный водоворот корабль, несущий человеку надежду:

Счастье и добродетель, и вольность пожрал омут ярой,
Зри, всплывают еще страшны обломки в струе.

Звучит трагический мотив: кровь, кровь, кровь — вот что оставило людям в память «проклятое» столетие:

Будешь проклято во век, в век удивлением всех.
Крови — в твоей колыбели, припевание — громы сражений;
Ах, омоченно в крови ты ниспадаешь во гроб...

Но хотя корабль разбит, надежда осталась — в океане крови есть кусок твердой земли. Это Россия, престол российских царей:

Но зри, две вознеслися скалы во среде струй кровавых:
Екатерина и Петр, вечности чада! и Росс.

Позади этих скал мрак, впереди — солнце; лучезарный блеск светила, отражаясь от поверхности скал, растопит «льды заблужденья».

Мрачная мелодия сменяется радостным гимном. Поэт вспоминает: «осмнадцатое столетие» оставило не только страшные следы разрушения, но и завещание будущему — свои неосуществленные идеалы:

Смертной что зиждет, все то рушится, будет все прах
Но ты творец было мысли; они ж суть творения бога;
И не погибнут они, хотя бы гнила земля...

Перед читателем разворачивается величественная картина прогресса человеческого разума. В «незабвенном» столетии человек смелой рукой поднял завесу творенья, разглядел тайны природы в самом «дальном таянлице дел». «Осмнадцатое столетие» заключило в машину летучий пар, приземлило молнию, вознесло смертных на небо, оно сокрушило призраки, разорвало тягившие дух оковы, открыло путь к «истинам новым»:

Мощно, вэлико ты было, столетье! дух веков прежних
Пал гред твоим олтарем ниц и безмолвен, дивясь...

Внезапно ликующие звуки гимна разуму обрываются — поэт вспоминает безумства века, роковой исход его борьбы. Слышится знакомый трагический мотив:

Кровью на жертвеннике еще хищности смертны багрятыя,
И человек претворен в люта тигра еще.

Мирные долины превращены в поля брани, зловещие спутники войны — зверство, буйства, голод — угрожают человеку:

Иль невозвратен навек мир, дающий блаженство народам
Или погрязнет еще, ах, человечество глубже? —

Но нет, надежда не должна покидать смертного. Бог — творец мысли — жив, человек увидит восход солнца...

Снова — торжественным финалом — звучит хвала «светозарному» престолу, твердой скале, отражающей свет грядущего дня:

Выше и выше лети ко солнцу, орел ты Российской,
Свет ты на землю снеси, молнии смертельны оставь.
Мир, суды правды, истина, вольность лиются от трона... (I, 127—128)

«Осмнадцатое столетие» завершает тот поворот, который явно намечился в «Песни исторической». Крах надежд на Французскую революцию, осуждение кровавой действительности якобинского террора и наполеоновских войн — вот что определило содержание существенных «добавок» к прежней концепции Радищева в виде пронизывающего последние произведения трагического мотива насилия и крови, осуждения любых форм диктаторской власти и любого рода войн и междоусобий, косвенных, но совершенно недвусмысленных обличений Робеспьера, в деятельности которого Радищев уже не замечает того сочетания «злодейства» и «величия», которое он видел в Кромвеле. Но «Осмнадцатое столетие» заставляет нас обратить внимание и на события, случившиеся в начале XIX века в России.

Финал трагедии писателя

Петербургское общество с ликованием встретило дворцовый переворот 11 марта 1801 года. Столице были известны реформаторские замыслы нового самодержца. Воспитанник республиканца Лагарпа, симпатизировавший придворным «радикалам», Александр неоднократно говорил и писал своим друзьям о необходимости конституции для России. К быстрому претворению замыслов в дела, казалось, вели и первые шаги царя:

весенние амнистии, приезд в Петербург Лагарпа, вызов из-за границы «опальных» друзей царя, учреждение новых органов, призванных реформировать государственный строй России (Негласный комитет), наконец оживление Комиссии составления законов, проявлявшей почти полное бездействие в предшествующее пятилетие.

В центре этой деятельности оказался и А. Н. Радищев, амнистированный по царскому указу и назначенный в Комиссию 6 августа 1801 года. В том же месяце он отбыл вместе с ее председателем П. В. Завадовским в Москву на коронацию Александра I. В Петербург Радищев вернулся 31 декабря 1801 года, а в июле 1802 года у писателя наступила тяжелая душевная депрессия. По всей видимости, за последние полгода Радищевым написан или начат ряд документов, среди них записка «О законоположении», «Проект для разделения Уложения Российского», «Проект Гражданского уложения».

Сам факт работы Радищева над законодательными проектами еще не говорит о каких-либо реформистских или монархических иллюзиях — революционер не может зарекаться в определенных условиях использовать легальные пути; и в восьмидесяти годы, будучи убежденным революционером, Радищев работал над законодательным проектом. Однако в написанном в восьмидесятые годы «Опыте о законодательстве» ясно чувствовалась антимонархическая тенденция: упорядоченность законов, «блаженство» той же Англии автор приписывал, например, «духу вольности», возникшему от невыносимого «стеснения» ее граждан (III, 8). Напротив, в позднейшей записке «О законоположении» издание «разумного законодательства» представляется результатом благотворного действия «разума любомудрия» как на народы, так и на «самых правителей народов» (III, 146). Более того, реформаторская инициатива «верхов» здесь явно предпочтена революционной инициативе «низов». От действий «законодателя мудрого», пишет Радищев, «родится общая беззаспасность, престол правителей народных будет непоколебим, и блаженство народное не будет задачею, отдаваемою на решение одних только любителей человечества» (т. е. революционеров.— Е. П.) (III, 146—147).

В последних радищевских документах есть немало других созвучий официальным мыслям и настроениям первых месяцев александровской эпохи. Но не одних только созвучий... Рескрипт Александра I предлагал Комиссии опираться на уже собранный ранее разнородный материал, дав ему «образ и единство». Используя мысль царя о несовершенстве прошлых законодательных актов русских самодержцев, Радищев, напротив, предлагает не уважать больше «древних вредных предразсуждений» (III, 146); он доказывает, что «великую перемену» в законодательстве можно произвести, опираясь на пример соседних стран, а еще лучше, создав целиком нечто совершенно новое, по примеру уже знакомых нам идеальных законодателей античности, особенно Ликурга (I, 162).

Осмелится ли П. В. Завадовский последовать совету Радищева, а тем самым в какой-то мере нарушить предписание Александра? По всей видимости, такое намерение было. Во всяком случае, отвечая на запрос царя по поводу медлительности Комиссии (апрель, 1802 год), он ссылается на невозможность объединить воедино десятки тысяч прежних разноречивых указов. «Можно ли почерпнуть системы для законоположений из старых наших законов, деланных для иных нравов, для иного времени?» — повторяет он радищевскую мысль. Далее в ответе Завадовского появляется упоминание об использовании примера соседних стран — о переводе «лучших кодексов общеевропейских». Добавим для полноты картины, что над выписанным из Пруссии новейшим кодексом работал как раз А. Н. Радищев — его «Проект Гражданского уложения» является подправленным переводом Прусского земского уложения 1794 года...

К расхождению Радищева с царем насчет метода выработки новых законоположений добавлялись еще более существенные расхождения по поводу самой их сути. Встав на путь насаждения вольности «сверху», писатель не перестает быть убежденным защитником народа. По-прежнему главное для него — «польза миллионов»; из концепции «Наказа» Екатерины II он выводит идею народного самоуправления, требуя, чтобы народу царь дал возможность «управляться самому собою, оставя себе одно верховное всего надзирание» (III, 148)! Он продолжает защищать свободу

«1) мысли, 2) слова, 3) деяния, 4) в защите самого себя, когда того закон сделать не в силах, 5) в праве собственности и 6) быть судимы себе равными» (III, 166).

Радищев остается, как и прежде, смертельным врагом бюрократического принципа администрации, созданной еще Петром I, при котором все низшие чиновники зависят от одного высшего «в разсуждении одобрения и получения чинов; отчего происходит, что все, угождая одному, в разум стесненный, в сжатую голову вселяют великое о себе мнение... Если бы все члены были равны и один председательствовал по очереди, то мнения были бы гораздо свободнее» (III, 153—154).

Предлагая для выявления полной картины «почти повсеместных» злоупотреблений идти не только официальным путем, а обратиться к независимому общественному мнению, Радищев явно намекает на работы вроде своего «Путешествия»: «Еще бы больше можно узнать, если бы сыскался или житель столицы, или житель в губернии, или путешественник, довольно имеющий твердости духа, любящий отечество и правду, а сверх того находясь в независимости в своей особенности, не имел нужды бояться прослыть клеветником злоречивым и бояться мщения сильных, сделал бы картину преступающих в злоупотреблении власти» (III, 153).

Свободолюбивый идеал Радищева не изменился, другим стало лишь представление о путях и средствах его осуществления. Но как раз эта «небольшая» перемена вела мыслителя в безысходный тупик. Надежд на проведение несбывшихся идеалов «века разума» Александром I не было, в сущности, никаких.

Неизбежный конфликт Радищева с властью имущими назрел к середине 1802 года. Тот самый П. В. Завадовский, который в 1790 году был одним из членов Государственного (Непременного) совета, одобивших смертный приговор автору «зловредной книги», и который — волею судеб — стал затем начальником Радищева, «заметил ему однажды, что этот слишком восторженный образ мыслей уже раз навлек ему несчастье, и дал ему почувствовать, что он в другой раз может подвергнуться подобной беде, и даже произнес слово «Сибирь»¹.

Роковой круг замкнулся. Негласный комитет Александра I, прозванный современниками в шутку *Comité du Salut Public*, оказался еще менее способным творить царство «вольности», чем *Comité du Salut Public* Робеспьера. Подняться до уровня иных теоретических представлений, указывающих выход из тупика, Радищев не смог.

Оставался один исход — уйти из жизни так, как уходили когда-то древние римские герои, как пытались уйти во Франции конца XVIII века Жак Ру и Гракх Бабеф. Еще в «Путешествии» Радищев вспоминал слова умирающего Катона: «Если добродетели твоей убежища на Земле не останется, если доведенна до крайности, не будет тебе покрова от угнетения... — Умри» (I, 295). Теперь пришло время выполнить этот завет. 11 сентября 1802 года писатель кончает жизнь самоубийством.

2. ОШИБКИ ИЛИ НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ?

«Сила вещей» против силы идей

Итак, все данные подводят нас к выводу о глубоком кризисе революционных воззрений Радищева в конце «оснадцатого столетия». Эта точка зрения не нова. Еще А. С. Пушкин писал: «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время У ж а с а? Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедаемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра»².

То, что поэт выразил с присущей ему страстью, мы передаем обычно в виде сухих обобщений: Радищев «не понял исторически прогрессивного характера якобинской

¹ Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.—Л. 1959, стр. 95.

² А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 12. М. 1949, стр. 34.

диктатуры», занял по отношению к ней «ошибочную позицию». Однако то обстоятельство, что подобные готовые приговоры приходится выносить десяткам радикальных мыслителей прошлого — Пейну, Ру, Леклерку, Кондорсе и т. д., заставляет читателя не просто осведомленного, но и размышляющего усомниться: объясняет ли простенькая формула «не понял», «ошибался» смысл такого события, каким был на закате XVIII века общеевропейский кризис буржуазного радикализма.

Кризис захватил не только наблюдателей революции со стороны (вроде Радищева), не только ее участников, отшатнувшихся от якобинской диктатуры (вроде Ру или Демулена), но и самих вождей революционного правительства. В то время как республика одерживает блистательные успехи в борьбе с внешней и внутренней контрреволюцией, Робеспьер и Сен-Жюст все более проникаются сознанием невыносимости того «огромного и почти сверхчеловеческого бремени», которое история взвалила на их плечи. «Вам сказали, что все хорошо в республике; я это отрицаю, — восклицает Робеспьер на последнем для него заседании Конвента. — ...Где эти мудрые установления, где план возрождения, оправдывающий эти честолюбивые речи?.. Что было сделано, чтобы обернуть наши военные успехи в пользу наших принципов?.. Во всех отраслях государственного хозяйства — контрреволюция... Великая революция рождает множество клик... Какое значение имеет отступление вооруженных сателлитов королей перед нашими армиями, если мы отступаем перед пороками, разрушающими общественную свободу!.. Перед нами раскрывалось бессмертие; а мы погибнем с позором» (III, 222, 223, 225, 226, 227) ¹.

Это потрясение было связано с крахом идеалов творцов революции, вызвано несовпадением их замыслов с той действительностью, которая предстала их потрясенному взору три-четыре года спустя после начала победоносного штурма бастильской и иных твердынь. «Терроризм», завершавший начатую во имя гуманизма революцию, был, вне всякого сомнения, самым резким, до боли разительным обнаружением этого несоответствия. И — символический в истории факт — главой террористического правительства, воплощением «кровожадности» и «диктаторства» становится именно Робеспьер, бывший с первых дней революции ярким врагом кровопролития и «диктаторской» власти. Трудно поверить, что одному и тому же человеку принадлежат следующие суждения:

Робеспьер о смертной казни

М а й 1791

А в г у с т 1793 — ф е в р а л ь 1794

«Закон о смертной казни является пагубным... он нелеп... он несправедлив в самом своем существе... Законодатель, предпочитающий смертную казнь более умеренным наказаниям... ослабляет энергию правительства, стремясь расширить его власть применением слишком большой силы... Остерегайтесь смещения эффективности наказаний с эксцессами строгости: они абсолютно противоречат друг другу» (I, 151, 152, 153).

«С вершины Горы я бы дал народу сигнал и сказал бы ему: Вот твои враги, бей их!.. Недопустимо, чтобы Трибунал, учрежденный для движения революции вперед, своей преступной медлительностью заставлял ее двигаться назад... Этому Трибуналу подсудно преступление одного лишь рода — государственная измена... за нее есть одно наказание — смерть... Террор — это нечто иное, как быстрая, строгая, непреклонная справедливость» (III, 44, 45, 112).

Робеспьер о прерогативах исполнительной власти в эпоху кризиса

Д е к а б р ь 1791

Д е к а б р ь 1793 — ф е в р а л ь 1794

«Во время войны исполнительная власть развивает самую страшную энергию и осуществляет своего рода диктатуру, которая не может не утратить рождающуюся свободу» (I, 169—170).

«Революционному правительству нужно употреблять чрезвычайную активность именно потому, что оно ведет войну... Революционное правление — это деспотизм свободы против тирании» (III, 91, 113).

¹ М Робеспьера (там, где не оговорено особо) цитируем по избранным произведениям в трех томах, тт. I—III. М. 1965.

Робеспьер о роли конституции

Май 1792

«Среди бурь, вызванных наличием множества клик, которым дали время и средства укрепиться, среди внутренних раздоров, вероломно комбинируемых с внешней войной... добрым гражданам нужна какая-то точка опоры, какой-то сигнал сбора; в этом смысле нет ничего лучше конституции» (I, 245).

Декабрь 1793

«Конституционный корабль был построен вовсе не для того, чтобы остаться постоянно в верфи; но следует ли бросать его в море во время бури и навстречу противному ветру... Французский народ повелел вам ждать, когда море успокоится; он выразил единодушное желание, чтобы вы, несмотря на вопли аристократии и сторонников федерализма, сначала освободили бы его от врагов» (III, 92).

Робеспьер о контроле над властью

Апрель — май 1792

«Свобода разоблачений является, во все времена, гарантией для народа, это священное право каждого гражданина... Какими же деспотами были бы те, кто, будучи хранителями великих интересов нации... притянули бы еще на привилегию, изымающую из их сферы компетенции суда общественного мнения» (I, 231, 269).

Февраль 1794

«Если существуют представительные органы, первичная власть, установленная народом, она должна непрерывно следить за всеми общественными служащими и обуздывать их. Но кто обуздает ее, если не ее собственная добродетель?» (III, 111—112).

Робеспьер о народных обществах (секций Парижа)

Февраль 1792

«Во время кризиса, когда каждый день кажется чреватым преступлениями и заговорами завтрашнего дня, только постоянная бдительность секций может спасти общественное дело... Национальное собрание должно поспешить разрешить им, даже пригласить их, собираться без ограничений, так же, как это было в прекрасные дни революции; это является условием обеспечения государственной безопасности...» (I, 208).

Декабрь 1793

«Мнимые народные общества, бесконечно расплодившиеся после 31 мая, — это уклончивые общества, не заслуживающие этого святого имени... Это общество (секция Инвалидов. — Е. П.) должно отныне исчезнуть; дело Национального правительства уничтожить его, и общество якобинцев должно отказать ему в поддержке... Разве это народ расколот на множество обществ, которые постарались создать агенты иностранных держав?.. Нет, там не народ, там Австрия, там Пруссия¹.

Робеспьер о свободе мнений и слова

Май 1791 — апрель 1792

«Каждый человек вправе объявлять свои мысли любым способом... Неужели вы постановите о том, что люди не смогут давать волю своим мнениям, если они не добились пропускного свидетельства от полицейского чиновника, или о том, что они будут думать лишь с одобрения цензора и по разрешению правительства?»² «Не бойтесь столкновения мнений и бурь политических дискуссий, это лишь муки рождения свободы» (I, 229).

Март 1793 — июнь 1794

«Следует, чтобы этот трибунал наказывал все сочинения... (ропот в части зала) Странно, что в зале раздается ропот, когда я предлагаю пресечь издание публичных сочинений, направленных против свободы, задевающих принципы суверенитета и равенства...» «Всюду, где устанавливается демаркационная линия, всюду, где проявляется разногласие, там есть нечто, враждебное благу отечества»³.

¹ Цит. по статье А. Soboul. Robespierre und die Volksgesellschaften в сб. М. Robespierre. 1758—1794. Berlin, 1961. S. 276—277.

² М. Робеспьер. Революционная законность и правосудие, М. 1959, стр. 93, 105.

³ Там же, стр. 168, 222.

Разумеется, эти вырванные из речей отдельные высказывания не передают всей сложности воззрений как Робеспьера, находящегося в оппозиции к власти, так и Робеспьера, находящегося у власти. Но их сопоставление наглядно обозначает одно из направлений, в котором катастрофически сдвигается идеология Просвещения в ее столкновении с действительностью классовой борьбы. Этот резкий сдвиг был воспринят многими из республиканцев как измена вождя делу «свободы». Напомним, как разошедшийся с якобинским правительством Бабеф предлагал в 1794 году различать в Робеспьере «двух лиц» — «искреннего патриота и друга принципов вплоть до начала 1793 г.» и «честолюбца, тирана и самого отвязленного из негодяев, начиная с этой поры»¹.

Можно предположить, что примерно так рассуждал и Радищев, проводя параллель Сулла — Робеспьер. Писатель недаром наделил античного напарника вождя якобинцев любопытным качеством: «се мучитель с сердцем нежным» (I, 96 — ср. пушкинскую оценку Робеспьера: «сентиментальный тигр»). Недаром Радищев специально возвращается к «неразрешимой загадке» души своих героев:

Но то истина, что может
Во душе, к любленью нежной,
При вождении рассудка
Привитать и люто зверство (I, 98).

То, что осталось «истиной непостижимой» для русского мыслителя, пробилось в сознание одного из вождей якобинской Франции. «Сила вещей ведет нас, по-видимому, к результатам, которые не приходили нам в голову», — признавался Сен-Жюст². В этом гениальном прозрении — ключ к трагедии мыслителей «осмнадцатого столетия».

Действительно, громадное большинство «патриотов», вовлеченных в 1789 году в водоворот политической борьбы, не являлись ни сторонниками насилия, ни почитателями террора, их лозунгом была «всеобщая свобода», свобода, не знавшая никаких исключений, даже для свергнутых врагов. Просвещение воспитало будущих вождей революции в той мысли, что камни тюрем, созданных «деспотизмом», не могут идти на закладку «храма свободы». Из радикальных публицистов первых лет революции немногие настаивали на необходимости террора (скорее угрозы террора). К числу их принадлежал (еще один парадокс истории!) тот самый Камилл Демулен, который станет в год II столь желанной ему Республики ярким обличителем режима всеобщей подозрительности и якобинского терроризма. Оказывается, еще осенью 1789 года будущий автор знаменитого «Старого Кордельера» выпустил не менее знаменитое «Обращение фонарного столба к парижанам», где объявлял подозрительность «матерью безопасности» и призывал французов учиться бдительности все у того же древнего Рима: «Римские гуси хорошо сделали, закричав ночью. Ныне мы в сумерках, и хорошо, что верные псы брешут даже на прохожих — зато не надо бояться воров»³. В том же направлении следовал Марат, выдвинувший в начале 1790 года («Призыв к нации») лозунг революционной диктатуры и превентивного террора.

Но если «Обращение» Демулена и «Призыв» Марата не встретили в первые годы революции особого сочувствия в стане «свободы», то, напротив, вожди противоположного, роялистского стана сразу взяли курс на вооруженную расправу с революционерами, с взбунтовавшейся «чернью».

Подчеркнем, что в начале революции «низы» Франции куда реалистичнее и решительнее большинства радикальных «идеологов» реагируют на угрозу. Стихийное чутье народа, столетиями копившего ненависть к угнетателям, оказывается в большей степени на уровне задач революции, чем воспитанный в общегуманистических традициях просветительский разум. Народное, возникшее полустихийно восстание 14 июля 1789 года (как и последовавшее за ним октябрьское возмущение парижского люда) наносит реша-

¹ Pages choisies de Babeuf. Paris, 1935, pp. 164—166.

² Saint-Just. Discours et rapports. Paris. 1957, p. 145.

³ Camille Desmoulins. Biographie. Bibliographie. Pages choisies par Charles Simond, p. 22, 26.

ющий удар абсолютизму, спасает Францию от грозящего ей роялистского террора (кстати сказать, ценой очень и очень немногих жертв). Народное, чисто стихийное движение против феодалов в сельской Франции, усилив «великий страх» имущих, вырывает 4 августа 1789 года у Учредительного собрания первые принципиальные уступки в пользу крестьянства.

Этим идущим со стороны аристократов и со стороны народных масс попыткам силой решать великие политические и социальные проблемы революции буржуазные «конституционалисты» в Учредительном собрании противопоставляют «средний путь» компромисса, законодательных классовых сделок — правда, также не исключавший применения силы, но уже ради сохранения «порядка» и «закона». Последнее убедительно доказали хотя бы расстрел солдат-мятежников в Нанси (август 1790 года) или разгон роялистских сборищ в Жалесе (февраль 1791 года).

К осени 1791 года «либеральный» цикл революции был близок к завершению. Стоящие у власти буржуазные круги, несмотря на все признаки измены короля, идут на сделку с недобитой монархией; расстреляв 17 июля 1791 года республиканских петиционеров на Марсовом поле, они проявляют полную готовность взять на себя функции абсолютистского государства по обузданию «анархии» масс. И если «застывания» революции не произошло, если через какой-нибудь год-полтора конституционно-монархическая Франция стала республикой, а король оказался на плахе, то главной причиной тому была незавершенность начатого революцией преобразовательного процесса, нерешенность ее главных, прежде всего социальных проблем. На одном полюсе — растущее возмущение «низов», которым новоявленные «отцы отечества» обещали, но так и не дали «свободу» (три из семи миллионов «свободных и равных в своих правах» граждан отстранены от участия в политической жизни; феодальный порядок, «окончательно упраздненный» в августе 1789 года, продолжает существовать в той части сеньориальных повинностей, которые крестьянам предстоит выкупать в дальнейшем; начавшийся финансовый кризис бьет по неимущим). На другом полюсе — растущее сопротивление феодальной аристократии, у которой отняли верховную политическую власть и многие сословные привилегии, но не отняли надежду вернуть их силой обратно (в руках аристократов остаются основные командные должности в армии, важные рычаги исполнительной власти, неприсягнувшие священники продолжают вести за собой отсталые массы крестьян). В центре в качестве «стабилизирующей силы» — стремление имущих буржуазных слоев удержать уже добытое (и, добавим, немалое добытое — политическую власть, пущенные в распродажу церковные земли, свободу от государственного вмешательства в дела промышленности, земледелия и торговли и т. п.). Такова вкратце была картина Франции в конце «фатального» 1791 года.

Что касается инициативы в развязывании гражданской войны, то она шла, безусловно, справа. Королевская партия делала в 1791—1792 годах все — начиная от организации интервенции, мятежей, министерских интриг и кончая лицемерной поддержкой внешнеполитических жирондистских авантюр, — чтобы поставить насилие в повестку дня, и она дождалась ответного революционного насилия.

Война, объявленная «свободной» Францией «тиранам» Европы ускорила развитие внутривнутриполитической борьбы, придав ей, особенно после свержения монархии (10 августа 1792 г.), предельно жестокие формы. Первым проявлением стихийного народного терроризма была знаменитая сентябрьская «чистка тюрем» в Париже (1792), стоившая жизни тысяче с лишком заключенных — не только неприсягнувшим священникам и некоторым крупным аристократам, но и массе уголовников, воров, фальшивомонетчиков. Даже самые «крайние» революционеры не принимают крайностей подобных избиений, во время которых, как писал Марат, «топор поражает без различия всех виновных, смешивая мелких преступников с крупными злодеями» (III, 159)¹. Но подлинные революционеры той эпохи не отрицали спасительности меры, на которую толкнуло народ — в условиях угрозы Парижу со стороны интервентов и нерешительности правительства — чувство самосохранения. «Этот акт правосудия оказался неизбежным, чтобы сдержать путем террора легионы предателей, скрывающихся в стенах Парижа, в тот момент,

¹ Ж. П. Марата цитируем по избранным произведениям, тт. I—III, М. 1956.

когда народ уходил на врага,—гласил циркуляр, подписанный Дантоном.— Мы не сомневаемся, что вся нация после стольких измен, приведших ее на край гибели, поспешит применить это необходимое средство общественного спасения»¹. Марат видел вещи глубже и смотрел гораздо дальше Дантона, ибо готовился к смертельной борьбе не только с внешним врагом революции, но и с врагами, «заседающими в сенате»: «Если когда-нибудь они пойдут по правильному пути, то только поддерживаемые страхом народной расправы, только поддерживаемые террором» (III, 203).

Национальный кризис весны — лета 1793 года заставляет взявших бразды правления монтаньяров сделать то, что побоялись сделать за год до этого жирондисты: решительно опереться на немущие массы, плебейские социальные «низы». А это означало одновременно — взять на себя заботу об их существовании, немислимую без ущемления имущих слоев.

На этот шаг обновленный Комитет общественного спасения идет не без колебаний. Все лето он делает попытки путем разного рода полумер и декларативных декретов избежать тех крайностей, на которые его толкают «бешеные» и их вожди. К концу лета, в условиях безвыходной ситуации, правительство Робеспьера уступает напору парижских масс. 23 августа декретируется создание всеобщего ополчения, 5 сентября — арест подозрительных и чистка революционных комитетов, призванных осуществлять эту меру, 29 сентября — всеобщий максимум.

Во второй половине 1793 года тысячи комитетов и клубов в центре и на местах в контакте с комиссарами Конвента или самочинно, опираясь на силу революционных армий или ополчения, практикуют самые разнообразные принудительные меры, обеспечивая массовую мобилизацию, реквизиции, надзор за соблюдением продовольственных декретов, контроль над прессой и театрами, наблюдение за благонадежностью всех граждан, наконец аресты врагов республики и превентивные аресты «подозрительных» лиц.

На жирондистские и роялистские мятежи, истребление лионских якобинцев, на зверства белых банд в Вандее республика отвечает беспощадным терроризмом, уничтожившим за год с небольшим десятки тысяч людей². Как подчеркивает А. Собоуль, террор в департаментах зависел не только от размаха мятежей, но и от «темперамента комиссаров Конвента». Если за год до этого вожди революции стоят в стороне от «эксцессов» террора, то теперь они зачастую являются их инициаторами. «В Нанте комиссар Конвента Каррье приказывает в декабре и январе потопить в Луаре без суда и следствия от 2 до 3 тысяч человек — неприягнувших священников, подозрительных, бандитов и уголовников. В Бордо репрессии возглавляет Тальен. В Прованс — Баррас и Флерон, которые организуют массовые казни в Тулоне. В Лионе террор измерялся степенью опасности, которой восстание в городе подвергло Республику... 12 октября, по докладу Барера, Конвент решает разрушить город... Если Кутон удовлетворился разрушением нескольких зданий на площади Белькур, то прибывшие туда 7 ноября Колю д'Эрбуа и Фуше организуют массовые репрессии. Комиссия народной юстиции заменяется — ввиду ее чрезмерной снисходительности — революционной комиссией, которая выносит 1667 смертных приговоров; слишком медлительная гильотина дополняется расстрелами из ружей и пушек»³. Все это, впрочем, не удивительно.

К 1793 году происходит резкий сдвиг во взглядах на насилие вообще, на террор

¹ Цит. по книге: А. М а т ь е з. Французская революция, т. II, Жиронда и Гора. М. 1929, стр. 39.

² По подсчетам историка Д. Грира, по приговорам революционных трибуналов 1793—1794 годов было отправлено на гильотину около 17 тысяч человек. К этому надо добавить по крайней мере столько же казненных без суда или погибших в тюрьмах. Точное число «подозрительных» не известно историкам. Д. Грир считает, что между мартом 1793 года и августом 1794 года было арестовано около 500 тысяч (D. S t e e g. The Incidence of the Terror. A Statistical Interpretation, 1935); А. М а т ь е з называет цифру 300 тысяч (А. М а т ь е з. Французская революция, т. III, Террор, М. 1930); Л. Жакоб, опираясь на свидетельства современников революции, снижает цифру до 70 тысяч. «Подозрительных», заключаемых в специальные дома с чисто превентивной целью, не надо путать с политическими преступниками (L. J a c o b. Les Suspects pendant la Révolution 1789—1794. Paris, 1952).

³ A. S o b o u l. Précis d'Histoire de la Révolution française. Paris, 1962, p. 283.

в частности, и в сознании радикальных вождей революции. Дело не только в том, что «крайние» воззрения Демулена или Марата стали господствующими среди якобинцев. Растущая угроза контрреволюции все шире раздвигает не только в жизни, но и в умах революционеров границы применения террористических мер. Хронологически разделенные высказывания Марата хорошо иллюстрируют эту зависимость.

Начало 1790 года: («Призыв к нации»): «Несколько своевременно отрубленных голов надолго сдержит врагов общества и на целые столетия избавит великую нацию от бедствий нищеты и ужасов гражданских войн» (II, 132).

Июль 1790 года: «Пятьсот — шестьсот отрубленных голов обеспечили бы вам покой, свободу и счастье» (II, 185).

Декабрь 1790 года: «Потребуется отрубить пять-шесть тысяч голов; но, если бы даже пришлось отрубить двадцать тысяч, нельзя колебаться ни одной минуты» (II, 235).

Сентябрь 1792 — март 1793 гг.: «Ваши несчастья не кончатся, пока народ не истребит до одного всех приспешников деспотизма, всех представителей прежних привилегированных сословий... Это доказал пример голландцев, швейцарцев, англичан и американцев. В гражданских войнах, которые они вели с приспешниками деспотизма, не жалели крови — было убито больше миллиона двухсот тысяч человек» (III, 129, 262).

Марат был убит в середине 1793 года. А месяца три-четыре спустя Сен-Жюст бросит знаменитый клич: «Свобода должна победить какой угодно ценой»; он потребует смерти уже не только для всех приспешников старого порядка, но и для всех равнодушных: «Вы должны карать не только предателей, но и равнодушных, вы должны наказывать любого, кто пассивен в Республике и ничего не делает для нее»¹.

Мы видим гигантскую амплитуду колебаний мелкобуржуазных идеологов в подходе к насилию. Мы видим и еще одну характерную черту мелкобуржуазного революционализма: веру во всеспасительность террористических мер. «Несколько» (соответственно: пятьсот — шестьсот — пять-шесть тысяч — миллион-другой) отрубленных голов — и «покой», «свобода», «счастье» обеспечены, нация «на целые столетия» (!) избавлена от бедствий, нищеты и ужасов гражданской войны. Разумеется, сознанию творцов террористического режима, скажем, Робеспьеру, была присуща идея временности принципа, «применяемого отечеством в крайней нужде»

Сен-Жюст шел к мысли о том, что террор вообще не может сделать нацию добродетельной: «Террор — обоюдоострое оружие, которым одни пользовались для отщепления народа, другие — служа тираннии; террор наполнил арестные дома, но не наказал виновных; террор пронесся, как буря. Ждите прочной строгости нравов в характере народа только от силы учреждений»². Однако все эти оговорки не меняют дела: террор оставался для якобинцев едва ли не главным средством решения всех возникающих перед ними проблем, причем поставленных не только сопротивлением контрреволюции.

Создав централизованный механизм революционного террора, якобинское правительство с самого начала использует его для решения противоречий внутри революционного лагеря, против соперничавших республиканских групп. Эта тенденция достаточно отчетливо выявилась еще в сентябре 1793 года, когда возмущение «бешеных», казалось, вот-вот опрокинет революционный Конвент. Реакция правительства, возглавленного к этому времени Робеспьером, была продиктована необходимостью удержать в своих руках власть, направив вместе с тем революционную энергию народа против мятежников (жирондистов, вандейцев) и внешнего врага. Правительство брало на себя выполнение той программы, которая выдвигалась идеологами плебейских масс, — оно пошло на введение твердых цен на предметы первой необходимости (законы о максимуме), приступило к массовой мобилизации, поставило террор в повестку дня и, приняв эти меры, немедленно перешло к арестам и ликвидации плебейских вождей (Ру, Леклерка, Варле), к преследованию тех массовых организаций, которые оказывали им поддержку. Важнейшим средством осуществления и оправдания этой расправы оказалось то самое террористическое законодательство, которого с таким упорством добивались «бешеные». Весной 1794 года тот же прием Робеспьер и Сен-Жюст повторно при-

¹ Saint-Just. Discours et rapports, pp. 117—118.

² Ibid., p. 147.

менят к наследникам «бешеных» — эбертистам. Они снова возьмут в свои руки выполнение их требований (конфискация имущества врагов революции и распределение его между неимущими) и снова отправят на эшафот ревнителей этих и тому подобных мер (Эбера, Шометта, Венсана).

Но поскольку якобинское правительство — частично по своей воле, частично против нее¹ — принимало на себя осуществление плебейской, по сути дела антибуржуазной программы, постольку в оппозицию к нему становились те имущие слои, интересы которых затрагивала система принудительных мер. Одобря расправу с главарями санкюлотов, заключая ради этой цели с робеспьеристами временные союзы, идеологи «новой буржуазии» — Дантон, Филиппо, Демулен — в свою очередь начинают против Робеспьера и Сен-Жюста смертельную борьбу. Отправка на гильотину «снисходительных» стала для правительства Робеспьера такой же неизбежностью, какой была ранее отправка туда их антиподов — «бешеных» или эбертистов. Робеспьеру казалось, подчеркивает А. З. Манфред, что «речь идет об одном или даже двух-трех десятках отщепенцев и интриганов, изменивших принципам политической морали, а на деле оказалось, что против революции движутся бескрайние ряды вражеских сил, что они нападают со всех сторон, неодолимо, как катящаяся лавина. Крепкая, алчная, жадная буржуазия росла, поднималась из всех щелей и пор расчищенной якобинским плугом почвы Франции, и не было тогда силы, которая могла бы ее остановить»².

Для понимания исхода якобинского терроризма важен и учет сдвигов, которые происходят с осени 1793 года в организации системы репрессивных мер. Если до этого террор был наполовину стихийным, наполовину организованным из центра; если разнообразные революционные органы в период острого национального кризиса зачастую брали на себя инициативу действий, не дожидаясь Парижа, обгоняя центр; если эти репрессивные органы сначала избирались и так или иначе контролировались снизу (по крайней мере со стороны активного революционного меньшинства), то теперь дело решительно меняется. Карательные органы становятся правительственными органами, их сотрудники — платными чиновниками, подчиненными только и исключительно центру. Централизация аппарата, проводимая Комитетом общественного спасения и Комитетом общественной безопасности, идет параллельно с сужением демократии — и в центре, и на местах. «Сломив партии, одну за другой, — пишет Матьез, — Комитеты освободились на несколько месяцев от стеснявшей их оппозиции. Столь беспокойный прежде Конвент соглашался теперь на все, что ему предлагали... Начинаясь настоящая диктатура правительства. Парижские власти были очищены и составлены из верных людей (Пайан, Муен, Любен заменили Шометта, Гебера (Эбера.— Е. П.) и Реаля, позднее Леско-Флерно заместил Паша). Новые власти были послушны, но, имея в своем составе одних лишь чиновников, уже не являлись больше представительными органами населения. Народные общества секций, умножившиеся за лето 1793 года и заподозренные в том, что заключали в себе большое число аристократов, исчезали в флореале под давлением якобинцев, которые отказались присоединить их к своему клубу. Помимо секционных трибун, открытых два раза в декаду, существовала только одна свободная трибуна, трибуна якобинцев. Но эта трибуна, находившаяся под строгим надзором, была занята большую часть времени чиновниками из революционного трибунала и различных управлений. Новая террористическая бюрократия завладела всеми местами. Злоупотребления властью приняли такие размеры, что Дюбуа-Кранс предложил исключить бюрократию из клубов... Комитеты, в особенности Сен-Жюст, видели зло, но были связаны по рукам и ногам. Кто остался бы в клубах, если бы из них изгнали чиновников? Основание режима суживалось по мере его концентрации... «Революция окоченела, — писал Сен-Жюст в предсмертном сочинении «Республиканские учрежде-

¹ Так, навязанный Конвенту в 1793 году закон о всеобщем максимуме Робеспьер до последних дней жизни считал «выдумкой» Питта. Сложнее обстояло дело с вантозскими декретами — принятие их вряд ли можно объяснять одной лишь тактической уловкой робеспьеристов. Собственный опыт реквизиций и экспроприаций богатей, которые Сен-Жюст широко практиковал во время своей командировки в Рейнскую армию, толкал его в сторону той же уравнилельной социальной программы, которую защищали эбертисты.

² М. Робеспьер, Избранные произведения в трех томах, т. I. М. 1965, стр. 68.

ния», — все принципы ослабли, остались только красные колпаки, прикрывающие интригу. Террор притупил преступление, подобно тому, как крепкие напитки притупляют вкус»¹.

В таких условиях личная склока, малейшее нарушение равновесия между двумя правящими органами — Комитетом общественного спасения и Комитетом общественной безопасности или даже внутри первого, более влиятельного из них, — могли оказаться роковыми для судеб революционного правительства. Термидор — при том развитии событий, которому следовала мелкобуржуазная революция, — был неизбежен, и предчувствие неизбежной гибели лежит на последних речах Робеспьера и Сен-Жюста, а еще более на их действиях, вернее, на их бездействии в роковую ночь с 9 на 10 термидора, когда, казалось, еще можно было перетянуть на свою сторону колебавшуюся чашу весов.

Террор, навязавший всей Франции волю парижских предместий, в конце концов парализовал эту волю; террор, бывший оружием победы в руках вождей революции, уничтожил этих вождей. Исполнилось то, что предсказал Дантон в знаменитой речи в Конвенте 27 марта 1793 года: «Революции разжигают все страсти. Великий народ в революции подобен металлу, кипящему в горниле: статуя свободы еще не отлита, металл еще только плавится; если вы не умеете обращаться с плавильной печью, вы все погибнете в пламени»².

«Террористы» и «диктаторы» Сен-Жюст, Робеспьер и «антитеррористы», враги «диктатуры» Ру, Пейн, Демулен, Бабеф выразили в 1793—1794 году, соответственно своему объективному положению в республиканской Франции, два полярных взгляда на революционное насилие, на принципы революционной власти. Мы не будем именовать одну точку зрения верной, другую ошибочной или искать истину где-то между ними... Вспомним мудрые слова Гёте: «Говорят, что посередине между двумя противоположными мнениями лежит истина. никоим образом! Между ними лежит проблема...»³

Эту проблему начали нащупывать и распутывать уже сами участники и современники Французской революции, среди них Радищев.

«Закон природы» Радищева

Вернемся к «закону природы»: «Из мучительства рождается вольность, из вольности рабство» (I, 361). Казалось бы, открытие Радищева принадлежит целиком к области тех ограниченных представлений, которые были присущи Просвещению XVIII века, для него это — закон, «неизменяемый никогда», проявление «всеобщего стремления» природы.

И все же абстрактно-натуралистическая формула заключала вполне конкретное содержание. Она была обобщением событий английской революции XVII века, с удивительной законосообразностью повторенных революционной Францией XVIII века. И здесь гражданская война завершилась победой «свободы»: казнь короля, разгром врагов революции. И здесь сконцентрированная в руках революционного правительства власть оказалась узурпированной — сначала Директорией, этой, по выражению Радищева, «пятиглавой и ненавистой всем гидрой французского правительства» (III, 523), затем — после переворота 18 брюмера 1799 года — Бонапартом.

Определенную цикличность в переворотах XVII—XVIII веков замечает не только Радищев. Умственная история общества, заключал Н. Г. Чернышевский, состоит в постоянной смене «трех расположений»: «Недостатки существующего вызывают критику; она сначала обращается лишь на недостатки, заметные с первого взгляда; это пора умеренных либералов; но критическая мысль, развиваясь далее, находит, что под явлениями, очевидно неудовлетворительными, лежат принципы, на которых построен весь общественный порядок, что второстепенных явлений нельзя устранить, не устраняя этих коренных причин; тогда умеренно-либеральная критика переходит в радикальную; так, за Монтескье явился Руссо; за Мирабо — Робеспьер. Привычка к коренным принципам общественного устройства чрезвычайно сильна в массе, и огромное большинство

¹ А. М а т ъ е з. Французская революция, т. III, Террор. М. 1930, стр. 159—160.

² Цит. по книге Ц. Ф р и д л я н д. Дантон. М. 1965, стр. 245.

³ Н. В. Г ё т е. Избранные сочинения по естествознанию. М. 1957, стр. 393.

общества скоро замечает, что радикалы, увлекшие его, идут гораздо дальше, чем может оно идти по своим понятиям... Тогда начинается другое настроение мыслей: касаться оснований общественного устройства — это злодейство или безумие; довольно устранить второстепенные недостатки. Опять настает пора умеренного либерализма: за конвентом следуют директория и консульство; законы для Франции снова составляются под влиянием Сиеса, Талейрана и других, замолкавших во время конвента. Но мысль, породившая переход от радикализма к умеренному либерализму, продолжает развиваться... Наполеон с насмешкою отталкивает Сиеса и перестает слушать Талейрана; конституционный порядок директории, ставший почти только призраком во время консульства, переходит в полный абсолютизм империи. Тут опять начинается прежняя история... Реакция ведет к умеренной, потом к радикальной критике; радикализм ведет к умеренному, потом к реакционному консерватизму, и опять от этой крайности общественная мысль переходит в противоположную крайность через умеренный либерализм»¹.

Формула Чернышевского более содержательна, чем у Радищева, но и она не вполне совершенна, к тому же он явно вуалирует мысль. Эволюция политических форм именуется сменой расположений «умственной истории», не раскрыто, в чем состоят «недостатки существующего», которые критиковали либералы, какие «основания общественного устройства» и каким образом хотели переделывать радикалы и т. п. Но ясно, что и Чернышевский бьется над познанием той же закономерности, которая выявлена Радищевым.

Механизм этой своеобразной цикличности буржуазных революций, выразившейся в постоянном их «забегании вперед» и последующем столь же постоянном «откате назад», вскрыла марксистская теория классово-борьбы. «...Если отрешиться от конкретного содержания каждого отдельного случая,— писал Энгельс,— общая форма всех этих революций заключалась в том, что это были революции меньшинства. Если большинство и принимало в них участие, оно действовало — сознательно или бессознательно — лишь в интересах меньшинства; но именно это или даже просто пассивное поведение большинства, отсутствие сопротивления с его стороны создавало видимость, будто это меньшинство является представителем всего народа».

Второе — неминуемость раскола «победившего народа» — непосредственно вытекает из разнородности сил, осуществлявших переворот. Устранение «тирана» всегда и везде оказывалось не концом, а началом продолжительной борьбы, на этот раз между таившимися в самом «народе» противоположными элементами. «После первого большого успеха победившее меньшинство, как правило, обыкновенно раскалывалось: одна часть его удовлетворялась достигнутым, другая желала идти дальше, выдвигала новые требования, соответствовавшие, во крайней мере отчасти, подлинным или воображаемым интересам широких народных масс».

Третье — в истории буржуазных революций случалось, что решительность и энергия радикального авангарда утверждала его кратковременное господство, давала ему возможность навязывать свои требования всей нации. Но поскольку эта радикальная группа не была способна и призвана господствовать при данном состоянии развития общества, поскольку ее цели противоречили реальным определяющим тенденциям развития экономики общества и его политической надстройки, победа радикалов неизменно оканчивалась их поражением (независимо от того, в форме внутреннего перерождения или свержения извне шел этот процесс). «И в отдельных случаях,— пишет Энгельс,— эти более радикальные требования осуществлялись, но большей частью только на очень короткое время: более умеренная партия снова одерживала верх и последние завоевания — целиком или отчасти — сводились на нет; тогда побежденные начинали кричать об измене или объясняли поражение случайностью».

И последнее: регрессивное движение — в тех случаях, когда радикалы успевали произвести более или менее основательную чистку «почвы» от отживших свой век отношений, учреждений и идей,— не было простым движением назад. Часть революционных

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. IX. М. 1949, стр. 252—254.

преобразований оказывалась связанной с интересами столь широких масс населения или интересами общественных сил, столь укрепившихся в ходе революции, что перечеркнуть или отменить их полностью не могли, не подвергая угрозе свое существование, никакие контрреволюционные правительства. В целом общество откатывалось не на исходную, а на одну из промежуточных ступеней: «То, что было завоевано в результате первой победы, становилось прочным лишь благодаря второй победе более радикальной партии; как только это бывало достигнуто, а тем самым выполнялось то, что было в данный момент необходимо, радикалы и их достижения снова сходили со сцены»¹.

События, происходившие при этом на поверхности политической жизни, в общем и целом, шли параллельно глубинным социальным сдвигам, хотя зависимость политических форм от массы более случайных факторов могла вызвать временное возрождение «несоответствующих» новому базису режимов и диктатур.

Разумеется, было бы неправильно устанавливать непосредственную связь между «законом природы» Радищева и законом цикличности буржуазных революций классиков марксизма. Мы бы стерли тем самым различие первых теоретических предсказаний, схватывающих внешнюю повторяемость событий, и разработанной теории, проникающей за поверхность явлений, в их глубину,— различие *метафизики XVIII века*, сводящей развитие общества к движению по кругу, к простому воспроизведению уже известных образцов, и *диалектики XIX—XX веков*, открывающей в общественном развитии не просто повторение пройденных уже ступеней, но повторение их «иначе на более высокой базе»². Но если взять всю сумму промежуточных подходов и обобщений (формула Н. Г. Чернышевского один пример), то отдельные звенья выстраиваются в единый ряд — научная теория оказывается итогом долгого и трудного развития теоретической мысли прошлого. Кстати, на формулировке Ф. Энгельса развитие теории также не прекращается — идет дальнейшее уточнение, обогащение закона, выявляется действие его на более широких полосах исторического развития, вариации обнаружения одних и тех же закономерностей в странах с разным уровнем социального развития, с разными традициями политической борьбы. В. И. Ленин, например, ищет в событиях XX века не только подтверждение приведенным выше мыслям — новая, более развитая действительность позволяет ему дать более глубокую ретроспективную оценку тех же событий XVIII—XIX веков, ввести понятие цикла нескольких революций, каждая из которых бьет, но не добывает старый режим, взрыхляет почву для будущих революций³.

Диалектика якобинского «деспотизма свободы»

Возьмем следующий важный элемент теоретических представлений мыслителей XVIII века. Среди причин, определивших превращение свободы в рабство, Радищев выделял еще в восьмидесятые годы «алчбу власти необъятну». Римское или, скажем, «христианское общество» шло «стезею народам обыкновенною»: сначала оно «воздвигло начальника», затем «разширило его власть», затем «всесильный» царь или папа губили «свободу» (I, 260, 14). Радищевская концепция — совершенно в духе XVIII века, когда, как писал К. Маркс, историки еще не спустились с поверхности политических форм в недра социальной жизни⁴. Примерно такое же объяснение «падения» Римской республики мы видели у Монтескье. Аналогичный подход к прошлому найдем у Робеспьера 1789 года: все оно сводится к почти безнадежной борьбе «свободы» народов «против власти королей» (I, 104).

Куда своеобразнее Радищев в своих попытках истолковать с точки зрения «круговорота» свободы и рабства революционные события своей эпохи. На первый взгляд в трактовке английской революции его мысль идет в общем русле представлений XVIII века — у Гельвеция и Руссо, Марата и Робеспьера имя Кромвеля фигурирует рядом с именами Мария, Цезаря. Характерны для современников Радищева и попытки

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 22, стр. 533—534.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 55.

³ См. там же, т. 17, стр. 47; т. 19, стр. 246—247.

⁴ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 434—435.

извлечь определенные уроки из «примера» Кромвеля. В конце 1791 года, выступая против разжигаемого жирондистами и двором военного угара, Робеспьер предупреждал: «Во время смут и мятежей военачальники становятся арбитрами судьбы своей страны и склоняют чашу весов на сторону той партии, к которой они примкнули. Если это Цезари или Кромвели, они сами захватывают власть» (I, 170).

Но, пожалуй, ни у одного мыслителя XVIII века «великий пример» Кромвеля не приобрел такого обобщенного «социологического» звучания, как у Радищева. Еще в восьмидесятые годы этот пример позволил мыслителю подвести под понятие общего «круговорота» свободы и рабства все революции нового времени. К концу девяностых годов концепция Радищева приняла резко пессимистическую окраску. Раньше мыслитель был за революционное завоевание вольности, теперь он считает безнадежным исход кровавой борьбы: всякое междоусобие венчается учреждением диктатуры, гражданские войны не отличаются в этом отношении ничем от всякого рода завоевательных походов и войн.

Именно здесь намечается полный разрыв Радищева с теоретиками якобинской диктатуры. Для Робеспьера 1793—1794 годов применение революционных «диктаторских» мер — абсолютная необходимость, навязываемая всей обстановкой гражданской войны: «Необходимо подавить внутренних и внешних врагов республики или погибнуть вместе с нею... Революционное правление — это деспотизм свободы против тирании» (III, 91, 112, 113). Радищев вообще отказывается сделать тот шаг, который не боялись сделать великие французские революционеры: принять не только идею революции, но и все практические последствия воплощения этой идеи в жизнь; для него робеспьеровский «деспотизм свободы» тождествен «деспотизму королей».

Практика всех без исключения «глубинных» социальных революций подтверждает: ломка старого строя невозможна без предельной концентрации революционной власти, без отбрасывания, когда нужно, формально-юридических норм, без «деспотического» подавления контрреволюционеров. Неизбежности этого явно не понял русский мыслитель, и его взгляды, в сравнении со взглядами Робеспьера или Сен-Жюста, и только в этом смысле, непоследовательны, ограниченны, ошибочны. Но видеть в радищевской концепции только «непоследовательность» или «ошибочность» — значит до чрезвычайности упрощать проблему.

Суммируя государственный опыт якобинизма, можно утверждать: если Франция конца XVIII века шла дорогой от демократической республики 1793 года к бонапартистской военной диктатуре 1799 года, то определенные предпосылки тому создавала уже централизаторская политика якобинцев, включавшая в себя, особенно на ее заключительном этапе, преследование и ущемление тех демократических институтов, которые обеспечивали в разгар революции могучее воздействие на общественную эволюцию плебейских народных масс.

На первое место здесь можно поставить обстоятельства гражданской войны, которая с роковой неотвратимостью требовала от республики централизации всех материальных средств, объединения всех нитей политического управления в одних руках. Гражданская война в огромной степени усилила в системе якобинского государства роль армии, карательных органов вообще, закладывая тем самым — независимо от воли действующих лиц — определенные предпосылки будущего бонапартистского переворота.

Но война с роялистской контрреволюцией — одна сторона медали. Победу над роялистами вожди якобинской диктатуры ковали в условиях растущих противоречий плебейских масс и буржуазных слоев в республиканском стане. Хотя в критические моменты своего существования, когда спасение революции зависело целиком от настроений «низов», революционное правительство шло навстречу их требованиям, но, в общем и целом, оно оказалось не способным полностью поддержать ни требования санкюотов, ни требования противостоящих им имущих слоев. Среди постоянных колебаний между крайними полюсами собственного стана правительству Робеспьера все чаще приходилось обеспечивать равновесие рубкой голов вождей крайних левых и правых направлений, а главное, систематическим курсом на преследование тех органов

грямого народоправства, которые были под контролем или могли попасть под контроль этих вождей. Расправа с народными обществами секций Парижа тому пример.

Историки самых разных направлений с разной степенью глубины отражают один и тот же факт. При противоречивости социальной основы, которая характеризовала якобинскую диктатуру, в рамках тех политических форм, которые складывались в эпоху «мирного» этапа буржуазной революции, затем гражданской войны, и при том теоретическом уровне, который определял представления якобинцев, они так и не смогли разрешить одного из главных противоречий социальной революции, приведшей в движение массы,— противоречия между демократией и централизацией, не смогли, хотя и пытались, обеспечить вовлечение плебейских масс в управление революционным государством или по крайней мере их систематическое воздействие на это управление. В конце концов «народные организации и демократия санкюлотов оказались несовместимыми с Революционным правительством и якобинской диктатурой»¹.

Попытки опираться на государственный террористический аппарат, а не на плебейские массовые организации, стремление с помощью этого аппарата сохранять равновесие в условиях поляризации социальных сил вели к быстрому отрыву революционной государственной организации от масс, размывали фундамент под величественным зданием якобинского «деспотизма свободы». Накануне термидора эта террористическая машина приобретает все большую автономность, самодовлеющий ход. Социальная функция террора отступает на второй план, террор превращается в средство самосохранения якобинской диктатуры и ее вождей: принятые весной 1794 года вантозские социальные декреты остаются на бумаге, зато действуют неумолимо предрасительские террористические законы.

Знаем мы и другое — отправив вождей якобинцев на плаху и решив разбить созданную якобинцами централизованную диктатуру, заменить ее тщательно продуманным «равновесием властей», термидорианцы вскоре потерпели полное фиаско в своих начинаниях. Оказавшись между двух огней, вынужденные снова «качаться» (на этот раз между ожившими роялистами и недобитыми якобинцами), они снова ухватятся, как за якорь спасения, за те же авторитарные государственные меры. Первиз, а особенно вторая Директория начинает уже систематическую политику централизации власти (и окончательного искоренения остатков всякого народоправства), пока наконец на почве предельного обострения вражды полярных классовых сил, «более или менее уравнивающих друг друга» — этой «классической почве бонапартизма» (В. И. Ленин)², — не произрастет бонапартизм в классической его форме, который будет опираться прежде всего на армию (ранее не участвовавшую во внутренней политической борьбе) и на всемогущую бюрократию, превращенную Наполеоном в своеобразное «новое дворянство».

Когда Маркс, выясняя противоположность буржуазных и пролетарских революций, писал, что первая Французская революция вынуждена была «развить далее то, что было начато абсолютной монархией, то есть централизацию и организацию государственной власти, и расширить объем и атрибуты этой власти, число ее пособников, ее независимость и ее сверхъестественное господство над действительным обществом — господство, которое фактически заменило собой средневековое сверхъестественное небо с его святыми»³, — то он, безусловно, включал в это определение и якобинский этап. Далеко не случайно и то, что вожди революционного пролетариата только после рождения демократии высшего типа — Парижской коммуны могли поставить вопрос, чем заменять старый государственный аппарат⁴.

¹ А. С о б у л ь. Из истории Великой буржуазной революции 1789—1794 годов и революции 1848 г. во Франции. М. 1960, стр. 147—148. Из специальных работ назовем: А. S o b o u l. Les Sans-Culottes parisiens en l'an II. Mouvement populaire et Gouvernement révolutionnaire. 2 juin 1793—9 thermidor an II. Paris, 1958; ero же. Robespierre und die Volksgesellschaften в сб. Maximilien Robespierre 1758—1794. Berlin, 1961; W. M a r k o v. Revolutionsregierung und Volksbewegung in Frankreich 1793—1794. "Wissenschaftliche Annalen". 1957, № 8.

² В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 49.

³ К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 17, стр. 544.

⁴ Отметим недостаточное внимание к этой важнейшей стороне дела в нашей исто-

Впрочем, и до Маркса теоретическая революционная мысль схватывала отдельные отрицательные черты государственной практики якобинизма (или государственной практики буржуазных революций вообще). Это выразалось не только в обличениях Радищева, Ру или Пейна, но, скажем, и в позитивных попытках бабувистов придумать такую систему революционных органов, которая сделала бы управление государством и оборону отечества «делом всех граждан». Опыт последних имел особо важное значение. При всей умозрительности мер, придумываемых ими на случай победы революции, само направление их мысли было чрезвычайно плодотворным, а задача предупредить «опасность» образования специального класса «управляющих» сформулирована с предельной ясностью. «Если,— говорил Комитет,— в государстве создастся класс, который один только будет сведущ в принципах социального искусства, в законах и управлении, то этот класс скоро найдет в своем умственном превосходстве и особенно в неосведомленности своих соотечественников секрет того, как создать для себя отличия и привилегии... Прикрывшая свои дерзкие начинания предлогом общественного блага, этот класс будет все еще говорить о свободе и равенстве своим мало проницательным согражданам, уже подверженным тем более жестокому порабощению, что это порабощение будет казаться им законным и добровольным»¹.

Мы несколько не ошибемся, если скажем, что поискам на новой, пролетарской классовой основе решения задачи, сформулированной еще бабувистами,— задачи создания такой революционной власти, которая действовала бы «в интересах народа и при посредстве народа»,— будут посвящены в XIX—XX веках «Гражданская война во Франции» К. Маркса, «Государство и революция» В. И. Ленина.

Спор между «террористами» и «антитеррористами»

Наконец, попробуем рассудить знаменитый в истории освободительной мысли конца XVIII — начала XIX века спор между «террористами» и «антитеррористами», тот спор, отголоски которого слышны в «Песни исторической» Радищева.

«Революция это война свободы против ее врагов,— говорит в конце 1793 года Робеспьер, защищая революционные законы.—...Те, кто называет эти законы произвольными или тираническими,— глупые или развращенные софисты, стремящиеся смешать прстивоположные вещи: они хотят подчинить одному и тому же режиму мир и войну, здоровье и болезнь...» (III, 91).

А вот обратное мнение одного из революционеров, прошедшего через горнило американской и Французской революций XVIII века,— под ним подписались по существу и Ру, и Леклерк, и Демулен, и Кондорсе, и наш Радищев...

В 1793 году, восклицает Томас Пейн, справедливые и гуманные принципы революции, которые философия распространяла вначале, были оставлены... Нетерпимый дух церковных гонений проник в политику; трибунал, величаемый революционным, занял место инквизиции, а гильотина место костра².

Казалось бы, историческая правота целиком на стороне Робеспьера, а не его противников. Аксиома аксиом — применение тех или иных террористических мер становится неизбежно для любого революционного правительства, которому контрреволюция навязывает законы гражданской войны. Доказана историческая прогрессивность якобинского террора последующей экономической и социальной эволюцией страны. Ударами своего страшного молота, писал Маркс, он стер «сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции»³.

риографии. Один пример. В предисловии к изданным недавно «Избранным произведениям в трех томах» М. Робеспьера проф. А. З. Манфред дает подробный анализ противоречивости социальной политики мелкобуржуазной диктатуры (мы приводили его вывод), но уходит от анализа противоречий ее государственной политики, ограничиваясь суждениями типа: «С замечательной силой революционного мышления Робеспьер сумел понять и, обобщив, показать народу величие этого нового переходного режима как формы революционно-демократической диктатуры» (I, 56). Показательно, что в избранные произведения Робеспьера не попал ряд выступлений против народных обществ Парижа.

¹ Ф. Буонарроти. Заговор во имя равенства, т. I. М.—Л. 1948, стр. 316—317.

² См. Томас Пейн. Избранные сочинения. М. 1959, стр. 295.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. т. 4, стр. 299.

Но верно ли усматривать в осуждении якобинского террора многими радикальными мыслителями XVIII века (впоследствии и утопическими социалистами XIX века) только ошибку и ограниченность? Сложность ответа становится очевидной, как только мы выделим целый ряд объективных и субъективных моментов, которые сделали из робеспьеристов классическое воплощение революционного мелкобуржуазного терроризма. Разобраться в этом надо для выявления исторической ограниченности форм и методов революции, которую Робеспьеру и Сен-Жюсту пришлось возглавлять.

Любая социальная революция немыслима без применения — в той или иной форме — принудительных мер по отношению к свергаемым классам. Эти меры, если говорить вообще, становятся тем решительнее и беспощаднее, чем глубже распахиваются сложившиеся веками пласты социальных отношений. «Терроризм» Французской революции — одной из классических буржуазных революций — был порожден прежде всего развитием антагонизма между буржуазной «нацией» и свергнутыми феодалами. Мы достаточно говорили об этой стороне дела.

Но на заключительном, «якобинском» этапе революции, когда революционному правительству пришлось опереться на поддержку плебейских масс, буржуазная революция стала задевать не только феодалов, но куда более широкие буржуазные слои. Жестко регламентируя законами о максимуме сферу потребления и сохраняя в то же время частную буржуазную собственность, систему денежного хозяйства, якобинское государство не могло не вводить дополнительно принудительных и просто террористических мер. Заставить владельца фабрики или крестьянина-собственника производить, одновременно разоряя его реквизициями и ограничивая его связь с рынком, нельзя было вообще никаким иным способом. «Чтобы проводить законы, нарушавшие все частные интересы, — пишет А. Матьез о событиях 1793—1794 годов, — необходимо было усилить диктатуру центральной власти, систематизировать ее, охватить всю Францию армией полиции и солдатских постоев, уничтожить все свободы, контролировать через Центральную продовольственную комиссию все сельскохозяйственное и промышленное производство страны, без конца прибегать к реквизициям, захватить в свои руки транспорт и торговлю... создать повсюду новую бюрократию, чтобы пустить в ход громадный аппарат снабжения, ввести нормирование потребления при помощи карточной системы, прибегнуть к системе домашних обысков, заполнить тюрьмы подозрительными, заставить гильотину работать permanently. Политический террор сливался с экономическим, шел с ним нога в ногу»¹.

В условиях, когда экономически и политически общество не созрело для «огосударствления» средств производства, вся система якобинских принудительных мер не могла функционировать сколько-нибудь длительный срок; вожди якобинской диктатуры, имевшие самые смутные представления о социальной структуре общества, тенденциях его экономического развития, не могли ни предвидеть последствий практикуемого ими насилия, ни поставить ему предел. Чрезвычайно важно выделить мысль Маркса о воззрениях якобинцев как классическом образце ограниченного политического рассудка, не способного — несмотря на максимум политической энергии — найти реальные средства исцеления общественных недугов, видевшего причину их в контрреволюционном подозрительном образе мыслей врагов республики, а главное средство спасения — в рубке голов².

Эти особенности исторической практики и теоретического мышления якобинцев и сделали из них своеобразных идеологов неограниченного терроризма. Хотя ни Робеспьер, ни Сен-Жюст и не доходили в своей деятельности до тех крайностей, которыми отличались Фуше, Каррье или Колло д'Эрбуа, однако и для них гильотина в конечном счете стала главным средством решения все новых противоречий, порождаемых углублением революции, главным средством избавления от неугодных соперников из ряда собственного республиканского стана.

Отсутствие ясных представлений о формах и границах применения насильственных

¹ А. Матьез. Ворьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора. М.—Л. 1928, стр. 457.

² См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 439.

средств и мер органически дополнялось у радикальных идеологов революции обращением к чувству, фабрикацией ложных обвинений, призванных — за отсутствием достаточно веских улик — оправдать отправку своих бывших сподвижников на тот же все-спасающий эшафот. Тягостно читать речи и статьи вождей соперничающих революционных фракций, избоблюющие взаимными обвинениями в «измене», связях «с Питтом», «с Кобленцем», или вспоминать якобинскую практику «амальгам». И дело здесь не просто в некоторых «мало симпатичных чертах» характера Робеспьера, как полагал Н. М. Лукин, «его лицемерии или неразборчивости в средствах»¹, а в примитивности, ограниченности самого типа мышления мелкобуржуазных революционеров, сводящего основные противоречия революции к проискам контрреволюции, маскирующего реальный смысл процессов иллюзорными всеупрощающими формулами (хотя бы иллюзии эти и питались вполне реальным участием агентов контрреволюции в создании тех или иных трудностей и вполне реальными связями «агентов Питта» с некоторыми деятелями оппозиционных фракций). В 1853 году в полемике с мелкобуржуазными демократами Маркс специально напомнит о слепоте так называемого революционного чувства, к которому апеллировали в свое время якобинцы и которое «в момент высшего напряжения изобрело *lois des suspects* (закон о подозрительных.— Е. П.) и заподозрило даже таких людей, как Дантон, Камилл Демулен и Анахарсис Клоотс, в том, что они сделаны из «теста» предателей»². В 1877 году Энгельс, напоминая о присущей Бакунину манере «забрасывания камнями» своих политических противников, прямо именуется ее робеспьеровской: «этим методом, заимствованным у блаженной памяти Максимилиана Робеспьера, Бакунин владел в совершенстве»³.

Совершенно ясно, что «забрасываемые камнями» соперники Робеспьера, не только «снисходительные», но и самые «бешеные», перед угрозой неминуемой расправы стремительно катились к отрицанию всякого террора, всякой диктаторской революционной власти вообще. Ясно и другое: якобинская практика должна была порождать и порождала такое же отрицательное отношение к «терроризму» у многих радикальных мыслителей, изучавших ее, так сказать, со стороны, тем более что судили они о «царстве террора» только по его непосредственным политическим результатам. Должно было пройти и прошло несколько десятилетий, пока теоретическая революционная мысль — в лице Маркса и Энгельса — не дала всему якобинскому периоду революции глубокой, трезвой и многогранной оценки.

В противоположность «антитеррористам» XVIII века вожди пролетариата расценивали период якобинской диктатуры как один из высших взлетов революционного движения, они звали пролетариат к продолжению боевых традиций якобинизма — традиций той беззаветной решительности, отваги, энергии, которая спасла республиканскую Францию в критическом 1793 году. В работах Маркса, Энгельса, Ленина, посвященных обобщению опыта буржуазных революций, Великая французская революция остается благодаря якобинизму, и только благодаря ему, «эталонном», по которому отмечаются успехи последующих революций, выносятся суждения об их вождях.

Но восторг вождей пролетариата перед величием подвига героев 1793—1794 годов не мешал им видеть ограниченность действий этих героев, примитивность их форм и методов политической борьбы. Точно так же признание исторической прогрессивности якобинского террора никогда не вело Маркса, Энгельса к апологии всех тех исторически неизбежных крайностей, а тем более злоупотреблений, которыми сопровождался якобинский террор. Последнее не имеет ничего общего с защитой того наследия, которое марксизм принимает от великих революционеров прошлого.

Выступая после событий Парижской коммуны против нелепых попыток бланкистов канонизировать каждый террористический акт первого пролетарского правительства, Энгельс еще менее был склонен канонизировать якобинский мелкобуржуазный террор: «Разве это не то же самое, как если бы стали утверждать, что во время первой

¹ См. Н. М. Лукин (Н. Антонов). Максимилиан Робеспьер. М. 1919, стр. 123.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 9, стр. 303; т. 28, стр. 242.

³ Там же, т. 19, стр. 102.

Французской революции каждый обезглавленный получил по заслугам — сначала те, кто был обезглавлен по приказу Робеспьера, а затем — сам Робеспьер¹.

Критику крайностей мелкобуржуазного «терроризма» содержит и письмо Энгельса от 4 сентября 1870 года, где периоду «господства террора» дана следующая оценка: «Мы понимаем под последним господство людей, внушающих ужас; в действительности же, наоборот, — это господство людей, которые сами напуганы. Террор — это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх. Я убежден, что вина за господство террора в 1793 г. падает почти исключительно на перепуганных, выставлявших себя патриотами буржуа, на мелких мешан, напускавших в штаны от страха, и на шайку прохвостов, обдelyвавших свои делишки при терроре»².

В одном из поздних писем Энгельс уточняет позицию, пытаясь определить ту историческую грань, когда террор из меры, оправданной военной обстановкой, стал «бесполезной жестокостью»: «Что касается террора, то он был по существу *военной мерой* до тех пор, пока вообще имел смысл. Класс или фракция класса, которая одна только могла обеспечить победу революции, путем террора не только удерживала власть (после подавления восстаний это было нетрудно), но и обеспечивала себе свободу действий, простор, возможность сосредоточить силы в решающем пункте, на границе. К концу 1793 г. границы были почти обеспечены, 1794 г. начался благоприятно, французские армии почти повсюду действовали успешно. Коммуна с ее крайним направлением стала излишней; ее пропаганда революции сделалась помехой для Робеспьера, как и для Дантона, которые оба — каждый по-своему — хотели мира. В этом конфликте трех направлений победил Робеспьер, но *с тех пор террор сделался для него средством самосохранения* и тем самым стал абсурдом»³.

Вождю социалистической революции XX века В. И. Ленину пришлось не только в теоретических статьях и письмах подчеркивать разницу пролетарских и мелкобуржуазных форм и методов борьбы, но и определять на практике ту совершенно неуловимую для яковинцев грань, когда террор из меры необходимой, революционно целесообразной грозил обратиться в свою противоположность. И как раз в те периоды, когда советская власть пыталась переходить (как было в 1918 году) или переходила (как было в году 1921) от военных задач к очередным экономическим задачам, когда место военной угрозы занимала угроза куда более опасная, связанная с разгулом мелкобуржуазной стихии в разоренной войной стране, Ленин особенно резко настаивал на различии политических методов большевиков и яковинцев. Напомним одно из важнейших предупреждений: «Если 125 лет тому назад французским мелким буржуа, самым ярким и самым искренним революционером, было еще извинительно стремление победить спекулянта казнями отдельных, немногих «избранных» и громами декламации, то теперь чисто фразерское отношение к вопросу у каких-нибудь левых эсеров возбуждает в каждом сознательном революционере только отвращение или брезгливость. Мы прекрасно знаем, что экономическая основа спекуляции есть мелкобуржуазный, необычайно широкий на Руси, слой и частнохозяйственный капитализм, который в каждом мелком буржуа имеет своего агента»⁴.

Общее принципиальное положение о том, что насилие не может быть средством решения организаторских задач пролетарского государства, было со всей настойчивостью сформулировано В. И. Лениным на VIII съезде РКП(б). «Тут та область, где революционное насилие, диктатура употребляется для того, чтобы злоупотреблять, и от этого злоупотребления я бы осмелился вас предостеречь. Прекрасная вещь революционное насилие и диктатура, если они применяются, когда следует и против кого следует. Но в области организации их применять нельзя»⁵.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 18, стр. 516.

² Там же, т. 33, стр. 45.

³ Там же, т. 37, стр. 127.

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 297; см. также т. 43, стр. 208.

⁵ Там же, т. 38, стр. 143—149.

Нэп — в конкретных условиях 1921 года — был выполнением этой принципиальной установки. И если мелкобуржуазная диктатура во Франции XVIII века могла отвечать на все кризисы только одним способом — расширением репрессивного законодательства, усилением террора, то пролетарская диктатура ответила на массовое недовольство крестьян, вызванное политикой военного коммунизма, целой системой экономических мер, позволивших удовлетворить требования крестьян, дать стимул, толчок мелкому крестьянскому хозяйству и одновременно резко уменьшить роль репрессии в политике государства, резко ограничить функции основного карательного органа пролетарской диктатуры — ВЧК. В декабре 1921 года Ленин докладывал Всероссийскому съезду Советов: «Чем больше мы входим в условия, которые являются условиями прочной и твердой власти, чем дальше идет развитие гражданского оборота, тем настоятельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг осуществления большей революционной законности, тем уже становится сфера учреждения, которое ответным ударом отвечает на всякий удар заговорщиков. Таков результат опыта, наблюдений и размышлений, который правительство за отчетный год вынесло»¹.

Пролетарский революционный гуманизм не исключает ни применения ответного насилия по отношению к насильникам, ни готовности идти на самые большие жертвы — ради избавления человечества от еще больших жертв. В годы Октябрьской революции пролетарская диктатура — несмотря на все стенания оппортунистов II Интернационала — не поколебалась ответить беспощадным красным террором на белый террор, грозивший бесчисленными жертвами трудящимся классам России. Но вождь Октября никогда не терял из виду вынужденности, ограниченности насильственных мер, а главное, умел ставить им предел. Для В. И. Ленина, как и для его учителей, революционность существовала не ради самой революционности. Ему, как и им, был абсолютно чужд мелкобуржуазный лозунг — революция какой угодно ценой.

На земле нет более благородного и ответственного дела, чем революция: если незнание или просчет хирурга может стоить жизни одному человеку, то незнание или просчет вождя революции может стоить жизни тысячам и тысячам людей.

1794 versus 1921

Мы вполне допускаем, что наши сопоставления некоторых теоретических представлений XVIII и XIX веков, скажем, «закона природы» Радищева и закона цикличности Энгельса или некоторых событий XVIII и XX веков — скажем, 1794 года во Франции и 1921 года в России — могут показаться чересчур рискованными, нарушающими «грань» между научной и «ненаучной» теориями, между социальными революциями разного типа. Осведомленный читатель мог бы повторить предупреждение, высказанное не так давно по поводу почти забытой нами интереснейшей книги Я. Старосельского «Проблема якобинской диктатуры» (М. 1930): такое сопоставление «абсолютно (курсив наш.— Е. П.) недопустимо ввиду глубочайших отличий во внутренних отношениях этих совершенно различных диктатур, обуславливаемых коренным различием их социальной сущности и объективных задач»².

Мысль о коренном различии социальной сущности и объективных задач, решаемых буржуазной и социалистической революциями, мы полностью разделяем, но мысль о недопустимости их сопоставления столь же решительно отвергаем. Любителям разного рода «абсолютных» запретов напомним хотя бы одну из замечательных ленинских мыслей 1921 года: «Нет неподвижной грани между буржуазной и пролетарской революцией...»³. Это кардинальная идея ленинской теории революции вообще, к этой мысли В. И. Ленин возвращается в интересующий нас год постоянно, раскрывая — от выступления к выступлению, от статьи к статье — все ее многогранное содержание. У нас очень часто приводят его слова о том, что первая, буржуазно-демократическая, революция

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 329.

² Из истории якобинской диктатуры 1793—1794 (Труды межвузовской научной конференции). Одесса. 1962. стр. 24.

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 463.

перерастает во вторую, пролетарскую, «вторая, мимоходом, решает вопросы первой. Вторая закрепляет дело первой»¹ Но тезис об отсутствии неподвижной грани между революциями разного типа В. И. Ленин раскрывает не только в этом смысле. Он не раз подчеркивает, что возможен «откат» революции назад — с пролетарской на буржуазную ступень, если только победивший пролетариат не обуздает мелкобуржуазную стихию: «Если мы ее не победим, мы скатимся назад, как французская революция. Это неизбежно, и надо смотреть на это, глаз себе не засоряя и фразами не отговариваясь»². Попробуем раскрыть смысл этих слов.

Победу пролетарской революции в России сделала возможной и облегчила — с точки зрения внешних условий — мировая война, смертельная затяжная схватка империалистических держав, мешавшая им создать единый антисоциалистический фронт, ведущая к быстрому вызреванию революций в воюющих странах. С точки зрения условий внутренних, победу пролетарской революции в мелкокрестьянской России делало возможной и облегчало наличие основ крупнокапиталистической индустрии и закаленного пролетарского авангарда, нарастание всеобщего недовольства войной. Но хотя основной расчет внешних и внутренних условий революции был сделан большевиками в 1917 году правильно, путь революции оказался далеко не столь прямым, как представлялось вначале. «оказалось, как оказывалось постоянно во всей истории революций, что движение пошло зигзагами»³.

Революции на Западе «задержались», европейский пролетариат не смог оказать пролетариату российскому непосредственной революционной поддержки, хотя его сопротивление попыткам интервенции в громадной мере ослабило внешнюю угрозу, нависшую над Советским государством. Внутри России три года жесточайшей гражданской войны довели до разорения народного хозяйства, привели к почти полному застою промышленности и деклассированию значительной части пролетариата. К 1921 году обозначилось недовольство широких масс крестьянства системой принудительных экономических мер, абсолютно необходимых для спасения страны в военное время, но абсолютно непригодных для подъема ее экономики после окончания войны. Все это вместе взятое делало невозможным тот прямой и непосредственный переход к социализму, который рисовался в перспективе вождям революции, заставляло их заниматься поиском обходных путей, целого ряда особых переходных мер, которые, как не раз подчеркивал В. И. Ленин, не были бы вообще нужны в странах развитого капитала.

Но именно потому, что был верен основной расчет, потому, что вожди пролетариата своевременно внесли в него диктуемые новыми обстоятельствами коррективы, бесстрашно пошли навстречу опасностям, оказалось возможным в совершенно отчаянных условиях сохранить главные завоевания Октября, обеспечить после временного отступления движение социалистической революции вперед. Никто не мог предвидеть заранее, теоретически, смычки пролетариата и крестьянства через посредство свободы торговли, оборота, или допуск — в определенной мере и на определенных условиях — госкапитализма пролетарским государством, предвидеть именно такое сочетание элементов прошлого и будущего в переходный период. «Даже Маркс не догадался написать ни одного слова по этому поводу и умер, не оставив ни одной точной цитаты и неопровержимых указаний», — замечал В. И. Ленин в докладе XI съезду⁴. Но как раз этот найденный В. И. Лениным новый путь позволил не только выйти из чреватой угрозой реставрации кризисной ситуации 1921 года. Вступив на него, советская власть сумела вскоре заложить экономические основы социализма в мелкокрестьянской стране — создать крупную промышленность и коллективное сельское хозяйство.

Знаменательно, что в тот переломный год Ленин намечает коренной поворот от политики военного коммунизма к новой экономической политике, постоянно имея перед собой опыт Французской революции 1793—1794 годов. Вот некоторые тезисы его знаменитых речей о замене разверстки продналогом:

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 147.

² Там же, т. 43, стр. 141.

³ Там же, стр. 65.

⁴ Там же, т. 45, стр. 84.

«1. Общеполитическое значение этого вопроса: = вопрос о *крестьянской* (мелкобуржуазной) *контрреволюции*. Такая *контрреволюция* стоит уже против нас.

2. Теоретический экскурс

(а) буржуазная или социалистическая революция? *Решит борьба*.

И еще: «Политическая сторона:

Скинет мелкобуржуазная стихия...

«Образец» французская революция».

И еще: ««Стихия»

c'est le mot

1794 versus 1921».

И еще: «Термидор»? Трезво, *может быть*, да? Будет?

Увидим»¹.

Не случайно именно в это время Ленин вспоминает и о законе «цикличности» Энгельса, обращаясь к В. В. Адоратскому с просьбой: «Не могли ли бы Вы помочь мне найти... ту статью (или место из брошюры? или письмо?) Энгельса, где он говорит, опираясь на опыт 1648 и 1789, что есть, по-видимому, закон, требующий от революции продвинуться *дальше, чем она может осилить*, для закрепления менее значительных преобразований?»²

Рамки нашей статьи не позволяют сколько-нибудь подробно освещать нэп — этот замечательный по смелости и искусству исполнения, громадный по своим последствиям стратегический поворот. Но, возвращаясь к нашей частной теме — различию яковинских и пролетарских методов борьбы, — нэп можно было бы вполне определить как сознательно «спланированный» пролетарским государством курс на временное торможение глубинных социальных преобразований, как сознательно проведенный отход, позволивший резко сузить сферу применения насильственных средств, сохранить пролетарскую власть в мелкобуржуазной стране в условиях «несоответствия наших экономических «сил» и силы политической»³.

Можно было бы назвать и целый ряд других гибких и многосторонних мер пролетарской власти, тех мер, до которых так и не «доросла», да и не могла дорасти в условиях Франции XVIII века мелкобуржуазная революционная власть. Среди них: укрепление единства пролетарской партии, курс на ликвидацию чрезмерной централизации военного времени, которая «развивала тенденцию к превращению ее в бюрократизацию и отрыву от масс», и одновременно на борьбу с любыми синдикалистскими и анархистскими уклонами, ведущими «к подчинению партии беспартийной стихии»⁴, подход к профсоюзам как школе коммунизма — школе постепенного вовлечения миллионов масс в дело руководства народным хозяйством и управления государством, наконец приступ к систематической долголетней борьбе за улучшение всего государственного «аппарата» — вспомним ленинскую предельно острую и прямую постановку вопроса: «без «аппарата» мы бы давно погибли. Без систематической и упорной борьбы за улучшение аппарата мы погибнем до создания базы социализма»⁵.

Продолжать и развивать тот же курс Ленин завещал партии в письмах XII съезду и последних статьях.

Трагизм буржуазных революций и оптимизм пролетарских революционеров

Марксизм в новых исторических условиях, на новой теоретической основе приступил к решению тех проблем, которые ставили и не могли решить мыслители прошлого. Ясно, что такое решение немисливо без анализа трудностей революционного прошлого, разного рода ошибок и блужданий, драм и коллизий вождей революции. Но возникает еще одно, и, кажется, последнее, сомнение: можно ли, концентрируя внимание на этих сторонах революционного дела, воспитывать чувство революционного опти-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 371, 385, 386, 403.

² Там же, т. 53, стр. 206.

³ Там же, т. 43, стр. 216.

⁴ Десятый съезд РКП(б), март 1921 года. Стенографический отчет. М. 1963, стр. 562, 574.

⁵ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 381.

мизма? Не делаем ли мы, расписывая в деталях именно эти стороны, определенных уступок идеологам контрреволюции или ренегатам, кричащим о неоправданности жертв, тщетности революционной борьбы?

На сей счет у марксистов вообще не должно быть ни вопросов, ни разногласий. Научной революционной теории — и здесь нас поддержит даже обо всем осведомленный и во многом сомневающийся читатель — абсолютно чужды всякие попытки делить историю события и факты прошлого на «выгодные» и «невыгодные», как и любые оправдания такого деления. Историк-марксист отличается от буржуазного историка вовсе не тем, что молчит о трудностях революции, в то время как противник его о них говорит, а тем, что и для чего он о них говорит. Если для либерала или ренегата разного рода «духовные драмы» и «коллизии» — довод, чтобы не делать революцию вовсе, то для революционера это довод, чтобы делать ее лучше. Скажем больше. Всякое «отрицательное» явление в истории революционного прошлого как раз требует *самого углубленного и самого детального анализа*, ибо вожди революции должны предотвратить повторение «нежелательных» явлений в будущем или по крайней мере смягчить их последствия, если избежать подобных коллизий не удалось.

Трагические коллизии — факт объективный, закономерно повторявшийся в истории буржуазных революций и вполне возможный в истории революций пролетарских.

В абсолютистских феодальных государствах первым борцам за свободу вообще не приходилось рассчитывать на непосредственный успех, на сколько-нибудь серьезную общественную поддержку. Их единоборство с силами старого строя было безысходно, их личная судьба драматична, но их подвиг воодушевлял последователей, выковывал мужество у сотен и тысяч новых борцов.

Этот тип трагедии «революционеров-одиночек» изживался переходом к массовому революционному движению, хотя на первых порах и оно, казалось, только увеличивало жертвы, далеко не везде и не сразу принося ощутимый результат. Поражение массовых революционных выступлений заканчивалось массовыми избиениями революционеров. Трагедия как бы воспроизводилась в расширенном масштабе — она затрагивала теперь судьбы целых поколений, порой судьбы народов и стран. Однако рано или поздно, так или иначе, «посев приносил жатву». Партии и массы учились на поражениях, новые поколения завершали дело павших, освободительное движение опрокидывало или надламывало абсолютизм, на его обломках начинало утверждаться «царство свободы».

Но едва завершалось счастливым концом — как это было в Англии XVII века и Франции XVIII века — первое действие всемирно-исторической драмы, начиналось второе. «Люди, хвалившиеся тем, что *сделали* революцию, — писал Энгельс, — всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали, — что *сделанная* революция совсем непохожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории, той иронией, которой избежали немногие исторические деятели»¹.

«Общенациональная» победа над абсолютизмом в обществе, расколотом на враждующие классы, оказывалась прелюдией к новой гражданской войне; «революция пожирала своих детей» — в кровавых битвах с контрреволюцией и не менее кровавых взаимных междоусобицах гибли творцы революции; общество оказывалось отброшенным как будто на «ту же самую» ступень, с которой оно начинало свое движение; на политической арене появлялись как будто «те же» персонажи, которые были смыты революционной волной.

Эти трагические коллизии заключительных стадий буржуазных революций изживались, как показала история Франции конца XVIII века, куда труднее, чем коллизии начальных стадий борьбы. «Роковой» исход победы порождал сознание обреченности своего дела среди уцелевших революционеров, он на целые десятилетия отталкивал от революционного пути следующие за ними поколения.

Из революций 1789—1794 годов и 1848—1849 годов вожди буржуазных радикальных партий в большинстве своем выходили надломленными, потерявшими перспективу борьбы. Надламывались обычно и носители тех или иных мелкобуржуазных поветрий в рядах пролетарских партий. XIX—XX веков — приведем хотя бы те слова, с которыми

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 36, стр. 263.

покидал политическую арену лучший среди них, Лассаль: «Я ничего так не желаю, как отрешиться от всей этой политики, чтобы иметь возможность вернуться к науке, друзьям, природе. Я устал от политики, пресытился ею... Боюсь, что события будут развиваться очень медленно, а мое пламенное сердце не находит ничего интересного в этих детских болезнях и хронических процессах»¹.

Подлинные вожди пролетариата, тяжело переживая горечь неудач, умели и в самом поражении — как это было с восстанием 1848 года и Парижской коммуна 1871 года, впоследствии с русской революцией 1905 года — черпать уверенность в грядущей победе. До конца жизни они пронесли веру в свое дело, сохраняли неутолимую жажду политической деятельности, жажду борьбы — вспомним хотя бы дневник мужественной битвы, которую вел В. И. Ленин в 1922—1923 годах, вырывая у неумолимой болезни последние часы и даже минуты и отдавая их тому делу, тому народу, которому он служил².

«Секрет» убежденности пролетарских революционеров прост: программа и поведение их диктуются реальными условиями борьбы, они должны вытекать из данного соотношения классов, данного состояния экономических и политических условий в стране. Сложность состоит в самой трудности учета всех сторон многообразной, быстротекущей политической жизни, в том, что развитие событий может привести пролетарских революционеров (если они хотят остаться революционерами) к участию в такой схватке, все последствия которой вообще нельзя заранее рассчитать.

И все-таки в любом, даже самом сложном, положении у идеологов пролетариата остается возможность не стать объектом той злойшей «иронии истории», которая шутила кровавые шутки с революционерами прошлых поколений. Эту возможность — и притом единственную — открывает критическое осознание объективных рамок своей собственной деятельности. Беспощадная суровая трезвость отличает, по Марксу, пролетарские революции от революций буржуазных с их восторженным и скоропреходящим опьянением, трезвость является единственным средством избежать горького похмелья. Пролетарские революции «постоянно критикуют сами себя, то и дело останавливаются в своем движении, возвращаются к тому, что кажется уже выполненным, чтобы еще раз начать это сызнова», эти революции «с беспощадной основательностью высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток»³.

Практика победоносной пролетарской революции XX века, связанная с именем Ленина, показала замечательные примеры такой трезвости, умения авангарда, взявшего власть в свои руки, временно остановиться, отойти назад, когда слишком быстрое движение грозит неминуемым поражением, чтобы начать двигаться вновь, когда для этого созреют условия. «Не бояться признать поражения. Учиться на опыте поражения, — предупреждал большевиков В. И. Ленин. — Переделать тщательнее, осторожнее, систематичнее то, что сделано плохо. Если бы мы допустили взгляд, что признание поражения вызывает, как сдача позиций, уныние и ослабление энергии в борьбе, то надо было бы сказать, что такие революционеры ни черта не стоят... Сила наша была и будет в том, чтобы совершенно трезво учитывать самые тяжелые поражения, учась на их опыте тому, что следует изменить в нашей деятельности. И поэтому надо говорить напрямик. Это интересно и важно не только с точки зрения теоретической правды, но и с практической стороны. Нельзя научиться решать свои задачи новыми приемами сегодня, если наш вчерашний опыт не открыл глаза на неправильность старых приемов»⁴.

Вожди пролетариата не прятались от «нежелательных» фактов, они бесстрашно шли им навстречу, они умели искоренять беспощадно недостатки своей собственной деятельности, предупреждать — там, где это было в их силах, — роковые коллизии революционной борьбы. В любых условиях они сохраняли оптимизм и учили этому трезвому оптимизму своих последователей, не обещая им ни полной гарантии от ошибок и поражений, ни легкого прямого пути.

¹ F. L a s s a l l e. Nachgelassene Briefe und Schriften. Bd. IV. Berlin, 1924, s. 370.

² См. Дневник дежурных секретарей В. И. Ленина 21 ноября 1922 — 6 марта 1923 г. В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 455—486.

³ К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 8, стр. 123.

⁴ В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 205.

* * *

Пожалуй, нам остается сделать выводы. Уже конец XVIII века показал, каким гигантски сложным делом является революция. Действительность суровой и беспощадной классовой борьбы опрокинула и вдребезги разбила созданные идеологами представления о «царстве разума» и путях к нему; люди и события вышли из-под контроля вождей революции; в огне революционного пламени сгорели сами вожди; созданные в ходе революции «общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей»¹.

При оценке подобного рода кризисов надо помнить, что любая общественная теория вообще, а тем более теория, еще не ставшая в полном смысле этого слова научной (как было с теориями XVIII века), узко, неполно отражает все многообразие явлений общественного бытия. Это неизбежное несоответствие теории и практики и выявляется резче всего в эпохи революций, ибо наступает пора претворения идеалов и лозунгов в жизнь, ибо сразу же, скачком, в громадном объеме расширяются масштабы и формы человеческой общественной деятельности, в нее включаются новые классы и слои. И если раньше на выявление пробелов той или иной теории нужны были долгие десятилетия, то теперь ее неполноценность или неполнота обнаруживаются за немногие месяцы, а то и недели, сам процесс этот идет крайне болезненно, в катастрофически резких формах, порождая быстрые скачки вперед и не менее быстрые отходы назад, разного рода духовные драмы (типа радищевской и герценовской), причем в обстановке гражданской войны споры и расколы в стане революционеров зачастую кончались, как это было в якобинской Франции XVIII века, трагическим исходом, когда «арбитром» дискуссий становилась гильотина.

За полтора-два столетия, прошедших со времени описанных нами событий, человечество не переставало учиться в школе революций и многому научилось. Но хотя революционная мысль современности куда богаче, глубже, многостороннее первых, во многом еще примитивных представлений, хотя она стоит на совершенно иной научной основе — мы не вправе терять и первые, малые крупинцы прошлого опыта. Не вправе не только потому, что он доставался такой дорогой ценой, но и потому, что прошлый опыт помогает нашей нынешней революционной борьбе.

Каждое новое поколение обращается к предкам, заново переосмысливает традиции не только потому, что совершенствовались методы исторического познания или увеличилось число известных фактов о прошлом. Главное — в ином. Жизнь движется противоречиями, и новая живая действительность выдвигает на первый план как раз те стороны и события прошлого, которые до того оставались в тени. Вместе с тем оказывается, что новое в действительности вообще нельзя понять глубоко без размышления о, казалось бы, всем известных фактах.

Стать подлинным революционером можно, только пройдя школу революций, усвоив хотя бы главные ее уроки. Было бы смешно обращаться к истории для того, чтобы учить великих деятелей прошлого, как им надо было творить революцию, не делать тех или иных «ошибок». Но было бы нелепо не учиться по-настоящему на их (и на своем собственном) нелегком опыте, не уяснять смысла стоящих за «ошибками» проблем, не искать лучшие способы их решения, как умели искать и находить Маркс, Энгельс и Ленин.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 268.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Э. РОЗЕНТАЛЬ

★

НА БЕРЕГАХ НИГЕРА

Я прожил год в Бамако — столице Республики Мали, преподавал студентам Высшей административной школы и ученикам лицея философию. В свободное время ездил по стране. Разумеется, я не берусь рассказывать здесь исчерпывающе о жизни молодой страны и ее народа, но попытаюсь поделиться тем, что видел своими глазами и о чем размышлял после многих встреч и бесед.

* * *

Плоская равнина. Красная земля. Желтая, иссушенная беспощадным тропическим солнцем трава. Белесое, выгоревшее небо. Это малийская саванна, протянувшаяся на две тысячи километров с юго-запада на северо-восток, от джунглей Гвинии до песков Сахары. В этом же направлении катит свои воды одна из самых могучих и величественных рек Африки — Нигер. Совпадение не случайное. Нигер — это влага для иссушенной земли, это рыба, это средство сообщения, это энергия для гидроэлектростанций.

Но Нигер протекал по земле Мали испокон веков, а настоящая жизнь началась здесь всего шесть лет назад. Жизнь свободных людей — без колонизаторов, без унижения, без угнетения.

На улицах Бамако слышна русская, чешская, польская речь. В Мали много специалистов, отцы которых никогда не угнетали африканцев, никогда не владели колониями. Их послали сюда страны социализма с наказом помочь африканским друзьям поскорее разделаться с наследием колониализма.

Это дух новой эпохи. И колонизаторы не могут не считаться с ним. Приходится приспособливаться, ловчить.

«Змея меняет кожу, но не нрав» — эту африканскую поговорку вспоминаешь здесь часто. Недалеко от дома, в котором я живу, — вилла какого-то французского чиновника. Во дворе злая собака. Она лежит по ту сторону ограды и, когда я прохожу мимо, провожает меня взглядом умных глаз. Но стоит ей увидеть чернокожего, как она буквально захлебывается лаем: приучена лаять на черных. Хозяева ее действуют теперь тоньше. Они улыбаются, пожимают африканцам руки. Но не прощаются с надеждой на то, что еще вернется «доброе старое время».

Правительство республики не отвергает помощи, от кого бы она ни исходила. И сегодня на улицах малийских городов можно встретить немало французов, американцев, англичан и других. Это специалисты, которые помогают республике налаживать хозяйственную жизнь, создавать национальную промышленность.

Под руководством американских инженеров-строителей старая деревня Джолиба, расположенная в сорока километрах от Бамако, превращена в современный благоустроенный поселок. Вместо круглых хижин с соломенными крышами здесь теперь кирпичные одноэтажные домики. Правительство республики искренне благодарило за

это американских специалистов. И в то же самое время в речи на первомайской демонстрации президент Модибо Кейта сурово осудил американскую агрессию во Вьетнаме.

Хотите помогать? Помогайте. Мы вам будем признательны. Но не ждите никаких политических уступок за свою помощь. Так говорят малийцы и так действуют.

Немного об «экзотике»

Солнце зашло. Краски постепенно сгустились. Небо стало пунцовым, затем темно-красным и наконец черным.

И тут же зажглись звезды. Необыкновенно яркие и незнакомые. Впрочем, были и знакомые, но их не сразу узнаешь. Ковш Большой Медведицы перевернут вверх дном, а Полярная звезда лишь угадывается на горизонте. В зените — широко открытый, немигающий глаз Марса, будто налитый кровью. Четко выделяются четыре зеленоватые звезды Южного Креста...

Наутро друзья повезли меня на машине в брус — так называют здесь саванну. Красная лента грейдера бежала по бесконечной равнине. За обочиной виднелись башенки, сооруженные термитами. Время от времени встречались баобабы, разлапистые, без листьев, с плодами размером с крупный баклажан, подвешенными на концах голых ветвей. Попадались и граненые «сырные» деревья, высокие и причудливые. Почему они названы сырными, я так и не выяснил.

Я ждал встречи с дикими зверями, со львами, всматривался в густую траву. Тем более что накануне мне рассказали об одном французе, видевшем сразу трех пум. Но я так и не встретил их ни разу. Хотя льва все же видел. Однако не в саванне, а в загоне бамакского зоопарка, огороженном высокими бетонными стенами. Выбраться из зоопарка в саванну, которая в двух шагах, зверям трудно. Зато из саванны в зоопарк они заглядывают нередко. Я сам наблюдал, как две обезьяны оживленно беседовали через решетку. Одна на воле, другая в клетке.

Слоны или жирафы осматрительны и вблизи от города не показываются. Их стада можно встретить километрах в ста от Бамако. У берегов Нигера водятся бегемоты, в реке много крокодилов.

Правительство проявляет заботу о животном мире республики, в стране создано несколько заповедников. На острел животных необходимо специальное разрешение.

Куда вреднее самых лютых хищников всякие летающие и ползающие твари, которых в Мали не счесть. Говорят, что все комары в Мали малярийные, а змеи ядовитые. Бич страны — тропическая малярия. Приходится ежедневно глотать таблетки ни-вакина для профилактики.

Из пресмыкающихся интересна плюющаяся кобра. Конечно, если смотреть на нее издали. С трех-четырех метров она точно попадает слюной в глаза. А слюна ядовитая, и, чтобы восстановилось зрение, приходится долго лечиться. Самые страшные — змеи-минутки, прозванные так за свойство их яда убивать человека в течение минуты. А свинье укус этой змеи ничто. Толстая кожа и слой жира не позволяют яду проникнуть в кровь. Но, к слову сказать, здешние змеи никогда не нападают первыми. Малярийные комары куда агрессивнее.

Время от времени дают о себе знать мухи цеце. На юго-западе от Бамако по дороге на Сегури у меня состоялось личное знакомство с этой разновидностью крылатых тварей. Укус ее напоминает осинный, однако место укуса не опухает. Если муха заражена, то обычно через несколько дней на месте укуса появляется небольшой фурункул. Но зараженных мух не так уж много. Врачи подсчитали — примерно две на сотню. Мне повезло: «моя» оказалась здоровой. А вот председатель Комитета по борьбе с африканскими болезнями француз Вернье оказался менее счастливым, ему пришлось лечиться.

В свое время укус зараженной мухи цеце был роковым. Целые деревни, заболев трипаносомозом — сонной болезнью, — засыпали навеки. Муха наводила ужас, терроризировала большие районы страны. Сейчас обнаруженное заболевание излечивается с

помощью химических препаратов. В особенно опасных местах страны населению каждые шесть месяцев делают профилактические прививки.

Есть в Мали и другая муха, точнее крохотная мушка, которая называется слоновой. После ее укуса на коже проступает яркая капелька крови. Вместе со слюной мушка вносит в кровь распространителя слоновой болезни. Кожные покровы затвердевают, разрастаются. Конечности становятся похожими на огромные лапы слона.

Попадаются и личинки, названия которых я не помню. Проникая в трещинки на теле, они со временем превращаются в червей, которые преспокойно живут под кожей. Извлечь червя хирургическим путем можно, только заморозив его. Он ядовит.

Самоотверженность врачей положила конец террору мух цеце, слоновой и многих других. Я знаком с одним из таких врачей — полковником Лонгионом, директором Института африканских болезней. Вот уже восемь лет он работает в Бамако над проблемами лечения и профилактики лепры (проказы). Я видел, с какой теплотой говорят о нем больные.

Лонгион — француз, но подчеркивает, что он корсиканец (что, по его словам, не одно и то же) и даже дальний родственник Наполеона. Впрочем, он тут же добавляет, что найти корсиканца — не родственника Наполеона почти невозможно. Помимо борьбы с проказой, у Лонгиона еще два увлечения. Он заядлый охотник (стены его комнат увешаны всевозможными охотничьими трофеями) и балетоман. Мечтает увидеть «Лебединое озеро» на сцене Большого. Он так и говорит: «Большого». К советским людям относится с уважением и денег за прием с них никогда не берет.

Ему под стать великолепный хирург мсье Ружери. В свое время он был с французской армией в осажденном Дьен Бьен Фу во Вьетнаме. А его коллега по госпиталю Пуэнже, вьетнамский хирург, вместе с Народной армией участвовал в осаде Дьен Бьен Фу. Сейчас они друзья.

Но среди французских жителей Мали я знаю и людей с черными душами колонизаторов, которые презирают африканцев. Они используют популярность своих гуманных соотечественников, чтобы вернуть страну в сферу французского господства.

Семьдесят лет Мали пребывало в этой сфере. И все эти семьдесят лет в стране свирепствовали проказа, туберкулез, сифилис, малярия, дизентерия. Самоотверженность врачей-одиночек не могла изменить официальную политику французских властей. Врачи открывали новые лечебные препараты, получали замечательные вакцины. Они пробирались в джунгли и саванну, чтобы лечить больных, делать им прививки. Часто они встречали холодный и даже враждебный прием, больные отказывались лечиться. Это вполне естественно, поскольку белого отождествляли с колонизатором и относились к нему с подозрением. Но представители колониальных властей усматривали в этом подтверждение расистской теории о неполноценности африканцев, которые якобы не доросли не только до независимости, но и до понимания необходимости лечиться, свойственного цивилизованным людям. Колонизаторы открыли в Сотубе близ Бамако показательную скотоферму, где улучшали породу быков и овец, но не удосужились создать больницы для лечения людей.

Ни одного туберкулезного или психиатрического диспансера, ни одного рентгеновского или кардиологического кабинета. И это в пятидесятых годах XX столетия!

Ныне положение в корне изменилось. Правительство Мали объявило войну болезням, привлекло к санитарному просвещению широкие массы общественности, всячески поощряет работу малийских, советских, французских врачей.

В стране действует восемь больниц, сорок два окружных медицинских центра, двести пятьдесят сельских диспансеров, сорок восемь центров по охране матери и ребенка и т. д. Только в 1963 году было вакцинировано около четырехсот тридцати тысяч малийцев, то есть, десять процентов населения.

Все больший упор делается на профилактическое обслуживание и предотвращение болезней. Уже сейчас эпидемические заболевания становятся редкостью. А когда они все-таки вспыхивают время от времени, то их удается погасить в самом начале. Год назад в районе Бамако возникла эпидемия сонной болезни. Против нее были брошены не только медики, но и полицейские, дружинники из бригад бдительности, работники просветительных учреждений.

В любой час дня и ночи вас мог остановить на улице полицейский и со знанием дела ощупать лимфатические железы на шее. Если ему казалось, что они увеличены, подозрительного немедленно направляли в институт Трипано, где в случае надобности он тут же подвергался вакцинации. Эпидемия была прервана в очень короткий срок.

В Бамако есть Медицинский центр, где лечат и воспитывают детей, пораженных полиомиелитом. Модибо Кейта отдал этому учреждению деньги, полученные им в качестве Международной Ленинской премии мира.

Лепра — это не только медицинская, но и большая моральная проблема. Правительство республики много делает, чтобы прокаженные — а их в стране насчитывают тысячами — не чувствовали себя отчужденными и отторгнутыми от общественной жизни.

Неизвестному гражданину, погибшему за Африку

В XIV—XV веках слава империи Мали спорила со славой Египта и Магриба. Ее территория простиралась от озера Чад до атлантического побережья. Многочисленные племена населяли эту землю. У каждого была своя история.

Основателем империи Мали считают Сундиату Кейта. Как-то вечером у костра я слушал монотонную, нескончаемую песню, которая рассказывала об истории Мали. Первый куплет начинался с описания подвигов Сундиаты. И вся эта песня, состоящая из двухсот куплетов и представляющая классический образец малийского фольклора, названа «Сундиата».

Сундиата в переводе означает лев, сын Суны. Суной звали мать Сундиаты. По иронии судьбы Сундиата родился слабым и хилым ребенком. Тонкие ноги не держали его, и он передвигался на четвереньках. Сундиата научился ходить лишь к десяти годам. Но постепенно он превратился в самого храброго и ловкого воина племени сун. Во всех соревнованиях со сверстниками он неизменно выходил победителем.

Данкаран, старший брат Сундиаты, завидовал его силе и ловкости, ревниво относился к его славе. При каждом случае он старался унижить брата в глазах окружающих. Будучи очень гордым по натуре, Сундиата не смог долго терпеть выходок своего брата-вождя, и однажды ночью он бежал на север, захватив с собой мать.

В отсутствие Сундиаты королевство Данкарана было разгромлено Сумангаре, вождем соседнего королевства Соссо. Сам Данкаран скрылся в джунглях Гвинеи. Тогда знатные люди племени сун вспомнили о младшем брате и направили к Сундиате гонца, прося его вернуться на родину.

У селения Кирина, недалеко от нынешнего Бамако, произошла битва. Сумангаре потерпел поражение. Он бежал с поля боя. А Сундиата не только восстановил власть в своем королевстве, но и захватил вскоре ряд соседних земель.

Около ста лет спустя страной правил Канкан Мусса, прозванный Великолепным. Это был период высшего расцвета империи Мали. В течение двадцати пяти лет царствования Канкана Муссы (1312—1337 гг.) в его владениях был порядок. Караваны купцов передвигались по стране без страха быть ограбленными, а путешественники пробирались в самые отдаленные места империи, не боясь отравленных стрел. Страну посещали гости из далеких заморских стран. В мусульманском университете, основанном в городе Томбукту, учились африканцы со всего континента.

Как-то Канкан Мусса решил посмотреть другие страны, а заодно и показать себя. Он отправился в Мекку. Утверждают, что в этом путешествии его сопровождало более восьми тысяч человек и огромный караван, нагруженный золотом. Канкана Муссу поразила красота арабской архитектуры, и на обратном пути он прихватил в Капре египетского архитектора, который застроил впоследствии улицы некоторых малийских городов.

Канкан Мусса еще больше расширил владения Мали.

Бамбара, сонган, диула, сенуфу, туареги и другие племена, жившие на территории Мали, выдвигали из своей среды могучих вождей, которые на время покоряли соседей, а затем их постигала участь побежденных.

А потом пришли белые колонизаторы. С ружьями и пушками. И постепенно все племена поняли, кто их главный враг. Они оказали пришельцам яростное сопротивление.

В 1877 году французы осадили город Сикасо. В течение пятнадцати суток они бомбардировали артиллерией крепостные стены, ходили на приступ. Отважные защитники города, возглавляемые Бабембой, отражали натиск врага, совершали смелые вылазки. Но силы были неравные. И на шестнадцатый день французы ворвались в город. Бабемба пронзил себя мечом, воскликнув: «Лучше смерть, чем позор!»

Под колониальным гнетом малийцы не склонили головы. Колонизаторам пришлось отправлять в разные концы страны одну карательную экспедицию за другой. Иногда карателей жестоко наказывали. Вождь туарегов Шейбун с сотней всадников целиком уничтожил французский карательный отряд вместе с полковником и капитаном.

Колонизаторы отвечали на сопротивление африканцев жестокими и подлыми мерами. Некий капитан Ундерберг, комендант города Сегу, организовал в своей резиденции пышный праздник и пригласил на него вождей более чем двадцати племен. А когда те собрались вместе, он приказал своим солдатам расстрелять их. Подобные зверства еще больше сплачивали различные племена в борьбе против общего врага. Сопротивление народов Африки росло. С ним сливались действия солидарности демократических сил всего мира, в первую очередь советского народа и народов всего социалистического лагеря.

Настал 1960 год. Под натиском национально-освободительного движения и мирового общественного мнения Франция вынуждена была предоставить политическую независимость своей бывшей колонии Французскому Судану, нынешнему Мали.

Кати — небольшой городок в двадцати километрах от Бамако. В свое время он был превращен колонизаторами в одну из крупнейших военных баз на территории Западной Африки. Здесь размещались казармы и провиантские склады, офицерский бар. На обширном плацу, где маршировали французские солдаты, был воздвигнут бетонный обелиск с именами французских военных, отличившихся в Африке.

Бар существует и сегодня. Его нередко посещают советские геологи. Кати — их основная база. А вот французских солдат нет. Последний взвод колониальных войск покинул Мали 5 сентября 1961 года.

Остался и бетонный обелиск. Только надпись на нем другая. Она гласит: «Неизвестному гражданину, погибшему за Африку! Павшим в дни Сопротивления славным борцам за свободу! Всем героям, сражавшимся за независимость! Славному малийскому народу!»

Это памятник сотням безвестных героев, своей самоотверженной борьбой подготовивших победу над колонизаторами. Это памятник и Бабембе. Его слова «Лучше смерть, чем позор!» стали сегодня лозунгом малийцев. Эти слова, как клятву погибшим, произнес перед обелиском малийский президент Модибо Кейта.

Томбукту. Мопти. Мали

В Мали туристов бывает немного. В основном — охотники, жадные до острых ощущений. Но острые ощущения дает не только охота. Я знаю страстных путешественников, исколесивших весь мир и отвыкших чему-либо удивляться и чем-либо восторгаться. И все же, проплыв на пароходе по Нигеру от порогов Куликоро до заливных лугов Гао, что составляет более тысячи километров, они беспрерывно удивляются и приходят в восторг.

Томбукту. Об этом городе знали далеко за пределами Африки. В Европе и Америке создавались географические общества «друзей Томбукту», о Томбукту писал (правда, никогда не бывав там) знаменитый Жюль Верн.

В одном из южных городков Франции стоит могильная плита, на которой высечено: «Рене Кайе, гражданину Томбукту». Рене Кайе посвятил всю свою жизнь одной

цели — добраться до легендарного города, увидеть его своими глазами. Трижды он предпринимал опасные путешествия, плыл по рекам на пирогах, пробирался сквозь сенегальские и гвинейские джунгли, болел тропической лихорадкой и другими африканскими болезнями.

Наконец он достиг желанной цели, и вместо огромного шумного города с двухсоттысячным населением, о котором он наслышался из легенд, Рене Кайе нашел небольшой поселок с суровыми людьми аскетического склада. Легенда пережила город.

Но легенда не обманывает. Когда-то Томбукту был перекрестком великого торгового пути, связывавшего север, запад и восток Африки. Караваны верблюдов, нагруженных солью, тканями, шли на юг. На север шли караваны с черными рабами, золотом и драгоценными камнями. На площадях города звучали все африканские диалекты.

Постепенно, с развитием морского транспорта караванный путь заглох и Томбукту превратился в заурядный город. К сожалению, от его прежних строений почти ничего не осталось, кроме нескольких мечетей, украшенных замысловатой вязью. Французы сравнивали с землей разрушенные временем стены университета и выстроили на их месте военный форт.

Улицы города покрыты слоем песка, который приносит сюда ветер из Сахары. Томбукту стоит на стыке пустыни с саванной. К северу — тысячи километров Сахары, пять часов непрерывного полета на самолете. Я смотрел в иллюминатор и все пять часов видел одно и то же: желтые пески, застывшие волны барханов. К югу от Томбукту — саванна. Такая же, как и везде в Мали. В сухой период — грязно-бурая, пыльная, в период дождей — ярко-зеленая, чисто вымытая. Излучина Нигера как бы сдерживает здесь натиск песков. Чуть восточнее Томбукту утомленная борьбой река отступает к югу.

Жители Томбукту туареги — суровый народ, такой же суровый, как и здешняя природа. Белые бубу — просторные накидки, ниспадающие до земли, — белые чалмы, белые шарфы, закрывающие рот и нос от мелкого песка наподобие повязок, которые надевают во время операции хирурги. Черные пронзительные глаза.

В Томбукту вас совершенно серьезно просят не выходить ночью из дома, так как вы можете встретить на улице белого всадника на белом верблюде. Для белого человека это означает близкую смерть. Туристы посмеиваются над этим, но все же стараются добраться до гостиницы — единственного в городе коттеджа европейского типа — до того, как перестает тарыхтеть движок маленькой электроустановки.

За Томбукту и сегодня сохранилась слава таинственного города.

А в четырехстах километрах к югу, где Нигер разливается на множество рукавов, стоит разрезанный рекой шумный и веселый город Мопти. Он полная противоположность мрачному Томбукту. Традиционные приземистые африканские постройки стоят вперемежку с белыми современными зданиями. Много зелени. Открытые и веселые лица горожан, шумные базары.

Малийские города выглядят каждый по-своему. У каждого свои традиции, своя история. И жители их разнятся и оттенком кожи, и чертами характера. Но сегодня все население страны связывает общность судьбы, общность борьбы за свободу, за новую достойную жизнь.

Конечно, все здесь обстоит далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ликвидация племенной розни и многих реакционных традиций, очень устойчивых и живучих, требует от руководства страной огромных усилий, колоссальной разъяснительной работы. Порой здесь даже проливалась кровь. Когда в 1963 году на севере республики вспыхнуло восстание некоторых туарегских племен, колонизаторы протрубили на весь мир о неизбежном и близком распаде малийского государства, о «крахе социального эксперимента, предпринятого африканскими марксистами».

Но как раз сами-то империалисты и пытались покончить с этим экспериментом.

Французские колонизаторы покорили свободолюбивых туарегов позже всех. Но и в го́лы колониального ига туареги не смирились. Колониальные власти беспощадно подавляли их восстания. А вот когда Мали стало независимым государством, бывшие колонизаторы начали подстрекать туарегов к вооруженному выступлению против закон-

ного правительства, за создание сепаратистского государства, противостоящего республике.

Однако в начале 1964 года волнения среди туарегов прекратились. Все население Мали поддержало политику правительства, направленную на ликвидацию феодальных отношений, которые особенно сильны были в северных районах. И что особенно важно — многие туареги помогали регулярной армии отыскивать отряды мятежников, указывали места, где прятались их главаря.

Ныне туареги, так же как и остальные племена, населяющие Мали, поддерживают политику правящей партии Суданский Союз — РДА. Впрочем, «поддерживают» не то слово. Потому что третья часть населения республики — члены партии. Они объединены в девять тысяч первичных квартальных и сельских комитетов, задача которых — стимулировать развитие производства и политической сознательности масс. Тот факт, что партия превратилась в массовую организацию, включающую представителей всех племен и социальных групп, — лучшее свидетельство политической и моральной общности малийского народа.

Контрасты Бамако

Ты больше, чем город, ты — страна,
Ты больше, чем столица, ты — Африка.

Так поется о Бамако в одной из малийских песен. И это очень верно. В столице республики, как в фокусе, собраны все проблемы политической, общественной и духовной жизни страны, проблемы общеафриканской значимости.

Здесь на каждом шагу встречаешься с парадоксами, которые могут поставить в тупик опытного социолога. Но, познакомившись ближе с самыми разнообразными и, казалось бы, противоречивыми деталями, убеждаешься, что все они составляют часть нераздельного целого, очень впечатляющего и своеобразного.

Центр Бамако напоминает южные курортные города. Прямые асфальтированные улицы, красивые белые дома, в основном двух-трехэтажные. Архитектура самая разнообразная: от суданской до ультрасовременной. Минарет в мавританском стиле соседствует с угрюмым готическим храмом. И тут же великолепный — из бетона и алюминия — Государственный банк. Пышной тропической зеленью окружены комфортабельные виллы. Их строили для себя французы. Они же насадили вдоль центральных улиц деревья. А вокруг центра — узкие кривые улочки, вонючие сточные каналы, глинобитные хижины, немощные мостовые, по обочинам которых пробивается чахлая, бледная травка.

Я бывал в домах малийцев. Это низкие строеньица, выходящие на улицу глухой стеной. Земляные полы. Окон нет. Толстые глиняные стены помогают сохранять в комнате относительную прохладу. На полу — низкий топчан или просто циновки. Возле дома — огороженный двор, где одна или несколько жен хозяйина занимаются домашней работой.

На пороге одного из таких домов сидит в ниспадающем до пят бубу старый африканец и слушает музыку, льющуюся из транзистора самой новейшей марки. Внезапно в переулок врываются звонкие голоса. Вприпрыжку, со смехом бегут из школы мальчишки и девочки. О чем-то рассуждают, размахивают руками. Портфели — на головах. Это типично по-малийски.

А лет шесть назад их сверстники не знали, что такое школа. Они проводили дни, помогая родителям по хозяйству или копаясь в грязи у сточных канав...

На берегу Нигера около нового, современной конструкции моста обнаженные по пояс женщины стирают белье. Какой-то турист навэдит на них объектив фотокамеры. К нему подходит полицейский и делает внушение: неудобно, мсье, вы же культурный человек.

Совсем неподалеку — здание каное-клуба. Причал с уходящей в реку оградой из железных прутьев. Здесь под цветными зонтами за столиками тянут виски с содовой французы — женщины в нейлоновых купальниках, мужчины в плавках. Играет радиола. К причалу подходят глассеры и мчат любителей водных лыж...

На противоположном берегу Нигера — небольшой городок. Красивые коттеджи, очень напоминающие виллы центральной части города. Но это не наследство колонизаторов. Поселок выстроен на месте пустыря совсем недавно. Государство сдает жилища по очень сходной цене, и сюда уже перебрались из глинобитных лачуг сотни малийских семей.

...Солнце палит. На стенде Торговой палаты — ежедневный бюллетень погоды. Сегодня 44° в тени.

Я растегаю предпоследнюю пуговицу совершенно мокрой рубашки. Навстречу мне куда-то деловито вышагивает поджарый английский дипломат. В черном костюме, при галстуке. Непроницаемое лицо, и ни одной бисеринки пота на лбу. Непостижимо, как это у него получается? Вероятно, для этого надо быть английским дипломатом. Как-никак вековой опыт заморской деятельности.

Улицы заполнены машинами, велосипедистами, мопедами, пешеходами. Все спешат, как в любом другом столичном городе Европы или Америки. Только краски поярче и попестрее.

На мопедах проносится стайка монашек. Дорогу переходит архиепископ в фиолетовой сутане. На темени — скуфейка, тоже фиолетовая, в руках томик библии. Ему недалеко — просторная архиепископская обитель напротив храма. Он косится на темнокожих верующих, которые идут, держа под мышкой коврики и соломенные подстилки. Эти идут мимо католического храма, в мусульманскую мечеть. Сегодня пятница, и там большое моление. А ему так хочется увести их всех под своды своей церкви. По утрам в пронзительные вопли муллы, доносящиеся с высокого минарета, вплетается перезвон колоколов католической церкви.

Религия еще властвует здесь, но уже не безраздельно.

Неподалеку от католического храма — книжный магазин «Либрери популер». Африканец в форме капитана-парашютиста просит симпатичную шоколадную продавщицу: «Мадемуазель, выпишите, пожалуйста, «Материализм и эмпириокритицизм». Продавщица выписывает. «Спасибо, мадемуазель. Скажите, а «Происхождение государства, семьи и частной собственности» вы так и не получили?» — «На днях поступит. Могу предложить вам избранные сочинения Ленина в трех томах, только что привезли».

Продовольственный магазин «Принтанья» — самый большой в городе. Еще совсем недавно его полки ломились от всевозможных сортов вин, паштетов, шоколада с орехами и фруктами, различного печенья, спагетти, консервированных овощей, сыров, колбас, всевозможных специй. Сейчас в магазинике пусто. Манговый джем, минеральная вода, концентраты рыбного супа.

Магазин обеспечивается главным образом французскими продуктами. В Париже проходили франко-малийские экономические переговоры. Они затянулись. Французы настаивали, малийцы не уступали. В «Принтанью» завозить продукты не торопятся.

Дом напротив сверкает большими зеркальными стеклами витрин. Над ними вывеска «Рауль Добри. Товары высшего качества». Витрины пусты, магазин закрыт.

В Париже выторговывают политические уступки, придерживают товары, а в Бамако выступают с речами, желая Мали успехов на пути строительства новой жизни. Вот одна из наглядных картинок неокOLONIALИЗМА. Все же товары понемножку завозят. И не теряют надежды вернуть страну в лоно Запада. Смертельно боятся заразного примера, который Мали показывает окружающим странам. Один из поборников французского колониализма генеральный секретарь партии ЮНР Ж. Бомель как-то заявил, что прекратить помощь африканским странам — значит «открыть путь хаосу, анархии и подрывной деятельности». Этими словами он именуется путь революции.

Плас-такси. Это центральная стоянка автомашин. Завидев прохожего издали, таксисты открывают двери, жестом приглашая внутрь. Тариф единый: десять метров или шесть километров — цена сто франков. Малийские шоферы любят поболтать, как все шоферы на земном шаре. Так же поругивают пешеходов и других водителей. В любом случае, даже когда заведомо не правы. Однажды я был свидетелем стычки двух водителей, сопровождавшейся таким обменом любезностей: «Куда прешь, Чомбе!» —

«Эй ты, Гитлер, гудеть надо!» Я спросил своего водителя, кто такой Гитлер. Он ответил, что это такое европейское ругательство.

Базар. Огромная площадь под крышей на металлических столбах. Но торговки не умеваются под навесом, и многие раскладывают фрукты и овощи прямо на земле, под палящим солнцем. Целый день здесь стоит многоголосый и многоязычный гам, пахнет сотнями запахов и пестрит сотнями оттенков. Горы не виданных у нас плодов: бататы, папинусы, авокадо. Горы знакомых глазу арбузов, дынь, помидоров, ананасов, бананов, лука, чеснока, лимонов, апельсинов, баклажан. Уверяют, что папайя предохраняет от рака, манго называют королевскими плодами. Свежее мясо, рыба, куры, индейки, бараны... И так круглый год.

А ведь, пожалуй, малийцы проживут и без «Принтаньи».

А малийские мальчишки считают, что можно прожить и без рынка. Они швыряют камнями в густые кроны манговых деревьев, и на землю сыплются плоды. Успевай только подбирать. На мальчишек цыкают женщины, царственной походкой шествующие по городу. Чтобы удержать на голове пирамиды тазов и корзин с фруктами, надо идти, выпрямившись, как струна. Законом физики их обучил опыт многих поколений. Когда в Бамако приезжал зарубежный цирк и жонглер сосредоточенно «работал» с каким-то кувшином на голове, зал недоумевал: неужели ему за это платят деньги?!

Грациозность женщин подчеркивается яркими сарафанами, плотно облегающими тело и ниспадающими до пят. Царственная осанка малиек под стать их характеру. Они очень гордые женщины и не скрывают этого. Гордость закономерная — они самые свободные женщины на всем африканском континенте.

Малийки и в былые дни не прятали под покрывалом своего лица, что считалось высшим проявлением женской свободы. Теперь к хорошим традициям прошлого добавились хорошие законы новой жизни.

«Женщина — такой же активный строитель социализма, как и мужчина. Она имеет равные с мужчиной права и обязанности». Этот принцип, провозглашенный правящей партией Суданский Союз — РДА, не голый лозунг. Нет ни одного партийного органа, в том числе и высшего, где бы не было женщин. И они действительно активны. Нередки случаи, когда женщины заставляют своих мужей вступать в кооперативы, учиться.

Я был в селении Семанко, что в двадцати километрах от Бамако, где по инициативе Национального комитета женщин создавалось коллективное поле в четыре гектара. На торжественном открытии присутствовали председатель Национального комитета женщин Мариам Травеле, супруга президента, сам президент Модибо Кейта, политический секретарь партии Идрисса Диарра, государственный министр Жан-Мари Коне, председатель Национального собрания Аласане Хайдара. Под звуки тамтамов, баллафонов, джембе и других национальных инструментов они вместе с женщинами начали возделывать поле и засеивать его арахисом и сорго.

Ныне малийские женщины пользуются правами наравне с мужчинами. Правда, в стране сохранились еще некоторые традиции, как хорошие, так и дурные. И сегодня женщина, выходящая замуж, обязана принести мужу приданое. Когда-то оно составляло круглую сумму, доходящую до трехсот тысяч франков. Законом от 3 февраля 1962 года эта сумма снижена до двадцати тысяч франков для девушек и десяти тысяч франков для женщин, бывших уже замужем. Двадцать тысяч франков — это цена костюма среднего качества. Кодекс о браке запрещает, за очень редким исключением, выходить замуж девушкам моложе восемнадцати лет. Разводы запрещены. В случае смерти мужа все его состояние переходит вдове. А раньше не только имущество покойного мужа, но и дети обязаны были покинуть мать и уйти к родственникам покойного. Волей-неволей вдова становилась женой одного из мужнинных братьев.

В Мали сохраняется до сих пор полигамия; по мусульманским законам малиец может иметь четырех жен.

Я разговаривал на эту тему однажды с мадам Дьябате — счетоводом одной из советских организаций в Бамако «Многоженство, конечно, серьезная проблема. — сказала мадам Дьябате, — но при нынешнем состоянии малийской экономики и уровне

интеллектуального развития масс она, к сожалению, остается социальной необходимостью.— Лукаво улыбнувшись, она продолжала: — Вы читаете «Франс суар» с его бесчисленными адюльтерными историями? У меня такое впечатление, что у многих белых тоже по нескольку жен, только они называются иначе. Вы считаете, что это лучше?»

Артизана. Дом ремесел — длинное приземистое здание со множеством отсеков. Здесь работают малийские умельцы. Они на ваших глазах из зменных и крокодиловых кож изготавливают дамские сумки, портфели, бумажники, вырезают из дерева замысловатые фигурки, выдалбливают традиционные маски бамбара, чеканят золотые украшения, вкрапливая в них узоры мельчайших алмазных камешков. Тут же мальчишка-подмастерье в фартуке раздувает мехами угли жаровни, подготавливает золотую болванку для обработки...

К двенадцати часам зной становится нестерпимым. Приближается час отдыха — сиеста. Все работы прерываются. Это закон, продиктованный людям африканским солнцем.

Поток мусульман возвращается с большой молитвы. Вечером не меньший поток устремится на стадион имени Мамаду Конате, где состоится очередной матч. Малийцы любят футбол и знают многие зарубежные клубы, в том числе советские.

Перед сиестой улицы особенно многолюдны. Все спешат домой. У полицейских много работы, но они не суетятся, регулируют уличное движение с чувством собственного достоинства.

Напротив виллы, в которой я живу, — трибунал. У входа в два ряда стоят автоматчики в зеленых беретах. Дневное заседание закончилось, и из зала выводят преступников. Они идут понурые сквозь строй солдат. Это группа служащих, попавшихся на хищении товаров. Сигареты, сгущенное молоко — воровали по мелочи, но наказание их ждет строгое.

Обычно суд республики старается воспитывать провинившихся. На одном заседании судили малийца, плохо обращавшегося со своей женой. Ему присудили десять суток ареста. А он встал и заявил, что не согласен с приговором. Судья терпеливо ему разъяснил, что жена не собственность мужа, а подруга, равная ему во всем. Он опять не понял. Ему еще раз объяснили. Он задумался. «Ну, ладно, согласен».

Чиновников, которые проворовались, убеждать не будут. Они отлично все понимают сами. Их накажут.

«Са ва!» «Дела идут!»

В Бамако наступил вечер. Жара спала, хотя и душновато. Сейчас жаркий сезон, и ночью дышится ненамного легче, чем днем. Но уже прошло два-три дождя. Впрочем, дождь — это не то слово. Поток с неба. В одну секунду на тебе не остается сухой нитки. Гром грохочет, не умолкая. Молния не гаснет. А когда тучи уходят и снова появляется солнце, от земли поднимается густой пар, как от раскаленного утюга, облитого водой. Разве только что земля не шипит при этом.

Прошли первые дожди. А скоро такое удовольствие можно будет получать ежедневно и по нескольку раз. Надвигается сезон дождей. Его предвестники — огромные летучие мыши. Размах их крыльев достигает семидесяти сантиметров.

Темнеет здесь быстро — тропическая Африка не знает сумерек. С последним лучом солнца почти сразу же приходит ночь.

Государственные магазины уже закрыты, частная торговля действует. На ящиках, освещенных тусклым светом фонаря, лежат на лотках товары. Здесь французские духи и алжирские сигареты, китайские игрушки и арабское мыло, советский сахар и бразильский кофе, немецкие авторучки и сенегальское вино.

Когда в магазинах пустуют полки, частнику — раздолье. Это подлинный бич малийской экономики. Частные торговцы, особенно мелкие, усложняют организацию торгового оборота, препятствуют рациональному плановому распределению товаров. К сожалению, без них обойтись пока еще нельзя.

Государству приходится вести гибкую политику. Когда в 1960 году образовалась республика, даже учесть всех частных торговцев — французских, ливанских, сирийских, малийских — было так же невозможно, как собрать пыль, носящуюся в воздухе. А ведь они определяли снабжение населения. Национализировать мелкую торговлю в таких условиях означало бы полностью нарушить торговую жизнь. Припрятать товары частнику не составляло труда.

Правительство пошло по другому пути. Оно создало государственную экспортно-импортную компанию «Сомиекс», обладающую монополией на ввоз и вывоз товаров первой необходимости. Через оптовые магазины «Сомиекса» товары продавались частным торговцам и потребительским кооперативам. Кроме того, населению настойчиво разъяснялись преимущества кооперативной торговли.

Если же учесть, что «Сомиекс», продавая частнику товары, устанавливал одновременно и розничные цены на них, то станет понятным, как неуловимая ранее мелкая торговля попала под контроль государства.

Создание «Сомиекса» — смелый шаг правительства Мали. Модибо Кейта и его соратники понимали, что это вызовет недовольство среди торговцев — ведь таким образом ограничиваются их прибыли. И они не ошиблись.

Но правительство продолжало укреплять «Сомиекс» и усиливать контроль над частной торговлей. Вводимый ныне новый статут коммерсанта в Мали устранил из торговли тех, кто ведет себя нелояльно и осуществляет торговые операции за границей через голову «Сомиекса». Статут запрещает заниматься коммерцией молодым людям, что позволит приобщить их к производительному труду.

Мой приятель Усман Майга владеет небольшой лавочкой. Обычно, завидев меня издали, он кричит: «Са ва!», что соответствует нашему «Дела идут!». А сегодня не заметил, как я подошел к нему, — углубился в чтение газеты «Эссор» (орган партии), где напечатано выступление министра финансов Атахера Майги с разъяснением нового статута коммерсанта. Я кричу над ухом Усмана: «Са ва!» Он откликается невесело. Да, он вряд ли потянет. Слишком мелок. Но молод и здоров. Не пропадет. Работы в Мали много, непочатый край.

Есть и совсем мелкие торговцы, которые еще долго не исчезнут. У этих нет постоянного места, они ходят со своим товаром по городу. Несколько коробков спичек, несколько пачек сигарет, жевательной резинки, кулечки конфет — вот и весь их товар. Особенно много их по вечерам у кинотеатров. Они толпятся у билетных касс и суют вам свой товар в карманы. От них приходится отмахиваться, как от назойливых мух.

Зарево над саванной

По ночам в сухой период горизонты Бамако часто окрашиваются светом далекого зарева. Это горит саванна. Как-то я наблюдал вблизи эту величественную и трагическую картину. Пламя с треском пожирало высокую, в рост человека, сухую траву. Над огромным костром оголтело кричали птицы — там, внизу, гибли их птенцы. Перебегали дорогу, спасаясь от огня, стада обезьян. Обычно очень осторожные, они не обращали сейчас внимания на присутствие человека. В воздухе вместе с искрами и пеплом носились тысячи кузнечиков. Надо было внимательно смотреть под ноги — змеи тоже в эти моменты забывают осторожность.

Огонь в бресе — не редкость. Крестьяне поджигают саванну, считая, что зола обогащает почву. Действительно, в первый год земля дает богатый урожай. А затем становится бесплодной на десятки лет. На дорогах в бресе часто встречаются красочные плакаты, где в картинках, понятных и неграмотным, разъясняется вред этой традиции.

Мали — типично аграрная страна с общинным земледелием, похожая на десятки других стран Африки, страдавших в течение долгих десятилетий от колониального гнета. Правительство республики стремится направить сельское хозяйство на социальные рельсы прежде всего путем создания крупных кооперативных хозяйств.

В Мали никогда не существовало частной собственности на землю. Поэтому крестьянин никогда не был привязан к «своему» клочку. Он мог свободно занимать и обрабатывать любой свободный участок. Сейчас вся земля стала собственностью государства, но положение крестьянина в этом смысле не изменилось — он по-прежнему может обрабатывать приглянувшийся ему участок земли и пользоваться благами своего труда.

Труд под нещадно палящим солнцем тяжел. А плоды мизерны. Да и чего можно ждать, если основная техника — мотыга. О технологии обработки земли уже сказано — огонь и зола. Крайне тяжелы и трудоемки обработка и уборка урожая.

Правительство поставило задачу: превратить этих мельчайших производителей в современных сельскохозяйственных работников. Министерство развития, которым руководит опытный государственный деятель и писатель (его перу принадлежат книги «Во время грозы», «Смерть Чиака», «Руководители Черной Африки») доктор Сейду Куйате, направило в брус группу самых опытных и наиболее сознательных крестьян. Переходя из деревни в деревню, они обучают жителей искусству севооборота, управлению плугом, дрессировке быков ндама, служащих тягловой силой.

Ходоки от деревень в свою очередь посещают передовой сельскохозяйственный район Сегу, набираются там опыта, которым затем делятся по возвращении домой. Они рассказывают о преимуществах кооперативного хозяйства, о жизни новой деревни.

Эту жизнь уже сегодня можно видеть воочию. Когда я только приехал в Республику Мали, друзья посоветовали мне съездить в Джолибу, деревню, расположенную в сорока километрах от Бамако. Это та самая Джолиба, которую реконструировали под руководством американских строителей. Нынешняя Джолиба скорее поселок городского типа. Население ее 1513 человек. Из них 245 детей и 40 стариков. Трудоспособные жители работают. Каждый на всю деревню, а вся деревня на каждого. Это малийская нгввь.

Джолиба — старая деревня: те, кто живет в ней ныне, — уже четырнадцатое поколение. Старики рассказывают, что и десятки лет назад джолибцы жили дружно, помогали друг другу в тяжелом труде. И все же когда партия призвала крестьян объединяться в кооперативы, жители деревни почесали в затылках, как это делают все крестьяне в мире, встречающиеся с чем-то новым, неизведанным — кто его знает, чем это пахнет, — почесали и все-таки решили: хуже не будет. Попробуем, пожалуй. Для пробы создали небольшое коллективное поле. Скептики говорили: государство заберет у вас все, что это поле даст. Поле засеяли арахисом и получили три тонны орехов. Государство не отняло их. Скептики не сдавались: вот продадите, а вырученные деньги пойдут государству. Продали. В Министерстве развития сказали: деньги ваши, можете использовать их по своему усмотрению, но с таким условием, чтобы они расходовались с пользой для всего коллектива. Тогда скептики тоже стали членами коллективного поля.

Поле значительно расширилось, его засеяли не только арахисом, но и хлопком, внесли удобрения. Получили неплохой урожай. Вырученные деньги пошли на дальнейшее расширение производства. Купили мельницу и тем самым освободили женщин от изнуряющей молотбы. Женщины включились в общую работу на полях. Производительность труда возросла.

Заместитель председателя сельской группы Джолибы Мориба Коне рассказал, что в 1965 году решили несколько уменьшить вложения в производство. Надо было подумать о том, чтобы поднять культурный уровень деревни. Построили клуб для молодежи — большой дом, двадцать шесть метров в длину и пятнадцать в ширину. Помимо клуба здесь разместились помещение для заседаний членов кооператива, магазин промышленных и продовольственных товаров (раньше каждый житель деревни сам ездил покупать себе мыло, спички, соль, сахар или приобретал их втридорога у посредников-торговцев; теперь товары закупаются оптом и продаются гораздо дешевле в магазине). Начинается строительство школы на два класса, библиотеки, швейной мастерской.

«Сегодня, — говорит Мориба, — у нас в кооперативной кассе пятьсот семьдесят тысяч франков. Снова увеличим темпы производства. В будущем году думаем удвоить урожай всех продуктов».

Руководители страны, поддерживая опыт Джолибы, объявили ее образцовой деревней.

Малийские крестьяне внимательно наблюдают за опытом Джолибы, сравнивают жизнь джוליбцев со своей собственной, подсчитывают, делают выводы. И можно не сомневаться, что вывод будет единодушным. «Мы не мыслим теперь жизнь без кооператива», — говорили мне многие жители Джолибы. Путь Джолибы — это путь малийской деревни. Точнее сказать, начало пути, так как и передовое хозяйство Джолибы базируется на примитивных орудиях труда. Это простой плуг и сеялка, мотыга, тяловые животные. При простой кооперации даже с помощью этих орудий достигается значительное повышение производительности труда. Однако наступит день, когда крепшие малийские кооперативы окажутся перед необходимостью коренного технического переоснащения.

Республика рассчитывает на иностранную помощь, которая дает ей сельскохозяйственные машины. Но это тоже может удовлетворить потребности сельского хозяйства только на первых порах. Не следует забывать и о таких серьезных трудностях, как доставка тяжелых механизмов в страну, не имеющую выхода к морю, как отсутствие серьезной ремонтной базы, как проблема эксплуатации техники (часто механизмы, хорошо зарекомендовавшие себя в Европе или Америке, оказываются непригодными в условиях Африки). Я своими глазами наблюдал, как два верблюда монотонно вращали по кругу тяжелый ворот, в то время как рядом стоял новенький электромотор, отказавшийся работать на жаре.

К тому же чрезмерный упор на иностранную помощь отрицательно сказывается на структуре национального бюджета. Вряд ли можно считать нормальным положение, при котором капиталовложения в экономику на девяносто процентов осуществляются за счет иностранных даров и займов.

Выход из указанных трудностей — создание своей отечественной промышленности, и правительство Мали хорошо это понимает. Но тут возникают свои трудности, главные из которых — отсутствие какой-либо промышленной базы. В течение семидесяти лет французские колонизаторы искусственно препятствовали развитию промышленности в Мали. В отличие от многих своих колоний они здесь даже не вели серьезных геолого-изыскательских работ, опять-таки памятуя, что вывезти сырье из глубины Африки трудно и дорого. Их интересовало только золото и драгоценности, о которых рассказывали древние малийские легенды.

Сейчас руководство страны основное внимание уделяет созданию промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырье. Прежде всего это относится к созданию и модернизации мясокладобоев. Мали часто называют мясной лавкой Западной Африки. Здесь говорят, что на каждого малийца приходится единица крупного рогатого скота. Всего в стране около 4,5 миллиона голов скота. Это огромное богатство, и правительство стремится рационально его использовать.

Недавно открытый завод в Куликоро производит растительное масло и мыло, завод в Багинде — фруктовые и овощные консервы, конфитюры, соки, в Сотюбе начата промышленная выработка ковров, в Янфолила разворачивается керамическое производство, в Сегу — текстильное.

Конечно, все это только первые шаги, но они радуют, особенно если учесть, что за все годы колониального господства французы не построили в Мали ни одного завода. Они, правда, организовали в Бамако специальные курсы, заявив, что их цель — подготовить рабочих для своей колонии. Эти курсы так громко и назывались — «Школа рабочих». Будущие рабочие изучали на этих курсах... греческий язык и латынь. О токарном же станке они не имели ни малейшего представления. «Школа рабочих» была широковещательной рекламой, призванной показать, что колонизаторы заботятся о судьбах своих колоний.

Исподволь правительство готовит базу и для развития национальной индустрии. Совместно с соседними странами разрабатывается план создания гидроэлектростанции мощностью в два миллиарда киловатт-часов на реке Сенегал в районе Гуина. В больших масштабах ведутся геологические изыскательные работы. Здесь большую помощь оказывают советские геологи. Начинается строительство цементного завода, который

Советский Союз передаст в качестве дара малийскому народу. В Бамако построен профессионально-технический центр, оснащенный самыми современными станками и оборудованием. Наши специалисты уже подготовили здесь первые национальные кадры — токарей, фрезеровщиков, литейщиков, шлифовальщиков и рабочих других специальностей. Это первые индустриальные рабочие страны. Сам профтехцентр постепенно превращается в современный завод.

Мали подтверждает своим опытом, что в наше время, опираясь на богатый опыт международного рабочего движения, прежде всего на опыт социалистических стран, можно начать движение к социализму, практически не имея своего рабочего класса. Но опыт же Мали показывает, что без рабочего класса социализма достигнуть невозможно. Основная проблема молодой республики — создание отечественной промышленности, национального рабочего класса. Эта задача не только чисто экономического плана, но и, что не менее важно, социального.

О пище духовной

...В Бамако восемь кинотеатров. Все они под открытым небом, очень вместительные, с огромными экранами. И все обслуживаются французским прокатом. Центральные кинотеатры — «Вокс» и «Рекс». Здесь каждый вечер демонстрируется по два художественных фильма. Это в основном французские и дублированные на французский язык американские, английские и итальянские фильмы. Все они примерно двух-трехлетней давности. Зрителей мало, большинство мест пустует.

Изредка демонстрируются советские фильмы. Сегодня в «Воксе» — «Летят журавли» и «Незнакомец с северного экспресса», американский фильм ужасов Хичкока.

Хорошие фильмы — большая редкость. Большая часть — ремесленные подделки и кроваво-детективная стряпня. Как правило, лучшие фильмы — итальянского производства, а худшие... тоже итальянского. Это нескончаемая серия костюмных «фильмов века», как они звучно преподносятся в рекламных роликах, очень шумные и глупые. Мечи, шиты, туники, лошади и прочий реквизит, так же, как и актеры, переходят из одного библейского фильма в другой. А иногда даже повторяются целые игровые эпизоды. Так, скажем, в фильме о Троянской войне можно увидеть сцену битвы, которая уже демонстрировалась в фильме о сражении при Фермопилах.

Малийская кинематография еще очень молода. Еженедельно выходит киножурнал «Малийские новости», рассказывающий о наиболее интересных событиях в стране. Время от времени выпускаются короткометражные цветные фильмы о различных праздниках, поездках правительственных делегаций в другие страны.

В Бамако есть маршрутные такси. Они называются «дурэ-дурэ». Это пикапы со скамейками и брезентовым верхом. Едут ли жители на рынок или на работу, с молитвы или из школы, из кузова всегда несутся дробные звуки тамтама или пенья. Угрюмый малиец — редкость. Открытая, доброжелательная улыбка — явление всеобщее. Я ни разу не слышал, чтобы малиец пожаловался на свое недомогание. Если верить им, у них всегда все отлично. На ваш вопрос всегда вам ответят, что чувствуют себя великолепно.

Меня всегда поражала неутомимость малийцев на их празднествах.

Рамадан — главный и самый веселый мусульманский праздник. Очевидно, потому, что ему предшествует суровый месяц карема. В период карема царят жесткие правила. От восхода и до захода мусульманину запрещено брать в рот маковую росинку. Он не имеет права ни курить, ни пить воду. Запрещено даже глотать слюну.

Но вот наконец на небе появляется тонкий серп нового месяца. Это сигнал, освобождающий от карема. Начинается рамадан. Едят, пьют и танцуют под звуки гамтамов до рассвета. Танцуют часами, до изнеможения. Как-то я попал на репетицию профессионального ансамбля танца. И вскоре незаметно для себя из зрителя превратился в участника, начал пританцовывать и что-то подпевать. Руководитель ансамбля Мамаду Бадиян хлопнул меня по плечу и сказал, что при известной тренировке —

«са ира!» — дело у меня пойдет. Что ни говорите, а в звуках тамтамов есть что-то колдовское, захватывающее.

В первое утро рамадана состоится большая молитва, «гранд приер». Вся площадь перед mosque заполняется людьми. В сопровождении эскорта мотоциклистов приезжает президент Модибо Кейта.

Надо, однако, заметить, что с каждым годом в Мали появляется все больше людей, которые с удовольствием празднуют рамадан, но не соблюдают законов карема, не боясь возмездия аллаха.

Помню, как-то один из лицейстов слушал мою лекцию и грыз орехи кола. На мой вопрос, а как же карем и его законы, он ответил, что карем — это для папы с мамой.

Марксизм, коммунизм, религия

Курс диалектического и исторического материализма учащиеся слушают с огромным интересом. Ко мне на лекции нередко приходили лицеисты из других классов. В этом году марксистская философия была введена как эксперимент лишь в одном выпускном классе лицея, а в остальных преподается философский идеализм. Ученики слушают, сравнивают, делают выводы.

И мне кажется, что сравнение идет на пользу марксизму. Так, в Высшей административной школе, готовящей кадры будущих экономистов, юристов, дипломатов, марксистская философия вытеснила буржуазную, хотя учебная программа по философии скопирована с программы Сорбоннского университета. Парадокс, которых в Мали немало.

Когда я ехал в Африку, меня предупреждали, чтобы в лекциях я ненароком не задел религиозных чувств учащихся. Это было довольно сложно — ведь материализм испокон веков задевал религиозные чувства. Но я быстро убедился, что все обстоит гораздо проще. Как правило, малийская молодежь мыслит трезво. Она стремится поскорее приложить свои силы к практической деятельности. Вот почему ей импонирует марксизм, учение, опирающееся не на небо, а на твердую землю. Я говорю об учащейся молодежи, а не о старшем поколении, которое в подавляющем большинстве чрезвычайно религиозно. Как-то на перемене ко мне подошли несколько лицейстов и торжественно заявили, что они перестали верить в бога. А я убежден, что они и не верили в него по-настоящему — их религиозность была традиционной, но в последние годы сама жизнь подвела их к выводу, что не бог, а сам человек определяет свою судьбу. Некоторые друзья мне, правда, говорили, чтобы я не обольщался насчет материалистического мышления моих учеников. Их материализм объясняется якобы тем, что они боятся получить пятерку или шестерку (здесь двадцатибалльная система отметок и пятерка равносильна нашей двойке). Но, согласитесь, если страх перед плохой отметкой сильнее страха перед аллахом, то вера в него весьма сомнительна.

Правительство официально поддерживает мусульманскую религию. Некоторые руководители даже утверждают, что в условиях Мали религия способствует строительству социалистического общества.

Странно, не правда ли? Марксизм и религия! Но не следует торопиться с выводами. То, что со стороны кажется иногда ошибочным или странным, в условиях данной страны смотрится совершенно другими глазами.

Не берусь судить, насколько религия способствует строительству социализма в Мали, но я твердо убежден, что начать здесь в нынешних условиях кампанию против религии было бы непоправимой ошибкой. Это неизбежно привело бы к разобщению существующей сейчас сплоченности социальных сил республики. К тому же в этом нет и спешной необходимости. Духовенство Мали, малийские муллы не оказывают сопротивления революционным преобразованиям, которые осуществляет правительство. В условиях этой страны нетерпимость по отношению к религии была бы серьезной ошибкой: убеждать темного, неграмотного человека в том, что аллаха нет, — лучший способ сделать из него религиозного фанатика.

Настоящая действенная борьба против религии в таких странах, как Мали,— это антирелигиозные лозунги, а ликвидация неграмотности, духовного невежества. А вот как раз борьба с неграмотностью ведется здесь в чрезвычайно широких масштабах.

Некоторые французские преподаватели общественных наук убеждены, что подобные парадоксы — следствие теоретической непоследовательности малийского руководства. Но им приходится нелегко — ведь надо считаться с провозглашенным в Мали и проводимым весьма последовательно курсом на создание социалистического общества. Вот и приходится изворачиваться. Утверждают, что социализм предоставляет человеку социальное равенство, но отнимает у него такую ценность, как свобода. Капитализм же, напротив, предоставляет человеку идеологическую свободу, но в условиях социального неравенства. Вывод из указанной схемы напрашивается сам собой — надо слить социализм с капитализмом, отбросив их отрицательные стороны. Но как слить? В качестве ответа на этот вопрос приводятся многочисленные выдержки из американских экономистов и социологов Джеймса Бернхейма и Уолта Ростоу, французских — Франсуа Перру и Раймона Арона. А сводятся они все в конечном счете к тому, что человеку незачем ломать голову над решением социальных проблем и устраивать революции, ибо по мере развития техники все социальные проблемы решаются сами собой.

Подобные же идеи, но под другим соусом протаскивают миссионеры из различных «корпусов мира» и «армий свободы». С одним из них я познакомился в саванне. Это был француз Раймон Бордые, торговец. Он очень обрадовался, узнав, что перед ним человек из Советского Союза. Отрекомендовавшись убежденным бухманистом, он тут же извлек из своего «джипа» чехолчик и вытащил пожелтевшие от времени листки — «Манифест ко всем коммунистам мира», изданный организацией «Моральное перевооружение». Эта организация была основана американским священником Фрэнком Бухманом, убежденным сторонником которого Бордые себя и считает.

«Руководимые богом коммунисты,— прочел я в этом «Манифесте»,— могли бы увлечь мир в самую грандиозную революцию всех времен». Из дальнейшего чтения выяснилось, что под «грандиозной революцией» «Манифест» подразумевал исправление человеческих характеров, искоренение из души зла и утверждение на этой основе на земле социальной справедливости. «Многие люди говорят, что проблема заключается в капитализме или коммунизме, в том или ином классе, той или иной расе. Между тем дело не в коммунизме, а в характере, не в классе, а в характере, не в расе, а в характере». Цель подобных рассуждений очевидна — убедить африканцев в том, что им следует заниматься не преобразованием экономики, а самоусовершенствованием.

Сегодняшнюю Африку называют динамическим континентом. И Мали в этом плане не составляет исключения. Поэтому малийцев мало удовлетворяют призывы к смирению и терпению.

Есть среди европейцев в Мали и такие, которые, хотя и не знают нашей жизни, очень дружелюбно к нам настроены, живо интересуются всем, что происходит в Советском Союзе. Я знал нескольких молодых французских, которые приехали в Мали на полтора года по военному призыву. Они были поставлены перед выбором: армия или Африка. Они предпочли Африку. Это в основном дети небогатых родителей, не имеющие возможности откупиться от военной службы.

Надо сказать, что поставлять для Мали демократически настроенных людей Франция стала давно. Стремясь убрать подальше коммунистов, французская реакция отправила многих из них в свои африканские колонии, и не удивительно, что именно здесь раньше, чем в других странах Африки, появились марксистские кружки. А ныне можно сказать, что и на малийской почве марксизм прижился уже прочно.

Помните слова Ленина из «Детской болезни «левизны»: «Коммунизм «вырастает» решительно из всех сторон общественной жизни, ростки его есть решительно повсюду, «зараза» (если употребить излюбленное буржуазией и буржуазной полицией приятное для нее сравнение) проникла в организм очень прочно и пропитала весь организм целиком».

В ряде африканских (да и не только африканских) стран руководители торжественно провозгласили курс на строительство социализма «Демократического», «африканского», «сенегальского» и т. п. «Социализм» стал очень модным словом. Но в тех

же странах, которые строят подобные «социализмы», обывателей пугают словом «коммунизм». Пророки новых «социализмов» отрешиваются от коммунизма, подчеркивают несовместимость этих двух понятий.

В Мали не боятся этого слова. И президент Модибо Кейта выразился по этому поводу без обиняков: «Тем, кто в полумраке своих кабинетов нашептывает малийцам о существовании так называемой диктатуры в Республике Мали или о коммунистическом пути развития, избранном Мали, мы заявляем: если завтра малийский народ захочет остановить свой выбор на коммунизме, он будет коммунистическим, и никакая сила не сможет помешать ему в этом».

Французский коммунист Жильбер Жюлис — небольшого роста, плотный, с сильным южным акцентом и раскатистым «р» — был моим первым африканским гидом и наставником. Он открыл мне глаза на многие стороны жизни Мали, помог ближе узнать и полюбить малийцев. Он преподавал в профсоюзной школе, знал всех, и все знали его. Когда он знакомил меня с малийцами и представлял как своего друга, те сразу же переходили со мной на «ты». Они ему доверяли, а в Африке это означает очень многое.

Доверие это Жильбер завоевал своей самоотверженной деятельностью. Его коренную фигуру в неизменных шортах можно было в течение дня встретить и в Доме партии, и в «Либрери популер», и в Доме профсоюзов. Энергии ему не занимать, и всю ее он отдавал работе.

Я не знаю другого европейца, который бы пользовался таким авторитетом у малийцев, как Жильбер Жюлис. Когда он возвращался на родину, радио посвятило ему специальную передачу; проводить его на аэродром приехали многие известные деятели страны. В лице Жюлиса они отдавали дань уважения всей славной Коммунистической партии Франции.

На холме Колуба и вокруг него

Белый президентский дворец, стоящий высоко на холме, хорошо виден отовсюду. Холм называется Колуба. Когда-то здесь была резиденция французского губернатора, и, говорят, стоило большого труда заставить Модибо Кейта переселиться сюда во дворец из небольшого глиняного домика, где он жил вместе со своим отцом.

Недавно президенту исполнилось пятьдесят лет. О его интересной жизни мне рассказал один из его бывших учеников. Модибо Кейта стал учителем, окончив лицей в Дакаре. Он всегда был страстным поборником африканского единства. Он говорил своим ученикам, что сила Африки в ее единении, что только будучи единой она сможет добиться полного освобождения от всякого рода политической и экономической зависимости.

Президент даже заявил, что во имя африканского единства Мали готово поступиться частью своего суверенитета. Подразумеваются, естественно, компромиссы разумные, которые не отразятся на стремлении республики идти по социалистическому пути. В период существования Федерации Мали руководители Сенегала, поддерживаемые Парижем, избрали другой путь. И Модибо Кейта, бывший в то время премьер-министром Федерации, назвал эту Федерацию, включающую Сенегал и бывший Французский Судан, противоестественным союзом. В сентябре 1960 года Федерация распалась и Французский Судан стал суверенным государством — Республикой Мали.

Это был тяжелый период. Сенегал закрыл тогда единственную железную дорогу, которая соединяет Мали с океаном. Пришлось перевозить грузы за пятьсот километров — через Абиджан, по гудрону и грунтовыми дорогам.

Но малийцы не злопамятны — несмотря на прошлое, между ними и Сенегалом установлены самые добрососедские отношения.

Модибо Кейта — последовательный приверженец политики нейтралитета. Этот нейтралитет в корне отличается от нейтралитета, при котором нейтральное государство стоит в стороне от всего. Модибо Кейта не раз пояснял, что нейтралитет Мали — это политика, при которой государство решает тот или иной вопрос международной жизни, исходя из своих собственных принципов, а не присоединяясь к тому или иному блоку

государств. Нейтрализм Мали — это политика борьбы против колониализма и сил войны, политика национального освобождения и мира между народами.

Вечером из президентского дворца открывается чудесный вид на Бамако. У подножия холма большой участок вырван из темноты светом прожекторов. Доносится звук лебедек: и вечером не прекращается сооружение огромного спортивного комплекса, который спроектирован советскими архитекторами и создается под руководством советских строителей.

Неподалеку от строящегося стадиона — очень красивое здание, легкое, с большими зеркальными стеклами вместо стен. Это новое помещение Высшей административной школы, переданное недавно Советским Союзом в дар малийскому народу. Свои последние лекции я читал уже в новом здании.

Из окон Высшей административной школы видна территория военного училища. По утрам рожок зализисто выводит побудку. Днем здесь проводятся занятия. Малийцы очень гордятся своей армией, оснащенной современным оружием.

Я присутствовал на военном параде, который состоялся 20 февраля по случаю четвертой годовщины армии Мали. Перед трибунами прошли соединения пехоты, парашютных войск, моторизованные отряды. Малийскую армию некоторые эксперты считают самой сильной в Западной Африке. В свое время отлично вооруженные французские колонизаторы по достоинству оценили храбрость и самоотверженность малийцев, которые с луками и копьями оказывали им длительное сопротивление. Впоследствии африканские полки сражались в составе французской армии на фронтах первой и второй мировых войн. И сегодня в Мали можно встретить немало ветеранов, награжденных орденами Франции. Я познакомился с одним таким стариком, который участвовал еще в битве под Верденом. Тогда основной костяк африканских частей в армии генерала Леклерка составляли малийцы из племени бамбара.

Кадровые солдаты и офицеры нынешней армии Мали по боевой выучке не уступают сегодня французской армии. И вместе с тем они живут общими интересами с народом, активно участвуют в политической и экономической жизни республики. Они голосуют на выборах, строят дороги и жилые дома, помогают крестьянам в обработке земли и уборке урожая. В бусе по обочинам шоссе я не раз встречал таблички, на которых указывалось, что это коллективное поле обрабатывается солдатами такого-то полка.

Другой предмет гордости малийцев — авиационная компания «Эр Мали». Правительство заботливо печется о своем детище. И это понятно. Ведь основные пути сообщения в Мали воздушные. Они соединяют Бамако с Гао и Томбукту, Мопти и Сикассо, Каем и Дире, способствуют более тесному политическому сплочению всех племен и народностей республики.

Эксплуатируются наши машины ИЛ-18, ИЛ-14, АН-2. Наши летчики передают свой опыт малийским друзьям.

Советские авиаторы пользуются большой популярностью и любовью в стране.

Об их делах можно рассказать много. И о том, как они пересекли на самолете АН-2 Сахару. Впервые в мире на машине подобного класса. И о том, как экипаж ИЛ-18 буквально дотащил перегруженный самолет до Мекки, несмотря на то, что в пути отказали два двигателя.

Малийцы очень отзывчивы и ценят доброе к ним отношение.

Однако есть, конечно, в Мали и другие. В одном из учебных заведений Бамако был проведен письменный опрос. Ученикам задали вопрос, какова их цель в жизни. И некоторые ответили: выучиться, стать патроном, иметь белую жену и автомобиль последней марки.

И это вполне понятно. Мы много говорим о том, что колониализм оставил своим бывшим колониям тяжелое материальное наследство, затормозил нормальный ход их экономического развития. Гораздо меньше обращаем внимания на психологию, на то, что колониализм развратил души и умы. Он воспитал стремление к мнимому эталону счастья.

Один малиец на мой вопрос, как он понимает социализм, ответил: «Это когда

прогоняют колонизаторов и сами становятся патронами». Стать патроном — это значит побольше урвать у общества и поменьше дать ему взамен, это значит пользоваться благами за счет чужого труда.

Гораздо легче сломать старое, чем создать новое. Колонизаторов прогнали, провозгласили независимость, начали работать на себя, на все общество. А вот отношение к труду еще часто остается у людей рабским. Когда раб ломает ненавистное орудие труда — это естественно, когда это делает свободный человек — прискорбно.

Советские специалисты рассказывали мне о случаях, когда доставленные из Союза в Мали автомашины выходили из строя, не пройдя и нескольких тысяч километров. Причина — халатность водителя.

Руководители республики очень хорошо представляют себе опасность таких сооружений. Я находился неподалеку от президента, когда он произносил одну из своих речей. И я видел, с какой страстью он бичевал иждивенческие взгляды на жизнь, с какой любовью говорил о малийских тружениках, с каким энтузиазмом рассказывал о примерах самоотверженного труда, которые встречал в странах социализма, как тепло отзывался о работе советских специалистов в Мали.

В государственном хозяйстве «Оффис дю Нижер» работают наши летчики. Они опрыскивают химикалиями хлопковые поля, спасая их от вредителей. Маленькие бипланы пронесутся над самой землей, почти что задевая колесами хлопковые головки. Я спросил Володю Фролова, одного из пилотов, не опасно ли это. «Понимаешь, каково дело, — ответил он, — по инструкции положено опрыскивать с высоты не менее пяти-шести метров. Так мы и работаем под Ташкентом. А если так же летать в этом пекле, то часть ядов испаряется, не долетая до земли. Вот и приходится нарушать инструкцию».

Так работают действительно только по велению сердца.

Падают среди малийцев и такие, которые вообще считают труд делом унизительным. Их часто можно встретить в ночном баре «Виллаж», неоновая вывеска которого светится далеко за полночь. Женщины на шпильках, с высокими, взбитыми прическами. Парни в брюках-дудочках и ярких галстуках. Отцы некоторых промышляют далеко на востоке контрабандной продажей скота за границу. А сыновья кутят в столице на папашины деньги. Но таких немного.

Гораздо больше молодых людей совсем другого склада. Их тоже можно встретить ночью, но не в баре, а на улице. Это члены «бригад дю вижиланс», бригад бдительности.

Спустя несколько дней после приезда в Бамако я возвращаюсь поздно ночью в гостиницу, где на первых порах снимал номер. Вдруг передо мной выросли трое парней. Я обернулся. Сзади подходили еще двое, один молодой, другой довольно пожилой. Я лихорадочно начал вспоминать приемы самбо. «Ваши документы», — сказал пожилой.

Так я познакомился с бригадой бдительности. Пожилой был их командиром. Его имя Баба Данье. Недавно отмечался День лучшего бригадира. И президент Модибо Кейта упомянул его имя, поставив в пример другим.

Добровольно следят за порядком в городе люди, чувствующие себя хозяевами. Но не патронами, живущими за счет других, а хозяевами жизни, сознающими свою ответственность за судьбы всей страны, за то, чтобы весь народ жил лучше.

Такие работают не за страх, а за совесть. И учатся, жадно поглощая знания. Вы можете их увидеть вечерами сидящими прямо на тротуаре под уличными фонарями. Не обращая внимания на прохожих, они сосредоточенно изучают учебники и конспекты лекций, готовятся к очередному уроку.

В Бамако создано несколько высших учебных заведений, лицеев и различных курсов, очень много начальных школ.

Программа школьного обучения создана с таким учетом, чтобы включить максимальное количество предметов, дающих практические, полезные знания. Правительство полагает, что в условиях нехватки образованных людей такие предметы, например, как античная история, являются пока еще непозволительной роскошью,

Занятия проводятся на французском языке. Малийцы не отвергают французскую литературу и не отказываются от французского языка, который стал государственным языком страны. Они отвергают дух колониализма и расизма.

Колонизаторы заявляли устами своего идеолога Жюлья Ферри, что «права созданы не для негров», и упорно пытались превратить малийцев в низшие существа. Пытались, но не смогли. Лучшее доказательство тому — сегодняшние малийские девочки и мальчики, внимательно следящие за рассказами учителя. Они слушают историю своей страны на французском языке, но не в том виде, как пытались преподать ее французы. Они узнают в себе потомков людей, создавших на заре цивилизации национальную африканскую культуру. Они узнают в себе потомков тех отважных воинов, которые сопротивлялись нашествию колонизаторов и предпочитали смерть позору рабства. Они жадно впитывают в себя знания, чтобы продолжать славные традиции своего народа, сделать свою страну свободной и процветающей.

Малийцы верят в свое будущее, потому что взяли его в свои собственные руки.

Бамако — Москва.
1965.—1966.



К 30-летию со дня смерти А. М. Горького

А. ВОРОНСКИЙ

★

ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ С МАКСИМОМ ГОРЬКИМ

(Из воспоминаний)

Воспоминания А. К. Воронского «Встречи и беседы с Максимом Горьким» написаны в декабре 1936 года, вскоре после смерти А. М. Горького.

О своих встречах с Горьким Воронский писал и ранее — в книге «За живой и мертвой водой», в статьях «Россия, человечество, человек и Ленин», «Из прошлого». Недавно опубликована переписка М. Горького и А. К. Воронского, которая началась в 1914 году и продолжалась до 1931 года (см. «М. Горький и советская печать», Архив А. М. Горького, т. X, кн. 2, М. 1965).

Воспоминания А. К. Воронского хранятся в Архиве А. М. Горького. Печатаются в сокращенном виде. Полностью будут опубликованы в томе Архива «Горький в воспоминаниях современников», который готовится к столетию со дня рождения великого писателя. Текст воспоминаний и комментарии подготовлены Н. И. Дикушиной и А. Е. Погосовой.

I

Впервые я встретился с Горьким в начале 1906 года. Я жил тогда в Гельсингфорсе нелегально и работал в военной большевистской организации, подготовившей вооруженное восстание гарнизона Свеаборгской крепости. Организация состояла из солдат-артиллеристов и из молодых, порой юных агитаторов и пропагандистов. Входили в организацию и некоторые офицеры. Из них Емельянов и Коханский впоследствии руководили восстанием и по подавлении его были расстреляны царским правительством. Значительную помощь оказывали нам финские социал-демократы, их левое крыло и в особенности рабочая Красная гвардия, возглавляемая капитаном Куком. От финских социал-демократов и красногвардейцев мы, русские подпольные работники, и узнали об ожидаемом приезде Горького в Гельсингфорс и получили приглашение на вечер, где должен был он выступать¹.

К прибытию поезда, в котором ехал Горький, вокзал и площадь были густо запружены рабочими и демократической интеллигенцией. Немало виднелось в огромной толпе и серых шинелей, хотя солдатам за участие во встрече угрожали соответствующие кары. Встреча Горького превратилась в крупную демонстрацию против царизма. Горького приветствовали не только как замечательного писателя, но и как борца против самодержавного строя, с падением которого финский народ связывал и свое национальное освобождение. Излишне говорить, с какими чувствами встречали Горького мы, молодые большевики. По силе влияния на нас среди

¹ М. Горький вынужден был после событий 1905 года уехать из России. В Финляндии он пробыл с конца января 1906 года до 25 февраля. Здесь он встречался с В. И. Лениным, русскими и финскими социал-демократами, художественной интеллигенцией.

Выступление М. Горького с чтением сказки «Товарищ!» состоялось на литературно-музыкальном вечере в Финском национальном театре 1 февраля 1906 года.

русских писателей не было ему равного. Он заражал нас ненавистью ко всем видам мещанства и житейской пошлости, самоотверженностью и героизмом. Он широко распахивал перед нами новый мир свободолюбивых, насмешливых бродяг, протестантов, озорников, искателей новой правды, — необъятный, живописный, низовой мир околиц, предместий, ночлежек, подвалов, приморья, степей. Он пробуждал в нас острое тяготение к этому «низовому» человеку, к его внутренней жизни, запросам, к его творческим силам, придавленным отвратительным гнетом.

Горький приехал в Гельсингфорс вместе со Скитальцем и с М. Ф. Андреевой. Едва вышел он из вагона, как был стиснут возбужденной толпой. С трудом пробрался он со своими спутниками к саням. Падали крупные снежные хлопья. Деревья стояли в серебряном убранстве. Из саней мигом выпрягли лошадь и потащили их весело и дружно с Горьким, Скитальцем и Андреевой по улицам. Порядок охраняла Красная гвардия. Пение «Варшавянки» и других революционных песен, русских и финских, сменялось приветствиями, возгласами. Бросали вверх шапки. Затрепетало красное знамя. От людских заторов приходилось останавливаться. Вовлекались новые участники, толпы росли. Горький восседал на санях в чрезвычайном смущении, без шапки, пытался что-то говорить, как будто даже шутил, вертел направо и налево головой: ну, мол, и попали мы в положение, — и все кланялся народу. Едва ли какому русскому писателю выпала на долю при жизни такая встреча.

Вечером в доме Пожарного общества в большом, битком набитом зале Горький читал своего «Товарища», Скиталец и Андреева выступали со стихами; речи финнов были немногословны, искренни и горячи. Потом был в гостинице ужин на сто — сто двадцать человек, обильный блюдами, винами, фруктами, тостами и разговорами. Финские рабочие-красногвардейцы сидели вперемежку с русскими революционерами. Капитан Кук говорил, что финнам хочется подобно Раскольникову перед Соней Мармеладовой склонить колена перед великими страданиями русского народа. Капитану Куку отвечали мы, отвечал Горький. Ответ его не был многословен: с самого начала он запнулся, еле вымолвил несколько слов, на глазах его появились слезы, которые он отирал кулаком, после чего он заторопился окончить «речь», стал обходить всех присутствовавших и жать им по очереди руки. Вышло это у него просто и душевно.

Пели песни. Под аккомпанемент рояля Горький затянул «Дубинушку». Его дружно поддержали и русские и финны. Горький принялся дирижировать вдохновенно и страстно, как-то вдруг сразу весь загоревшись. Он стоял среди нас высокий, выше почти на голову, махал руками, точно собираясь в полет; глаза его, которые мне сперва показались бесцветными и невыразительными, налились жизнью, сиянием; он глядел поверх нас, будто пред ним раскрывалось нечто далекое и завораживающее. Даже сутулость его исчезла. Видимо, он очень легко освобождался от будничных настроений и легко подвергался наплыву сильных чувств. Густые волосы, падающие двумя прядями на лоб, от энергичных потряхиваний головой взметывались; иногда он откидывал прядь быстрым и привычным движением. Лицо его с широким «утиным» носом, не отличавшееся внешней красотой, в тот момент стало прекрасным своей одухотворенностью и взволнованностью. Оно светилось подобно тонкому, благородному сосуду, внутри которого горел ровный свет. От его запева и дирижирования оставалось впечатление силы, избытка, уверенности в себе.

Одет был Горький скромно: однобортная, наглухо застегнутая тужурка, брюки вправлены в высокие сапоги. Бросались в глаза подвижные суховатые руки, и весь он был «подобранный», жилистый, сухощавый, будто неуклюжий и угловатый, но в его резких, размашистых движениях нетрудно было заметить своеобразную и неподдельную грацию, что-то ладное и во всяком случае незаурядное. В тот вечер Горький много шутил, смеялся, появлялся среди различных групп, беседовал с нами, русскими подпольными работниками, приглядываясь к нам и по временам будто настораживаясь. Скиталец, подражая протоиерею, октавой произнес анафему русскому самодержавию. Алексея Максимовича усадили в кресло и на-

чали обносить вокруг стола. Он проделывал разные уморительные движения руками и ногами, благословлял нас, отрещивался от нас. Шуму, веселого гаму, сутолоки было достаточно. К Горькому все лезли чокаться; он не уклонялся от лишнего бокала. Таких лишних бокалов насчитывалось уже немало, многие находились в изрядном подпитии, — Горький же был только непринужденно весел, общителен и по-своему обаятелен. Да, в ту ночь многие из нас почувствовали всю силу его обаяния. Часто при встречах со знаменитыми людьми мы боимся — и не без причин — испытать некоторое разочарование и действительно испытываем его. Горький, наоборот, от личного с ним знакомства выигрывал. Даже Емельянов и Коханский, всегда молчаливые, замкнутые, всегда державшиеся вдвоем и отдельно от других, на этот раз повеселели и сделались более общительными. Мы же, молодежь, гордились Горьким. Известный всему миру писатель был с нами, с революцией, — он вселял уверенность в дело, в победу. — Чего же нам сомневаться и опасаться! — Он покорял нас еще и напряженным вниманием к людям, которое чувствовалось при общении с ним.

Под конец мы, русские, уединились в особую комнату и по обыкновению затеяли спор. Спорили о русской литературе. Скиталец доказывал, что русский народ лишен глубокой поэтической настроенности, он деловит, прозаичен.

— Поглядите, — говорил он, — на настоящих русаков, на костромичей, на ярославцев — народец бойкий, торговый, дошлый, трезвый, прижимистый. Русская же литература сильна примесью татарской, вообще восточной крови.

Горький, насколько помнится, соглашался со Скитальцем. Я помучил его расспросами о Леониде Андрееве и о других русских писателях. Горький, как мог, удовлетворил мое любопытство.

Разошлись утром, часам к восьми¹. Горький приглашал к себе. Мы навестили его дня два спустя, но вышло это не вовремя: Горький слег в постель, у него открылось кровохарканье.

Поправившись, он уехал с Андреевой в Америку, где тупоголовое мещанство встретило его травлей: «Помилуйте, он осмелился приехать с некоей артисткой, не будучи с ней в официальном браке»².

Красногвардейцы сообщали нам, что гостиница, где останавливался Горький, усиленно осаждалась во дни его пребывания русскими сыщиками и переодетыми жандармами, так что Красной гвардии пришлось выставить свои пикеты, охранявшие Горького до самого его отъезда.

Очень хотелось нашим солдатам-артиллеристам побеседовать с Горьким на конспиративной квартире; мы добивались этой встречи, но болезнь Алексея Максимовича помешала свиданию, да и филеры от него не отступались.

¹ Вероятно, Воронский описывает встречу Горького с финскими рабочими, социал-демократами и Красной гвардией, состоявшуюся 4 февраля. Об этой встрече он рассказывал и в книге «За живой и мертвой водой» (М. Изд-во Московского товарищества писателей, 1934, стр. 120—122).

М. Горький писал Е. П. Пешковой в начале 1906 года: «В Гельсингфорсе пережил совершенно сказочный день. Красная гвардия устроила мне праздник, какого я не видал и не увижу больше никогда. Сначала пели серенаду пред моим окном, играла музыка, потом меня несли на руках в зал, где местные рабочие устроили концерт для меня. В концерте и я принимал участие... Потом толпа тысяч в десять проводила меня в помещение местной с.-д. партии, и там меня трижды обнесли вокруг зала в кресле на руках. Все было — как в сказке, и вся страна, точно древняя сказка, — сильная, красивая, изумительно оригинальная» (М. Горький. Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 28, М., 1954, стр. 408).

Об этом же вечере писал в своих воспоминаниях И. Егоров («А. М. Горький в Гельсингфорсе в январе 1906 года». «Резец», 1936, № 15, стр. 15—16).

² Десятого апреля 1906 года М. Горький вместе с М. Ф. Андреевой и Н. Е. Бурениным прибыл в Нью-Йорк. Цель поездки заключалась в том, чтобы помешать царскому правительству получить заем, а также собрать средства для социал-демократической партии.

Кампания против Горького, поднятая в американской прессе, поводом для которой был тот факт, что М. Горький и М. Ф. Андреева состояли в гражданском браке, в действительности преследовала цель дискредитировать Горького и тем самым препятствовать его деятельности.

III *

...В начале 1921 года, еще находясь в Иваново-Вознесенске, я решил испробовать свои силы на «толстом» литературно-художественном журнале. Закончилась победоносно гражданская война, и явилась возможность больше, чем прежде, уделять внимания искусству. Художественная проза почти отсутствовала, да и поэзия не могла похвалиться успехами. Отвлеченный схематизм «Кузницы» явно не удовлетворял. Нужно было собрать старых и молодых художников слова, готовых работать на пользу советской власти, и создать для этого соответствующую литературную среду. Все эти мысли я изложил Владимиру Ильичу, который нашел их вполне своевременными.

Я перебрался из Иванова, где редактировал «Рабочий край», в Москву и занялся за организацию ежемесячного журнала¹. Дело было нелегкое. И в Государственном издательстве, и в кругах многих ответственных товарищей находили, что ввиду отсутствия бумаги, ввиду типографских неурядиц нельзя рассчитывать пока на периодический выход журнала. К тому же: каких писателей можно привлечь? Старые писатели в огромном большинстве советскую власть «не приемлют», а своих пока что-то негусто. Такие и подобные мнения высказывались неоднократно. Я не соглашался с ними и продолжал искать поддержки у Владимира Ильича и у Надежды Константиновны, руководившей Главполитпросветом. Они-то и подали мне совет сблизиться с Горьким и привлечь его к редакционной работе.

Владимир Ильич сам предложил устроить у него предварительное узкое редакционное совещание, которое вскоре и состоялось. Было это в феврале месяце². На совещании присутствовали: Владимир Ильич, Надежда Константиновна, Горький и я. Владимир Ильич только что закончил длительное заседание в Совнарком, торопливо пил вечерний чай; помимо нашего совещания ему предстояло провести еще Совет Труда и Оборона. Несмотря на проведенный трудовой день, Владимир Ильич не выглядел уставшим, оживленно поддерживал разговор, расспрашивал, шурился и посмеивался. Горький косил острым плечом и не сводил глаз с Владимира Ильича, вбирая в себя его движения и всю его крепкую и сильную фигуру. Владимир Ильич был очень внимателен к Горькому, справлялся о здоровье, о том, над чем он работает, и когда Горький заметил, что работать, как ему хочется, не удастся и что мешают разные бытовые докучи, Владимир Ильич покачал головой и стал уговаривать Горького от докуч поскорей избавиться и писать, писать; тут он сделал энергичное движение рукой над столом, поясняющее слова. Между прочим, Горький привез с собой в подарок Владимиру Ильичу пачку книг, изданных им, Горьким, совместно с Гржебиным в Берлине³. Книги вышли на русском языке и при материальном содействии советской власти. Владимир Ильич бегло перелистал книги. Мне бросилась в глаза его манера перебирать

* В публикации сохраняется авторская нумерация глав. II и IV главы воспоминаний не печатаются.

¹ Речь идет об организации первого советского «толстого» журнала «Красная новь», который начал выходить в июне 1921 года.

² А. К. Воронский в статье «Из прошлого», написанной в связи с пятилетием «Красной нови», вспоминал об этом совещании: «...Первое организационное собрание редакции «Красной нови» происходило в Кремле, в квартире Владимира Ильича Ленина. Помимо него, на этом собрании присутствовали: Надежда Константиновна Крупская, Алексей Максимович Пешков (Горький) и я. Владимир Ильич пришел на это собрание в промежуток между двумя заседаниями. Я сделал краткий доклад о необходимости издания толстого литературно-художественного и научно-публицистического журнала. Владимир Ильич согласился с моими мыслями. Здесь же было намечено, что журнал будет издаваться Главполитпросветом, что ответственным редактором буду я и что Алексей Максимович будет редактировать литературно-художественный отдел этого журнала» («В. И. Ленин о литературе и искусстве». М. 1960, стр. 685).

³ З. И. Гржебин — руководитель частного книгоиздательства, организованного в Петрограде в 1919 году. Позже деятельность издательства продолжалась в Берлине. При содействии А. М. Горького в 1920 году В. В. Воровский, в то время заведующий Государственным издательством, подписал договор об издании книг для России в берлинском издательстве Гржебина.

книги. Запомнилось невольно и как он брал книгу, и как заглядывал в нее, и как быстрым движением отбрасывал ее в сторонку.

Все это было непринужденно, энергично, легко. Чувствовалась и любовь к книге, и умение составить о ней представление, пробежав оглавление, несколько строк, взглянув на рисунки, чертежи, и прочная привычка в обращении с печатным словом. Владимир Ильич одобрительно отозвался о работе по паровозостроительному делу, перелистал сборник древних индийских сказок. Книга была превосходно издана. Горький стоял около Владимира Ильича, угловатый, высокий, со впалой грудью, с землистым лицом, между тем как Владимир Ильич, сидя в кресле, походил на круглый сгусток живой и подвижной силы. В тот момент Горький показался мне похожим на ученика пред учителем, не строгим, но авторитетным и подчинявшим себе всей своей творческой личностью. Сощурившись и показывая на книгу сказок, Владимир Ильич сказал, скрадывая букву «р», или, вернее, как-то по-своему выговаривая ее:

— По-моему, это — преждевременно.

Горький ответил, подавшись к Ленину и сильно напирая на «о»:

— Это очень хорошие сказки.

Владимир Ильич:

— На них тратятся наши советские деньги.

Горький:

— Книга обошлась нам недорого.

Владимир Ильич:

— На это идет наша золотая валюта. У нас ее мало. А стране угрожает голод.

Горький подергал себя за ус, ничего не ответил, скосил еще сильнее плечо, опираясь на книгу, поставленную ребром на стол.

Две правды: один словно говорил — не о хлебе едином жив будет человек; другой же, Ленин, отвечал: но если в хлебе нехватка...

Я часто впоследствии вспоминал этот знаменательный краткий разговор, и правда Ленина всегда казалась мне глубже правды искусства и более отвечающей интересам трудящихся.

О «Красной нови» было решено, что ответственным редактором журнала буду я, журнал будет издаваться Главполитпросветом, а печататься в Государственном издательстве. Горький дал согласие редактировать художественный отдел.

Спустя несколько дней я зашел к Алексею Максимовичу в Машков переулок переговорить более обстоятельно о журнале. Встретил он меня на этот раз не слишком приветливо. Я и потом не однажды замечал, что Горький бывал неровен с людьми. Нередко такие неровности, возможно, зависели от болезненных состояний Горького: ведь он страдал застарелым туберкулезом и дышал лишь одним легким. В данное же свидание повод к нелюбезному и ворчливому обращению подал я, обнаружив большую горячность в делах редакционных, но без достаточной в них осведомленности. Горький это заметил, стал барабанить пальцами по столу, глядеть куда-то в сторону и отвечать отрывисто и неприязненно. Я ушел от него огорченный и больше недели не показывался к нему, хотя обстоятельства требовали свидания ¹.

¹ Об этом эпизоде более подробно Воронский рассказывал в речи на юбилейном вечере, посвященном пятилетию «Красной нови»: «Должен признаться, что, принимаясь за редактирование и издание «Красной нови», я имел о технической стороне весьма смутное и слабое представление. Я редактировал раньше «Рабочий край» в Иваново-Вознесенске, но в журналах не работал. Однажды я пришел к Алексею Максимовичу по делам редакции, сказал ему, что первый номер набирается и что дело идет хорошо. Горький спросил меня:

— Сколько листов будет в номере?

Я думал, что под листом подразумеваются две страницы журнала. В журнале, по моему приблизительному подсчету, должно было быть 320 страниц. На вопрос Горького я ответил:

— 160 листов.

В последующий раз Алексей Максимович встретил меня необыкновенно приветливо. Потирая руки и улыбаясь в густые усы, он подробно расспрашивал, как подвигается редакционная работа. Речь зашла о привлечении в журнал прозаиков и поэтов.

— Поэтов поищите сами,— вымолвил Горький,— а прозаики молодые есть в Петрограде. Там образовалось содружество писателей «Серрапионовы братья». Человечки они, безусловно, одаренные. Есть, например, среди них Всеволод Иванов. Сибиряк, голова большая, круглая, скуластый, глазки маленькие, азиатские, волосы густейшие, стоят эдакой копной, прямо идолище. Этот Всеволод Иванов уже много побродил по свету, многое видел и испытал. Талантлив, бестия, хотя и сыроват еще. Непременно сойдитесь с ним поближе. Кстати: я скоро побываю в Петрограде, постараюсь кое-что получить для журнала от «Серрапионовых братьев»¹... Разыщите также Бориса Пильняка, тоже талантлив, но бывает и непутев.

Я заметил Горькому, что Пильняка знаю по сборнику рассказов «Былье» и по некоторым другим его рассказам; о нем писал в «Рабочем крае»².

— Обязательно его привлечите. Живет в Коломне... Хорошо чувствует уездное... Следует также найти Подъячева и Ивана Вольнова. Знают деревню и пишут о ней без прикрас³.

Я ушел от Горького, нагруженный советами и пожеланиями. С тех пор у нас установились простые и дружеские отношения.

Вскоре Алексей Максимович уехал в Петроград и прислал повесть Всеволода Иванова «Партизаны», а также еще несколько рукописей, драму Лунца, рассказы Николая Никитина и Михаила Зощенко⁴. «Партизаны» были написаны от руки на серой и разлинованной поперек бумаге с избыточными стилистическими и орфографическими ошибками. Это была первая вещь, в которой не отвлеченно, а вполне наглядно, живо и талантливо, со знанием изображалась сибирская партизанская вольница. Горький пометил на рукописи, чтобы я ее выправил. Я немало поработал над ней. Настоящее огорчение доставила мне драма Лунца «Вне закона» с явным анархическим настроением и с индивидуалистическим духом. Когда Горький приехал из Петрограда, я долго не решался сказать ему, что драму печатать — особенно в первых номерах журнала — нельзя, но в конце концов мне пришлось ему это сказать. Горький нахмурился, забарабанил пальцами по столу.

— Как хотите... Как хотите... Мое дело — сторона...

Он замолчал и глядел мне в переносицу. Но у меня в запасе был «ход». Я сообщил Горькому, что мне удалось получить от Ленина пространную статью «О продналоге» и что я располагаю статьями Н. К. Крупской, М. Покровского, Бухарина и некоторых известных ученых⁵. Горький сразу повеселел, особенно когда узнал о статье Владимира Ильича.

Горький так посмотрел на меня, что я поспешил окончить разговор и убраться из его квартиры. В Госиздате мне разъяснили, что подразумевается под листом журнала. В течение недели я боялся показаться к Алексею Максимовичу («Прожектор», 1927, № 6, стр. 20).

¹ Литературное содружество «Серрапионовы братья» возникло в 1921 году. (См. переписку: Горький — Федин, Горький — Каверин, а также статью М. Горького «Группа «Серрапионовы братья» в томе «Литературного наследства», № 70, М. 1963).

² Сборник рассказов Б. Пильняка «Былье» («Звенья». 1919—1920).

³ С. П. Подъячев сотрудничал в «Красной нови» с первого номера журнала, где был напечатан его очерк «Голодающие», и Вольнов печатался в журнале с 1923 года.

⁴ Вс. Иванов, Н. Никитин, М. Зощенко были постоянными авторами «Красной нови». В 1921—1922 годах в журнале были опубликованы: «Партизаны», «Алтайские сказки», «Броненосец 14-69», «Голубые пески» Вс. Иванова, рассказ «Мокей» и отрывки из повести «Рвотный форт» Ник. Никитина, «Лялька Пятьдесят» М. Зощенко.

Драма Л. Лунца «Вне закона» в «Красной нови» не печаталась. Была опубликована в издававшемся Горьким в Берлине журнале «Беседа» (1923, № 1).

⁵ В первом номере «Красной нови» были опубликованы статьи: В. И. Ленина «О продовольственном налоге», Н. К. Крупской «Система Тэйлора и организация работы советских учреждений», А. Тимирязева «Периодическая система элементов Менделеева и современная физика», А. Луначарского «Наши задачи в области художественной жизни».

— На драме Лунца, — сказал он мне в заключение, — не настаиваю, человек он совсем молоденький, но чертовски талантлив.

...Хлопот с журналом было не обернуться. Государственное издательство не располагало бумагой, типографии работали с большими перебоями. Книги находились в производстве по два года. В стране свирепствовали тиф и голод. Гонорар за авторский лист Главполитпросвет установил нищенский — шестьдесят тысяч рублей, то есть приблизительно 2 руб. 60 коп. Чтобы привлечь сотрудников, надо было добывать пайки, платить за рукописи натурой. За получением этой натурой я обратился в Президиум ВЦИК и выхлопотал на имя Горького записку в хозяйственный отдел, где мне должны были выдать масла, сахару, мяса, консервы. В хозотделе ВЦИК некий товарищ латыш, фамилию его я забыл,ознакомившись с запиской, весьма неодобрительно покачал головой.

— Почему так много выдается одному человеку? Пуд масла, пуд сахару, три пуда мяса. Еще мед. На что Горькому столько продуктов? Мы Ленину столько не выдаем.

Желая скорее закончить разговор, я ответил:

— Горький болен.

— Если он болен, — рассудительно ответил латыш, — то у нас есть на то особая больничная норма. Согласно этой норме мы и выдадим Максиму Горькому продукты. — И он потянулся к листку, на котором были напечатаны больничные нормы.

В результате он отказался выдать мне продукты. Пришлось вновь обращаться в Президиум ВЦИК, откуда долго уламывали строптивного и неукоснительного хозяйственника. Выдавая мне затем положенное, товарищ латыш все же меня урезал кое в чем по своему усмотрению. Мешки с продуктами пришлось на плечах перетаскивать за кремлевские ворота и оставлять под присмотром часовых. С трудом нашел я извозчика и перевез добычу к себе в номер, в 1-й Дом Советов. Но тут на беду наступила неожиданная оттепель, продукты за окнами и на подоконниках стали распускаться, все потекло. На паркетном полу от мяса образовалась розовая лужа. С тупым ужасом глядел я на нее и поспешил к Алексею Максимовичу поделиться огорчениями. Вечером мы старательно распределяли продукты среди ученых и других сотрудников журнала: 4 фунта сахару, 1 фунт меду, 5 фунтов мяса, 2 фунта масла и т. д. — так примерно приходилось на человека. Алексей Максимович был обойден в этом распределении, хотя жил он тогда отнюдь небогато, за стол же у него всегда садилось всякого народу довольно много.

Случилось, я проходил по Александровскому парку. Погожий летний день голубел и сиял, несмотря на городскую пыль и копоть. Кремль высился как древняя овеществленная сага. Готика, Византия, Азия, Европа, Русь были причудливо вплетены в каменную корону. Как в давно минувшие времена, чудесные башни стояли верными дозорными, но теперь они сторожили красноразнозначную отчизну. Под липой, источавшей упонительный, кислотный запах, сидел Горький, ссутулившись, он курил папиросу и оглядывал прохожих. Он был в мягкой широкополой шляпе. Здесь впервые мне бросилось в глаза, что в профиль Горький напоминает некоторые портреты Ницше своими густыми, опущенными книзу усами, твердым подбородком, глубоко сидящими глазами, выдающимися скулами, резкими, костлявыми чертами лица. Откинувшись к спинке скамьи, он внимательно оглядывал прохожих.

Я подошел и спросил, почему он забрел в парк.

— Ходил обедать в кремлевскую столовую, сюда заглянул отдохнуть... Сдаст старик, сдаст... Одышка и вообще... Всякие напасти. Доктора говорят, надо бросить курить. А мне все кажется, брошу курить и тогда сразу помру; помирать же мне пока неохота.

Он вдруг повеселел, улыбнулся, обнял меня слегка за плечо.

— Эх вы — человечина! Вы, знаете... того... — Он не докончил. Чем-то хорошим и теплым повеяло от всей его фигуры... — Да... так вот...

Был в этих словах большой и значительный смысл, заражающий доверием и расположением и к летнему дню, и к кремлевским стенам, и к липам, и к мелькавшим по дорожкам курсантам, и к этому высокому угловатому и громоздкому с виду человеку.

— Да, те же доктора, например, говорят еще, что мне весьма даже своевременно прогуляться за границу, посидеть в Италии. Не вредно будто бы для здоровья. Опять же и писать надо. А здесь все никак не удается сесть как следует быть за работу. Скоро уеду... Как смотрит на это дело товарищ Ленин? Одобряет и обещает содействие.

Я проводил Алексея Максимовича до Машкова переулка. Шел он, скосив плечо и подаваясь вперед, надев шляпу на лоб, он избегал встречаться взглядами с прохожими. Мне показалось, что ему делалось неприятно всякий раз, когда его узнавали и глазели на него.

В недолгом времени, осенью, Алексей Максимович действительно уехал за границу...¹

Горький уже тяготился Сорренто и итальянскими фашистами, все чаще и чаще приезжал он в Москву. Во время этих приездов я приходил к нему не только по издательским и редакционным делам, но и просто для бесед. С утра до часу дня Алексей Максимыч работал у себя в кабинете и посетителей не принимал; прием начинался с завтрака. К завтраку я обычно и приходил к нему, предварительно позвонив по телефону. Случалось, я засиживался у него до самого вечера и всегда уходил под грузом впечатлений и от него самого и от его рассказов².

Повторяю, Горький умел иногда встречать и провожать людей довольно неприветливо, но он умел и очаровывать их, покорять и пробуждать к себе горячие и искренние чувства. Делал он это легко и с какой-то только ему свойственной грацией, тем более обаятельной, что с внешней стороны она выражалась в угловатых, неуклюжих жестах и движениях, в словах отрывистых и даже грубовато звучащих. Возможно, при своей богатейшей и разносторонней одаренности Горький обладал также и артистичностью, но главное, чем он покорял, заключалось в его глубоком и неподдельном интересе к человеку, в его жадных восприятиях всего человеческого. Он как бы обволакивал этой своей настроенностью собеседника. Ну-ка, каков ты есть человек? — будто говорил он ему. — Чем ты отличаешься от другого, во что веришь, что способен внести в жизнь? Он не расспрашивал, не выпытывал, наоборот, он любил и сам поговорить, но собеседник все время чувствовал, что Горького занимает человек, его судьбы, что в каждом он старался отыскать своеобразное, и это невольно располагало.

Рассказчик Алексей Максимыч был редкий и увлекательный. Его слушали без усталости, и я не знаю, в чем сильнее проявлялся его талант, в печатных ли его произведениях или в его устных рассказах и беседах. Рассказывал он без внешних эффектов, без наигранности, глуховатым голосом, сильно окая, с перерывами и выразительными, умными паузами, с угрюмой ухмылкой и смешком, иногда с видом как будто простоватым и наивным, но, однако, «себе на уме», — рассказы-

¹ По настоянию В. И. Ленина М. Горький уехал за границу 16 октября 1921 года в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Однако связь Горького с журналом и Воронским не прерывалась. Они вели интенсивную переписку, касаясь многих вопросов, связанных с направлением и работой «Красной нови» (см. переписку Горький — Воронский в кн. «М. Горький и советская печать», кн. 2).

В своих воспоминаниях «Из прошлого» Воронский писал: «Осенью 1921 г. Горький уехал за границу, но продолжал поддерживать постоянную связь с редакцией журнала не только тем, что присылал свои художественные вещи, но и своими советами и указаниями в письмах. Эту связь он поддерживает и поныне, и я должен напомнить, что Алексей Максимович до сих пор формально считается редактором литературно-художественной части журнала» («Прожектор», 1927, № 6, стр. 20).

² Горький приезжал в Россию в 1928, 1929, 1931 годах, в 1932 году он окончательно поселился на родине. Воронский встречался с Горьким в 1931 году, когда он работал старшим редактором в Отделе русской классической литературы в ГИХЛе.

вал, внимательно поглядывая сбоку на слушателя, приобщая его к себе взглядом и держа руки на столе. Его руки... Они у него были подвижные, благородные, тонкой работы, «аристократические». Откуда они такие у плебея по происхождению, у этого мастера малярного цеха?

Как много видел и знал этот чудесный маляр! Какую прошел он необычайную, огромную, блистательную жизнь, богатую встречами, событиями, знакомствами с разнообразнейшими людьми! Удача в высочайшей мере сопутствовала ему! Кому, в самом деле, так удалась жизнь, как удалась она ему? Он был счастливейший и одареннейший. Но в конце концов он был таким потому, что жадно следил за человеком. Отсюда и его дар рассказчика и исключительного собеседника <...>

VI

...У меня сохранилось несколько записей о беседах и встречах с Алексеем Максимычем, относящихся к 1931 году.

2-го июня. Был у Горького. Дня за три получил приглашение от Халатова «на товарищескую встречу с писателями для обмена мнений по текущим литературным вопросам». Беседа должна была состояться у Горького на Малой Никитской¹. Я уклонился от участия в беседе, будучи уверен, что проку в ней не будет. Я не ошибся <...>

Подводя итоги своим невеселым впечатлениям, Горький говорил:

— Неважно получилось. Хотели покрепче объединить ответственные советские круги с писателями, а вместо этого получились окрики, ссоры, препирательства, сплошь и рядом не имевшие к литературе прямого касательства. У писателей в речах преобладали мелкие цеховые интересы, нисколько не соответствовавшие эпохе и тому, что происходит в стране.

Мы беседовали за утренним чаем. Горький имел удрученный вид и даже не пошел заниматься к себе в кабинет, а пригласил меня туда для дальнейшего разговора. Выглядел он, впрочем, в общем хорошо. За последние два года он пополнел, однако весьма умеренно.

Вспоминал Гамсуна.

— Вот Гамсун, — продолжал он сетовать, — начиная с «Соков земли», все у него замечательно. А пишет, рассказывают, по ночам, в темноте, без огня. На другой же день приводит в порядок написанное. И коньяку пьет по бутылке в сутки, — а ему уже за семьдесят... Завидно²... Кстати: читали вы третий том «Клима Самгина»? Еще не читали? Очень вас прошу прочитать. Есть там у меня одна женщина, Марина. Хотелось бы узнать, как вы к ней отнесетесь. Занятная женщина.

Я пообещал прочитать третий том, вообще же о «Климе Самгине» сказал, что хотя я и считаю его несколько растянутым, но все же это замечательный памятник предреволюционной эпохе. Будущие поколения будут знакомиться с этой эпохой прежде всего по «Климу Самгину». Но роман имеет огромное и современное значение.

¹ По-видимому, речь идет о совещании писателей на квартире у М. Горького 30 мая 1931 года, на котором присутствовали руководители РАППа и представители «попутчиков».

² М. Горький высоко ценил дарование К. Гамсуна, считал его писателем «непревзойденного мастерства».

В статье «Инут Гамсун» он утверждал, что в современной литературе не видит «никого, равного ему по оригинальности творчества» (М. Горький. «О писателях». М., «Федерация», 1928, стр. 308). В письме К. Гамсуну 24 января 1923 года М. Горький писал: «Сегодня я кончил читать [«Соки земли»], и вот мне захотелось написать Вам несколько слов горячей благодарности за те часы радости, которые Вы дали мне этой книгой. Давно я не читал ничего, что волновало бы меня так глубоко. Вы написали нечто удивительно своеобразное. Я бы назвал Вашу книгу эпической идиллией» («Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами», Архив А. М. Горького, т. VIII, М., 1960, стр. 286).

Горький ничего не ответил, но крепко потер руки.

— Знаете ли вы Яхонтову, молодую писательницу? По-настоящему талантливая писательница. Почитал недавно ее трагедию «Восстание Тайлера», — настоящий стих. Надо непременно ей помочь: издательства все вытарают ее и не печатают «Восстания». Передайте ей, чтоб она зашла ко мне¹.

Алексей Максимыч хвалил роман Толстого «Петр I», романы Чапыгина, Шторма, Тынянова.

— У нас превосходный исторический роман вырабатывается².

К завтраку появилась группа комсомольцев. Один из них советовал покровительственно Горькому:

— Надо вам, Алексей Максимыч, побывать в нашей среде и написать о нас, о молодежи.

— Хорошо бы. Боюсь только, что не выйдет это у меня. Нужен особый язык, подробное знание среды... Как писать о современном, еще неизвестно. Красноармеец-инструктор, обучая бомбометанию, увидел, что бомба у него сейчас в руках разорвется. Бросившись наземь, он лег на нее животом, погиб от взрыва, но спас окружающих. Чтобы изобразить художественно такой случай, а их теперь много, нужен, может быть, торжественный, эпический подход, как в библии.

После завтрака Горький опять пригласил меня в кабинет. Я спросил, не находит ли он, что современным советским писателям недостает знания церковнославянского языка. Не потому ли отчасти их слово лишено вескости, корней, не потому ли им не хватает богатства, разнообразия эпитетов, оборотов. Горький согласился со мной и от себя прибавил, что надо издать «Житие проропа Аввакума», прекрасное по языку.

— Не худо бы также, — прибавил он, — издать «Экклезиаст», «Книгу Иова» и «Песнь Песней»³.

Разговор коснулся других тем. Оживившись, Горький говорил:

— Вот о чем надо писать: представьте себе Неаполь, море, залив, набережную. Солнце горячее; светлое, нежное небо. По набережной, лучшей в мире, идет женщина. Красивая. Отлично одета. Все у нее хорошо, в порядке... Около нее — итальянец — деревенский парень лет двадцати двух. Коричневый от загара. Тащит за рога запряженных волов. Крепкий, здоровый парень. Рука вся в мускулах и в золотом пушке. Поглядел на женщину, и от желания кровь прямо ударила ему в лицо. Даже остановился... Да... А в Берлине на экране кинематографа — до двадцати женщин, тоже молоденькие, все голые, очень тоже красивые. И на них зрители смотрят совсем мертвыми глазами. Вот где полная деградация европейской цивилизации... Ну, у нас-то, в Стране Советов, здоровых парней еще надолго хватит. Стоит только взглянуть на наших красноармейцев.

¹ В Архиве А. М. Горького хранится письмо Горького М. С. Яхонтовой от 15 марта 1931 года, где он писал: «Мне кажется, что пьеса «Уот Тайлер» очень удалась Вам: сделана крепко, характеры очерчены достаточно определенно, события развиваются логично, активно и тою «театральностью», коя необходима для сцены, но в наши дни, как будто, не удается драматургам». М. Горький обещал по приезде в Москву хлопотать о постановке пьесы Яхонтовой.

² В статье «О литературе» М. Горький в 1930 году высоко оценил романы А. Толстого «Петр I», А. Чапыгина «Степан Разин», Г. Шторма «Повесть о Болотникове» и Ю. Тынянова «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара». Он писал: «...создан исторический роман, какого не было в литературе дореволюционной, и молодые наши художники слова получили хорошие образцы, на которых можно учиться писать о прошлом, не столь далеком, как далека эпоха Петра Первого, но очень похожем на нее — я говорю о вчерашнем дне» (М. Горький. Собрание сочинений, т. 25, М., 1953, стр. 254).

³ А. М. Горький хорошо знал Библию и нередко использовал библейские тексты в своих художественных произведениях. В Архиве А. М. Горького хранится экземпляр Библии с многочисленными пометками писателя. На книге Горьким сделана надпись: «А. Пешков. Самара. Апрель 1895 г.»

⁴ В письме И. Ионову (1919 г.) Горький писал: «...Библия — книга прежде всего высокой художественной ценности, пользуясь ею, нужно сохранить ее высокий пафос, чистоту ее языка» («М. Горький и советская печать», кн. 1, М., 1964, стр. 68).

Он сидит прямой, угловатый, скосив плечо. Густые усы топорщатся. Голова от коротко подстриженных под бобрин волос, от крутого подбородка, от выступающих скул, от глубоких и резких морщин кажется квадратной. Сутулится. По спине заметно, что время берет свое. Руки все время в движении — то вертят спичечную коробку, то разрезают нож, то ручку. Очень помогают ему в разговоре. Весь он как бы в шипах и колючках, близко к себе не подпустит зря. Но вдруг в сероватых глазах промелькнет сдержанное дружелюбие к миру, к жизни, к людям. Он легко соглашается с собеседником, иногда даже слишком легко, но это, очевидно, лишь тогда, когда дело касается чего-нибудь третьестепенного, что его мало трогает и занимает. Думается, что у него, как у всякого большого человека и замечательного художника, великое множество самых разнородных чувств, настроений, и ему не всегда легко с ними справляться. Отсюда, может быть, отчасти и его «несвоевременные мысли»; от них он, впрочем, за последние годы все больше избавляется. Но во всяком случае его трудно уложить в тот иконописный, суздальский образ, в который его иные на все готовые критики стараются втиснуть и который он так ненавидел. Однажды я спросил его:

— Алексей Максимыч, не находите ли вы, что у нас сплошь и рядом лучших писателей слишком укорачивают и упрощают, особенно в школах и вузах?

— Совершенно верно, совершенно верно, — угрюмо ответил Горький, нахвалившись. — Обтесывать топором писателя никуда не годится, а для детей их обтесывать — совсем страшная вещь.

Большой сложности человек <...>

VII

16-го июля. Вечер у Горького. Зазубрин читал свой новый роман «Горы»¹. Слушали: Бабель, Сейфуллина, домашние. Горький хвалил роман; хвалила Сейфуллина. Бабель хитро улыбался, молчал, был любезен. За ужином я сказал Зазубрину, что материал, по-моему, лучше оформления. Непонятно, как можно писать, что природа — сволочь. Это клевета, какой-то нехороший нигилизм. Горький покосился на меня. Наклонившись, тихо спросил:

— Читали последние рассказы Бабеля?² Язык-то какой! Превосходный язычок! Трудится Бабель, много трудится, а про него говорят, будто он лодырь. Не правда это.

18-го июля. Вечер у Горького. Ездил к нему с главным редактором ГИХЛа Чагиным. Разговор с Леоновым. Он думает, что я на него за что-то сердит и избегаю его. Я ответил, что, наоборот, мне кажется, будто он на меня в обиде. Обменялись телефонами, но он ко мне звонить не станет. Вместе с ним и с Чагиным купались в Москве-реке. Горький глядел на нас с обрыва, завидовал и даже показал кулак. Потом долго сидели над обрывом. Гуляли по парку. Чудесно пахло цветущим табаком с клумб. Цветов грандиозно много. Дом огромный, скорее дворец. Опускалось за дальний лес желтое, уставшее, тяжелое солнце. Недавно пролились дожди, и зелень на лугах за рекой была необычайно свежа; табун лошадей привольно пасся; от темнеющего соснового бора веяло душистой прохладой. Все было благословенно. Горький с увлечением говорил о геохимии, об успехах советской науки, о наших ученых, о том, что братьям писателям нужно побольше читать серьезных книг по разным отраслям знания, а они этим сплошь и рядом пренебрегают. Его силуэт четко вырисовывался в сумерках. Иногда он пылливо и вопросительно поглядывал на собеседников, точно наблюдал за ними. И как всегда, в его угловатых манерах было много особой, лишь ему одному свойственной грации. Сутулится — и чудится, будто он сгибается от тяжести знаний, от

¹ Горький писал о романе «Горы» в своем письме В. Зазубрину 21 августа 1931 года: «Горы» — очень сильная вещь, по моему мнению...» («М. Горький и советская печать», кн. 2, стр. 371). В том же письме он резко осуждал отрицательное отношение Воронского к роману. (В последующих письмах Зазубрину Горький отзывался о «Горах» более критически. Роман был напечатан в «Новом мире» в 1933 году, №№ 6—12.)

² По-видимому, речь идет об «Одесских рассказах» И. Бабеля (М., ГИХЛ, 1931).

гигантского опыта: обременен всем, что видел и слышал, что передумал и пере-чувствовал. А при случае он умеет быть и хитрым. В разговоре я упомянул повесть Алексея Толстого «Ибикус». Горький спросил:

— Что это за повесть? Не читал. У нас дома всегда так: мне в последнюю очередь дают книги.

Я сказал, что «Ибикус» вышел из печати семь-восемь лет тому назад.

— Не знаю, не читал.

— Повесть, Алексей Максимыч, первоначально была напечатана в журнале «Русский современник», вы были одним из редакторов этого журнала.

— В первый раз слышу о таком журнале.

— Вы его редактировали вместе с Тихоновым и Эфросом.

— Не помню такого случая. Журнала не видел, повесть не читал.

Леонид Леонов напомнил Горькому:

— В «Русском современном» вы, Алексей Максимыч, между прочим, напечатали мои «Записки Ковякина».

— Ничего этого не припоминаю.

Так и не признался. Какой лукавец! Журнал-то ведь был принят советской общественностью не очень хорошо, выражаясь осторожно ¹.

За ужином жена Леонова рассказала Алексею Максимычу о своей маленькой дочке, что она недавно, глядя на полную луну, воскликнула: «Мама, мама, луна пролилась!»

Горький, вскинув глаза на Леонову, молвил:

— Это замечательно. Так не напишешь. Какое-то совсем непосредственное восприятие действительности, которого нам не хватает <...>

Кстати, перед моим отъездом в город выяснили, что в начале 90-х годов Горький и я жили в одном и том же местечке: Горький служил сторожем на станции Добринка Грязе-Царицынской железной дороги, а я в то время бегал там семилетним мальчуганом босиком и враспояску. Грязь на селе была.

Возвратившись домой, перечитывал отзывы Антона Павловича Чехова о Горьком в переписке. Он очень любил и ценил Горького. Почему-то на этот раз запомнилось одно место, где Чехов писал ему о недостатках в его рассказах: «Говорить теперь о недостатках? Но это не так легко. Говорить о недостатках таланта, это все равно, что говорить о недостатках большого дерева, которое растет в саду; тут ведь главным образом дело не в самом дереве, а во вкусах того, кто смотрит на дерево...» ².

Очень хорошо сказано.

С осени 1931 года мои встречи с Горьким прекратились. Произошло это таким образом. Перед отъездом на отдых в Крым я позвонил Горькому, хотел с ним проститься. К телефону, как обычно, подошел Крючков ³ и сообщил, что Горькому неможется и что он примет меня дня через два, как только оправится. Я позвонил дня два спустя, и опять Крючков сказал, что Горький болен. Я уехал, не повидавшись с ним. По возвращении из Крыма я опять звонил ему. Крючков сказал: «Горький занят постановкой «Егора Булычова», — и пообещал позвонить сам, как только Алексей Максимыч освободится. Этим обещанием дело и окончилось. Чему приписать перемену в отношениях ко мне Горького — не знаю. Вероятно, Крючков более осведомлен, чем я, на этот счет. Строить по этому поводу догадки и предположения считаю несвоевременным и излишним.

Я сперва был в обиде на Горького, но потом совершенно освободился от этого чувства.

¹ Журнал «Русский современник» выходил в 1924 году при участии М. Горького, А. Н. Тихонова, Е. И. Замятина.

В «Русском современном» впервые опубликованы очерк «Владимир Ленин» (№ 1) и другие произведения Горького.

«Ибикус» А. Толстого печатался во 2-й и 3-й книгах журнала. «Записки Ковякина» Л. Леонова — во 2-й книге.

² А. К. Воронский цитирует письмо Чехова Горькому от 3 декабря 1898 года.

³ Крючков П. П. — секретарь М. Горького.

VIII

...В последние годы, точно предчувствуя близкую кончину, Горький спешил как можно больше и лучше сделать полезного и прекрасного для Страны Советов. Его смелым начинаниям не было конца.

Порой бывал он ворчлив, строг, резок, но ведь и работы он возложил на себя чрезвычайно много, силы же его физические все слабели, а «братья писатели» далеко не во всем и не всегда являлись дельными и нужными ему помощниками.

Боялся ли Горький смерти? Он не хныкал перед ней, не жаловался, не искал укрытия от нее в вымыслах и иллюзиях. Он встречал смерть бодро, спокойно, глядя прямо ей в глаза, как и подобало лучшему пролетарскому художнику. В нем, несмотря на годы, была еще необычайно сильна жажда жизни, особенно ему хотелось жить в стране социализма, принимать живейшее и ближайшее участие в построении нового общества. Он думал о жизни, а не о смерти. Он любил искусство ревнивой любовью. Он был человек великой мысли, великой веры и великого сердца.

Шопенгауэр прекрасно заметил, что гений — это человек в высшей степени. Таким человеком в высшей степени и был Алексей Максимыч Горький-Пешков.

19 — 22/XII-36 г.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЛЕВИН

★

ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ

(К 70-летию со дня рождения П. Г. Антокольского)

Иногда мне кажется, что за сорок лет я прожил не одну, а по меньшей мере четыре жизни... двадцатые годы, тридцатые, сороковые и, наконец, середина века — моя «четвертая жизнь».

П. Антокольский.

1

Впервые я увидел Павла Григорьевича Антокольского летом 1935 года в маленькой допотопной гостинице у подножья Казбека. Обстановка, в которой мы встретились, очень точно описана в его стихотворении «Ночь в селении Казбек».

Незадолго перед тем в горах разбился почтовый самолет. С трудом разыскав тела погибших, летчики и альпинисты справляли поминки по своим товарищам. Группа московских и ленинградских писателей заночевала в гостинице и тоже участвовала в поминках.

За столом, где мы собрались, владычествовал Тициан Табидзе. Это был дородный человек с хриплым голосом и челкой, закрывавшей по меньшей мере половину его могучего крутого лба. Табидзе и Антокольский читали стихи. Не помню, что именно читал Павел Григорьевич, но в памяти навсегда осталось, как он читал.

Пожалуй, точнее всего будет сказать, что он читал яростно.

Казалось, он негодует на то, что голос не в состоянии передать kloкочущей энергии стиха. Он читал как бы всем телом.

Я слышал, как читали свои стихи Маяковский, Багрицкий, Сельвинский, Луговской — каждый раз это было незабываемо, — но ни у кого я не ощущал такой поэ-

тической ярости, словно задыхающейся от бессилия выразить себя до конца. Если хотите, это напоминало припадок. Но именно той болезни, которую один поэт некогда назвал высокой...

Впоследствии я много раз слышал, как читает Павел Григорьевич. Совсем недавно я слышал его еще раз. На трибуну поднялся прихрамывающий пожилой человек с палкой. Глядя на него, я вспомнил летнюю ночь у подножья Казбека и подумал, что теперь — тридцать лет спустя — от Антокольского трудно ждать прежней яростной одержимости. Настало время, когда волей-неволей приходится щадить себя.

Как я ошибся!

Павел Григорьевич прочитал «Балладу о чудном мгновении» — одно из своих лучших стихотворений. Это был тот же Антокольский, что тридцать лет назад. Не скажу, такой же молодой — кому нужен юбилейный сахарин, — но такой же яростный и так же не щадящий себя.

Я говорю не только о том, как Антокольский читает стихи. Ощущение одержимости, возникшее у меня много лет назад, невольно распространилось на весь облик поэта. Так он читает стихи. Так он их пишет. Так он живет и работает в поэзии.

Недавно вышла его книга «Пути поэтов». Прочитав ее, я по праву старого знакомства позвонил автору и сказал, что, на мой

взгляд, никто у нас не пишет о стихах так, как он.

Против всяких ожиданий Павел Григорьевич рассердился:

— Я никогда не пишу о стихах. Мне это абсолютно неинтересно. Я пишу о поэтах. В том-то вся беда, что у нас пишут не о поэтах, а о стихах. Можно подумать, что у нас нет поэтов!

Оправдываться было бессмысленно: Павел Григорьевич кипел. Тридцать лет спустя со мной разговаривал все тот же Антокольский.

После этого разговора я вновь перечитал предисловие к «Пулям поэтов», и мне бросились в глаза следующие слова: «Я собирался было назвать эту книгу «Поэтоведение», но не решился вводить в литературный и научный обиход еще один технический термин, сразу высушивающий предмет в некоем гербарии, в котором и без того хранится множество скелетиков отцветшей жизни».

Не стиховедение, а именно поэтоведение!

«Говорить о поэзии, отправляясь от личности каждого данного поэта», «быть физиогномистом и знатоком чужой души» — такие задачи ставит Антокольский перед каждым, кто хочет писать о поэзии.

Тем труднее писать о нем самом.

2

Две страсти, соперничавшие друг с другом, владели Антокольским в молодости. Одна из них — к поэзии, другая — к театру. Но стать ему было суждено все-таки не актером и не режиссером, а поэтом. Театр навсегда остался его горячей привязанностью, но истинной страстью была поэзия.

Впрочем, магическое воздействие театра еще долго ощущалось в его поэтической работе. Не только темы, но и образные средства его стихов нередко диктовались театральными впечатлениями. Особенно это сказало в его первой книге «Стихотворения» (1922), где Мельпомена играла одну из самых первостепенных ролей:

То в мертвый мировой театр
Вступают хором Мельпомены
Давно потопленных эскадр
Сереброгорлые сирены.

Работая в качестве актера и режиссера, Антокольский ни на минуту не забывает о

поэзии. Стремясь соединить театр с поэзией, он в конце концов приходит к мысли о стихотворной драматургии и одну за другой пишет пьесы в духе блоковского «Балаганчика».

Составляя через сорок лет книгу «Четвертое измерение», поэт перечитывает сохранившуюся у него рукопись одной из стихотворных пьес («Пожар в театре», новогодняя сказка в пяти картинах с прологом) и решает включить ее в книгу. «Я убедился, — объясняет он свое решение в короткой вступительной заметке, — что эта вещь продиктована той же тревогой и той же загадкой, которой посвящены все стихи «Четвертого измерения»: и там и тут — власть Времени над человеком, власть человека над Временем».

Все, что пишет Антокольский, действительно растет как бы из одного корня, возникает на одной почве. Путь поэта необыкновенно органичен: многое из того, что возникает в его ранних стихах, десятилетия спустя отзывается с новой глубиной и силой.

«Муза Истории. Ей я обязан всем», — скажет поэт впоследствии. Почти с благоговением назовет он имя музы истории Клио.

Муза истории осеняет все, что создано Антокольским в двадцатые годы. Побывав в Швеции и Германии, он выступает с книгой «Запад» (1926). Поэт как бы концентрирует в себе историческую память человечества: «Европа! Ты помнишь, когда...»

Стихи о Западе означали для их автора вступление в актуальную советскую поэзию. «Стокгольм», «Камень», «Ночной разговор», «Гроза в Тиргартене», а также написанные после поездки в Париж «Бульвар Сен-Мишель», «Химеры», «Итог» — все эти стихи, проникнутые острым чувством времени, продолжают существовать и поныне.

Так мрачен бред былых династий.
Так мрачен час ночных громил.
Так мрачен парк. Так прочен мир.
Так прочно сделано ненастье.
Так человек молчит, когда
Заболтана грозой на горе
Захлещет рыжая вода
На бронзу голых аллегорий.

Таким предстает перед поэтом «страшный черно-золотой мир ночной Европы». Это мир, населенный людьми-призраками и пропитанный «миазмами пушечного мяса».

Пусть, в некоторых ранних стихах чув-

ство времени горит неестественно резким, слишком эффектным, театральным светом. Пусть в «Западе» то и дело «взвивается занавес века», а гроза озаряет воображаемую мировую сцену. Все это пройдет. Останется главное: постоянная способность видеть исторические события в их внутренней связи с современностью и ощущать сегодняшний день как закономерный итог всего исторического развития.

В середине двадцатых годов Антокольский пишет стихотворение «Санкюлот». Оно быстро становится популярным.

Мать моя — колдунья или шлюха,
А отец — какой-то старый граф...

Поэту, по его собственным словам, удается выразить в нем самое заветное: «чувство истории, которое продолжается и сегодня, продолжается и в нас, современниках великой эпохи». Санкюлот обращается как бы к нашим дням:

И сейчас я говорю с поэтом,
Знающим всю правду обо мне.
Говорю о времени, об этом
Рвущемся к нему огне.

«Французские» поэмы Антокольского — «Робеспьер и Горгона» (1928), «Коммуна 1871 года» (1931) и «Франсуа Вийон» (1934) — в сущности, вышли из «Санкюлота». Поэт всем сердцем ощущает «рвущийся к нему огонь» революционных восстаний, народных мятежей, великих исторических потрясений. Сквозь этот огонь, сквозь романтический дым костров он различает очертания событий, происходящих у него на глазах. И наоборот, то, что он видит сегодня, помогает ему понять смысл того, что происходило столетия назад.

После «Робеспьера и Горгоны» поэт берет за поэму о Парижской коммуне, но его внимание отвлекает лежащая на столе неоконченная рукопись о «несчастном и гениальном» Вийоне.

Демократически-плебейский дух Вийона сродни его потомку — санкюлоту. «Не монашески овечий, голый, страстный и простой, — вот он, мир мой человеческий!» — возглашает Вийон. Утверждением страстного и простого человеческого мира определяется пафос не только «Вийона», но и «Санкюлота», и «Робеспьера и Горгоны», и всей ранней поэзии Антокольского.

Многих советских поэтов, выступивших в двадцатые годы, принято называть роман-

тиками. Это, конечно, верно, но как при всем том своеобразна, как не похожа одна на другую романтическая поэзия Багрицкого и Тихонова, Светлова и Антокольского!

У Багрицкого — серебряные трубы революции, красные знамена над атакующими полками, дымящаяся под солнцем черноземная плоть земли, готовая принять в себя семена новой жизни. У Тихонова — сдержанная, мужественная патетика простого солдатского подвига, клинка и тачанки, пыль под сапогами пехотинцев и копытами коней. У Светлова — прерывистый стук сердца под солдатской шинелью, боль прощаний и счастье встреч, грустно-ироническая усмешка бойца, потерявшего очки в момент атаки.

Свой собственный мир и у ранней романтической поэзии Антокольского. В нем не скажут кони и не гремят орудия гражданской войны, но и его озаряют грозные молнии революционных битв. В нем слышатся воинственные кличи борющихся за свободу гёзов, бесстрашно идет навстречу гибели несогласный на компромиссы, неподкупный Робеспьер, гибнут под пулями версальцев парижские коммунары, штурмуют самодержавие солдаты русской революции, и, вдохновленные их примером, поднимаются на борьбу вчерашние рабы капитала.

Двадцатые годы были для Антокольского временем бури и натиска. Они сформировали его как поэта, выработали его индивидуальную поэтическую манеру, определили его не похожий на другие резко своеобразный творческий облик.

3

На пороге тридцатых годов Антокольский писал:

Стиль создан. Осталось поставить клеймо
На прошлом. И баста. И рощерк.
Я вижу: с годами и время само
И чувства становятся проще.

Так он прощался со своей первой жизнью в поэзии. Он имел право на такое прощание: стиль действительно был создан. Но в тоне его слышалось беспокойство. Не потому ли, что чувство времени уже вело поэта на новые трудные поиски?

Как начались для Антокольского тридцатые годы?

Как и для многих других советских писателей, с дороги. Вместе с А. Файко и еще несколькими литераторами он отправляется

на Сяьстрой, что неподалеку от Ленинграда.

Так в книге «Действующие лица» (1932) появляется цикл «Бумкомбинат».

В «Третьей книге» (1927) есть раздел «Фигуры». Кроме знаменитого «Санкюлога», в него входят «Старик», «Дон-Кихот», «Карлик», «Актер», «Владыка». В звонких, повышено эмоциональных строфах возникают ярко раскрашенные романтизированные исторические фигуры. Именно фигуры; к сожалению, это очень точно сказано.

Теперь Антокольский хочет, чтобы в его поэзии существовали не фигуры, а действующие лица.

«Действующие лица» — противоречивая книга. Главное в ней — время, властно врывающееся в поэтический мир Антокольского. Прежде всего оно заявляет о себе в «Бумкомбинате». Стихи, составившие этот цикл, суховаты. Поэтическая «биография» колчедана явно перегружена технологическими подробностями. Но жадный интерес поэта к технологии знаменателен сам по себе.

Многое в «Бумкомбинате» кажется сейчас наивным. Тем не менее и этот цикл, и стихи о Париже («Париж! Я любил вас когда-то», «Песня дождя», «Республика», «Бальзак»), и несколько неожиданные для Антокольского сатирические мотивы («Около Гоголя»), и полная чувства историзма небольшая поэма «Девятьсот четырнадцатый» — все это делает книгу «Действующие лица» началом второй поэтической жизни Антокольского.

В тридцатые годы родина распахивает перед поэтом свои просторы. Поездки в Армению, Грузию, на Украину заражают его пафосом многонациональной страны, строящей социализм. «Я видел всю страну», — почти с гордостью заявляет он.

Вслед за книгой «Большие расстояния» (1936) появляется «Пушкинский год» (1938). Со стихами о Пушкине, обогатившими поэтическую Пушкиниану Антокольского («Дорога», «Работа», «1837—1937»; первое его стихотворение о великом поэте — «Пушкин» — было еще в «Третьей книге»), здесь соседствуют «Октябрьские стихи». Основа обоих циклов — все то же органическое чувство истории:

И вся дымясь, и вся дыша ненастьем.
В кровоподтеках, в саже, в ключьях тьмы.
Внезапно распахнет ворота настужь
История — пред нашими детьми.

Вторая поэтическая жизнь Антокольского — это не только названные выше стихи. Это и поэма «Пауль Вильмерсдорф», где Антокольский возвращается к образу прекрасного немецкого интеллигента, созданному в одном из старых стихов о Германии, и как бы заново видит своего «давнего недруга» в зловещем свете костров, на которых горят тома Маркса, Спинозы и Эйнштейна. Это и поэма «Кошей», где дан обобщенный образ русского капиталиста, героя эпохи первоначального накопления, бегущего от революции на Запад и не теряющего надежды когда-нибудь вернуться с победой. Это и книга «1933—1940», подписанная к печати 24 марта 1941 года...

Вторая жизнь Антокольского — это и участие в той огромной работе по переводу на русский язык братских национальных литератур, которая началась после Первого всесоюзного съезда писателей. В Армении поэт переводит Туманяна и Чаренца, в Грузии — Руставели и Чавчавадзе, Чиковани и Табидзе, в Азербайджане — Низами и Ахундова, Вургуну и Рустама.

Наконец тридцатые годы знаменуются для Антокольского еще и тем, что, став признанным мастером, он оказывается наставником и учителем молодых поэтов. Вокруг него собирается московская — да и не только московская — поэтическая молодежь.

Она придет, веселая, простая.
И сколько бы ни написал ты книг,—
Ты скажешь, вровень с нею вырастая,
Что не учитель ей, а ученик.

Перед войной поэт работает особенно увлеченно. В его книгу «1933—1940» наряду с «Большими расстояниями» и «Пушкинским годом» входит большой раздел «Молодость не кончается» — в сущности, целая новая книга. Когда-то в «Третьей книге» был цикл «Обручение во сне». Теперь Антокольский пишет «Второе обручение во сне» — новый цикл стихов о любви. «Я много счастья видел в бурной и удивительной стране», — восклицает поэт, заканчивая свою последнюю предвоенную книгу и еще не зная, что очень скоро эти слова прозвучат как прощание с мирной жизнью.

4

Передо мной маленькие книжечки: «Полгода» (1942). «Железо и огонь» (1942) и «Сын» (1943). Вместе с «Испытанием вре-

менем» (1945) и «Третьей книгой войны» (1946) они включают почти все, что было создано Антокольским в военную пору.

В книжке «Полгода» есть стихотворение «Мой сын». Такое название мы находим и в «Больших расстояниях». Но это совершенно разные вещи. Соотношение между ними приблизительно такое же, как между мирными и военными днями.

В старом стихотворении перед нами образ «худого подростка», стоящего на пороге жизни.

Вплоть до любого рубежа.—
Все перед ним сейчас маячит.
В уме вселенную держа,
Он вновь ее переиначит.

Сын — это юность, поднимающаяся к жизни. В нем спят «кузнец, художник, рыцарь». Это начало всех начал, утро творчества, рассвет, который торопится стать полднем. «О молодости! Повремени!» — как бы заклинает поэт.

Пройдет несколько лет, начнется война, и отец, провожая сына в армию, с грустью скажет: «Ты мог бы стать художником». Теперь сын — это молодость, идущая на смертный бой и не помышляющая ни о какой другой судьбе.

Во время войны Антокольский пишет очень много. Его по-прежнему вдохновляет чувство истории. Одно из первых его стихотворений военного времени так и озаглавлено: «Страница новой истории». Он включает в свой арсенал все новые виды поэтического оружия. «Баллада о том, как спасся Жан Лекок», «Черноморская баллада», «Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным» — все это стихи, а не просто стихотворные отклики на войну, какие во множестве писались в те годы.

В «Балладе о том, как спасся Жан Лекок», моряк из Тулона рассказывает о трагической гибели французского флота, взорванного его хозяевами на глазах у врага. Рассказав свою горестную историю, Жан Лекок уходит в ночную мглу, и сквозь нее доносятся звуки Марсельезы.

Ее насвистывал моряк,
И буря подпевала.
Тяжелый тент водой набряк.
Скрипела дверь подвала.
А где-то с песней шел моряк,
И буря подпевала.

Здесь оказалась удивительно уместной традиционная форма поэтической баллады

с ее торжественной и грустной музыкальностью, с неизменными рефренами, подчеркивающими ее смысловое и мелодическое звучание.

Но главное, что Антокольский написал в годы войны. — поэма «Сын». Когда мы думаем о поэзии Отечественной войны, среди лучших произведений этого времени мы называем, конечно, и эту поэму.

В книжку «Железо и огонь» поэт еще включил адресованные сыну «Письма в Среднюю Азию». Им уже не суждено было дойти до адресата. В той самой книжке, куда они вошли, вместо титульного листа появилось посвящение, вставленное в последний момент: «Светлой памяти моего сына младшего лейтенанта Владимира Павловича Антокольского».

«...Все происходило точно так, как написано в поэме о нем», — подчеркивает Антокольский. Сын родился в тот самый год, когда его отец побывал в городе, откуда впоследствии пришла смерть. В сорок первом сын прямо со школьной скамьи ушел в армию, окончил артиллерийскую школу в Чарджоу, летом 1942 года оказался на фронте и 6 июля пал смертью храбрых на берегу реки Ресета в Орловской области. Все происходило точно так, как написано в поэме о нем.

Война неизбежно связана с горькими и невозвратимыми утратами. Страстное желание оплакать павших, воскресить их в образах искусства, дать им новую, на этот раз бесконечную жизнь становится в годы войны поистине общественной потребностью.

«Вот — прими печаль мою и слезы, реквием несовершенный мой», — писала Берггольц, оплакивая вместе с незнакомой девочкой гибель ее брата, павшего на Вороньей горе под Ленинградом.

Поэма Антокольского — гоже реквием, может быть, самый пронзительный из всех, созданных советской поэзией в военные годы. Она начинается прямым обращением к сыну: «Вова! Я не опоздал? Ты слышишь?» Но чем дальше движется скорбная повесть, тем шире ее границы. Поэт вспоминает Берлин 1923 года: «Он был набит тщеславием, как ватой, и смешан с маргарином пополам». Здесь родился и вырос ровесник сына — «Вотан по силе, Зигфрид по здоровью» Через двадцать лет он пошлет доковую пулю, но и сам погибнет в русских снегах.

Образ сына становится все более обобщенным. Мальчик растет в новой Москве, его окружает мирная жизнь — «жизнь облаков, аэродромов, комнат, оркестров, зимних вьюг и летних гроз». Вот он уже юноша, полный жизненных планов, — «его мечты хватили б жизни на три и на три века — так он ждал труда». Но вместо мирной жизни он сразу вступает в войну.

Поэт сознательно придает образу сына почти символические черты. «Ты, может быть, встречался с этим рослым, веселым, смуглым школьником Москвы?» — спрашивает он читателя и тут же нетерпеливо повторяет свой вопрос:

А может быть, встречался ты и раньше
С каким-нибудь из наших сыновей —
На Черном море или на Ла-Манше,
На всей планете солнечной твоей.

Теперь в образе сына воплощаются черты «всех подростков мира», борющихся против фашизма: «Уже он был жандармом схвачен в Праге, допрошен в Брюгге, в Бергене избит», «Пойдем за ним — за юношей, ведомым по черному асфальту на расстрел».

Реквием по Володе Антокольскому превращается в реквием по миллионам его сверстников, так же, как Володя, отдавших жизнь во имя победы над фашизмом.

Благодаря этому становится возможным и внутренне оправданным тот горестно мучительный и глубоко страданный вывод, к которому приходит поэт:

Нет права у тебя ни на какую
Особую, отдельную тоску.
Пускай, последним козырем рискуя,
Она в упор приставлена к виску.
Не обольщайся. Разве это выход?
Всей юностью оборванной своей
Не ищет сын поблажек или выгод
И в бой зовет миллионы сыновей.

Особая, отдельная тоска как бы приобретает всеобщее значение: «И все уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь».

Острую боль, кажется, удалось преодолеть, но тут же она разгорается с новой силой и диктует потрясающие строки финала:

Прощай Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолеты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам. Снятся и тают...

Написанная поистине кровью сердца, проинкнутая безысходным трагизмом и в то

же время утверждающая связь с миром, эта поэма — лучшее из того, что создано Антокольским.

В «Сыне» наиболее широко воплотилось то высокое понимание трагического, которое всегда сопутствовало автору «Робеспьера и Горгоны», «Коммуны 1871 года», «Франсуа Вийона». «Неприбранное будничное горе — единственная стоящая вещь», — сказал когда-то Антокольский. Трагическое неизменно влекло его к себе и в юности, когда он только начинал жить стихом, и позже, когда он увидел послевоенную капиталистическую Европу, и в годы, когда он всматривался в историческую судьбу Робеспьера, и наконец во время Отечественной войны.

«Многие путают трагедию и трагическое в искусстве с пессимизмом», — писал он. — Вредная путаница! У трагедии нет ничего общего с пессимизмом». И дальше: «Трагедия может вывернуть человека наизнанку, но человек в конечном счете поблагодарит ее за громовой урок о вечном торжестве жизни».

Эти слова мы вправе обратить и к поэме «Сын».

5

Почти у каждого поэта есть стихи, которые либо пишутся как программные, либо оказываются программными после того, как они написаны.

Антокольский не только пишет программные стихи, но и верстает их в своих книгах таким образом, чтобы у читателя не оставалось на этот счет никаких сомнений.

Одну из своих послевоенных книг Антокольский открывает стихотворением «Поэт и время».

Уже с порога поэт подчеркивает его программный смысл: «Я книгу времени читал с тех пор, как человеком стал». Затем он обращается к своему давнему сотрудничеству с Клио:

Мой выбор сделан издавна.
Меж девяти сестер одна
Есть муза грозной правоты.
Ее суровые черты.
Ее руки творящий взмах
И в исторических томах
И на газетной полосе.
Она мне диктовала все
Стихи любимые.

Всем, что он сделал, поэт обязан музе истории. Она шла с ним, «держа священный свиток мятежа». Ей вняты все голоса

жизни. Она дала поэту силы пережить тяжкое горе военных лет. Дружбу с ней он мечтает сохранить до конца пути: «Я ей отдам на сотни лет беречь мой партбилет».

Стихотворение написано в 1951 году. Этим экскурсом в прошлое, оценкой настоящего и взглядом в будущее Антокольский начинает свою середину века, свою четвертую жизнь в поэзии.

По правде говоря, первая половина пятидесятих годов мало чем обогащает творчество поэта. Книги его выходят, но почти ничего нового не включают.

Поэма «В переулке за Арбатом» (1954) занимает свое место в творчестве Антокольского, но тоже вряд ли двигает его вперед. То, что поэт мастерски владеет искусством свободного поэтического повествования, мы знали и до нее. То, что ему подвластны все стихотворные размеры, в том числе классический четырехстопный ямб, тоже было нам хорошо известно.

Многое в поэме удалось — прежде всего лирические отступления о Москве двадцатых годов. Одна из строф поэмы до сих пор служит Антокольскому чем-то вроде герба:

Прошло вчера. Приходит завтра.
Мне представляется порой,
Что Время — славный мой соавтор,
Что Время — главный мой герой.

Но при всем том поэма «В переулке за Арбатом», как верно сказал Луговской, «кажется несколько приглушенной в общем пламенном потоке творчества Антокольского».

Четвертая жизнь поэта, подлинная его середина века, начинается после XX съезда КПСС. Творческие идеи съезда оказывают на него огромное влияние, дают новый простор его поискам.

Через два года после съезда выходит «Мастерская». Как это уже не раз бывало, поэт открывает ее стихотворением, имеющим для него программный смысл. Оно так и названо — «Мастерская». «Я спросил у самого себя: для чего мне эта мастерская? Что мне дальше делать? Глину мять, написать роман о Дон-Кихоте...»

Это не риторические вопросы. На них необходимо ответить, чтобы осмыслить себя, свое место в поэзии и жизни.

В «Мастерской» Антокольский возвращается к стихотворению «Дон-Кихот», впервые напечатанному тридцать лет назад. В сущности, он пишет его заново, сохраняя

лишь стихотворный размер и несколько старых строк. Но любопытно, что теперь поэт видит в образе Дон-Кихота то, чего не видел прежде: мужество, энергию, деятельное стремление к правде. «Только одно напоследок осталось мужество у ветерана» — эти строки недаром дважды повторяются в новой редакции стихотворения.

Но особенно любопытно другое. В старой редакции читаем: «Кончился отдых. Пора балаганить. Странствовать. Верить в неправду». В новой: «Будет герой бушевать, балаганить, странствовать, драться за правду». Раньше Дон-Кихот у Антокольского предавался иллюзиям, был во власти прекраснотушно-лживых представлений о том, что видел вокруг себя. Теперь он готов к борьбе за торжество правды.

В данном случае не так уж важно, когда Антокольский был ближе к образу, созданному Сервантесом де Сааведра. У поэта своя собственная концепция Дон-Кихота. То, как она изменилась за тридцать лет, помогает нам понять внутреннюю динамику пройденного им пути.

Новая редакция «Дон-Кихота» органически входит в круг тех размышлений, которыми порождена «Мастерская».

Вслед за «Мастерской» появляются новые книги Антокольского: «О Пушкине» (1960), «Сила Вьетнама» (1960), «Высокое напряжение» (1962), «Четвертое измерение» (1964). Каждая из них в той или иной степени отвечает на вопросы, заданные в стихотворении «Мастерская».

Поэтическое мышление Антокольского достаточно сложно, но эта сложность не преднамеренна — в ней отражается интеллектуальная жизнь нашего современника, человека середины двадцатого столетия, которому ведомы и вечный огонь Прометея, и скульптуры Фидия, и полотна Босха, и яблоко Ньютона, и симфонии Бетховена, и открытия Эйнштейна.

Весь мир для Антокольского — огромная мастерская, где человек разгадывает вековые тайны материи, ищет на поверхности планет давно исчезнувшие города, различает в картине микромира бег частиц и колебания волн. Но с особой силой влечет его к себе древнейший и неотразимо-прекрасный вид человеческого творчества — искусство. «Искусство не ждет приглашений», «Рождение искусства», «Конец искусства», «Поэзия», «Черновик», «Жизнь поэта», «Старый скульптор», «Баллада о поэзии», «Иероним

Босх», «Рабы Микеланджело», «Маяковский», «Пикассо», «Ольге Берггольц», «Циркачка», «Замысел»... Я перечисляю только те стихи, одни названия которых уже говорят сами за себя.

Может возникнуть вопрос: не слишком ли много стихов о поэтах, живописцах, скульпторах, актерах и прочих служителях муз? Не ограничивает ли традиционное и давнее пристрастие Антокольского к теме искусства жизненный диапазон его поэзии? Если бы речь шла о другом поэте, возможно, так оно и было бы. Но в трактовке Антокольского тема искусства оказывается как бы шире самой себя. Искусство для него прежде всего духовный подвиг, безраздельная поглощенность творчеством, одна из наивысших форм служения обществу. Говоря о художнике, Антокольский всегда так или иначе утверждает свой идеал человеческой личности: волю к творчеству, жажду риска, одержимость идеей, совершенство мастерства.

...дело художника — вечная гонка,
Чеканка иковка, резьба и литье.

Эти строки написаны, когда их автору перевалило за шестьдесят. Но, как это ни парадоксально, своей напряженностью, творческим темпом, страстностью «вечной гонки» его четвертая жизнь в поэзии напоминает не вторую и не третью, а первую...

Давно отмечено, что Антокольский, как никто из современных поэтов, одарен свободой перемещения во времени и пространстве.

Оказавшись в бельгийском городе Дамме, поэт тотчас вспоминает, что здесь некогда шли гёзы, борцы за Фландрию. Как же не вспомнить о гёзах, если он писал о них еще тридцать лет назад в поэме «Армия в пути»...

«Баллада-репортаж», действие которой происходит в Дамме, на мой взгляд, лучшая из бельгийских баллад. Местный художник ведет гостей в госпиталь, где лечится его приятель — английский фермер. На стуле возле койки больного лежит томик Пушкина.

У фермера Дигби Ковентри
Жена, представьте, волжанка.
Решили они воспитывать
По-русски своих ребят.
Бьет полночь.
Сиделка гонит нас.
А нам расставаться жалко.
Нам Грубы Русской Поэзии
Вдогонку бурно трубят.

Этот образ проходит затем через все стихотворение.

«...Каждый этап душевного роста, и в школе, и в юности, и после того, как я стал поэтом, каждый важный поворот на поэтическом пути так или иначе связан с Пушкиным», — писал Антокольский в 1937 году, и это не просто традиционные слова, которые мог бы сказать по юбилейному поводу любой советский поэт. Образ Пушкина действительно сопровождает Антокольского на протяжении десятилетий.

Написанные за всю жизнь стихи о великом поэте («Пушкин», «Дорога», «Работа», «1837—1937», «Письмо в Польшу», «Медный всадник», «Нева в 1924 году», «Баллада о чудном мгновении», «Черная речка») вошли в книгу «О Пушкине» вместе с исследовательскими очерками, переводами и рассказами. В книгах «Испытание временем» и «Поэты и время» есть статьи о Лермонтове, Державине, Рылееве, Блоке, Шиллере, Гюго, но нет ничего о Пушкине. Антокольский словно еще не решался тогда взяться за эту тему.

Дело, однако, не только в том, что Антокольский всю жизнь писал о Пушкине. Его статья о «Евгении Онегине» кончается так: «Чувство истории стало доминирующим в творческой практике Пушкина, в его тревожных поисках и огромных открытиях. Оно и было тем «магическим кристаллом», который дался Пушкину в руки, как никому другому до него». Таков итог многолетних размышлений Антокольского над творчеством Пушкина.

Так мы снова возвращаемся к тому, что всегда поглощало Антокольского — к его содружеству с Клио.

В поэме «Кошей» есть такие строки:

Едва намечено пунктиром,
Восстанье мчалось по следам
За временем — честней и краше,
Чем яростный морской прилив,
Одних — на годы ошарашив,
Других — навеки окрылив!

Мы вправе придать последним строкам свое толкование: некогда Антокольский был в известной мере «ошарашен» историей. Именно тогда в его стихах сплошной чередой являлись горгоны и химеры. Но сначала «ошарашив» поэта, история впоследствии «окрылила» его навсегда. Овладев ее «магическим кристаллом», он, собственно, и стал самим собой, тем Антокольским, чье

творчество неотъемлемо вошло в советскую поэзию, заняло в ней место, принадлежащее только ему одному.

Один из самых сокровенных образов поэзии Антокольского — образ Времени, которое, шумя крыльями, летит над головой человека.

Крылья Времени как бы осеняют человека. Если он слышит над собой шум этих крыльев, значит, Время считает его своим.

О чем бы ни писал Антокольский, он постоянно слышит над собою этот шум. Может быть, это и есть главная индивидуальная особенность его поэзии, та резко характерная, именно ему свойственная черта, по которой мы всегда можем узнать каждое его стихотворение.

Порою гул Времени становится у Антокольского темой произведения. Такова историческая поэма «Океан». Каковы бы ни были ее достоинства и недостатки, написать ее мог только Антокольский. Только у него мог родиться ее замысел, только в его поэзии могли возникнуть отделенные друг от друга столетиями исторические сцены, которые проходят перед нами как бы в раскатах мировой грозы при мгновенно вспыхивающем и так же быстро гаснущем блеске молний.

«Вечный гул Океана! С тобою я знаком на короткой волне», — восклицает поэт. Но что же такое этот гул океана, если не гул Времени, навсегда вошедший в его кровь!

Именно отсюда Антокольский идет к книге «Четвертое измерение». Первый ее раздел, давший и общее название, построен так же, как «Океан», — отдельные стихи столь тесно связаны друг с другом, что, в сущности, образуют поэму. В «Океане» четвертое измерение выступает под псевдонимом, здесь оно названо своим настоящим именем.

Ты, Вре́мя, измере́ньем будь четвертым,
Или припиской в договоре с чертом,
Или костром на богатырской тризне,
Чем хочешь, лишь бы продолже́ньем
жизни!

В книге есть «Путевой журнал», посвященный Адриатике. Может показаться, что он существует в книге вне связи с ее общим замыслом. На самом деле каждое стихотворение — и «Адриатика впервые», и «Адриатика в полдень», и «У Диоклетиана», и «Сараево 1914» — проникнуто все тем же чувством истории, неизменно свойственным Антокольскому. Кому, кроме Антокольского,

поездка в Югославию могла продиктовать стихотворение «У Диоклетиана»?

И опять-таки: перед нами не просто отличное стихотворение о римском властителе, по одной из версий покончившем жизнь самоубийством, а еще одно звено в цепи общего поэтического замысла.

А дальше голубела соль морская.
Купель Перуна, колыбель Зевеса,
Вне времени, и зыбилась зверская,
Лишенная объемности и веса.

Эта строфа повторяется дважды: когда речь идет о Диоклетиане и как бы через семнадцать веков, когда поэт вступает в «пустой триклиний, где рухнул Диоклетиан на плиты». Можно было бы подумать, что перед нами просто пейзажный фон, но вскользь брошенное «вне времени» энергично подчеркивает главную мысль поэта: все подвластно могучему ходу истории; его жертвой пал и Диоклетиан. Героем стихотворения и на этот раз остается Время.

В «Океане» слово предоставляется железу, в «Четвертом измерении» говорят Время, Земля, Юность, Старик. Каждый из этих поэтических монологов скорее диалог: Время и Человек ведут здесь свой нескончаемый разговор о жизни. Разговор этот очень современен, как современно и все «Четвертое измерение».

Тем же качеством отличается и предыдущая книга — «Высокое напряжение».

Она современна, конечно, не только потому, что в ней есть стихи об историческом полете Юрия Гагарина, а по самой своей сути, по строю мыслей и чувств, по всему характеру их поэтического выражения.

Участие в дискуссии о кибернетике («Две реплики в споре»), напряженные размышления о войне и мире, о настоящем и будущем планеты («Урок истории», «Диалог», «Будет написано в 2061, если...»), постоянные мысли о творчестве, безраздельно отданном высокому служению родине («Электрическая стереорама», «Надпись на книге», «Маяковский», «Нет счета моим ненаписанным книгам...»), проникнутые историзмом стихи о Болгарии (особенно «Шипка»), наконец даже экспериментальное, построенное на «несогласии пяти согласных» стихотворение «Ритм войны и мира» — все это делает книгу Антокольского живой, сегодняшней, современной. «Высокое напряжение» — факт не только четвертой поэтической жизни Антокольского, но и всей советской поэзии шестидесятых годов.

Ко всем этим работам Антокольского тесно примыкает и поэма «Пикассо». Одна из ее последних глав называется «Баллада молнии». Логически говоря, поэт рассказывает в ней, как Пикассо создал своего знаменитого голубя, ставшего символом борьбы за мир. Но как мало дает такое определение! В поэтическом образе молнии, ударившей в глаза художнику и осветившей для него весь мир, Антокольский соединяет и динамическую картину века с его непримиримыми противоречиями, и властный зов Времени, предъявляющего свои требования художнику, и то мгновенное творческое озарение, которое внезапно открывает герою глаза на все, что его окружает. «Отверзлись вешние зеницы, как у испуганной орлицы!» Думаю, что не ошибусь, если скажу, что тень пушкинского «Пророка» витала над Антокольским, когда он писал «Балладу молнии». Подобно шестикрылому серафиму, молния «перстами легкими как сон» касается глаз и ушей художника, и он видит все, что до сих пор было от него скрыто:

Увидел яростный старик
В окалинах грозы
Весь евразийский материк
От Эбро до Янцзы.
Увидел, восхищенья полн,
Пленен голубиной.
За плеском средиземных волн
Весь африканский зной.

«Увидел...», «Услышал...» — вот что происходит с художником в «Балладе молнии». Вероятно, он мог бы сказать о себе: «И внял я неба содроганье, и горный ангелов полет...» Но сходство с «Пророком» не ограничивается и этим. Влетев к художнику, молния повелевает ему: «Воссгань. Нацелься. Бей. Ударь. Зажги. Будь начеку». Если это и не «бога глас», то голос Времени, воплощенного в образе молнии...

Одно из лучших стихотворений книги — «Ньютон». Гениальное открытие, сделанное ученым, атакует «столетний, серый, лысый, как колено», пресвитер. Он издевательски спрашивает: «Что за ветер умчал вас дальше межпланетных сфер?»

Я думал. — Ньютон коротко ответил. —
Я к этому привык. Я думал, сэр.

Подобно своему герою, привык думать и поэт.

Если бы мы попытались определить пафос поэзии Антокольского, вернее всего было бы сказать, что это пафос ищущей мысли, которая не довольствуется готовыми решениями, а стремится извлечь на свет и понять то, что скрыто от обычного глаза. Научная поэзия? Может быть, но совсем не в том смысле, в каком понимал ее Брюсов. Не холодная, хотя порой и блестящая поэтизация достижений науки, а напряженные поиски истины, благоговейное отношение к человеческой мысли, страстное стремление познать мир с тем, чтобы его переделать.

Такова едва ли не высшая точка четвертой жизни Павла Антокольского.

Забыл, чем был, не разгадал, чем буду.
Не слишком верю в каменного Будду
С бессмысленно-двусмысленной улыбкой.
Но был и буду парусом и скрипкой,
И вольтажом любого напряженья,
И дальним рубежом воображенья.

Так пишет Антокольский в «Четвертом измерении». Такова поэтическая программа, которой он следовал всю жизнь и остается верен поныне.

В течение полувека паруса его поэзии полны ветром истории. За пятьдесят лет — и каких лет! — неизменно изменилась жизнь, окружающая поэта, изменились и его стихи, прошедшие через все перевалы времени. Неизменным осталось только одно — высокое служение духу творчества, высшим выражением которого всегда были для поэта революционные свершения народа, борющегося за новую жизнь на земле. Судьба народа была судьбой поэта, все испытания, выпавшие на долю народа, были и его испытаниями.

Оглядываясь на прожитые им три поэтические жизни и продолжая свою четвертую — может быть, самую напряженную — жизнь в поэзии, Антокольский обращается к судьбе с единственной просьбой:

Пускай мой дух, мой зрячий астероид,
Чертеж следа горящего построит
И срок труда творящего утроит.

...
Все остальное медяка не стоит.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ю. Айхенвальд. Красота, верная людям.— **М. Рощин.** Долгие дни возвращения.— **Ю. Буртин.** Марк Щеглов — критик.— **В. Ковский.** Встреча с Александром Грином.— **Л. Левицкий.** Он в Риме был бы Брут...

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Устинов. Высший орган государственной власти.— **Георгий Кублицкий.** От нью-йоркского корреспондента...— **Е. Гнедин.** Воссоздание истины.— **И. Браинин.** Голос сердца.— **Марк Половский.** Берегите планету Земля! — **Л. Рыбак.** Формирование труженика, гражданина.

Литература и искусство

КРАСОТА, ВЕРНАЯ ЛЮДЯМ

Д. м. Кедрин. Красота. Стихотворения и поэмы. «Художественная литература». М. 1965. 286 стр.

Старый друг кедринской поэзии Л. Озоров пишет во вступительной статье к вновь переизданному стихам и поэмам Кедрина, что до самой смерти поэта большая часть его стихов мертвым грузом лежала в столе. Ведь в конце тридцатых годов историческая тема в поэзии многим казалась анахронизмом. А Кедрин писал о зодчих, создавших для России сказочную красоту — и ослепленных Грозным («Зодчие», 1938). Писал об Алене-Старице, которая водила разинские полки, чтобы рыба в Волге насытилась «свежинкою дворянскою», а очутилась скованная в разбойном приказе, и «тучи, словно лошади, бегут над Красной площадью. Все звери спят, все птицы спят, одни дьяки людей казнят» («Песня про Алену-Старицу», 1939).

За год до смерти Дмитрий Кедрин консультировал начинающих поэтов в кружке при «Молодой гвардии». Его любили: в этом шуплом, как воробышек, человеке светилось огромное напряжение работ, безостановочной, бесконечной. Фальшь действовала ему на нервы, как скрежет желе-

за о стекло. Он замыкался, прятался в себя, морщился — и снова взглядом и улыбкой выходил навстречу чьей-то искренности. Но едва ли кто-нибудь из двадцатилетних хотел такой судьбы: в тридцать семь лет быть поэтом, о котором «широкий читатель» спрашивает: что же за стихи он написал?

Для этого широкого читателя (как и для меня) мир поэзии Кедрина приоткрылся в 1947 году — тогда вышло довольно бедное «Избранное». Настоящее открытие Кедрина произошло во второй половине пятидесятых годов. Именно тогда на читательском горизонте стали появляться все новые и новые имена. новые миры открылись для любителей поэзии — уровень общей поэтической культуры стал иным. Но, может быть, увлечение Кедриним — мимолетная дань времени?

В ранних стихах Кедрина — атмосфера романтики; ее цветным воздухом дышали тогда многие поэты. И кедринского бродягу, и «веселых нищих» Багрицкого зовет одна и та же стихия. Есть внутреннее родство между «Куклой» и «Поединком»

Кедрина и всем известными стихотворениями Багрицкого «Смерть пионерки» и «Папиросный коробок».

Но Кедрина всегда влекла к себе живая теплота конкретных человеческих отношений, бытовых, очень обыкновенных. Романтические ноты к концу тридцатых — началу сороковых годов все слабее и слабее звучат у Кедрина. Он пишет об опустелой даче, об уюте воспоминаний («Счастье»), из «всей симфонии войны» он слышит «только плач солдаток». «Беседа», «Пластинка», «Страдания молодого классика» — во всех этих стихах в разные годы Кедрин как бы исследует одно и то же: конкретность времени. Именно в человеке живет время, в котором «перемешаны темень и свет», ведь «мне недоросль — прадед, и Пушкин — мой дед». Это не для красоты сказано. Для Кедрина человек — живое продолжение прошлого и начало будущего.

Интерес к человеку своего времени, к тому, откуда он, каким он явился в новую эпоху, привел Кедрина к исторической тематике. История оставила нам живую память о людях. Каков же истинный ее герой? В чем полнота человеческой жизни?

В ранних стихах Кедрина промелькнул образ гёза, борца за свободу веселой Фландрии, собутыльника и соратника Тиля Уленшпигеля. В драме «Рембрандт» великий художник называет себя «мужиком» и «гёзом», и он помогает горожанам в борьбе против алчного деспота герцога Оранского, он страдает, видя страдания близких, он ни при каких обстоятельствах не торгует правдой и, подобно Тилу Уленшпигелю, не разменивает на золото красоту. В нем горит «живой и чистый пламень Прометей». Был ли Рембрандт счастлив?

Много видевший, много знавший,
Знавший ненависть и любовь,
Все имевший. все потерявший
И опять все нашедший вновь.

Вкус узнавший всего земного
И до жизни жадный опять.
Обладающий всем и снова
Все боящийся потерять.

Семь лет спустя после окончания «Рембрандта» Кедрин написал процитированное стихотворение и назвал его «Я». Видимо, он не хотел быть другим, чем его герой. Полнота жизни для него — в творчестве.

В поэме «Кань» (1940) Кедрин ставит тот же вопрос: в чем полнота жизни? И герой

этой поэмы русский зодчий удивительно похож на нидерландского живописца. гот же буйный нрав, та же несговорчивость и жажда свободы, только судьба намного страшней — человек, строивший дворцы, храмы и крепости, стал по воле царя затворником в Соловках, а потом беглым бродягой, «Иваном, не помнящим родства». Когда в поэме «Зодчие» на вопрос царя, могут ли они построить храм, равного которому по красоте не было в мире, «тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем! Прикажи, государь!», то «в ноги царю» они ударились не от рабьего страха, а оттого, что постройка храма Покрова была для них праздником, прекрасным и трудным.

Для Кедрина настоящий человек — это свободный, гордый, «до жизни жадный» творец. И кем бы он ни был — персидским поэтом, русским зодчим или нидерландским художником, — судьба его трагична. Не он хозяин жизни. Хозяева жизни — безжалостный чванный Сезострис («Пирамида»), жестокий, тщеславный, хищно расчетливый Грозный или «господень бич, Атилла».

Для поэта Атилла — воплощение всех железных деспотов, он — противоположность творцам, разрушитель всего, что можно разрушить. И оказывается: только лишь пригубив чашу простых человеческих радостей, «предшественник Железного Хромца» гибнет. Он недочеловек. Любовная страсть, без которой не могут жить творцы красоты, убивает его.

Прочное. как камень, забвение — вот судьба «поводыря убийц». А если деспот хотел оставить что-нибудь по себе, то вечным оказывался труд «безвестных зодчих, трудолюбивых, словно муравьи». И так же, как человеческое победило «железного» Атиллу, так искусство покоряет людей, соединяет их своей силой.

В последние пять-шесть лет творчества Кедрина историзм взгляда присутствовал так или иначе почти в каждом его стихотворении. Порою история входила в его стихи вместе с образами и приемами, почерпнутыми из народного творчества: в начале тридцатых годов у поэта было несколько изящных стилизаций народных песен и баллад. Именно ощущение связи времен помогло поэту увидеть у русских крестьянок «гордые лбы винчианских мадонн». Он начал ощущать себя живой частицей огромного мира — и вот само понятие «веч-

ного неба», холодного, бесконечно далекого от нас, словно потеплело:

Ты говоришь, что наш огонь погас,
Твердишь, что мы состарились с тобою.
Взгляни ж, как блещет небо голубое!
А ведь оно — куда старше нас...

Внешне стих Кедрина никогда не был броским и ярким. Порой поэта упрекали за то, что его мир слишком обобщен, в нем не хватает деталей, образной конкретности.

В одном из стихотворений поэт спорит с эстетической однобокостью иных своих критиков:

Так что ж педант, насупясь, пишет.
Что творчество лишь тем дано,
Кто зорко видит, остро слышит,
Умеет говорить красно?

Ведь «был слеп Гомер, и глух Бетховен...». В этих стихах давний отголосок не конченного еще и сегодня спора. Да, Кедрин не умел говорить красно. Его поэтика скромна.

Большинство стихотворений Кедрина сюжетно: сюжет был для него существенным средством выражения поэтической мысли. Нетрудно найти у Кедрина несколько излюбленных ритмов — например, ритмический рисунок «Зодчих» и «Куклы» одинаков. Но именно потому, что простота и неприязательность поэтической формы Кедрина не были правильно поняты и поэта упрекали порой в несамостоятельности, стилизации поэтической речи, я остановлюсь на маленькой поэме Кедрина «Зодчие», одним из лучших произведений поэта.

Две силы сталкиваются в этом произведении — зловещая и могучая власть государя, стремящегося надо всем поставить престол, столичный град Москву, и стихийная, необоримая жажда мастеров создавать красоту, которая для них выше всего. Столкновение трагично: Грозный олицетворяет одну из сил истории, одно из начал ее, зловещее и неотвратимое. Но грозный царь, играя судьбами творцов, не мог так же своевольно определить судьбы творчества. Спор решает самое течение жизни народа, в памяти своей осудившего государя и сохранившего наперекор его воле окруженные ореолом мучничества образы творцов.

Трагическая судьба, точнее — трагическое бессмертие творчества, нужного людям, которые в данный исторический момент не могут вступить за погубленных творцов, а

могут лишь пожалеть их, помнить о них, — вот основная проблема «Зодчих», проблема, по своему значению выходящая далеко за рамки хронологии маленькой поэмы, так и не решенная в пределах всей истории дореволюционной России. Та мысль, что искусство, творчество всегда было коренной, неуничтожимой стороной народного бытия, делает эту поэму значительной и для нас.

Стремление достоверно передать мир прошлого — стремление понятное, ибо достоверно переданное время сделало бы спорной саму мысль стиха, — заставило поэта прибегнуть к историческим реалиям (в данном случае это реалии языковые), дошедшим до нас частицам старины. Поэт видит чужую эпоху изнутри, но это взгляд нашего современника. Поэтому в одном, если можно так выразиться, «стилистическом строю» стоят архаизмы и слова современной литературной речи, нужные поэту для открытого выражения собственного взгляда на мир. Внешне поэма о зодчих эпична, на самом деле за каждой ее строчкой живет автор, эпичность повествования — лишь форма выражения лирического начала поэмы.

Вот пример того, как поэт «совмещает» внимательный взгляд на прошлое изнутри и свое отношение к истории, свое ощущение места искусства в ней. Церковь Покрова на Красной площади построена,

А в ногах у постройки
Торговая площадь жужжала,
Таровато кричала купцам:
— Покажи, чем живешь! —
Ночью подлый народ
До креста пропивался в кружалах.
А утрами истошно вопил,
Становясь на правож.

Тать, засеченный плетью,
У плахи лежал бездыханно,
Прямо в небо уставя
Очесок седой бороды.
И в московской неволе
Томились татарские ханы,
Посланцы Золотой,
Переметчики Черной Орды.

А над всем этим срамом
Та церковь была —
Как невеста...

Образ храма, творения, живого своей красотой, в самом начале отрывка намечен метафорой («в ногах у постройки»). Чем напряженнее и страшнее картины московской жизни, тем необходимее внутренне стано-

вится разрядка, словно глоток воздуха в духоте. Образ храма, живого чуда, еще только намеченный метафорой, как бы развивается в глубине, в подтексте стиха, невидимо для глаз, и наконец выходит наружу:

А над всем этим срамом
Та церковь была —
Как невеста!
И с рогожкой своей.
С бирюзовым колечком во рту,—
Непотребная девка
Стояла у Лобного места
И, дивясь,
Как на сказку,
Глядела на ту красоту...

Сравнение церкви с невестой, вряд ли возможное психологически для поэта прошлого, рядом с образом «непотребной девки», парии, поднятой из грязи силой мгновенного удивления перед красотой,— все это взгляд нашего современника на прошлое, выражение его ощущения истории.

Стилистическая гибкость, умение сделать метафору внутренне необходимой — одна из важных особенностей «Зодчих». И стилистически и композиционно маленькая поэма построена на контрастах, и это помогает полнее воспринять авторское ощущение трагического бессмертия творчества, оказавшегося беззащитным: ведь зодчие были ослеплены царем, боявшимся, что где-нибудь еще, не в стольном граде, появится храм, который будет краше храма Покрова.

В «Зодчих» цельность и сложность авторского ощущения нашли адекватную форму выражения, хотя внешне форма стиха кажется простой. Для лучших стихов поэта типична эта цельная простота сложной мысли и чувства. Любой материал, не спаянный ими, рассыпается по кирпичику.

И поэтому там, где строки не несли в себе заряд большой мысли и глубокого чувства, где другому могло бы прийти на выручку формальное мастерство, Кедрин оказывался беспомощным, его стих становился слабым до беззащитности. Решил, скажем, поэт прославить широту души Грозного и патриотизм Ермака — и получились декоративные стихи, которые после «Песни о вещем Олеге» как-то даже странно читать: «Пирует с дружиной отважный Ермак в юрте у слепого Кучума. Среде пира на руку склонился казак, грызет его черная дума. И, пенным вином наполняя стакан, подручным своим говорит атаман...»

Стилистика и реалии чужой эпохи, не спаянные большим замыслом, иной раз становились, как в балладе о Васильке Ростовском, чистой стилизацией, декоративным картоном.

Есть у Кедрина слабые, подчас риторические или неглубокие стихи. Об этом сказать надо, ибо за какую вину — поэту снисхождение умалчивания? Кедрин был большим и честным поэтом. Он не мог писать так, чтобы ему все удавалось. А главное ему удавалось. Поэт был верен людям и времени.

Ю. АЙХЕНВАЛЬД.

★

ДОЛГИЕ ДНИ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Наталья Ильина. Возвращение. Роман. Книга первая. «Советский писатель». М. 1957. 567 стр.

Наталья Ильина. Возвращение. Роман. Книга вторая. «Знамя», №№ 7—11, 1965.

Прежде чем прочитать вторую книгу «Возвращения» Натальи Ильиной, естественно, захотелось припомнить первую книгу романа и тот отклик, который она имела в свое время. Прошло без малого десять лет. Многое изменилось за эти годы в литературе, в читательском восприятии ее, и сегодняшний, особенно молодой, читатель берет в руки толстый том с некоторым недоверием: что в нем? не зря ли потрачу я время? не лучше ли прочесть мемуары или исторический очерк?

Автору, который отдает себе в этом отчет, нужно обладать известным мужеством, чтобы выйти к современному читателю с объемистым романом или тем более с продолжением романа. Ведь нередко мы видим, как вторые и третьи части когда-то известных книг вызывают у читателя тоску и разочарование.

Я говорю об этом потому, что первое, что приходит на память в связи с «Возвращением», — это довольно большой читательский резонанс, который имел роман Ильи-

ной. Искренность, с которой он был написан, и жизнеутверждающий его характер — несмотря на то, что речь шла, в сущности, о грустных и трагических вещах, — все это сразу нашло отклик у читателя. Читательскому простодушию (в хорошем смысле) особенно импонировал светлый и чистый образ героини Тани Арсеньевой и второго, как бы параллельного, героя романа Димы Голубева.

Разумеется, здесь сыграла роль и некоторая сенсационность темы. Ильина написала о дальневосточном крыле русской послереволюционной эмиграции, о Харбине и Шанхае, о ностальгии одних и белогвардейском бешенстве других, о мечте возвращения на родину и суровой действительности, противостоящей этой мечте, о родителях и детях, русских детях, лишенных родины, ставших жертвами отцовских ошибок. Об эмиграции давно не писали, о дальневосточной, насколько помнится, тем более. Роман дал автору возможность широко представить целое историческое явление (это стремление ничего не упустить, все рассказать кое в чем оказалось даже неорганичным для романа, но об этом ниже), проследить судьбы многих людей, вылепить образы достаточно полнокровные.

По мере чтения создавалось ощущение, что «роман об эмиграции» вырастает в «роман о жизни». То есть я хочу сказать, что определяющей для «Возвращения» становилась не просто известная мысль, что человеку нельзя жить без родины, и не заданная схема, по которой эмигранты должны были бы разделиться на «хороших» и «плохих», а определяющим становилось реальное отражение действительности, показ исторической правды. Кое-где этому мешала некоторая чрезмерная гладкость, литературная выстроенность романа, слишком тщательное соблюдение «законов жанра». Но в целом перед нами была правдивая, живая книга, из которой немало запомнилось: няня Арсеньевых, которая все время грозит уехать назад, домой, тоскует, рассказывает маленькой Тане о России и потом так и умирает на чужой земле. Или пансион княгини Мещерской в Шанхае, куда перебираются постепенно из Харбина все персонажи романа, где живут еще мало знакомые Таня и Дима Голубев. Пансион с его комнатами, хозяйкой, жильцами, лестницами, с уличей и садиком перед ним был написан так, что, казалось, попади когда-нибудь в

Шанхай, пройди мимо — и узнаешь это место.

Кстати, выстраивая вторую часть как самостоятельное произведение, словно опасаясь, что читатель уже все позабыл, Ильина то и дело вносит в текст никому не нужные «справки», и вот отлично написанный пансион Мещерской во второй части вдруг оказывается изображен таким образом: «Полтора года назад, приехав в Шанхай из Харбина, Таня прямо с парохода попала к своей школьной подруге Лиде Ершовой. Лида снимала комнату в пансионе княгини Мещерской, но, когда Лида познакомилась с Ричардом Хейсом и переехала, то Тане пришлось искать другое жилье... Две дешевые комнаты были в пансионе Мещерской, но обе заняты: в одной жил Голубев, молодой человек, которого Таня немного знала по Харбину...» и т. д. «Молодой человек» звучит здесь особенно нелепо, потому что о Голубеве перед этим написано едва ли не полромана.

Но это к слову. Мы говорили об исторической правде, и в связи с этим прежде всего вспоминается образ Софьи Павловны, матери Тани. Это интеллигентная, образованная, безусловно честная и, что называется, порядочная женщина со своим взглядом на мир. Ее муж, белогвардейский полковник, служил и погиб в армии Келчака. Волна бегства захлестнула Софью Павловну и вынесла ее вместе с другими на чужой берег. Сама Софья Павловна как будто ни в чем не виновата перед новой Россией, она либералка, отнюдь не монархистка. Ее друзья тоже «милые, порядочные» люди: доктор Калитин, Горячев, Караваев — соредакторы либеральной харбинской эмигрантской газеты, в которой работает и Софья Павловна. Софья Павловна мучительно тоскует о родине, жить в Харбине тяжело. Но при всем этом ей кажется абсолютно невозможным возвращение домой.

Жизнь на каждом шагу показывает Софье Павловне, что Советская Россия не гибнет, как об этом неустанно кричит вслед за мировой буржуазной прессой пресса эмигрантская, а, напротив, растет, крепнет и обновляется. Родные Софьи Павловны, ее мать живут в Ленинграде, их письма говорят о том же. С другой стороны, Софья Павловна не может не видеть, как идет разложение эмиграции, как «милые, порядочные» люди дэурушничают, подличают,

пресмыкаются Благообразный Калитин начинает служить в дешевой газетке у циника Розмана, шизофреник Горячев становится идеологом «русских фашистов», организация которых создана с помощью японской военщины. Караваев, как и многие другие эмигранты, просто ищет, где больше платят. Перелицовываются убеждения, перекрашиваются взгляды, бессилие и ярость толкают вчерашних архипатриотов на сговор с любой мразью: пусть все идет войной на Россию, лишь бы уничтожить большевизм.

Общая трагедия эмиграции становится личной трагедией для Софьи Павловны: любимый ею человек, бывший офицер и поэт Евсеев, пьет горькую, опускается, не может существовать без родины. Он уже узнал цену белым лозунгам и обещаниям, он хочет убедить и Софью Павловну в ничтожестве эмигрантского существования. Но Софья Павловна не разделяет его взглядов, она по-прежнему пытается сохранить видимость благополучия и пристойности, держаться комильфо — петербургская интеллигентность застывает на ней, как гипсовый футляр.

Когда Евсева застреливает «русский фашист» Родзаевский, Софья Павловна и тут не хочет увидеть и узнать правды. Она продолжает оставаться женщиной честной, гордой, несчастной, но возвращение для нее по-прежнему «табу», дочери Тани она не позволяет даже обсуждать этот вопрос. И чем тяжелее и унизительнее жизнь, тем более гордой и упрямой становится Софья Павловна. В конце романа мы видим, как некоторый материальный достаток почти примиряет Софью Павловну с жизнью, как постепенно она становится похожа на тех графинь и баронесс, которых сама презирала прежде, и как избранная ею поза непримиримости делается второй натурой.

Этот разносторонне и глубоко обрисованный образ показывает сложность жизни, несводимость ее к желаемым схемам. Разные люди были и среди первого поколения эмигрантов, разными были их пути, по-разному складываются судьбы. Если опустошенный и циничный поэт Нежданов или запутавшийся художник Неньянский просто прозябают и тупеют день ото дня, то ярый белогвардеец Тимашев действует, представляет собой активную антисоветскую силу. А доктор Калитин появляется во второй ча-

сти членом организованного молодежью «Союза возвращения».

Правда, и желание объять необъятное, о котором я упоминал, то чересчур аккуратное литературное построение, при котором ружье из первого действия непременно должно стрелять в последнем, оказалось, к сожалению, на образе Калитина: появляясь в новом качестве, изменившимся, прозревшим, он в художественном отношении выглядит лишь иллюстрацией к правильной мысли автора, что не все «отцы» безнадежны, а не тем живым, сложным человеком, которым он был в первой части.

Что касается вообще раскрытия судьбы «отцов», то едва ли не ключевой в этом отношении можно считать сцену харбинского концерта Шаляпина. Вот тут все ясно и выразительно. Уже старый, измученный, трагический Шаляпин собирает вокруг себя в каком-то затрапезном, полутемном зале всех «вчерашних русских». Шаляпин поет, и его искусство пробуждает в них самое лучшее, на полтора-два часа возвращает вдруг родину всем этим сегодняшним японским служащим, лавочникам, телохранителям китайских миллионеров, ученикам американской школы, для которых предел мечтаний — получить американский паспорт или хоть какой-нибудь паспорт. И голос Шаляпина, голос России, как бы говорит всем этим людям, что нельзя так жить, как они живут, нельзя...

И интересно то, что Шаляпин не менее сильно, чем на «отцов», действует на «детей»: они вдруг видят живую частицу родины, вдруг как бы пробуждаются, слышат ее зов. И это впечатление оказывается глубоким и долгим, даже более глубоким, чем у родителей. Отчего? Ведь, казалось бы, дети меньше знают свою родину, меньше помнят ее, с родиной связывают их только родители. В чем же дело? Почему поиск родины, возвращение на родину становятся затем главным стремлением в жизни?

Ответом на этот вопрос как бы и служит весь роман, все сложные перипетии рассказанных в нем судеб. Зачем так трагична жизнь Софьи Павловны? Почему так труден путь чистой и честной Тани Арсеньевой? Почему столь мучительна жизнь Димы Голубева, чем-то похожего на Евсева, едва не поддавшегося влиянию Родзаевского и агитации полупомешанного Горячева? Отчего приходится влачить жалкое существование прекрасным ребятам Виктору Золота-

реву, Володе Калитину? Зачем нужно продаваться, служить в дансингах образованным русским девушкам? Оттого и затем, что у них нет родины? Оттого, что они дети эмигрантов и расплачиваются за это? Нет, не совсем так. Рядом живут китайцы, живут у себя на родине, но жизнь их еще хуже, чем у русских. Как же и почему приходят юноши и девушки из молодого поколения эмиграции к идее возвращения?

Мировой социальный опыт показал, а марксизм четко сформулировал то положение, при котором нация делится практически на две нации и при котором понятие «родина» становится не только и не столько иррационально-идиллическим, сколько строго социальным. Для молодых русских людей, выросших на чужбине, поиски родины становятся одновременно поисками справедливости, мечта о родине — мечтой о жизни, достойной человека. Молодые герои «Возвращения» проходят все круги ада: безработицу, нищету, безысходность, униженность. Они брошены в жизнь, как кутята в реку, и в этом смысле они ничем не отличаются от других, здесь они уравниваются с другими членами общества — бедными, разумеется. Вот почему возвращение для них — как исход, как необходимость, и вот почему оно превращается не только в цель жизни, но и в дело жизни.

Если для Евсева самым трудным было перешагнуть порог советского консульства (он так никогда и не решился на этот шаг), то для Димы Голубева и его товарищей этого уже мало. Во-первых, они понимают, что родина обошлась без них и обходится, что звание советского гражданина надо еще заслужить, во-вторых, как написал Голубев в созданной им газете, «возвращение внешнее куда проще, куда поверхностнее возвращения внутреннего». И вот это самое главное. Ведь дело в том, что кое-кто из эмигрантов устроился, и довольно неплохо устроился, и вспоминает о родине лишь затем, чтобы пощекотать нервы. Жизнь многолика, пестра, как Шанхай, в котором живут герои, и пути людей различны.

К слову сказать, образ Шанхая, огромного современного капиталистического города, становится в романе почти самостоятельным. Эти точные, очерковые страницы описаний Шанхая, по которому бродят в поисках работы герои, сами по себе интересны и выразительны. Ильина ведет нас по набережным, где работают кули, мимо усеянной

дзонками реки, мимо лачуг и фешенебельных отелей. Запоминается разгон китайской демонстрации — в нем участвуют отряды полицейского «Русского полка», это те русские парни, которых удалось оболванить и купить за кусок хлеба тимашевым и неслерам (Неслер возглавлял эмигрантский комитет). Запоминается бомбежка Шанхая японцами. Отчетливо встают перед глазами все эти живописные улицы, лавки, гаражи, конторы, фотографии, редакции, дансинги, рестораны, рикши, автомобили.

Но Шанхай — это не только пестрота быта, Шанхай — это политика, средоточие самых различных интересов, форпост империалистической Европы на Востоке. И Ильина знакомит нас уже не только с материалом этнографическим, но и историческим. Все это, безусловно, интересно и, вероятно, нужно, но кое-где публицистика и очерк становятся самодовлеющими, мешают эмоциональному восприятию. Автор понимает это, спохватывается, вместо откровенно публицистической страницы пишет главку, как, например, с Неслером, в которой есть опять и улицы Шанхая, и толстый старик, мучающийся от жары, и рикши, и аристократический «Шанхай-клуб», но весь смысл которой лишь в том, что глава русских эмигрантов — жулик, а политическая ситуация такова, что эмигрантов никто уже не принимает всерьез. Неслер, фигура, видимо, достаточно любопытная, совершенно пропадает за этим чисто политическим, справочным материалом, выглядит персонажем почти опереточным.

Но вернемся к судьбе основных героев романа. «Дети» выросли, «дети» сами начали искать дороги в жизнь и среди них главную — дорогу на родину. Путь возвращения оказался, однако, не простым (дело происходит перед войной), не быстрым и не легким. Идет месяц за месяцем, год за годом, давно создан Союз возвращенцев, поданы прошения в консульство, но ответа нет и нет. А надо жить, надо что-то делать. В нескольких торопливых словах автор объясняет нам, в чем дело: искренние стремления молодого поколения, к сожалению, натолкнулись на обычную у нас в те годы подозрительность, возникшую в атмосфере репрессий, и вместо осуществления прекрасных надежд на долю тех, кто собрался вернуться на родину, выпали новые испытания. Однако и это обстоятельство не могло уже остановить проснувшихся и осознанных

стремлений — во всяком случае у такого человека, как Дима Голубев.

Именно он становится постепенно воплощением этого сознательного, упорного, идейного стремления в Советскую Россию. Что касается Тани Арсеньевой, то она выражает скорее эмоциональную сторону идеи возвращения. Таня — это как бы и есть частичка России, носительница неистребимой тяги на родину. Она как будто и переимчива, и восприимчива, и покорна в какой-то момент обстоятельствам, и есть в ней уже некий внешний космополитизм. И вот даже за американца она выходит замуж и становится светской, богатой дамой. Все, кажется, кончилось: годы мытарств, нищеты, долгов, стоптанных туфель, и, главное, исчезло ощущение, что ты изгой, человек без родины, за спиной которого пустота. Но все-таки что-то в жизни Тани идет не так, не по правде, а невыносимое, мучительное чутье на всякую неправду и фальшь — одна из самых главных и прекрасных черт ее путаного и пестрого, но очень русского характера. И вот постоянно, и все чаще и чаще что-то отталкивает Таню от ее новых самодовольных друзей, от той жизни, которой она живет. Ей стыдно перед соотечественниками, ей кажется, что она предала их, ее вновь и вновь тянет к Голубеву, Золотареву, Володе Калитину.

Но как же муж, положение, американский паспорт? Дело еще в том, что Бриггс, муж Тани, неплохой малый. Он инженер, он приехал в Китай, чтобы сколотить деньги, живет он однообразно, попивает от скуки, ездит в клуб. Он женится на Тане по искреннему, доброму движению души, желая помочь ей. И, несмотря на то, что люди они слишком разные, со своими привычками и взглядами на жизнь, поначалу все идет хорошо.

Бриггс занимает во второй книге много места и вырастает в живой и убедительный образ. И странно, что автор к концу вдруг начинает торопить события, развивать внутренний неизбежный конфликт Тани с Бриггсом по каким-то внешним линиям. Мы поверили автору, что Бриггс неплохой человек, а он вдруг оказывается совсем несимпатичным: он и запойный пьяница, и свысока относится к полуничим друзьям Тани, и

расист он, и даже домашний деспот и самодур. Разрыв с Бриггсом должна стимулировать также проснувшаяся настоящая любовь Тани к Диме Голубеву. Словом, мы очень скоро убеждаемся, что Бриггс не такое уж серьезное препятствие на пути возвращения, что Таня не уедет с ним в Америку. Но не ведет ли все это Таню как раз к легкому «внешнему» возвращению, а не к трудному внутреннему? Когда подосланный Тимашевым убийца убивает Голубева, Таня, по мысли автора, должна стать его идейной преемницей, довести до конца начатое Голубевым дело по объединению русской колонии. И, конечно, в таких обстоятельствах от Бриггса нужно поскорее отделаться, обвинив его во всех смертных грехах.

Возможно, некоторая неубедительность, намеренность всех этих поворотов объясняется еще и тем, что как-то торопливо, наспех рассказана история любви Тани и Голубева. Правда, она была очень коротка, Голубев погиб, но, кстати, и эта смерть, эта жертва воспринимается как еще один толчок к прозрению героини. Автор изо всех сил, настойчиво, словно извиняясь за прежнюю наивность Тани и ее ошибки, ведет ее на дорогу возвращения.

А ведь такой нажим вовсе не нужен: читатель давно поверил, что Таня стремится на родину — с тех пор как помнит себя. Ее чувства, ее жизнь сказали нам больше, чем ее рационалистическое решение. Когда еще девочкой она слушает Шаляпина или когда смотрит «Чапаева», мы уже верим ей и знаем, что она непременно вернется на родину, чего бы ей это ни стоило.

Наталья Ильина завершила безусловно интересную работу. Кое в чем «законы жанра» романистики, к сожалению, одержали верх, отточенность профессиональных навыков, как ни странно, кое-где помешала углубленности, авторской сосредоточенности, пристальности. Но мы узнали новый пласт жизни, узнали нескольких незаурядных людей, с которыми сжились, за судьбами которых, за их поисками путей к родине и к справедливости следили с интересом и участием.

М. РОЩИН.



МАРК ШЕГЛОВ — КРИТИК

Марк Шеглов. Литературно-критические статьи. Из дневников и писем. «Советский писатель». М. 1965. 440 стр.

Вышел вторым изданием (первое появилось в 1958 году и было мгновенно раскуплено) сборник статей Марка Шеглова. В новом издании состав сборника во многом изменился. Начать с того, что сюда включены (в извлечениях) «Студенческие тетради» — дневник, который Марк Шеглов вел в 1947—1953 годах, в период, предшествовавший тем трем последним годам его жизни, что вместили в себя всю творческую биографию критика.

Со страниц дневника встает перед нами образ талантливого и чистого юноши, до восторженности увлекающегося — и бесстрашно думающего; открытого всем добрым чувствам — и нравственно требовательного к себе и другим; живущего богатой, напряженной жизнью духа — и в то же время горячо, активно, полно включенного в окружающую его повседневность; чуткого и впечатлительного, остро переживающего всякую пошлость или несправедливость — и вместе с тем обладающего поистине героическим мужеством, сумевшего — вопреки тяжкому недугу, который точил его многие годы, вопреки лишениям и несчастьям, на которые так щедро была его судьба, — сохранить душевное здоровье, юмор, любовь к жизни и к людям.

Новый сборник Марка Шеглова отличается от прежнего и самим выбором статей. С одной стороны, он пополнился такими важнейшими работами критика, как «Реализм современной драмы» и «Русский лес» Леонида Леонова, а также небольшой статьей о Достоевском и рецензией на повесть С. Антонова «Дело было в Пенькове». С другой стороны, две статьи и четыре рецензии, входившие в первый сборник, теперь выпали. И хотя включенные материалы, по-видимому, всемогуще исключенных, последних тем не менее жаль. К тому же вообще не очень понятно, почему одни статьи можно было включить лишь за счет других. Давно пора издать Марка Шеглова целиком; это была бы, увы, не такая уж объемистая, но весьма нужная для нашей литературы книга.

Перечитывая статьи Марка Шеглова, поражаешься, как богато одарила его природа всем тем, что необходимо критику и что способно превратить этот род деятельности

в искусство. Безошибочный вкус, высота и разработанность художественных критериев, широкая эрудиция в истории мировой культуры, сила и ясность ума соединились в нем со страстной любовью к литературе. Марку Шеглову в самой высокой степени была присуща способность непосредственно и горячо воспринимать произведения литературы, увлекаться писателем, проникаться духом его творчества, тонко и точно ощущать его поэтическую систему. Эта способность, помноженная на отточенное мастерство литературного анализа и выразительность живого, яркого слога, давала в результате характеристики замечательные по своей верности и красоте страницы превосходной критической прозы.

Можно утверждать, однако, что в литературе Марк Шеглов оставил след не только в силу своей талантливости: у него была собственная позиция в критике, самостоятельно выработанная и — что особенно существенно — полностью отвечающая основной для данного исторического момента потребности нашего общественного и литературного развития.

Наличие такой позиции важно для критика ничуть не менее, чем талант. Была она у классиков русской критики XIX века, чем в первую очередь и объясняется то поразительное обстоятельство, что критик порой превращался тогда в центральную фигуру своего времени; была она у Плеханова, Воровского, Луначарского и других лучших критиков-марксистов. Но к тому моменту, когда Марк Шеглов выступил со своими первыми статьями, получил распространение иной тип критика, — если можно так выразиться, критика-иллюстратора. Иллюстратор отличается тем, что в своей критической практике он исходит не столько из собственного наблюдения и осмысления «действительно происходящего общественного процесса» (Ленин), сколько из господствующих представлений о сущем и должном; не столько выражает собственные оригинальные воззрения на искусство, сколько пропагандирует и иллюстрирует общепринятую эстетическую теорию. Такой тип критика всегда существовал, и, по-видимому, он может приносить обществу определенную пользу, но когда по той или

иной причине он становится преобладающим, уровень критики и ее авторитет неизбежно падают. В конце сороковых — начале пятидесятых годов наша критика пережила как раз подобное состояние: обезличенная и приниженная своей несамостоятельностью, скомпрометировавшая себя восхвалениями слабых книг и избинениями достойных, она в значительной мере утратила интерес и доверие читателя. Статьи Марка Щеглова и некоторых других авторов знаменовали собой в этом смысле «начало перемены» — восстановления критикой своего идейного общественного значения.

В чем состояла, однако, упомянутая позиция критика и с какой общественно-литературной тенденцией была она связана?

Едва ли будет ошибкой сказать, что центральным пунктом во взглядах Марка Щеглова на литературу и пафосом всей его работы в ней была идея художественной правды. Правда для него — не только первый долг писателя: она — синоним художественности, синоним самого искусства. Соответственно и задача критики, призванной способствовать созданию высокого искусства современности, понимается им в первую очередь как борьба за полноту и глубину правды.

Поддерживая правдивые и талантливые книги, которые были тогда новинками литературы («Сердце друга» Эм. Казакевича, «Не ко двору» В. Тендрякова и др.), критик в то же время темпераментно и резко выступает против всего того, что противоречит правде искусства. При этом он нередко шел дальше многих своих собратьев по критическому «цеху».

Всеми осуждалась, например, теория и практика бесконфликтности. Но если кое-кто из критиков «узнавал» ее лишь в том случае, когда она встречалась в прежних, так сказать, классических формах, то Марк Щеглов помогает читателю распознать новейшие модификации этого явления. Разбирая в своей статье «Реализм современной драмы» пьесы «Персональное дело» А. Штейна и «Крылья» А. Корнейчука, где наличествуют, казалось бы, все признаки острого общественного конфликта, критик обращал внимание на то, что исход этого конфликта, благоприятный для положительных героев, в обоих пьесах предрешен заранее. Предрешен и слабостью «зла», и тем, что в борьбе с ним «добро» в любой

момент находит поддержку «вышестоящих организаций».

Убедительно показав, что подобная «оптимистическая» заданность драматического конфликта есть не что иное, как применение к новому материалу старых приемов бесконфликтной драматургии, Марк Щеглов пронизательно улавливал связь таких приемов с тем иллюстративным методом творчества, который одно время довольно глубоко проник в нашу литературу, да и сейчас еще неохотно сдает свои позиции. Суть этого метода состоит, по словам критика, «в том, что драматург строил пьесу на каком-нибудь тезисе, механически заимствованном из политико-хозяйственной области и разложенном по действующим лицам: вот — противники, вот — сторонники, — а не создавал ее в художественно-образном познании жизни». Такие пьесы, представляющие собой драматизированное изложение готовых истин, критик именовал инсценировками.

Метко схвачены им и некоторые другие, еще более тонкие вариации «новой» бесконфликтности, литературной полуправды. «Полуправда — это умение открыть в жизни действительные конфликты, но объяснить их в таком «надлежащем» свете, что они либо кажутся фатально исторически обоснованными (а значит, чего же тут сопротивляться), либо их источник указан совсем не в том направлении, где его в действительности надо искать. Полуправда и в том, что художник, обнаруживая в нашей жизни тот или иной трагический «острый угол», в последний момент, когда все нужно объяснить, на все нужно указать, опасаясь зайти «слишком далеко», каким-нибудь несложным фальсификаторским способом сводит все на нет; типический, опасный конфликт становится ничтожным «случаем...» («Из литературных заметок»).

Последовательно проведенное в статьях Марка Щеглова точное отделение — нередко внутри одной и той же разбираемой им книги — подлинной правды, непредвзятого художественного «познания жизни» от всякого рода иллюстраций и «инсценировок» имело (и продолжает иметь) большое значение для нашей литературы.

Отстаивая в литературе правду, Марк Щеглов вкладывал в это понятие богатое содержание. Вспомнить хотя бы то место в книге, где, воспользовавшись добролюбовским термином, он очерчивает свой

идеал современной пьесы: «Пьесой жизни мы назовем произведение, которое в динамичной и сжатой форме драматического «действия» покажет нам самую «сердцевину» жизни, одновременно очаровывая нас характерностью деталей, побочных мотивов, захватывая поэзией и «высоковольтностью» эмоций, поражая силой и непривычностью мысли» («Реализм современной драмы»).

Здесь все очень характерно для Марка Шеглова, и в том числе острая жажда духовности, желание видеть нашу литературу исполненной интеллектуальной и эмоциональной силы. С горечью говорил он о героях многих тогдашних пьес: «Они не наделены способностью думать о чем-нибудь, кроме дела, у них нет философии, своей оценки явлений жизни». И добро бы это были персонажи, выведенные с намерением показать и осудить какие-то теневые стороны действительности. Нет, это как раз положительные герои, «рупоры авторских идей», и если идеи эти банальны, то тут в первую голову повинен автор, который и сам не может осмыслить мир крупно и самостоятельно. Повинен все тот же иллюстративный метод: если произведение представляет собой всего лишь «художественный» пересказ общепринятых положений, «живые картины» на тему вчерашнего сообщения радио, то где здесь место свежей, самобытной, захватывающей мысли? И, напротив, при подлинно органическом творчестве, при «художественно-образном познании жизни» неизбежно открываются новые и важные истины, создаются образы по-настоящему интеллектуальных героев. Вышшим образом в этом смысле был для критика Лев Толстой, изучением творчества которого он углубленно занимался.

Несогласие с иллюстративным пониманием познавательной роли литературы естественно дополнялось в эстетике Марка Шеглова неприятием подобного же истолкования ее воспитательного эффекта. «Правдивое произведение,— писал он,— это тем самым и идейное произведение. Но подлинная художественность... состоит в том, чтобы никоим образом не навязывать читателю идейный результат, не «воспитывать» его, не делать из художественного творения второстепенного пособия для определения «хорошего» и «дурного» в действительности...» Если перед нами произведение подлинного искусства, то оно воспи-

гивает независимо от того, имел ли художник перед собой какую-либо специально воспитательную цель, воспитывает не «облегченно-назидательной раскраской образов», но всем своим содержанием, каждой клеточкой художественной ткани. Такого рода воспитательное воздействие богато и многосторонне, его не сведешь к простенькой «рациональной» формуле, к доказательству того или иного нравоучительного тезиса, «не извлечешь из произведения, как конфетку из бумажки»; его «надо чувствовать», потому что это искусство, литература, а не дважды два — четыре!» («Верность деталей»).

Такому пониманию искусства были в равной мере противоположны и ремесленническое сочинительство «на заранее решенную тему», и унылый дидактизм, и безыдейное, лишенное «философии» натуралистическое копирование жизни.

Вопрос о различении натурализма и реализма, не раз всплывавший в нашей критике, живо интересовал Марка Шеглова. Его точка зрения на этот счет была продуманной и очень определенной. Прежде всего она включала в себя признание не только права, но и обязанности литературы учитывать всю полноту жизненных фактов, интересоваться всеми сторонами действительности. «Закономерность развития искусства... в последние годы,— с удовлетворением писал он в 1956 году,— состоит, по-видимому, в том, что факты, явления, картины, события и проблемы живой действительности все более щедро и «непросеянно» захватываются нашими лучшими художниками...» («Реализм современной драмы»). В другой статье, возражая тем, кто негодует «на изображение «сырых» и сложных житейских фактов» и пытается при этом опереться на Ленина, критик замечал: «...одно дело ленинское требование, чтобы факты брались «в целом, в их связи», а другое дело — подмена реальной связи отвлеченным представлением о «должном», о «желаемом»... Игнорирование будничной «арифметики» фактов во имя некоей «высшей алгебры» не может привести ни к чему хорошему» («Очерк и его особенности»).

Но если в наблюдении действительности желательна наибольшая, ничем заранее не ограниченная полнота, то правдивое воплощение этой полноты в искусстве предполагает экономный и чуткий «сознательно-бессознательный» отбор содержательных худо-

жественных деталей. Такой отбор свойствен реализму. И напротив, «когда, по словам Щедрина, «перед читателем проходит бесконечный ряд подробностей... ни для чего не нужных, ничего не характеризующих, не любопытных сами по себе», — мы вправе говорить о натурализме».

И при жизни Марка Щеглова и потом обвинение в натурализме нередко предъявлялось тому или иному автору на том основании, что он обращал внимание общества на противоречия действительности, на ее «теневые стороны» и изображал их без прикрас. Но различие между реализмом и натурализмом состоит вовсе не в предмете изображения и не в его тональности. Оно, это различие, определяется, по мысли критика, наличием или отсутствием в произведении цельности, «души», единой и самобытной поэтической идеи. Натуралистической может поэтому оказаться и вполне «благополучная», даже «розовая», но внутренне холодная, вялая, лишенная художественной целеустремленности вещь. И наоборот, подлинная «правда искусства, сказанная во всем обаянии какой-то важной истины о жизни, — как бы эта истина ни была горька — ничего общего не имеет с плоским копированием предмета. Выдвигаемое в таком смысле требование писать правду «лишь путем мудреной софистики можно слить с пресловутым лозунгом «классического» натурализма».

С проблемой различения реализма и натурализма, а через нее — с насущными проблемами нашего литературного развития связаны были и размышления Марка Щеглова о роли условности в реалистическом творчестве. По его мнению, известная формула насчет изображения жизни «в форме самой жизни», если понимать ее слишком буквально, неправильна, ибо не учитывает присущую искусству условность, формы которой бывают порой весьма далеки от бытового правдоподобия. В качестве примера такой явной и в то же время художественно целесообразной условности он привел пьесы Назыма Хикмета, театр Б. Брехта. Вместе с тем критик убедительно показывает, что не менее условен (только по-иному!) и, скажем, театр Чехова. И то, что кажется нам — в силу волшебства, которым владеет художник, — изображением жизни «в форме самой жизни», есть на самом деле изображение ее в форме условной, обостренно выразительной. Коротко говоря — «в форме искусства».

Это положение, которое «имеет значение не только для драматургии», позволяет, по словам критика, «противостоять довольно широко распространенному у нас скучному шаблону в понимании реализма в драме... «В форме искусства» — это значит не непременно «так, как в жизни», а с большей точностью, возвышенностью, размахом и ассоциативностью... Если при этом глубоко человеческая идея пьесы достигает цели... то мы назовем такое произведение реалистическим, как бы ни были «условны» и деформированы по сравнению с «натурой» его черты. Ибо реализм — это не те или иные «формы», это правда жизни, ставшая «правдой искусства». («Реализм современной драмы»).

Таким образом, понимание критиком художественной правды было весьма широким, начисто свободным от какой бы то ни было односторонности, упрощенности и педантизма. Убеденный реалист, он ценил и любил искусство — если только это действительно искусство — в любом его обличье. Решающей была для него не та линия, что разграничивает разные формы искусства, а та, что отделяет в нем талант от бездарности, правду от лжи, человечность и добро от бездушия и пошлости. Эту вторую разграничительную линию он проводил бескомпромиссно; его эстетическая позиция была прямым продолжением высокой гражданской и нравственной позиции критика.

Марк Щеглов наследовал в своем творчестве традиции той части русской критики, которую в XIX веке называли «реальной», а сейчас именуют публицистической. Разбирая произведение литературы, он не только высказывал о нем суждения чисто эстетического порядка, но и вступал в обсуждение заинтересовавших автора жизненных обстоятельств, политических и нравственных проблем.

Так, например, выясняя типичность образа Грацианского, критик интересно и остро говорил о грацианских в жизни. «Грацианские подчас выглядят убежденнее, героичнее и безупречнее, чем «простые смертные», пашущие землю и берущие штурмом дворцы». Но эта их тщательно имитированная «ортодоксальность» безжизненна и тлетворна. «Идейную чистоту в искусстве они пытаются превратить в «лакировку», в обман, лесопосадки, скажем, — в бессмысленное втыкание веток в сухой песок, борьбу против преклонения перед всем чужеземным — в вынос портретов Ньютона из школьного

кабинета... и т. д. И ничего полезного, позитивного не дав, лишь «изымая», «ударяя», «накалывая шепсы», грацианские стараются добиться того, чтобы их признали наставниками, чтобы при одном их имени у людей их профессии слабели колени от восторга и от чувства опасности...» «По существу, их временное торжество — это, говоря словами Л. Леонова, «торжество трусливой силы» и, прибавим, бездарности». С позиции такой «трусливой силы» деятели этого типа и ведут спор со своими противниками, выдвигая против них «не истины, не доводы, а ряд магических формул, пользуясь которыми грацианские делаются чуть ли не игем совети. И вот в такой стесненной обстановке Грацианский, не способный выдержать в чистом поле настоящего боя, говорит уже от имени целого коллектива и судит, кто «наш», а кто «не наш». Это он-то судит, несчастный душевный карла, самгинское семя!» («Русский лес» Леонида Леонова).

Публицистичность являлась неотъемлемым свойством таланта Марка Щеглова. Однако нужно заметить, что она никогда не превращалась у него в самодовлеющее качество, не подчиняла себе эстетический момент. Есть два рода публицистической критики. Одна представляет собой по сути дела публицистику, но в качестве материала для анализа действительности пользуется художественной литературой, а свои суждения о жизни облекает в форму литературно-критических оценок. Другая есть собственно критика: литература интересует ее, так сказать, сама по себе, в то же время к оценке литературного произведения она подходит «с позиций жизни», и потому разговор о нем, естественно, выходит за рамки внутрилитературных проблем. Оба эти рода критики имеют право на существование, а предпочтению того или другого объясняется как личными пристрастиями, так и обстоятельствами объективного порядка. Однако различие между ними, безусловно, существует, и если с точки зрения такого различия мы взглянем на статьи Марка Щеглова, то без колебаний отнесем их ко второму типу. Это именно критика, талантливая критика, которая к публицистическим обобщениям и декларациям идет из глубины изящного и тонкого художественного анализа. Образцами такой критики могут служить и «Реализм современной драмы», и только что проанализированная статья о романе Л. Леонова, и такие публицистически острые выступле-

ния Марка Щеглова, как его рецензии на роман О. Черного «Опера Снегина», на повесть С. Антонова «Дело было в Пенькове», на первую книжку рассказов И. Лаврова и др.

Повесть С. Антонова и рассказы И. Лаврова с их скромными героями и обыденными обстоятельствами, с их темой счастья и несчастья рядовой человеческой судьбы критик рассматривал как своего рода знамение времени, как свидетельство отрядного процесса демократизации литературы и самой жизни. Вместе с тем он указывал авторам на необходимость идти дальше в художественном познании действительности: «Следующий шаг, которого мы вправе ожидать от талантливого писателя,— это попытка дать некоторое осознание вещей, места героев в бесконечной цепи современных жизненных общественных связей, общественного значения будничных происшествий и драм» («На полдороге»).

Сам Марк Щеглов, как показывают и статьи его, и предшествующий им дневник, неуклонно, шаг за шагом шел по пути все более глубокого и самостоятельного осмысления человеческой жизни и общественных отношений. Направление его внутреннего развития определялось духовными процессами, захватившими тогда в той или иной степени все слои нашего общества, но то, как далеко успел он пройти в этом направлении за столь короткий срок, зависело уже единственно от силы, активности и смелости его собственного ума...

Когда будет написана история советской критики, Марк Щеглов, без сомнения, займет в ней достойное место. Не только как яркая творческая индивидуальность и не только как автор статей, названия которых, надо думать, войдут во все, даже самые избранные, библиографии по Толстому, Есенину, Грину, Вс. Иванову, Леонову, по теории очерка и драмы,— но и как одна из «первых ласточек» того возрождения у нас реального критика, которое было связано с процессами, происходившими в литературе и общественном сознании середины пятидесятых годов.

Марк Щеглов застал, к сожалению, лишь самое начало нового этапа; почти все лучшее, что на протяжении последних пятнадцати лет создано в поэзии и в прозе, появится после его смерти. Отсюда — относительная бедность того нового позитивного творческого опыта, который он имел возмож-

ность пропагандировать, лишь отчасти компенсируемая постоянными обращениями критика к опыту классиков: Шекспира, Толстого, Чехова, Глеба Успенского. Отсюда же, при всей его требовательности к художественному качеству,— случаи некоторого завышения критических оценок. Можно себе представить, как ярко и крупно написал бы Марк Щеглов о современной «военной», «деревенской» и «молодежной» прозе, о современной поэзии, обо всем том, что в течение последнего десятилетия было предметом литературных споров и способствовало

росту общественного самосознания. Всем этим, однако, не умаляется ценность того, что он успел сделать, значение его труда для современной ему литературы и для ее будущих успехов. А о том, что, несмотря на такие успехи (и литературы, и самой критики), несмотря на перемены, происшедшие во всей нашей жизни за истекшие десять лет, Марк Щеглов не устарел, не вышел из борьбы,— об этом, можно надеяться, достаточно убедительно говорят хотя бы приведенные нами выдержки.

Ю. БУРТИН.



ВСТРЕЧА С АЛЕКСАНДРОМ ГРИНОМ

А. С. Грин. Собрание сочинений в шести томах. Под общей редакцией Вл. Россельса. Издательство «Правда». М. 1965.

Литературная судьба Грина сложилась непросто. До революции о нем писали мало и, за исключением нескольких статей, пренебрежительно, считая его не более чем подражателем развлекательной западноевропейской беллетристики. После революции это мнение долгие годы сохраняло силу; к нему добавились обвинения, вызванные общим наступлением рапповцев на романтизм (в формулу «долгой Шиллера» легко подставлялись и другие имена). В тридцатые годы некоторые литераторы попытались взглянуть на романтизм Грина серьезно и объективно, но непредвзятое изучение было прервано войной. В 1950 году гнев навлекла аполитичность гриновского творчества, внациональный характер его героев, экзотичность описываемых стран. В течение всего послевоенного десятилетия книги Грина не переиздавались — писатель был объявлен реакционером и буржуазным космополитом.

Между последней характеристикой и сказанными несколько лет спустя, в 1956 году, словами М. Щеглова о «собранном в некий волшебный фокус свете любви и... романтического доброжелательства», благодаря которому рассказы А. Грина «радостно воздействуют на душу», «наводят стремление к добру, изяществу, нежности», пролегла значительная полоса жизни, прожитая страной в несколько лет.

Тиражи книг Грина в последнее время достигли астрономических цифр. Второе рождение этого своеобразного романтика, безусловно, связано с благотворными пе-

ременими в нашей общественной жизни. Но отталкивание от ошибок прошлого, сопровождающее рост популярности Грина, черевато новыми крайностями — огульное отрицание подчас сменяется безудержной апологией.

Издание шеститомного собрания сочинений Грина, предпринятое библиотекой «Огонька» в 1965 году, не только значительно расширяет знакомство читателей с творческим наследием писателя, но и должно сыграть, мне думается, свою роль в выработке правильных оценок, свободных от полемических преувеличений.

При жизни Грин печатался очень интенсивно. Первое — трехтомное — собрание его сочинений увидело свет еще в 1913 году. Незадолго до смерти писателя издательство «Мысль» анонсировало план выпуска полного собрания сочинений Грина в пятнадцати томах. Из обещанных томов, однако, вышло с 1927 по 1929 год только восемь. Выбор томов был произвольным, печатались они непоследовательно и крайне небрежно, автор не держал корректур. Издание это давно забыто. Все, что выходило после смерти Грина вплоть до Великой Отечественной войны, как, впрочем, и то, что прочно утвердилось на книжных прилавках после 1956 года, повторяло стереотипный набор произведений.

Собрание сочинений, о котором идет речь, является первым по-настоящему выверенным и наиболее полным изданием произведений Грина. Это, в сущности, удачный подступ к изданию научному.

Если «Мысль» опубликовала около ста произведений Грина, то нынешний шеститомник включает свыше ста семидесяти его рассказов, повестей и романов, несколько отрывков из рукописного наследия. Составлению шеститомника предшествовала огромная библиографическая работа Вл. Сандлера и Вл. Россельса. В предреволюционное десятилетие и в первые годы после Октября Грин печатался более чем в шестидесяти русских периодических изданиях — от «Биржевых ведомостей» и «Образования» до «Нового Сатирикона» и «Красной газеты». Предстояло просмотреть горы забытых и похороненных в архивах материалов, устранить в текстах, печатавшихся крайне неряшливо, многочисленные ошибки, расшифровать целый ряд гриновских псевдонимов («Эльза Моравская», «Виктория Клемм», «А. Степанов» и другие) и наконец выбрать лучшие из различных авторских редакций, в которых выходили одни и те же произведения при новых их изданиях. При этом текстологическое правило — считать канонической последнюю прижизненную публикацию писателя — было пересмотрено, и пересмотрено справедливо, ибо изменения, вносившиеся Грином в текст, диктовались нередко соображениями отнюдь не литературного характера.

Очень важно, что Грин наконец-то предстал перед нами в творческой эволюции. Особенно неожиданно для широкого читателя знакомство с реалистическими произведениями Грина. Для русских реалистов XIX века романтизм обычно был «болезнью роста»: от абстрактных идеалов, неопределенности общественного протеста, литературной подражательности они приходили к трезвому и глубокому постижению действительности. Грин же шел от реализма к романтизму, ибо его романтизм по сравнению с его реализмом открывал несравненно более заманчивые художественные перспективы.

Дело в том, что реализм ранних произведений Грина был замкнут в рамки узкой описательности, собственного жизненного опыта. Диапазон его изображения ограничивался двумя темами, каждая из которых под пером Грина в той или иной мере превращалась в схему. Одна противопоставляла жестокости революционной борьбы естественное стремление человека к покою и благополучию. В роли революцио-

неров выступали эсеры, к которым толкнула Грина в молодости незрелость его политических представлений. Разоблачение эсерства сопровождалось разочарованием писателя в революционном движении вообще. По второй схеме жила та часть человечества, которая не занималась политикой. Выход из непереносимой скуки мещанского существования герои Грина тщетно искали в прожигании жизни, дешевых уличных приключениях, а то и в самоубийстве («Четвертый за всех», «Ночлег»). Замыкающая первый том статья Вл. Россельса впервые в нашем литературоведении четко рассказывает об этом раннем периоде творчества Грина.

Оставаясь в русле бытописательского реализма, Грин, вероятно, успешно достиг бы уровня Потапенко или Баранцевича и так же, как они, был бы забыт спустя несколько десятилетий. Но в нем накопилось слишком много гнева против «свинцовых мерзостей жизни», против жестокости человеческих отношений, чтобы талант его не попытался найти другой путь, вступив на который писатель смог бы выразить собственные представления о нормах поведения людей, о запасах благородства и красоты, тянущихся в душе человека. Ранние произведения Грина оказались лишь прелюдией к последующим.

Рисуя своих романтических героев, Грин руководствовался не столько тем, что есть, сколько тем, что должно быть. Для того чтобы его персонажи получили возможность выявлять себя наиболее полно, он создал особый мир. Это был не полнокровный образ действительности, а предельно обобщенная, сохранившая лишь главные ее контуры «модель».

Романтический метод Грина в новых исторических условиях выглядел, конечно, ограниченным, но, соответствуя свойствам гриновского таланта, он дал писателю возможность обрести «лица необщее выраженье» и сказать в литературе слова, до сих пор сохранившие прелесть и силу.

Восприняв у символизма и акмеизма некоторые принципы внешней выразительности, Грин в то же время активно восстал против существующих общественных отношений, и это сразу выделило его произведения из потока декадентствующей литературы.

Экзотика, обычно служившая в западноевропейских авантюрных романах прямой

приправой к сюжету, стала в ранних рассказах писателя символом действительности, не тронутой социальными уродствами цивилизации. Однако экзотические острова лежали слишком далеко в стороне от путей, которыми шло человечество. «Остров Рено» превратился в маленький полуостров «Колонии Ланфиер», соединенный с материком. Здесь Грин сделал первый набросок своей романтической «топографии». Маленький полуостров разросся в большую, карта его покрылась названиями более чем восьмидесяти населенных пунктов. Так образовалась «Гринландия» — земля Александра Грина.

Грин начал с того, что открыто поставил выдуманную страну рядом с действительной, как одну реальность рядом с другой. Герой рассказа «Далекий путь» Петр Шильдеров бросил опостылевший родной город с его «запахом кислой капусты, каши и постного масла», губернской тюрьмой и монастырями, перебрался через границу и вольно зажил под именем проводника Диаса где-то в высокогорных Андах. В «Охоте на Марбруна» повествователь патетически восклицал: «Москва! Сердце России! Я вспомнил твои золотые луковичы... сидя в вагоне поезда, бегущего в Зурбаган».

В написанной спустя четырнадцать лет после «Далекого пути» программной новелле «Фанданго» Грин уже не стремится соединить Зурбаган транспортным сообщением с Петроградом или Москвой. Теперь туда можно проникнуть только с помощью магического кристалла романтического воображения. Его страна не существует для трезвого взгляда статистика Ершова. Однако позиция ершовых всегда очень сильна, ибо их правота очевиднее и доступнее гриновской. И это, имея в виду себя, воскликнул писатель позднее словами Дэзи в самом поэтическом своем создании — «Бегущей чю волнам»: «Человека не понимают. Надо его понять, чтобы увидеть, как много невидимого!»

Тем не менее не следует забывать, что автор «Фанданго» уходил в сияющий, весенний Зурбаган из вполне реального голодающего Петрограда 1921 года. Поэтому слова К. Паустовского: «Куда бы ни забрасывала Грина судьба, везде он служил делу революции» — кажутся не совсем точными. Этико-эстетическая программа Грина всегда была революционной, о политической этого сказать нельзя.

Мир предстает у Грина «странным, закутаным в цветной туман». Поэтому, между прочим, так труден перевод его произведений на язык других искусств — всякое произвольное вторжение и даже незначительное изменение грозит нарушить их тонкую ткань. (Нечто подобное произошло при экранизации «Алых парусов».) В этом смысле на редкость удачными оказались иллюстрации к шеститомнику. Художник С. Бродский глубоко проникся гриновской поэтикой и достиг некоего адекватного воплощения гриновского мира средствами графики.

Отношения героев в «Гринландии» — это отношения богатых и бедных, власть имущих и бесправных. Здесь есть министры, губернаторы, полиция, фабриканты и биржевики, здесь заключают сделки и терпят банкротства. На одном полюсе этой страны находятся «надменные невольники своего положения и богатства», на другом те, кто всегда «в работе, как в драке».

Может показаться, что Грин рисует капиталистическое общество. На самом же деле перед нами антагонистический — вне зависимости от социально-исторических особенностей — мир. Писатель комбинирует социальный облик «Гринландии» из элементов самых разных эпох: «акула» капитализма соседствует в ней с наследственным аристократом, парусник и карета — с самолетом, автомобилем и телефоном, дома освещаются то свечами, то электричеством, а робот-автомат выглядит экзотическим украшением волшебного, «кинематографического» дворца.

Цель каждого произведения Грина — создать общечеловеческую ситуацию, возможную в любом обществе, основанном на социальном неравенстве, и извлечь из столкновения добра и зла определенный этический смысл. В «Алых парусах», например, для писателя важно не имущественное неравенство Грэя и Ассоль, а этическое единство, выделяющее героев из мира пошлости и корысти. Их способности любить, мечтать, творить добро противостоят и бедняки капернцы, и богачи аристократы, иначе сказать — косность, традиционность, равнодушие, самодовольство во всех их формах.

Конечно же, в этой подмене социальных категорий этико-эстетическими — одна из самых уязвимых сторон творчества Грина, прозявшаяся и в скептическом взгляде

на «творчество масс» («Блистающий мир»), и в пессимистическом отношении к техническому прогрессу, якобы угрожающему культуре («Серый автомобиль»), и в прекраснотушних надеждах на то, что миллиардер когда-нибудь сам подарит писцу виллу («Алые паруса»). Однако ноты наивного утопизма Грина неизменно гложут в могучем гуманистическом звучании его произведений.

Непреходящая причина популярности писателя — в его оптимистической проповеди благородства, честности, активной доброты. Любимые его герои объединены той высокой этикой человеческих отношений, которая должна стать повсеместной в будущем. Новеллами «Четырнадцать футов», «Победитель», «Змея», «Сердце пустыни», «Гатт, Витт и Редотт», «Корабли в Лиссе» Грин как бы убеждает читателя: человек — прекрасен; самопожертвование, подвиг — органическая норма поведения. Мир устроен жестоко и несправедливо, и лучшие намерения часто гибнут в нем не воплощенными, но это не должно ввергать человека в пессимизм. Ни одно светлое движение души не пропадает бесследно, ибо рождает отклик в том, к кому обращено.

Романтизм Грина в советской литературе — не чужеродное явление, подобное чудом сохранившемуся плато конан-дойлевского «Затерянного мира». Теперь уже нет необходимости доказывать его связь с гуманистическими традициями русской классики (не случайно, кстати, черновой набросок «...Сочинительство всегда было внешней моей профессией...», помещенный в третьем томе, весь внутренне направлен против формализации художественных задач и проповеди пессимизма, выраженных в «Философии творчества» Э. По, который почему-то всегда числился одним из «духовных отцов» Грина). Творчество Грина дает любопытный пример того, как в условиях самого передового общественного строя прогрессивный романтизм видоизменяется, переходя от нигилистического бунтарства к изображению положительных начал жизни.

В произведениях Грина нередко ищут замаскированные связи с конкретными событиями эпохи. Делает это и В. Вихров в содержательном и изящно написанном критическом очерке «Рыцарь мечты». На мой взгляд, однако, параллели между партией Осеннего Месяца из «Возвращенного ада» и

октябристами, а также Гуктасом и Гучковым или упоминание о тобольском архиепископе Варнаве по поводу общины Голубых братьев из «Капитана Дюка» не только не углубляют нашего понимания Грина, но наводят на ложную мысль, будто Грин из политических соображений вынужден был прибегать к эзопову языку и истинная ценность его произведений обнаруживается лишь при расшифровке. Богатство фактических ассоциаций у писателя несомненно, но оно отнюдь не придает его вымыслу характера некоей закодированной реальности — у романтизма Грина иные задачи.

Обозревая все шесть томов собрания сочинений Грина, мы яснее видим теперь эволюцию взглядов писателя. Его герой, существовавший вначале главным образом сам для себя («Остров Рено», «Колония Ланфиер», «Дьявол Оранжевых вод»), постепенно познавал человеческие привязанности и обязанности («Возвращенный ад», «Капитан Дюк», «Алые паруса»), а в «Кораблях в Лиссе» и «Блистающем мире» пытался жить ради людей в широком значении этого слова.

Менялся и сам колорит гриновских произведений. Эволюция его романтизма от трагической безысходности «Окна в лесу» к оптимизму «Алых парусов» и была глубинной реакцией писателя на Октябрьскую революцию.

К сожалению, содержание шеститомника не дает нам возможности проследить этот процесс по всей «дистанции». Отсутствие в собрании сочинений таких рассказов, как «Рай» или «Окно в лесу», может быть объяснено только стремлением несколько «выпрямить» творческий путь писателя.

Вообще отбор произведений Грина вызывает серьезные претензии. Рядом с хрестоматийными новеллами «Капитан Дюк» и «Возвращенный ад» в третьем томе, например, в изобилии присутствуют «поденки» 1914—1916 годов («Бой на штыках», «Судьба первого взвода», «Тайна лунной ночи», «Качающаяся скала», «Зверь Рошфора», «Дуэль» и т. д.). Остаются за пределами шеститомника значительные по мысли и мастерству повести «Приключения Гинча» и «Тайственный лес», блестящие рассказы «Табу», «Элда и Анготея», «Львиный удар», прелестная сказка «Струя». Очень важный для понимания политической позиции Грина рассказ «Маят-

ник души» публиковался в течение 1965 года неоднократно, а в собрание сочинений почему-то не попал.

Принято в таких случаях ссылаться на ограниченность объема издания. Но ведь шеститомник Грина носит характер избранного, и недостающее место можно было успешно найти за счет исключения произведений более слабых. Порой кажется, что при составлении собрания сочинений стремление ввести в оборот как можно больше забытого материала брало верх над соображениями качества отбора. Кстати, следовало с большим вниманием отнестись к проспекту собрания сочинений, который сам Грин готовил для «Мысли». Думается, что в массовых изданиях типа рецензируемого (тираж шеститомника — почти полмиллиона экземпляров) стоит помещать лишь наиболее интересное в творческом наследии писателя, стараясь не нарушать единого художественного уровня собрания сочинений.

Автор примечаний Вл. Сандлер, как уже говорилось, очень много сделал для разыскания забытых произведений Грина, установления их первопубликаций, максимального расширения библиографии писателя. И в этом отношении его примечания являются результатом большого, кропотливого труда. С реальным же комментарием самого текста Вл. Сандлер не справился, а между тем именно реальный комментарий очень важен в изданиях такого типа. Ведь в конце концов широкому читателю не столь уж важно, что, скажем, новелла «Отравленный остров» напечатана впервые под названием «Сказка далекого океана» в журнале «Огонек», № 36, 1916 года, что в шеститомнике она воспроизводится по книге «Огонь и вода» и что между журнальным и книжным изданиями есть разночтения в две фразы. Зато когда он встречается в рассказе сообщения об «Истории торгового мореплавания» Джона Вебстера или «гипотезе массовых галлюцинаций» Миллера, Куинси и Рибо, а также «страхе жизни» — особым психологическом дефекте, подробно исследованном Крафтом, — то, естественно, хочет услышать что-нибудь об упомянутых именах. Однако комментатор хранит по этому поводу молчание. Я понимаю всю затруднительность его положения: Грин был большим мистификатором, и сплав реального

с выдуманным пронизывает даже его «фактические» данные. В частности, я подозреваю, что «Истории торгового мореплавания» Вебстера в природе не существует, тогда как Крафт и Рибо (вне всяких сомнений!) — действительно известные психологи, работы которых много раз переводились на русский язык. И вот об этом-то и должен говорить комментатор.

Не расшифрованной в примечаниях осталась вся гриновская эпиграфика. Вл. Сандлер избегает не только фактов малоизвестных (того, например, что эпиграф к «Бегущей по волнам» взят из книги Луи Шадурна «Там, где рождаются циклоны»), но и лежащих на поверхности — невредно было бы сообщить даже, что в эпиграфе к «Крысолову» Грин цитирует «Шильонского узника» Байрона в переводе Жуковского. Следовало бы указать, какие эпиграфы выдуманы писателем. Точно так же требуют справок об авторстве многочисленных стихотворные отрывки в самих текстах произведений. Одни стихи явно созданы Грином — песня Летики («Алые паруса»), песня «Джона Манишки» («Корабли в Лиссе»), строфы Берганца («Зурбаганский стрелок»), песня о Зурбагане («Вокруг света»). Другие напоминают собой цитаты, подлинность которых надлежит установить.

Обходя молчанием необходимые в комментарии детали, Вл. Сандлер в то же время сообщает читателю множество маловажных вещей, приводит незначительные разночтения, неоднократно повторяется (из тома в том кочуют сообщения о том, что В. П. Калицкая — первая жена А. С. Грина, а Е. А. Бибергаль — студентка Высших женских курсов в Петербурге). Некоторые пояснения не могут не вызвать улыбки: «Сирано де Бержерак... — французский писатель, известен как гуляка». Почти нет ссылок на воспоминания Н. Н. Грин и ее материалы, которыми автор пользовался неоднократно.

Несмотря, однако, на многие недостатки, значение вышедшего в свет собрания сочинений Грина трудно переоценить. После многолетнего перерыва творчество Грина восстановлено в своих правах и возвращено читателям.

В. КОВСКИЙ.

ОН В РИМЕ БЫЛ БЫ БРУТ...

А. Лебедев. Чаадаев. Серия «Жизнь замечательных людей». «Молодая гвардия». М. 1965. 270 стр.

Когда Петру Яковлевичу Чаадаеву от роду было двадцать три года и окружающие пророчили ему блестящую будущность, юный Пушкин сказал о нем:

Он вышней волею небес
 Рожден в оковах службы царской;
 Он в Риме был бы Брут, в Афинах
 Периклес,
 А здесь он — офицер гусарский.

Самодержавная Россия ничем не напоминала античный Рим или афинскую демократию. Для Брута и Перикла в ней не было места.

Впрочем, разносторонне одаренный Чаадаев и в этих условиях мог сделать головокружительную карьеру. Не было двери, которая перед ним не распаивалась бы. Но на попрание государственной службы такому человеку делать было решительно нечего. Стать частью бездушной правительственной машины не было у него ни малейшей охоты.

В эпоху тягчайшей реакции последекабристской эпохи, когда мысль душилась на корню, когда надежды были надолго погребены, а будущее застилал густой и непроходимый туман, Чаадаев встал во весь рост и громко произнес приговор современной ему России. Его «Философическое письмо», по выражению Герцена, было подобно «выстрелу, раздавшемуся в темную ночь».

Чаадаев был не только существенной вехой в истории русского освободительного движения. В его религиозной проповеди берет начало и та ветвь в русской нравственно-философской мысли, которая связана с именами Достоевского и Владимира Соловьева. Уже одно это свидетельствует о том, что Чаадаев — фигура сложная и противоречивая. Если к этому прибавить, что создатель «Философических писем» был человеком на редкость замкнутым и скрытным, что о многих обстоятельствах его жизни и многих мотивах его поступков мы можем лишь догадываться, то станет очевидно, что исследование его биографии и деятельности — дело не из легких.

Книга А. Лебедева вышла в популярной серии «Жизнь замечательных людей». То,

что Чаадаев был человеком замечательным и что, следовательно, ему по праву принадлежит свое место в этой серии, ни малейшему сомнению не подлежит. Но писать о Чаадаеве, да еще не в специальном научном труде, а в книге массовой, рассчитанной на читателя, которого принято называть широким, — дело сложное вдвойне. И совсем не лишним поэтому представляется предупреждение, делаемое автором на первых страницах книги. «Чаадаев не блистательный полководец и не знаменитый путешественник. Занимательность этой жизни как бы кроется внутри судьбы этого человека. Драма Чаадаева — это драма его идей... Тут мало простого сопереживания, пассивной фантазии любителя беллетристики. Тут требуется сопереживание интеллектуальное, требуется работа мысли».

Кто готов настроиться на такой лад, кто испытывает потребность в работе мысли, тот не будет обманут в своих ожиданиях. А. Лебедев касается совсем не простых вопросов развития русской общественной мысли, совершает сложнейшие философские экскурсы — и делает это свежо, интересно, по-новому. Он не пытается оживить повествование за счет не относящихся к делу интригующих подробностей. Его оружие — факты, логика, философский анализ, спор, публицистическое размышление. Связывая Чаадаева с последующим развитием русской общественной мысли, автор рассматривает его биографию и деятельность с точки зрения его, чаадаевского, времени. Но видит его глазами нашего современника, человека второй половины двадцатого века, немало пережившего и задумавшегося о многом.

А. Лебедев обладает даром о сложнейших сторонах человеческой мысли писать так страстно и заразительно, что не просто постигаешь проблемы, а как бы вживаешься в них.

Бытует мнение, что если предмет, избранный автором, сложен, то единственный способ сделать его доступным пониманию читателя — это основательно разжевать его. Проку от чтения таких мнимопопулярных сочинений немного. С чем читатель пришел, с тем он и ушел. Мысль его с места не сдвинулась.

Поучительно, что, несмотря на отсутствие в книге А. Лебедева внешней занимательности, она читается с напряженным, ни на минуту не угасающим интересом. Она заставляет думать. И в этом, быть может, первое ее достоинство.

Книга «Чаадаев» — это не жизнеописание. А. Лебедев останавливается, понятно, на основных моментах биографии Чаадаева, но они занимают автора лишь в той мере, в какой помогают понять и осмыслить духовную эволюцию мыслителя. Он тщательнейшим образом анализирует не столько поступки, сколько мотивы поведения своего героя. (У этого достоинства, правда, есть и обратная сторона, но об этом позже.)

Автор считает, что до поры до времени Чаадаев верил в возможность прогрессивных перемен сверху. Но беседа с российским самодержцем по поводу бунта в Семеновском полку (А. Лебедев присоединяется здесь к догадке, высказанной Ю. Тыняновым) положила конец этим иллюзиям. Именно отчетливость понимания, что ему не по пути с правительственной властью, а не приходящие обстоятельства побудили Чаадаева отказаться от ожидавшего его государственного возвышения. Недолго был Чаадаев и в тайном обществе, в которое он вступил в 1821 году. По мнению автора, хотя многое и связывало Чаадаева с декабристами, он гораздо раньше своих друзей осознал, что время для восстания упущено. Разочаровавшись в революционных возможностях своей страны, неудовлетворенный собой, Чаадаев решает отправиться за границу. Летом 1826 года он возвращается. Но Россия уже не та, какой он три года назад покинул ее. Лучшие его друзья томятся в заключении. В стране свирепствует террор. Не успевает он ступить на родную землю, как его подвергают обыску и допросу.

И Чаадаев уже не тот, каким он был всего несколько лет назад. Он живет уединенно и замкнуто. Но это — не пустые годы. Чаадаев создает исповедание своей веры — «Философические письма».

И вот теперь, говорит автор, когда Чаадаев выработал устойчивую жизненную позицию, он вновь ищет дорогу к людям. В московских гостиных, в Английском клубе часто можно услышать голос Чаадаева. Но внимание узкого круга слушателей не мо-

жет целиком захватить такого деятельного и честолюбивого человека, как Чаадаев.

В 1836 году в московском журнале «Телескоп» публикуется первое «Философическое письмо» Чаадаева (последующим письмам не суждено было увидеть свет при жизни автора). Оно произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Официальные круги русского общества давно не были в такой ярости. Одинокие голоса сторонников Чаадаева потонули в хоре враждебных криков.

Начальник российской полиции граф Бенкендорф твердо провозглашал: «Прошлое России было прекрасно, настоящее великолепно, а будущее выше того, что может представить себе человеческое воображение. Вот тот угол зрения, под которым должна писаться русская история России».

И эти-то порядки, осененные традицией самого необузданного и беззастенчивого самовластья, увенчанные триадой самодержавия, православия и народности, посмел святотатственно оскорбить некто Чаадаев.

Посадить его в острог — это значило тем самым открыто признать в нем идейного противника, то есть человека вполне нормального, разрешающего себе, невзирая ни на какие запреты, придерживаться иных взглядов, чем те, что официально предписаны начальством. Но в полицейском и крепостническом государстве, каким была царская Россия, право на существование имело только одно-единственное мнение, возведенное в ранг неукоснительного закона. Всякий, кто осмеливался думать иначе, доказывал лишь, что он не в своем уме. Высочайшим повелением Чаадаев был объявлен сумасшедшим.

Что же вызвало такой приступ бешенства не только у блюстителей власти, которым по штату положено было охранять самодержавно-православную идеологию от малейших покушений, не только благонамеренных доброхотов вроде «патриота» Вигеля, спешившего сразу же по прочтении чаадаевского письма отправить донос по начальству, но и людей по-своему искренних, умных и совсем не бесталанных, таких, как поэт Языков или Денис Давыдов? Вопрос этот тем более уместен здесь, что религиозно-этическая проповедь Чаадаева не содержала никаких призывов к насильственным изменениям существующего строя. Напротив того: автор «Философического письма» недвусмысленно дал понять, что вос-

стане декабристов он считает злом, отбросившим Россию назад; он звал своих современников не на баррикады, не к революционным действиям, а к нравственному самоусовершенствованию. В чем же тогда дело?

А. Лебедев отвечает на этот вопрос как нельзя более точно. Дело было в новизне и непривычности чаадаевского патриотизма. В резкости чаадаевских обличений, в беспощадности его взгляда на родную страну многие склонны были усматривать циничское равнодушие к судьбам русского народа, космополитическое презрение к славе отечества.

Пройдут годы, и этот новый патриотизм подхватят и разовьют Лермонтов, Герцен, Чернышевский. Придет время, и В. И. Ленин назовет его «любовью тоскующей» и будет писать: «Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А по-нашему, это были слова настоящей любви к родине...»

Концепция Чаадаева, согласно которой беда России заключается в том, что Россия заимствовала христианство не из первых рук (то есть не от христианства западного типа — католицизма), а из такого нечистого источника, каким он считал Византию, — не могла вызвать сочувствия передовых людей того времени. Не в этом видели они причины бед России.

Но, не соглашаясь со многими положениями «Философического письма», они высоко оценили выступление Чаадаева, видя в нём факт огромного общественного значения. Пушкин понимал, что, если концепция противоречит исторической истине, она рано или поздно будет опровергнута. И это опровержение будет тем неотразимее, чем скорее возникнут в России условия для беспрепятственного развития мысли и для свободного обмена мнениями. А что «Философическое письмо» рыллит почву для этих условий — в этом Пушкин не сомневался. Он писал Чаадаеву:

«Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь.

Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».

Еще более горячо отзывался о выступлении Чаадаева и реакции на него Белинский: «Что за обидчивость такая! Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь — не смей говорить; речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да в Калуге, не обижаются словами?»

Как бы малочисленны в ту пору ни были такие голоса, они не были гласом вопиющего в пустыне.

А. Лебедев внимательно анализирует «Философические письма». Очень верно говорит он о существовании чаадаевской проповеди, состоявшем в том, что в эпоху безвременья, когда у мыслящего человека отнята возможность влиять на исторический процесс, у него не остается ничего другого, как обратиться свой взор на самого себя.

«В такую пору, — пишет автор, — каждый ищет свою дорогу — так именно человечество в подобные моменты нащупывает новый путь, выводящий в конце концов его из очередного тупика. Отсюда и неукротимое стремление Чаадаева идти своей, единственной дорогой, отстаивать свой образ жизни как самое драгоценное в этой жизни, утверждать свое «я», ибо у людей в этом случае нет больше никаких резонансов это «я» приносить в жертву. Он не хочет жить больше во имя абстракций, потому что все былые абстракции оказались утопией».

Так Чаадаев пришел к своеобразному индивидуализму. Он отринул современную ему общественную жизнь как ничтожную суету, лишаящую человека какой бы то ни было внутренней самостоятельности. Он выработал «частную нравственность», не имевшую ничего общего с казенной моралью и подтачивавшую самые ее основы. Вполне возможно, что «мир», говорил Чаадаев, окажется сильнее человека, но и в этом случае человек выйдет победителем из неравного поединка: он потеряет призрачные преимущества, зато спасет душу и сохранит подлинные ценности.

Частная нравственность Чаадаева, понятно, не давала быстрого и радикального выхода из общественного тупика; она не сулила скорых перемен во внешнем укладе жизни, но она вступала в упорную войну с гнусными порядками гнусной действительности,— вступала в борьбу тогда, когда о ней, казалось, и речи быть не могло. В теории Чаадаева содержалось зерно, из которого естественно выросло отрицание этой действительности — и пусть это было пока в сфере частного поведения, со временем это грозило перерасти в сферу общественного действия. Чаадаев не давал угаснуть тлеющей искре протеста. Его современники почувствовали это и потянулись к нему. Страницы, где говорится об этом, едва ли не лучшие в книге А. Лебедева. «Пробиваясь к себе», Чаадаев указывал дорогу другим, и, следовательно, он пробивался к людям. В этом был общественный смысл его идейного подвига. В этом историческое значение его «Философических писем». Таков убедительный итог книги о Чаадаеве.

Петр Яковлевич Чаадаев был философом, и идейные мотивы играли в его поведении огромную роль. Но это не значит, что он был соткан из особой философской материи и что бытовые обстоятельства для него никакого значения не имели. Помимо взглядов, которых придерживался этот человек, у него был характер — гордый, строптивый, болезненно самолюбивый, странный. Этот характер — такая же реальность, как общественные условия и философские воззрения.

Внешние обстоятельства биографии А. Лебедев иронически именует «анкетными данными». Он, понятно, упоминает о них, но не склонен брать их слишком всерьез. Ему даже кажется, что они, эти злополучные «анкетные данные», чаще вводят в заблуждение, чем проясняют картину. Но разве задача исторического писателя не в том, чтобы вернуть этой сухой и выцветшей анкете ее живую человеческую основу? Тем более что в число «анкетных данных» попадают и такие вещи, как привычки, психологический склад и нрав героя.

У Петра Яковлевича Чаадаева была одна особенность, мимо которой не прошел, кажется, ни один его современник.

А. Лебедев сообщает, что Чаадаев тщательно одевался. Мимоходом, вскользь, не задерживаясь на этом. Ему кажется, что

это такая ничтожная малость, о которой нечего распространяться в серьезной книге. А между тем эта черта Чаадаева имела неожиданное влияние на многие его поступки.

Автор пишет о присущей Чаадаеву особой «нравственной неприкосновенности» и сообщает при этом о словах Чаадаева, что, будь он в свое время в Петербурге, он удержал бы Пушкина от рокового поединка с Дантесом. И это, замечает исследователь, вполне вероятно: автор гнусных анонимных писем, приведших Пушкина к дуэли, пытался затеять такую же подлую игру с Чаадаевым, но успеха это не имело. Чем же объяснялась эта нравственная неуязвимость?

Франтовство Чаадаева, на наш взгляд, тесно связано с его нравственной неприкосновенностью. Именно потому, что в глазах самых строгих и аристократических ревнителей светской морали Чаадаев был образцом безукоризненных манер и эталоном воспитанности, абсолютным комильфо, он мог позволить себе роскошь пренебрегать тем, что считал светскими условностями — в том числе и вызовом на дуэль.

Впрочем, это коренилось и во внутренних потребностях Чаадаева, всегда любившего окружать себя комфортом, видевшего в нем даже некий закон человеческого существования. В этом вопросе он очень мало был похож на американца Генри Торо с его проповедью сдержанности, умеренности и отказа от благ цивилизации. Параллель с Торо, то и дело возникающая в книге о Чаадаеве, не вполне правомочна именно потому, что она уходит от конкретных обстоятельств в область произвольно сконструированной схемы, настолько же удаленной от реальности, насколько Северная Америка прошлого века была далека от николаевской России.

Спорны и некоторые высказывания А. Лебедева о декабризме.

Автор считает, что революционная ситуация в России и в Европе возникла после войны 1812 года, хотя и не развилась вполне. Потом, то есть к началу двадцатых годов, революционные движения в большинстве европейских стран были разгромлены и поэтому декабристы не могли не чувствовать себя обреченными.

Автор справедливо говорит о том, что ленинские слова о декабристах («страшно

далеки они от народа») не следует понимать как обвинение дворянских революционеров. Не только декабристы далеки были от народа, но и народ был далек от осознанного протеста. Если это так — а в этом сомнений нет, — то возникает вопрос: неужели до 1821 года декабристы были менее далеки от народа, чем когда они вышли на Сенатскую площадь? Этого, думается, не станет утверждать автор, видящий причину поражения восстания в том, что декабристы опоздали. На том историческом этапе исход дела решал не срок выступления, а обстоятельства куда более коренные, прежде всего — социальное одиночество дворянских революционеров.

Автору кажется, что Чаадаев был на голову выше своих друзей по тайному обществу — и именно поэтому он отнесся к декабризму несерьезно. Он так и пишет:

«Несерьезно отнесишься к своему разговору с Якушкиным и своему вступлению в общество, Чаадаев все-таки спустя некоторое время оказался куда более зрелым и серьезным человеком, нежели его друг, не назвав на допросе никого, вообще ни словом не обмолвившись о том, что знал о деятельности общества».

Не стоит противопоставлять здесь Чаадаева Якушкину — они находились в совершенно различном положении. Деятельному члену декабристского общества Якушкину грозила Сибирь, в то время как Чаадаеву, мелькнувшему в обществе и уехавшему за границу, ничего опасного не грозило. Якушкин впоследствии бичевал себя за то, что на допросе он сказал больше, чем ему следовало бы сказать, но характерно, что он назвал только двух людей, один из которых умер, а второй уехал за границу и не собирался возвращаться на родину. Сведения, сообщенные Якушкиным, Чаадаеву не повредили.

Спору нет, Чаадаев был очень умным человеком, но все же он не был умнее своей эпохи, и не стоит рисовать дело таким образом, что его окружали люди близорукие и слабодушные.

Когда, к примеру, читаешь фразу: «Каким-либо особым иллюзиям по поводу масонских идей умница Чаадаев, как видно, все-таки

не питал», то остается предположить, что масонство — это какая-то странная затея, с которой человеку умному делать было нечего. Непонятно только, почему такие неглупые люди, как Николай Новиков, Вяземский, Грибоедов, серьезно относились к этому движению?..

Явно не прав автор, когда он в корне отвергает какое бы то ни было влияние позднего Шеллинга на Чаадаева. В связи с этой проблемой он высказывает немало резонных соображений, но категорическое отрицание воздействия идей немецкого философа на чаадаевские концепции выглядит неубедительно, равно как и слова автора о том, что религиозное начало играло незначительную роль в «Философических письмах». Из того факта, что Чаадаев, отметавший православие, не был последователем ни одной из существовавших церквей, вовсе не следует, что религия была для него лишь псевдонимом некоего социального реформаторства. В глазах Чаадаева социально-этическая проповедь не только не противоречила глубокой религиозности, но находила в ней естественную опору. Мысль о двойственном характере философских взглядов Чаадаева, об их революционном и религиозном содержании, об их двойственном влиянии на последующее развитие русской культуры имеет куда больше оснований, чем точка зрения автора.

Споря с автором, я ни в коей мере не собираюсь умалить ценность его книги. Она написана талантливым писателем, умеющим не только ввести нас в круг идей Чаадаева, но и заразить атмосферой рождения человеческой мысли. В ней рассыпано множество тонких наблюдений, неожиданных ассоциаций, плодотворных гипотез — о Пушкине и Лермонтове, о природе надежд и иллюзий, о трагедии нескольких поколений русских революционеров, не понятых народом, о преемственности революционных традиций, о характере русского освободительного движения. Богатство содержания, подлинная современность делают книгу А. Лебедева значительным литературным явлением.

Л. ЛЕВИЦКИЙ.



Политика и наука**ВЫСШИЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ****Наш народный парламент. Справочник. Политиздат. М. 1966. 184 стр.**

В канун нынешнего года депутаты Верховного Совета СССР, члены комиссий законодательных предположений, собрались, чтобы обсудить ход выполнения закона о пенсиях для колхозников, работу над основами законодательства в области здравоохранения, новый лесной закон.

Речь зашла о неполноте закона о социальном обеспечении колхозников. Как известно, он устанавливал такой пенсионный возраст: мужчины — шестьдесят пять лет, женщины — шестьдесят. В своих выступлениях секретарь Красноярского крайкома партии А. Кокарев, известный всей стране колхозный механизатор А. Гиталов и другие депутаты предлагали установить для колхозников такой же пенсионный возраст, что и для горожан.

Разъяснения дали министр финансов СССР т. Гарбузов и заместитель председателя Комитета по труду и зарплате при Совете Министров СССР т. Новожилов. Разгорелась дискуссия.

Как разрешилась эта проблема, сейчас уже известно: XXIII съезд КПСС наметил дать в нынешнем пятилетии пенсионерам-колхозникам те же права, какими пользуются горожане. И несомненно, немалый вклад в решение этой большой проблемы внесли члены комиссий законодательных предположений Верховного Совета СССР.

Это заседание вдруг открыло для меня совершенно другую, неизвестную до того сторону парламентской работы, воочию показав, сколько тут кипучей жизни с ее трудностями и противоречиями. Жизни, щедрой на вопросы и не торопливой на ответы. Как мало мы все-таки знаем о работе Верховного Совета СССР. Позвольте, возразят мне. А сессии? Да, разумеется, они освещаются в печати очень широко. Но ведь сессия — это лишь итоговая часть деятельности Верховного Совета. Ей предшествует большая и сложная организационная, исследовательская, политическая работа депутатов, о которой печать почти ничего не рассказывает. Очень редко и весьма отрывочно сообщается о деятельности постоянных комиссий, лишь в исключительных случаях публикуются отчеты с заседаний Президи-

ума Верховного Совета СССР. А почта Президиума? Приемная?

Выпущенная недавно Политиздатом небольшая книжка «Наш народный парламент» тем и ценна, что в какой-то мере восполняет этот пробел. На первый взгляд она ставит перед собой очень скромные задачи. Это не сборник очерков, не репортаж, а лишь справочник. Цифры, факты, спокойный, даже суховатый тон. Однако это тот самый случай, когда информация важнее всего и приобретает значение агитации и фактом, по образному выражению Михаила Ивановича Калинина.

Такой справочник о Верховном Совете СССР выпущен впервые. И собранный в нем богатый фактический материал взят из первых рук. Авторский коллектив книги состоит в основном из работников аппарата Президиума Верховного Совета СССР. Общую редакцию осуществили начальник секретариата Президиума В. И. Васильев и заведующий юридическим отделом Ф. И. Калинычев.

В первой главе справочник возвращает нас к тем временам, когда высшая государственная власть в СССР принадлежала съезду Советов, ЦИК СССР, Президиуму ЦИК СССР.

Авторы знакомят читателя с порядком работы съездов Советов, с палатами ЦИК СССР, с представительством республик в Президиуме ЦИК, разъясняют сущность тех изменений, которые внесла в работу союзных органов власти Конституция СССР 1936 года. К сожалению, тут не рассказано о первых председателях ЦИК — М. И. Калинин, Г. И. Петровском, Н. Н. Нариманове, А. Г. Червякове и других.

Справочник напоминает о составе Верховного Совета шестого созыва: сорок пять процентов депутатов — рабочие и колхозники, почти половина всех депутатов — с высшим образованием, более двухсот Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, восемьдесят восемь лауреатов Ленинской и Государственной премий.

Читатель, безусловно, обратит внимание на то, что Совет Союза шестого созыва насчитывал значительно больше депутатов, чем Совет Национальностей. Сложившееся в

последние десятилетия несоответствие в количественном составе палат объясняется тем, что нормы представительства в Совет Национальностей оставались неизменными — в каждый созыв союзные республики посылали в эту палату по двадцать пять депутатов. Не менялись и нормы представительства в Совет Союза — один депутат от трехсот тысяч избирателей. Но население страны росло, и поэтому в Совете Союза оказалось больше депутатов. Уже после того, как вышел справочник, были изменены нормы представительства в Совет Национальностей. Теперь каждая союзная республика имеет в нем по тридцать два места.

Книга дает четкое представление о составе и полномочиях Верховного Совета СССР, о функциях его постоянных комиссий, о компетенции Президиума Верховного Совета СССР, о правах и обязанностях депутата. Эта часть справочника наиболее богата информационным материалом. Прочитав такие главы и разделы, как «Важнейшие вспомогательные органы Верховного Совета СССР», «Президиум Верховного Совета СССР», «Депутаты и избиратели», «Законы творит народ», читатель сможет найти ответы на многие свои вопросы.

Почему для работы сессии отводится короткий срок — всего три-четыре дня? Разве можно серьезно обсудить за это время важные проблемы?

Как бы в ответ на этот вопрос книга расскажет, что трехдневному обсуждению законопроекта на сессии предшествует зачастую даже не полгода (от сессии до сессии) диспутов и споров в комиссиях, а двух-, трех- и даже многолетние дискуссии. Сессия — этап заключительный, когда все варианты проверены и самими депутатами выбран лучший из них, изученный в процессе предсессионной работы вдоль и поперек.

А годовые планы и бюджеты? В декабре созывается сессия Верховного Совета. Председатель Госплана и министр финансов выступают с докладами. И после обсуждения депутаты утверждают программу жизни страны на следующий год. Внешне все довольно просто. Но только внешне.

Мы читаем в справочнике, что бюджетные комиссии ежегодно «созываются для рассмотрения проектов народнохозяйственного плана и государственного бюджета СССР на предстоящий год и отчета об ис-

полнении бюджета за истекший год. Работа комиссий начинается обычно за месяц — полтора до начала сессии...»

За месяц — полтора. Уже тогда на комиссии заслушивают доклад председателя Госплана СССР и доклад министра финансов СССР.

Проекты плана и бюджета, а также отчет об исполнении бюджета детально рассматриваются в каждой комиссии самостоятельно. Для более глубокого их изучения создаются постоянно действующие подкомиссии. Так, в прошлом году в обеих бюджетных комиссиях работало по тринадцать подкомиссий. Одна изучает вопросы строительства, другая — транспорта и связи, третья — производства товаров народного потребления. Есть подкомиссии по тяжелой промышленности, по сельскому хозяйству и заготовкам...

Ежедневные заседания. Вызовы работников министерств и ведомств. Вопросы, объяснения, споры. И по каждой цифре, каждому абзацу — обсуждение.

Так же подробно справочник рассматривает работу других постоянных и временных учреждений Верховного Совета СССР. При этом подчеркивается глубоко демократический характер его деятельности.

В составе подкомиссий постоянных комиссий Верховного Совета СССР, как правило, не только депутаты, но и представители многих заинтересованных организаций: специалисты, консультанты, ученые. Нередки случаи, когда в обсуждении вопросов принимают участие представители предприятий, городов.

Специальный раздел книги посвящен деятельности парламентской группы Верховного Совета. В 1955 году СССР вступил в Межпарламентский союз. Справочник знакомит читателя с принципами организации и работы парламентской группы Верховного Совета СССР, подробно рассказывает о международных связях Верховного Совета.

К сожалению, менее полно показана в книге деятельность Приемной Президиума Верховного Совета СССР. Упоминание о том, что «прием граждан ведут заместители Председателя Президиума Верховного Совета, работающие поочередно в Москве, а также Председатель Президиума Верховного Совета СССР», вызывает желание более конкретно ознакомиться с практикой работы Приемной. Слишком общо характеризуют

авторы и работу с почтой, идущей по адресу «Москва, Кремль».

В приложениях к книге даны статистические сведения не только о Верховном Совете СССР, но и о других Советах, до поселковых и сельских. И эти сухие сведения — факты и цифры — красноречиво свидетельствуют о глубоко демократической основе управления нашим обществом, в котором участвуют на равных правах все национальности страны, все социальные группы, все категории работников.

Следовало бы, очевидно, дать в справочнике также сведения об изданиях Верховного Совета СССР и его Президиума, та-

ких, как журнал «Советы депутатов трудящихся», «Ведомости Верховного Совета СССР» и других. Да и библиографический перечень важнейших книг и брошюр о Верховном Совете СССР был бы тут к месту.

Справочник — не увлекательное повествование, не роман. Но когда вчитываешься в него, задумываешься о сообщаемых в нем данных, перед тобой раскрывается многообразная жизнь советского парламента. И начинаешь отчетливее понимать, какой груз ответственности и труда лежит на тех, кого мы посылаем в Верховный Совет страны.

Г. УСТИНОВ.



ОТ НЬЮ-ЙОРКСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА...

С. Кондрашов. *Наблюдая Америку*. Издательство «Известия». М. 1965. 175 стр.
Борис Стрельников. *Как вы там, в Америке?* «Молодая гвардия». М. 1965. 287 стр.

Нью-Йорк. (Соб. корр. «Правды»)...

Нью-Йорк. (Соб. корр. «Известий»)...

Мы привыкли видеть это рядом с именами популярных журналистов-международников, когда пробегаем глазами газетные колонки — ну-ка, что сегодня новенького за океаном?

Но вот эти имена перешли и на книжные обложки. Правдист Б. Стрельников выпустил книгу «Как вы там, в Америке?», известнец С. Кондрашов — «Наблюдая Америку».

В книгах — не скороспелые однодневки, которые иногда диктуются далекой московской стенографистке прямо с места событий. У Кондрашова это тщательно просеянное и отобранное из того, что напечатано за четыре года; у Стрельникова над газетными подвалами достроено, в сущности, новое повествование, где многое переработано, переосмыслено, дополнено.

Когда я познакомился со Станиславом Кондрашовым в 1958 году в Каире, он был совсем молод, но отнюдь не зелен, и, помню, поражал нас, новичков, глубокой осведомленностью в делах Арабского Востока. Он работал тогда над книгой о битве за Суэцкий канал, рассказывал нам о том, как с группой журналистов пробивался в захваченный интервентами Порт-Саид. Бориса Стрельникова я сначала узнал заочно по книге «Сто дней во Вьетнаме», а потом увидел его в деле, в работе, уже в Нью-Йорке. Думаю, что среди пишущей братии, побы-

вавшей за океаном, едва ли найдется такой, которого бы Стрельников не привечал, кого бы терпеливо и тактично не водил первые дни за руку. Авторитет его был общепризнанным, отзывчивость и желание помочь товарищу разобраться в окружающем — поистине безграничны. Я говорю все это, чтобы лишний раз подчеркнуть: книги, о которых идет речь, написаны людьми, уже немало лет проработавшими на «переднем крае», литераторами зрелыми и опытными. Они, эти книги, дают, стало быть, повод и для более общего разговора о репортаже из-за рубежа, об очерке на зарубежную тему, о жанре, привлекающем многих журналистов и писателей.

Вообще-то писать об Америке очень легко даже и после туристской поездки, если при этом преимущественно делиться с читателем примерно такими неприятными, но зато и бесспорными наблюдениями: Америка полна резких контрастов; американцы жуют резинку и делают деньги; они любят класть ноги на стол и совать нос не в свои дела; народ Америки талантлив и трудолюбив; миллиардер Нельсон Рокфеллер ходит в поношенном плаще, но это, понятно, социальная демагогия и т. д. и т. п. Все очень просто и ясно. А вот Б. Стрельников признается: «Я живу в Америке восьмой год, и иногда мне кажется, что чем больше я узнаю эту страну, тем меньше я ее понимаю».

И он, зная многое, сложное и противоре-

чивое, пытается в своей книге вместе с читателем честно во всем разобраться. Это-то и дорого!

Помню, как-то в Нью-Йорке, говоря о журналисте-международнике, Станислав Кондрашов отстаивал примерно такую мысль: нашему умнице читателю поднадоели две краски — густо-черная и ангельски-белая, ему хочется видеть чужую страну стереоскопически, притом в разных разрезах. И журналист должен обладать профессиональным мужеством для того, чтобы, накопив достаточно убедительные «рго» в подтверждение своего созревшего на основании наблюдений вывода, поискать и «сопга», а найдя, не утаить их от читателя, тем самым активизируя и его творческое мышление.

Раскрываю книгу С. Кондрашова на страницах о Техасе. Ковбойская Мекка, как известно, переместилась из техасских прерий в Голливуд. Репутация Техаса давненько уже у нас не ахти какая, а после того, как в Далласе застрелили президента Кеннеди — и подавно. Мы знаем Техас как гнездо бешеных, как оплот ультра. Но «вблизи картина вырисовывается, однако, более сложная, чем издалека», замечает С. Кондрашов. Именно в Далласе был забаллотирован на выборах в конгресс реакционер Олджер; осенью 1964 года Техас отдал голоса Джонсону, а не Голдуотеру; в техасском городе Хьюстоне газета либерального направления выступает за советско-американскую торговлю, хотя принадлежит она местному миллионеру, — а ведь вполне справедливо утверждать, что во всей Америке не сыщешь более злобных реакционеров и мракобесов, чем техасские короли нефти, «мистеры миллиарды».

И я, читатель, благодарен автору за то, что в очерке, написанном плотно, доказательно, со знанием экономики и психологии Техаса, он дает широкую картину, не боясь штрихов, как будто мешающих ее целостности, а на самом деле свидетельствующих об ее достоверности.

В книгах обоих авторов повествование временами идет на параллельных курсах: те же люди, те же события. Это естественно: общее место работы, совместные поездки по стране. Но какая разница в манере письма! Кондрашов — острый, саркастический публицист, поклонник афористичности фразы; у Стрельникова — стремление сблизить очерк с новеллой, выразительность де-

талей, временами — мягкий юмор, временами — злая ирония.

В обеих книгах много ярких, гневных страниц, обличающих расизм. Таков, например, превосходный репортаж Б. Стрельникова о черных и белых, сковавших себя цепью и преградивших бульдозеру путь на строительную площадку, где не дают работы неграм и пуэрториканцам.

И вот что кажется мне особенно ценным: вчитавшись, замечаешь, как умело показана автором расстановка сил в расовых конфликтах современной Америки.

Четырнадцать сковали себя цепью. Это активные борцы, черные и белые. Им сочувствуют сотни негров-пикетчиков. Бульдозерист ведет свою тяжелую машину на людей, не сразу понимая, что порочит честь рабочего человека. Одни поощряют его, другие проклинаят. И даже масса полицейских неоднородна: не все они открыто сочувствуют расистам. Неопределенно и переменчиво настроение толпы зрителей. В острый момент она выплевывает кучку злобных негодяев, десяток белых парней — и один из них пряжкой ремня бьет по лицу девушку. Белую девушку. Именно ее выбрал подлец из четырнадцати скованных цепью.

Мне кажется, что в сколке жизни, в уличном эпизоде Б. Стрельников схватил самую суть более общего явления, снова напомнив, что борьба за равноправие негров — не только борьба негров. Белые расисты больнее бьют белых «защитников черномазых». И есть негры, мешающие борьбе, коллаборационисты по духу, есть крайние негритянские националисты, старающиеся возбудить ненависть ко всем белым, раскалывающие единство борцов против зла и позора Америки.

В бытующих представлениях расист — это плантатор или потомок плантатора-рабовладельца, человек, имеющий власть и деньги. Но разве расисты — исключительно представители господствующего класса? Да ничего подобного! С. Кондрашов и Б. Стрельников рассказывают о встречах в Теннесси. Это еще не настоящий Юг (куда советских журналистов не пустили), но уже преддверье Юга. Журналистов не удивили расистские рассуждения мэра небольшого городка г-жи Мортон, владелицы крупной фермы. Однако о «грязных неграх» с ними заговорил славный с виду рабочий парень...

«Г-жа Мортон мыслит категорией 1500 акров, — замечает С. Кондрашов. — Но от-

куда расизм у алабамского машиниста с мозолистыми руками? А он, между прочим, не исключение. Расовые предрассудки пустили глубокие корни в широких слоях населения, в том числе трудового...»

И дело тут не только в воспитании, не только в узаконенной несправедливости. Само общество, основанное на конкуренции, растит и будет растить расистов. Белый, считающий себя свободным от расовых предрассудков, готовый выйти на улицы с плакатами, требующими десеграциации в ресторанах или школах, тем не менее хочет сохранить нынешнее свое преимущественное положение при найме на работу.

Нам рассказывают о белом либерале Н. и негритянском радикале Поле Бруксе. Первый — против расового неравенства во имя сохранения американского общества, считая, что этим неравенством нанесен ему ущерб. Второй — против этого общества, считая, что оно не может обойтись без расового неравенства, что идеалы его — ложь, обман лежковерных. Вот принципиальная разница двух позиций!

Расисты вообще не похожи на питекантропов. У г-жи Фишер, богобоязненной дамы, располагающей внешностью матери и домохозяйки. Она говорит с откровенностью человека, совершенно убежденного в своей правоте. Говорит о том, что южане не любят негров как расу, что в графстве на каждого белого — шесть цветных, но что управляют графством и городом, конечно, белые, потому что так должно быть и только так может быть. «Совсем не страшна г-жа Фишер, но не такие ли богобоязненные буржуазные дамы тыкали зонтиками в глаза пленным парижским коммунарам?!» — спрашивает С. Кондрашов.

Последние месяцы американская пропаганда весьма пышно преподносит и всячески раздувает сообщения о том, что еще один негр назначен на какой-либо видный пост в чиновничьем аппарате. Слушая или читая эти сообщения, нелишне вспомнить слова того же Пола Брукса: «Сейчас почти каждый бизнесмен считает необходимым принять на работу одного негра, дать ему хорошую должность и поместить его чуть ли не в витрину своей конторы, чтобы все видели — вот, дескать, какой я прогрессивный человек! Гадость и лицемерие!»

Это верно и в масштабах всей Америки. Да, многие господа поняли, что надо с чего-то начинать. Но в том-то и дело, что у

них есть желание не идти дальше внешне прогрессивного, но реально мало значащего начала!

Фигура борющегося негра заслоняет от мира другие расовые проблемы Америки. Мировая печать редко пишет, например, об индейских резервациях. Между тем, по мнению некоторых мыслящих американцев, индейская проблема не меньший, а может быть, даже больший позор Америки, нежели негритянская. Вокруг резерваций нет колючей проволоки, часовых на вышках. Все проще и страшнее. «Часть ада, где все угли уже догорели» — так, по свидетельству Б. Стрельникова, называют отведенные под резервации земли Южной Дакоты.

Эти земли бесплодны и безжизненны. За чертой резервации начинается Америка без рекламных огней и рекламных щитов; Америка проселочных дорог, на которых машины вязнут в грязной жиже; Америка гордых, отчаявшихся людей, самых американских американцев, коренных жителей страны, которых осталось немногим больше трехсот тысяч человек и которые после долгой и безуспешной борьбы теперь склонили головы перед судьбой.

Вместе с авторами книг мы заглядываем не только в резервации, но и в обширные районы, пораженные застарелой и прогрессирующей болезнью массовой безработицы. Здесь наших журналистов окружили люди — и «все выливалось наружу в их взволнованных, сбивчивых речах: и боль, и гнев, и отчаяние, и желание выговориться, и боязнь, что им могут не верить, — так сильна и самодовлеющая, так вбита в мозги картина процветающей Америки». Снова и снова напоминают нам авторы о социальной, экономической, географической пестроте страны. Каньоны Нью-Йорка или Чикаго перенабиты людьми, но есть и Америка необжитая, слабо заселенная, каков, например, Вайоминг, где от станции до станции — сотня километров, где колючки, солончаки, проселочные дороги среди откосов, дикие козы, ленивые мустанги, где над маленькими, забытыми богом и бизнесом городами проносятся пыльные бури.

Говоря об окурившей пустоте и тяжелой скуке провинциальной Америки, порожденных борьбой всех против всех, об одиночестве и отшельничестве ее обитателей, С. Кондрашов формулирует один из многих американских парадоксов: «Машина, телевизор, иная техника приблизили к амери-

канцу весь мир. Социальная система отдаляет от него соседа. Целый мир так и может остаться чужим, а близкие потеряны». Этому споспосбствует и доведенный иногда до цинизма американский практицизм, когда, например, в семье фермера сын получает заработную плату у отца и принужден занимать деньги у матери, возвращая затем родительскую ссуду с процентами, несколько более умеренными, чем при займе у кредитной компании, но не ниже тех, которые получала бы маменька, положив денежки в банк на срочный вклад.

Нет, авторы, понятно, далеки от того, чтобы осуждать американский практицизм вообще. Ведь, привычно понося погоню за долларом, мы иногда забываем, что в этой погоне выработано, в частности, поразительное умение быстро и безошибочно подсчитать, что выгодно и что не выгодно для производства, умение освободиться от примитивного меркантилизма, вести дальнеприцельные расчеты эффективности затрат. Без этого нельзя, без этого прогоршишь!

Владелец лесозаготовительной и деревообделочной компании Роберт Двайер повел советских журналистов к взлетной дорожке на территории своей фабрики, сел за руль собственного миниатюрного самолета и через двадцать минут приземлился у лагеря лесорубов. Там стоял грязный «пикалчик», оборудованный, однако, радиотелефоном. Двайер, миллионер в парусиновых ботинках, полотняных брюках и дешевой курточке, под которой оказалась продранная в

локтях рубаха, привычно сел за баранку. «Капиталист знал, что такое экономия, покупая самолет и отказывая себе в шофере», — читаем мы. В лесозаготовительном лагере гости увидели высокоорганизованное производство, большую степень механизации, отлично окупающую себя радиосвязь между бригадами лесорубов, фабрикой, грузовиками-лесовозами.

Роберт Двайер, капиталист, понятно, экономит денежки для себя. Его продранная в локтях рубаха, быть может, своеобразное кокетство, но его мобильность, его умение, его расчетливость в использовании техники — качества не лишние и для тех, кто должен печься не о своих, а о государственных деньгах...

В обзоре двух хороших книг, написанных знающими и думающими людьми, я затронул лишь незначительную часть того, что эти книги содержат. Разумеется, не все в них удачно: кое-где сохранилась все же газетная корреспонденция, пережившая себя, кое-что успело устареть. Но в целом книги обогащают нас достоверными знаниями современной Америки. Эти книги — на магистральной дороге нашего зарубежного очерка: от простого противопоставления очевидных контрастов — к более сложной и полной картине чужой жизни, от упрощенной черно-белой иллюстрации политических формул — к диалектическому анализу меняющейся современности.

Георгий КУБЛИЦКИЙ.

★

ВОССОЗДАНИЕ ИСТИНЫ

Жюль Мишле. Народ. Издание подготовили В. Г. Дмитриев и Ф. А. Коган-Бернштейн. «Наука». М. 1965. 207 стр.

Э то яркое произведение знаменитого французского историка опубликовано в серии «Литературные памятники», издаваемой Академией наук СССР. В середине прошлого столетия Мишле являлся не только крупным представителем французской исторической науки, но и в известной мере «властителем дум». Помимо широкого диапазона интересов историка и увлекательности изложения, большую роль сыграл его глубокий, можно сказать, вдохновенный демократизм, воплотившийся в его произведениях и во всей его деятельности,

за что ему пришлось тяжело расплачиваться. Мишле подвергался преследованиям, был временно удален с кафедры накануне революции 1848 года и окончательно изгнан из высшей школы в 1852 году, когда он отказался принести присягу императору Наполеону III.

Книга «Народ» была впервые издана в 1846 году. В ней «особенно ярко отразились интересы и страсти, волновавшие французское общество накануне революции 1848 года», — справедливо отмечает Ф. А. Коган-Бернштейн, автор содержа-

тельной статьи «Жюль Мишле и его книга «Народ», напечатанной в приложении к нынешнему изданию.

Этот труд побуждает к размышлению по двум причинам: в нем запечатлены представления, когда-то весьма распространенные и преодоленные в ходе общественного развития, вместе с тем в ней высказаны мысли, поражающие своей близостью к современности.

Сам Мишле так объяснял происхождение книги «Народ»: «...Зная, как никто другой, историческое прошлое этого народа и к тому же живя с ним одной жизнью, я испытываю, когда речь заходит о нем, настоятельную потребность разобраться в правде. Дойдя в своей «Истории» (семнадцатитомный труд Ж. Мишле «История Франции». — *Е. Г.*) до вопросов нашего времени и заглянув в книги, затрагивающие их, я был поражен тем, что почти все эти вопросы трактовались вразрез с моими воспоминаниями. Тогда я захлопнул книги и вернулся — насколько это было для меня возможно — в лоно народа».

Слова о настоятельной потребности разобраться в правде — не фраза в устах Мишле. Герцен называл Мишле человеком, «страстно любящим истину». Мишле в свою очередь подчеркивал, что, по его мнению, задача историка — воссоздание истины.

Книга Мишле, в которой он пытался нарисовать образ столь любимого им французского народа, может быть правильно понята, если учитывать характерные черты Мишле как историка и мыслителя. Более того, для современного читателя непосредственный интерес представляет, быть может, именно облик самого автора с присущими ему противоречиями и увлечениями. Личность Мишле вообще неотделима от его произведений; он писал в своем первом завещании от 1865 года: «Моя личная жизнь всегда тесно переплетена с моей жизнью исследователя». Эта черта роднит Мишле с Герценом, многократно говорившим о том, что в его жизни «общее» и «частное» неразрывно связаны. Духовная близость между Мишле и Герценом лежала в основе их многолетней дружбы. Еще в Москве Герцен обратил внимание на то, что книга Мишле «Народ» касается «живого и современного интереса».

Литературное и личное знакомство Герцена и Мишле началось с полемики. Одно из важнейших произведений Герцена «Рус-

ский народ и социализм» было облечено в форму письма к Мишле, причем уже в процессе работы Герцен, ознакомившись с последующими произведениями Мишле, отказался от полемического тона, а самому Мишле написал пылкое дружеское письмо. Мишле со своей стороны заверил Герцена: «Я приложу все старания, чтобы ваши критические замечания (по поводу книги Мишле. — *Е. Г.*) получили самое широкое распространение». Мишле горячо приветствовал выход «Полярной звезды», одним из первых с печалью откликнулся на кончину Герцена, сказав, в частности, о великом русском демократе, что «это был настоящий человек, каких мало на земле».

Взаимоотношения Герцена и Мишле представляют очень большой интерес с точки зрения истории как русской, так и французской общественной мысли, да и вообще истории отношений между обоими народами.

Под воссозданием истины Мишле как историк понимал не только воспроизведение фактов, относящихся к изучаемой эпохе, но и воссоздание облика народа, человека определенной эпохи. Мишле отнюдь не упускал из виду социально-экономические факторы, лежащие в основе исторического процесса. Но все же иногда изложение теряло строго научный характер. Впрочем, из-за этого оно не лишается убедительности. Чтобы оценить книгу «Народ», надо ознакомиться хотя бы с некоторыми иллюстрациями хода мыслей Мишле в других его произведениях. Приведу примеры из трудов, относящихся к разным историческим периодам.

Интересно, как в повествовании о деятельности Александра Македонского Мишле осветил косвенные, но далеко идущие последствия того, что после победоносных походов Александра искусственно насаждалось в Греции перенесенное из Азии обожествление монарха. Ученый сумел установить связь между огромными историческими событиями и состоянием умов людей, вовлеченных в эти события. Поклонение Александру, восклицает Мишле, было пробным камнем, по которому можно определить, в какой мере люди отреклись от здравого смысла и человеческого достоинства. Со свойственным ему личным отношением к историческим деятелям Мишле доказывает, что Александр «убил надежду, человеческое достоинство», «убил разум»,

потому что люди, став игрушкой случая и деспотизма, стали слабы и легковверны» (J. Michelet. Bible de l'humanité. Paris. 1864).

Если в исторических трудах Мишле смело воссоздавал идеологическую надстройку, выросшую на основе объективных процессов, то, наоборот, в историческом романе он пронизательно вскрывал социальную подоплеку самых своеобразных элементов надстройки. Так, в романе «Ведьма» Мишле показал, что культ сатаны и процессы ведьм имели определенные социальные предпосылки, различные в разные исторические времена. До XV века ведовская религия была проявлением социального протеста; вокруг «извращенного культа природы» (по выражению Мишле) объединялись крепостные рабы, вилланы, угнетенные светскими и церковными феодалами, а ведовские процессы были в ту пору удобным средством для расправы с мятежниками как с колдунами и слугами сатаны. После XV века ведовские процессы уже были бесстыдными инсценировками при участии затравленных жертв, средством, с помощью которого церковная реакция пыталась задержать прогресс науки и просвещение, угрожавших ее господству.

Отступление мракобесия к концу XVII века Мишле описывал с таким торжеством, как если бы речь шла о событиях, участником которых был он сам: «Великий мятеж разума одерживает решительную победу. Вы узнаете это по тем смелым формам, в которых он впервые обнаруживается — в иронии Галилея, в абсолютном сомнении, являющемся отправной точкой в системе Декарта. В средние века сказали бы: «Этo дух лукавого». Но это не победа отрицания, а уверенного утверждения...»

То обстоятельство, что Мишле, не являясь даже последовательным историческим материалистом, искусно вскрывал связь между идеологией и социальной жизнью, можно объяснить сочетанием двух факторов: будучи убежденным демократом, ненавидя всяческое мракобесие, Мишле неизменно стремился раскрыть существо борьбы между силами прогресса и реакции на разных этапах исторического развития; будучи подлинно честным ученым, он постоянно старался воссоздать историческую истину.

Конечно, субъективный фактор играл немалую роль в творчестве Мишле. Поэто-

му его произведения отличались, по словам Герцена, «благородными противоречиями». То были благородные противоречия, потому что они явились плодом мучительных поисков истины, плодом любви к истине и к людям и потому что они были естественным отражением общественных противоречий. Сказанное полностью относится и к книге Мишле «Народ».

Зная из трудов Мишле, с каким возмущением он относился к проявлениям реакции и насилия в давние исторические эпохи, можно понять, какой гнев и какая тревога владели им, когда он был свидетелем того, как реакция оскверняла и уничтожала революционные традиции Франции, одновременно извращая прошлое народа. Мишле писал в своей книге «Народ»: «...Былая Франция исчезла из памяти народа, а образ новой Франции очень бледен... Неужели политики хотят, чтобы народ забыл о себе самом, превратился в *tabula rasa* (пустое место)?»

Мишле написал свою книгу, чтобы перед лицом французской реакции, привилегированной черни, восстановить образ народа — творца истории. В первой части книги, «О порабощенности и вражде», Мишле попытался обрисовать жизнь народа, его тяготы и стремления. Во второй части, «Об освобождении при помощи любви. Природа», он апеллировал к здоровым инстинктам народа, а в третьей части, «Об освобождении при помощи любви. Родина», Мишле вдохновенно писал о вере во Францию, о любви к отечеству.

Прошли годы, и в предисловии к новому изданию книги в 1866 году Мишле был вынужден констатировать, что за сорок лет «один мир успел рухнуть, очертания другого мира медленно вырисовываются на горизонте».

Мишле постиг разочарования, в частности по той причине, что он допустил ошибку, когда, доказывая, что народ Франции — это реальность и великая сила, пошел по пути идеализации всех классов и сословий. Суровой действительности он противопоставил экзальтированный оптимизм. В результате эта оптимистическая по настроению книга теперь воспринимается как трагический документ. Ведь мы-то знаем, что «случилось потом»...

Мишле писал о здоровом инстинкте крестьянства, говоря о нем как о едином со-

словии, а уже через шесть лет ему пришлось быть свидетелем того, как именно крестьяне-собственники стали основной социальной опорой авантюриста-диктатора Луи Наполеона. Историк, прославлявший в своих книгах торжество разума, противопоставил тупой реакционной силе инстинкты народной массы и горько просчитался: ведь именно на слепых инстинктах спекулируют силы общественного зла Мишле в своей книге справедливо подчеркивал, что труженики деревни и города составляют здоровую часть нации, но, желая продемонстрировать надуманное единство народа, провозгласил собственность объединяющим началом. Между тем он видел, что крупные собственники паразитируют на теле народа, что буржуа боятся народа и «наглухо изолирует от мира и свой дом, и свой ум», то есть вовсе не составляет части народа. Мишле говорил о том, что не ждет ничего хорошего от владельцев крупной собственности, и тем не менее он возлагал надежды... на их сыновей. В июне 1848 года и в 1871 году Мишле пришлось быть горестным свидетелем того, как сыновья лавочников и крупных буржуа заливали кровью рабочие кварталы Парижа, уничтожали наиболее здоровую часть великого народа.

В поисках истины и справедливости Мишле как бы метался по общественной лестнице. Он писал: «О порабощенность! Ее тяжелое иго я нахожу повсюду: и поднимаясь, и спускаясь по социальной лестнице. Под этим ярмом задыхаются самые достойные, самые заслуженные, самые скромные люди». Мишле видел, что именно в общественных верхах — корни зависимости «косвенной, скрытой, но еще более тягостной... Она охватывает низы, проникает всюду, проявляется решительно во всем, обо всем осведомлена, хочет управлять и телами и душами людей». В той самой книге, в которой он во имя бескорыстной любви к родине пытался нарисовать картину общности всех сословий Франции, Мишле, воссоздавая истину, вскрывал противоположность между верхами и низами, указывал на истоки подлинного патриотизма. Он восклицал: «Жар патриотизма, как и жар земной коры, таится в низших слоях. Чем ниже вы спускаетесь, тем больше этот жар». Он жаловался: «Какой холод охватывает меня, когда я поднимаюсь... выше!» Он сравнивал верхушку общества с холодными вершинами Альп: «Передо мною

мир, увядший за одну ночь: там — от мороза, здесь — от эгоизма и страха. Если же я поднимусь еще выше, то исчезает и страх, остается один лишь неприкрытый эгоизм спекулянта, не знающего родины, имеющего дело не с людьми, а только с цифрами».

Таковы они, благородные противоречия! В одном и том же труде автор и тешит себя иллюзиями, и рисует глубокие процессы, происходящие в классовом обществе. Более того, он видит их в развитии. Свыше ста лет назад, в пору бурного роста капитализма и кипения сил буржуазного общества, Мишле нарисовал картину «оформленного общества», находящегося под пятой государственного монополистического капитализма. Он писал:

«...Настал век машин: машин политических, которые придают нашим социальным отправлениям однообразие, автоматичность, делают патриотизм излишним для нас, и машин промышленных, которые, будучи однажды созданы, изготовляют бесчисленное множество одинаковых изделий, всучивают нам искусство, живущее не более дня... У людей остается способность мыслить в одиночестве, предаваться раздумьям, стремиться к чистой истине. Тут они неуязвимы, если только позаимствованная откуда-нибудь схоластика не запутает их разум своими формулами. Но уж если люди ступят в это беличье колесо, вертящееся вхолостую, то и мысли их будут механизированы, и думающая за них машина, зубья которой сцеплены с зубьями машины политической, торжествующе покатытся. Это будет называться государственной философией» (подчеркнуто Мишле).

Однако Мишле не впадал в отчаяние перед мрачной перспективой, открывшейся его взору. Правда, он не знал, что перспективу буржуазного развития сменит перспектива социалистическая. Но и в благородных противоречиях таится источник исторического оптимизма. Мишле не терял веры в общественный прогресс. Во всяком случае он был далек от того, чтобы думать о движении вспять. Он вопрошал: «Кто хотел бы вернуться к тем временам, когда люди, не имея машин, были бессильны?» Мишле, превозносивший величие Франции и даже ее исключительность, с удивительной широтой мысли доказывал, что проповедуемые им гуманные принципы и можно и должно «распространить и на огромное общество,

которое составляет весь род людской». К концу жизни пламенный патриот Франции становится проповедником взаимопонимания и солидарности между всеми народами. Он пишет «Библию человечества», в которой доказывает, что каждый народ вносит свой, отличающийся от других, но не менее ценный вклад в движение человечества к гармонии. Посмертное произведение Мишле называется «Пир», и в нем можно прочесть такие строки:

«Я видел во сне огромный стол, простирающийся от Ирландии до Камчатки, и всех гостей, объединенных в одной общине... Когда начнется на земле всемирный пир?»... Вспоминается блоковский «братский пир труда и мира».

Мишле в своих мечтах пошел еще дальше: «Единство всех народов, этого недостаточно. Я хочу большего. Пусть пир всемирной дружбы объединит небо и землю. Пусть наш пир распространится и на будущие миры и пусть наша первая связь с ними станет выражением справедливости, царящей повсюду».

В наше время не приходится эти строки мечтателя читать со снисходительной улыбкой, тем более что Мишле, предаваясь мечтам «в планетарном масштабе», не отрывался от земли и от образа человека на земле. Он призывал людей понять, что «всякое социальное устройство, как в зеркале, отражается в их внутреннем мире».

Современный марксист отвергает узкий догматизм, пренебрежительно отрицающий внимание к отдельной человеческой личности, и нам понятно стремление демократического историка XIX столетия внимательно изучать и общественное устройство, и внутренний мир человека. Как в условиях старого, так и в условиях нового общества необходимо исследовать связь между социальным устройством и внутренним миром человека, между общественной несправедливостью и страданиями личности, между победой справедливости и разума в обществе и развитием свободной человеческой личности. Таков путь к воссозданию истины.

Е. ГНЕДИН.

★

ГОЛОС СЕРДЦА

Солдатские письма. Политиздат. М. 1965. 480 стр.

Среди множества различных по форме документальных материалов особое место занимают письма.

В строках письма раскрывается друг и разоблачает себя враг. Не потому ли в годы войны в страстных публицистических статьях Ильи Эренбурга так обильно приводились выдержки из писем и дневников гитлеровцев? Они выразительнее всего открывали взору читателей галерею обезумевших расистов — «одноклеточных», людей-автоматов, у которых «фашизм внутри, в самых кишках». Такому автомату приказывали убивать — и он убивал, приказывали жечь — и он жег. А зачем — не его дело.

«Почти каждую ночь — фейерверк: мы жжем деревни», — с восторгом сообщал своей невесте обер-ефрейтор Иозеф Мюллер. Другой фельдфебель германской армии писал брату: «Если мы в России убиваем маленьких представителей страшного племени, это объясняется государственной необходимостью». Так ему сказали, и он не задумывался. «Пытки меня веселят и даже горя-

чат», — записал в своей книжечке один из палачей. А другой сделал в дневнике такую запись: «Когда я расскажу Эльзе, что я повесил русскую большевичку, она мне отдастся».

Но вот захватчики в панике бегут или попадают в окружение, и в их письмах начинают звучать новые нотки: проклятья по адресу тех, кто развязал войну, и животный страх за свою шкуру. Часть таких писем гитлеровцев, зажатых в сталинградском котле, умело использовали режиссеры Харри Стойчев и Савва Кулиш в фильме «Последние письма», награжденном первой премией на Краковском фестивале документальных фильмов.

Совершенно иной образ отражен в другом зеркале — сборнике «Солдатские письма», включающем более двухсот писем воинов Советской Армии, подпольщиков, партизан, тружеников тыла. Какие замечательные, кристально чистые души отражены в нем!

«Для победы над врагом наш народ не

жалеет самого дорогого — своей жизни. Жертвы неизбежны. И я хочу откровенно сказать тебе, что очень мало шансов за то, чтоб я вернулся живым. Почти сто процентов за то, что придется пойти на самопожертвование. И я совершенно спокойно и сознательно иду на это, так как я глубоко сознаю, что отдаю жизнь за святое правое дело, за настоящее и цветущее будущее нашей Родины».

Так за два года до своей героической гибели писал брату Виктору советский разведчик Николай Кузнецов, совершавший легендарные подвиги в глубоком немецком тылу. Это письмо хранится ныне в Центральном музее Советской Армии.

А вот взятое из архива ЦК ВЛКСМ письмо комсомольца Казьмина: «...Не листай, мама, закапанные воском листы древних книг, не ходи к деду Архипу Найденову, не ищи вместе с ним чуда в наших удивительных делах. Послушай меня: мы побеждаем смерть не потому, что мы неуязвимы, — мы побеждаем ее потому, что мы деремся не только за свою жизнь; мы думаем в бою о жизни мальчика узбека, грузинской женщины, русского старика. Мы выходим на поле сражения, чтобы отстоять святое святых — Родину. Когда я произношу это слово, мне хочется стать на колени».

Оба эти письма написаны в особенно тяжелый для нас первый период войны. С ними перекликаются в сборнике десятки таких же искренних солдатских писем, в которых слышен голос сердца. Неколебимая вера в правоту нашего дела, великая освободительная миссия, глубокое сознание своего гражданского и воинского долга воодушевляли советских воинов, удесятерили их силы.

Короткое, но емкое слово — долг. Воспринятое не только разумом, но и сердцем, оно диктует людям поступки, кажущиеся иным неправдоподобными...

Три брата Козулины — Иван, Алексей и Александр — три танкиста сражались с врагом в самые грозные для родины дни. Алексей погиб под Москвой. Александр — под Ржевом. И тогда командующий Западным фронтом получил из далекого забайкальского села Баргузин письмо от матери танкистов. Она просила отпустить Ивана на побывку домой. Разрешение было получено. Вот-вот Иван должен был приехать. Но поезд привез не сына, а очередное письмо от него (от 26 июня 1942 года).

«Мамаша и папа, я позавчера читал ваше письмо, которое вы написали командующему Западным фронтом. Правда, оно хорошо сформулировано, все по-истинному, результаты об этом также положительные, между прочим... Прямо скажу — не поеду!

Это как же я смогу оставить своих боевых товарищей, ведь они, не зная никаких пределов, устремлены только вперед на заклятого врага. У многих также погибшие братья, сестры, матери, отцы... Мне особенно надо рассчитывать... Я один раз давал слово дорогим Алеше и Шурику, так пусть же это будет для них твердость».

И он не поехал. Он мстил врагу за братьев — родных и чужих, за слезы вдов, сирот, матерей. «Я уже не раз на этом участке фронта давал холодка... а сегодня еще поеду и дам», — писал он 18 сентября того же года. А через три дня был тяжело ранен в бою и, не приходя в сознание, скончался.

Великий воинский и сыновний долг, приумноженный благородными целями войны, вел наших воинов сквозь огненные смерчи военного лихолетья. И со всех фронтов нескончаемым потоком шли в города и села написанные на всех языках народностей нашей страны пишущие жаром боев солдатские письма. «В этих «треугольничках» со штемпелем полевой почты, — говорится во вступлении к сборнику, — с исключительной яркостью раскрывается духовный облик советского народа, поднявшегося на священную Отечественную войну за свободу Родины, за честь и славу советского народа». И совершенно справедливо замечают авторы вступительной статьи З. Н. Политов и Б. П. Тихомиров, что нельзя не верить в искренность и правдивость строк, написанных рукой, только что державшей автомат. В короткие часы затишья между боями, на переформировании или на госпитальной койке солдаты пишут письмо домой. В простых, идущих из глубины сердца словах выражены их переживания и душевные порывы: гордость выпавшей на их долю освободительной миссии и горечь утрат, думы о счастливой жизни после победы и трогательная забота о близких.

Нередко фронтовики обращались к писателям. В сборник вошли письма солдат и офицеров А. С. Серафимовичу, В. И. Лебедеву-Кумачу, Мухтару Ауэзову, В. П. Ставскому, С. П. Шипачеву и другим.

Капитан В. А. Скибочко пишет А. С. Серафимовичу о большом впечатлении, кото-

БЕРЕГИТЕ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ!

Введение в геоигиену. Сборник. Ответственный редактор Н. В. Лазарев. «Наука». М. 1966. 324 стр.

В наш век трудно удивить кого-нибудь рождением новой науки. На глазах одного поколения появились и расцвели кибернетика, бионика, космическая медицина, математическая лингвистика, астроботаника. Но, как и в прошлые столетия, остается загадочным, даже таинственным самый процесс возникновения новой области знания. Ученые не любят распространяться о ходе мыслей, который привел их к решающему умозаключению. В мире исследователей это считается нескромным...

На мою долю выпала редкая удача: наблюдать рождение научной идеи, которая затем оформилась в новую науку — геоигиену.

Я держу в руках первый труд, излагающий границы, цели и методы этой науки, и вспоминаю весенний день 1956 года, когда впервые мне довелось беседовать с Николаем Васильевичем Лазаревым. Заслуженный деятель науки, профессор, заведующий кафедрой фармакологии в Военно-морской медицинской академии в Ленинграде, он сразу сказал мне, что не любит, как он выразился, «литературного звона» вокруг серьезных проблем. Стоило немалого труда убедить его в том, что «звона» не будет. Зато потом, рассказывая о судьбах лекарств, о ядах и противоядиях, о будущей аптеке человечества, Лазарев так увлекся, что его невозможно было остановить. Наши беседы продолжались часами и завершались лишь тогда, когда сотрудница заглядывала в кабинет, чтобы напомнить профессору, где оставить ключи от кафедры.

Еще в Москве, когда я готовился к этим беседам, меня поразила энциклопедическая образованность ученого, богатство идей, рассыпанных в его книгах. Правда, они сводились в основном к воздействию на человека различных химических агентов, то есть к той области, где фармаколог и токсиколог профессор Лазарев давно зарекомендовал себя как международного класса специалист. И вдруг в последний день моей ленинградской командировки разговор приобрел совсем новое направление. Выяснилось, что Николай Васильевич — страстный путешественник.

Любовно перебирая сувениры, ученый объяснял: моржовый клык привезен с Кам-

чатки, пробковый дуб — с Дальнего Востока, оттуда же обломок метеорита, керамика — из развалины самаркандских усыпальниц, а черепки сосудов, каждому из которых более двух с половиной тысяч лет, подобраны на месте раскопок возле Еревана. (Позднее я узнал, что, кроме чистой любознательности, в ежегодные поездки по стране профессор гонит интерес к судьбам своих учеников. Создатель большой, рассеянной по городам и весям школы — более ста двадцати докторов и кандидатов наук, — Николай Васильевич живо принимает к сердцу их удачу и трудности и готов по первому зову отправиться в Челябинск, Татарию, в Сибирь или на Дальний Восток, чтобы поддержать молодого коллегу.)

Во время одной из таких поездок в городе, известном своими сланцевыми разработками, фармаколог обратил внимание на гигантские терриконы пустой породы, которую раздувал ветер. Песчаная пыль при этом устремлялась на город.

— Жители могли не знать, но я-то хорошо знал: постоянное вдыхание этой пыли грозит человеку заболеванием дыхательных органов — силикозом. Терриконы над городом могли стать источником немалых бед...

Некоторое время спустя на другом конце страны, поднимаясь на пароходе по прекрасной реке Южного Урала, ученый увидел, что вода густо покрыта нефтью. Нефтяники спустили в реку отходы производства и буквально отравили вокруг все живое. Казалось бы, два эти факта не имели между собой ничего общего. Но обеспокоенный влиянием ядов на организм человека, токсиколог и фармаколог мысленно объединил их своими раздумьями в единую цепь. Цепь эта с каждым годом удлинялась. Цифры и факты, взятые из книг и газет, дополняли личные наблюдения. Оказывается, в течение XIX века человечество извлекло из глубин более двадцати двух миллионов тонн свинца — одного из самых ядовитых металлов. Вчера еще скрытый в глубинах планеты, вредоносный металл входит ныне в состав многих красок, предметов обихода. Он рассеивается по свету, накапливаясь в крови и тканях животных и людей. В воздухе, в воде, в почве под нашими ногами постоянно возрастает также количество мышьяка,

серы, сурьмы, углерода, хлора, урана, эманации радия. Это оказывает неблагоприятное влияние на жизнедеятельность человека.

Новое направление мыслям ученого дает небольшое газетное сообщение: Лондон на четыре с половиной дня оказался окутанным туманом, состоящим из выхлопных газов и дыма заводских труб. За эти несколько дней в Лондоне умерло более четырех тысяч человек. Подобные ядовитые туманы и прежде опускались над различными промышленными городами мира. Можно предположить, что и в будущем они будут повторяться. Ведь, по данным мировой статистики, сто пятьдесят миллионов бегущих по планете автомобилей за один час выбрасывают до шестисот тысяч тонн ядовитой окиси углерода. Примерно столько же выбрасывают угольные топки мира.

Совершенно очевидно, что те, кто строит заводы, добывает руды, эксплуатирует автомобили, не ставят своей задачей отравлять человечество. Но такова диалектика: производственная деятельность человека, свидетельствуя о его победах над косной материей, имеет и другую сторону. Эту мысль предельно четко выразил Фридрих Энгельс: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и третью очереди совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых».

Не это ли замечание Энгельса и подсказало профессору Лазареву окончательный вывод из его многочисленных наблюдений? Губительные нефтяные пятна на реке, раздуваемые ветром терриконы, удушливые газы промышленных предприятий и транспорта есть вторичные и третичные последствия деятельности человека. Пока еще они не осознаны во всей своей опасности. Однако количество перемен, которые человек-созидатель вносит в почву, реки, моря и атмосферу, а вслед за тем в свой организм, явно становится угрожающим.

Наука не может оставаться равнодушной к процессу, который происходит по всей планете и равно угрожает всем обитателям Земли. Впрочем, какая наука? Уже тогда, десять лет назад, когда мы впервые беседовали с профессором Лазаревым, он назвал ее геогигиена. В отличие от

школьной гигиены, гигиены труда или питания новая наука должна, по мнению ученого, приобрести глобальное значение. Геогигиенисту надлежит раздвинуть кругозор до пределов всей планеты с тем, чтобы охватить все возможные последствия, которые возникают под влиянием растущих производительных сил.

Каждая из наших позднейших встреч с Николаем Васильевичем сопровождалась новыми, всегда увлеченными рассказами его об успехах геогигиены. «Незаконная», лишняя лаборатории и штатных должностей наука постепенно приобретала верных сторонников, обрастала доказательствами своего права на существование. Одна за другой появились статьи, призывающие врачей, геологов, геохимиков, географов, в том числе экономических, «взглянуть окрест», задуматься о вторичных и третичных последствиях человеческой производственной деятельности. И что интересно: географическая по самой сути своей, геогигиена с первых шагов начала вербовать адептов на самом широком географическом просторе. Ее смелыми поборниками оказались ленинградцы — профессор С. Л. Данишевский, доктор медицинских наук С. А. Кейзер, кандидат физико-математических наук П. П. Дикун, сын Николая Васильевича Лазарева кандидат химических наук Л. Н. Лазарев, киевляне — профессор Л. И. Медведь и доктор медицинских наук Ю. С. Каган, гигиенист из Воронежа профессор В. А. Покровский, гигиенист из Иркутска профессор Я. М. Грушко. А первый фундаментальный труд новой науки благословил на выпуск Дальневосточный филиал Сибирского отделения Академии наук СССР.

Вот оно перед нами — первое слово новой науки. Впрочем, как и любая отрасль естествознания, геогигиена возведена не на голом месте. Она стоит на широких плечах прошлых научных поколений. «Посвящается памяти академика В. И. Вернадского». — читаем мы на первой странице. Посвящение это имеет глубокий смысл.

Авторы «Введения в геогигиену» (в основном врачи-гигиенисты) нашли немало важное подкрепление в трудах замечательного советского геохимика Владимира Ивановича Вернадского (1863—1945), который первым заговорил о том, что человек — огромная геологическая сила на поверхности нашей планеты. И не только заговорил, но и произвел точные расчеты тех гро-

матричных масс земли, которые переместило человечество за последнее столетие, того количества металлов, что извлечено из недр, тех коренных перемен, которые совершаются в атмосфере при сжигании миллиардов тонн угля, нефти и торфа. (Достаточно сказать, что за последние сто лет сожжено девяносто миллиардов тонн угля, при этом на поверхность земли выброшено примерно восемнадцать миллиардов тонн шлака и три миллиарда тонн золы в виде аэрозоля поступило в атмосферу.) Вернадскому принадлежит и столь важное для геоигиенистов понятие о биосфере. Биосфера — «пленка» земной коры толщиной в среднем около шестнадцати километров, охватывающая тропосферу, гидросферу и самый верхний слой литосферы, в которой обитает человечество. Ученые говорят о «гигиенических характеристиках» биосферы, в которых человечество может нормально существовать и развиваться. В конечном счете цель геоигиены — исследовать эти гигиенические характеристики и предупреждать общество о нарушении гигиенических норм.

Какими же методами станет вести свои исследования геоигиена? Очевидно, особый интерес для ученых этого профиля будет представлять экономическая статистика. Данные о добыче нефти, угля, руд, выплавке металлов своевременно подскажут ученому, в каких масштабах можно ожидать загрязнения атмосферы. Помогут гигиенисту и данные мировой торговли. «Как эпидемиология давно рассматривает пути распространения эпидемий в масштабе целых стран и всего мира, придавая значение влиянию на эти процессы социальных условий и т. д., — пишет в одной из работ Н. В. Лазарев, — точно так же геоигиена должна изучать роль мировой торговли как фактора, который делает возможным воздействие на потребителей в самых отдаленных странах вредных примесей к пищевым продуктам, токсических компонентов красок для пластических масс и т. д.»

Два основных признака подлинной науки Д. И. Менделеев видел в способности ее предсказывать будущее и быть действенной, преобразовывать мир. Геоигиенисты будущего станут, очевидно, не только констатировать, что такой-то накопившийся в биосфере элемент угрожает здоровью человечества, но и попытаются разработать методы его нейтрализации. Может быть, именно геоигиена предложит, как освободить на-

шу планету от продуктов атомной промышленности, как очистить мир от канцерогенов. Но если активная созидательная сторона молодой науки вся еще в будущем, то социальное значение ее очевидно уже сейчас. Гуманный общечеловеческий характер заложен в самой сути геоигиены. «Организация таких исследований должна быть делом всего человечества на основе равноправного и дружелюбного участия в соответствующих работах всех стран, на базе мирного сосуществования государств с различным социальным строем», — пишут авторы.

Не утопия ли эти надежды ученых? Конечно, нет. Политические разногласия не мешали народам мира провести ряд международных геофизических годов. Почему бы не подумать и о том, чтобы провести Международный гигиенический год, год совместного и всестороннего изучения условий жизни человека на нашем общем обиталище — Земле? По существу первые такие мероприятия в международном масштабе осуществляются уже сегодня. Разве не является великолепным образцом для будущего Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия на земле, в атмосфере и под водой? Это соглашение, несомненно, одно из самых значительных международных геоигиенических мероприятий двадцатого столетия.

Рецензируемая книга, несомненно, привлечет внимание многих специалистов. В научных журналах появятся детальные разборы этого интересного, богатого идеями и фактическим материалом труда. Мне же хочется заключить свои заметки несколькими строками из письма Н. В. Лазарева, помеченного маем 1956 года:

«Я собираю сейчас материал для книги о геоигиене — первой книге новой науки. Вот ее главный тезис: Земля — наша единственная мать, общая для всех народов. Пора всерьез подумать о ней, беречь ее, не разорять войнами, не отравлять радиоактивными и другими вредными веществами. Нам некуда податься с нашей планеты (во всяком случае на очень долгие времена), значит, надо устроиваться на ней для совместной жизни, нравится это кому-либо или нет. Сама наша сила, сами наши победы над природой более чем когда-либо требуют мира и сотрудничества между народами...»

Марк ПОПОВСКИЙ.

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУЖЕНИКА, ГРАЖДАНИНА

В. А. Сухомлинский. Воспитание личности в советской школе. «Радянська школа». Киев. 1965. 213 стр.

Шестьсот сорок. Это число много раз встречается в книге. Оно обозначает количество учеников в Павлышской средней школе. Цифра внушительная и вместе с тем обычная. Но за ней — великие заботы. Педагоги должны знать каждого из шестисот сорока. Воспитателям надо сжиться с каждым из своих — таких разных! — воспитанников. А ведь это далеко не всегда удается. И постоянно беспокоит мысль: не затерялась ли в толпе ребят чья-то неприметная фигурка? С годами постигается простая истина: неудачи особенно часто преследуют именно того воспитателя, который смутно видит перед собой многоликую ребячью массу.

Вот почему в Павлышской школе взялись отыскивать возможности, которые позволяют разглядеть, не упустить из виду ни одного ученика и целенаправленно воспитать все шестьсот сорок индивидуальностей. Об этом и рассказывает Василий Александрович Сухомлинский — директор школы, проработавший в селе более тридцати лет.

Находки талантливых воспитателей, достоверный и убедительный рассказ о достигнутых результатах, добрые и умные советы педагогам и родителям — вот что привлечет внимание читателей. Книга знакомит с интереснейшим опытом павлышских учителей, с их педагогическим новаторством.

Не секрет, что ясный в общей педагогической теории принцип связи личности и коллектива нередко становится в практике воспитания трудноразрешимой проблемой. В одних случаях это происходит из-за невнимания к конкретной личности, в других — из-за всепоглощающего внимания к индивидууму, выпадающему из коллектива. Павлышские учителя, не игнорируя коллектив и не забывая о каждой конкретной личности, бережно сохраняют и укрепляют естественно складывающиеся связи семьи и школы. И вот уже создано свыше шестидесяти «очагов народной педагогики» — самостоятельных, добровольных, на семейной основе возникших групп, куда вошли все шестьсот сорок учащихся. Их увлекли влюбленные в свое дело родители — бывалые люди, труженики, умельцы. А в самой школе — более тридцати кружков, малень-

кие клубы и мастерские, уголки любимых занятий. Туда также пришли все шестьсот сорок учеников, движимые индивидуальными склонностями, интересами, симпатиями. И не только сами пришли, но и привели с собой друзей из соседней восьмилетней школы. За ними потянулись младшие братья и сестры — дошкольники. Ребенок становится воспитанником школы задолго до того, как получит право называть себя учеником. Такая школа — подлинный центр воспитания.

О силе воспитательного воздействия слова и дела у нас ведется немало разговоров — нередко, к сожалению, бесплодных. И кривотолков тут немало. Был грех «словесного воспитания» — слова, не подкрепленные делом, отзывались в душе иного юного бездельника пустым звоном. Неразумно осваивалась подчас идея «трудового воспитания»: труд рассматривался как самоцель; при небрежении к слову и мысли он не радовал, не наполнял благородством юные души, не воспитывал их. В Павлышской школе нашли формы умелого сочетания слова и дела.

«На окраине нашего села, — читаем мы в книге, — стоит высокий скифский курган, на нем маленький холмик, заросший шелковой травой, а за холмиком — дуб, посаженный школьниками после освобождения села от фашистских захватчиков. Здесь совершил подвиг советский солдат-пулеметчик в тяжелые дни 1941 года, когда наши войска отступали к Днепру».

Сюда, окруженный воспитанниками, поднялся учитель, рассказал ребятам о подвиге героя солдата, и теперь каждый год, когда с деревьев опадают листья и над полями по утрам клубятся туманы, ребята сажают на кургане маленькие дубки. «Не надо никаких слов, когда в детских сердцах трепещет нежная волна добрых чувств, — пишет В. А. Сухомлинский. — Дети переживают то, что они делают: они не просто сажают деревцо, чтобы зеленела вершина одного из курганов, а ставят живой памятник герою». И это — воспитание гражданских чувств. Воспитание делом.

Рецептурный справочник «В помощь воспитателю» немислим, да и не нужен. А вот изобилующая подобными примерами книга

очень нужна: она показывает, что сила одних и тех же слов в различных условиях неодинакова. Эта сила измеряется чувствами и мыслями педагога, душевной настроенностью воспитанников, самой обстановкой и значимостью факта. Легко может статься, что в условиях другой школы сходные обстоятельства потребуют каких-то своих средств воспитательного воздействия — не тех, что в Павлышской школе. И слов и дел не тех. Но опыт коллег пригодится: сотни описанных в книге примеров даны не для кспирования. Книга учит педагога владеть оружием воспитания.

Павлышский опыт поможет воспитателю определить свою позицию в отношении к детям, подросткам, юношам. Заботливо растить — это не значит стоять над воспитанником, а быть рядом с ним. В школьных кружках учителя не наставники, а участники, занятые теми же делами, что и учащиеся. В работе рука об руку педагог и школьник близки и дружны. Воспитание высвобождается от назидательности и становится ненавязчивым, скрытым, интимным процессом. А иной раз уверенные в добрых намерениях ребят, учителя предоставляют им полную самостоятельность.

В работе школы много нового, и находки павлышских учителей нельзя назвать счастливой случайностью: поиск был направленным, исследовательским, научным. Сегодня педагог должен быть и социологом и психологом. Прочные гарантии настоящего воспитания — в понимании и учете требований жизни, в глубоком проникновении в духовный мир школьника. Книга рассказывает о жизни села, где расположена школа, раскрывает эту жизнь в трудовых и бытовых ее приметах, в изменениях, происшедших за четверть века, в фактах и цифрах, точных и доказательных. Это статистика, социология. На нескольких примерах показывает автор, с какой психологической глубиной изучают педагоги личность каждого школьника. С тем, что не под силу одному учителю, успешно справляется педагогический коллектив в целом. Второгодничество здесь почти полностью изжито (в последнее трехлетие на второй год оставались лишь два-три ученика, пропустившие по болезни чуть ли не половину всех учебных занятий). Учителя прослеживают судьбы своих питом-

цев, и радостно им, что из стен школы выходят молодые люди, которыми можно гордиться.

Книгу дочитываешь с благодарностью и удовлетворением. Дорог учительскому и родительскому сердцу труд павлышских воспитателей. Но думается при этом, что книга могла быть еще лучше, если бы в ней обстоятельней, детальней было рассказано о самой методике воспитательной деятельности педагогов.

Успехи несомненны, и павлышский опыт достоин распространения. Но одной лишь информации о достигнутых результатах (хотя и подробной) для этого мало.

Жаль, что не показан по-настоящему процесс воспитания. А заявка есть: впервые за много лет книга, рассказывающая о воспитании школьника, включает большую главу (четверть всего объема книги) о педагогическом коллективе. Тут портреты учителей, мир их интересов и увлечений, забот. Мы видим, что павлышские педагоги добились немалых успехов в воспитании нового человека. Но как? Это видно недостаточно четко. Все застигает мягкая голубизна беспечального бытия. Иного читателя это может ввести в заблуждение: он еще подумает, пожалуй, что педагогам легко дались достигнутые ими успехи. Вот почему следовало обстоятельно рассказать о тех многочисленных трудностях, которые им пришлось преодолеть. Хочется видеть отчетливые портреты живых школьников и тех, кто их воспитывает. К сожалению, они нарисованы бледно.

Однако погрешности изложения не могут обесценить опыт павлышских воспитателей. И об этом опыте еще наверняка будут писать. О многих великолепных задумках, о непрекращающейся творческой работе лишь вскользь говорится на страницах книги. По всему видно, что в этой школе идет целенаправленная, отвечающая задачам воспитания перестройка учебного процесса, которая, несомненно, принесет новые плоды. И хочется надеяться, что В. А. Сухомлинский, привлечший внимание своими содержательными выступлениями в печати, сумеет обстоятельнее рассказать о благородном труде педагогов школы, о жизни ее воспитанников.

Л. РЫБАК.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

БЕЗ ВКУСА И ТАКТА

В последние годы вышло немало хороших книг о войне. Поэтому, хоть имя автора новой повести о летчиках времен Великой Отечественной войны было нам незнакомо, мы с доверием взяли книжку. Скажем сразу, что мы ошиблись. Повесть Александра Силакова «Тревога! В воздух!» (Воениздат, 1965, тираж 65 тысяч) мы дочитали с большим трудом — давно не попадалось нам ничего подобного.

Главный герой книги Иван Черепанов должен, по мысли автора, быть носителем всяческих добродетелей. Он безмерно храбр, самоотвержен в бою, с честью выходит из всех невероятно тяжелых, казалось бы, безвыходных положений, в которые его непрерывно ввергает автор. Товарищи прозвали его Иваном-бессмертным.

Автор простодушно выкладывает свои представления о том, как должен вести себя положительный герой. Так, например, Черепанов, когда везший его шофер такси разглядел звездочку Героя и ни с того ни с сего отказался брать за проезд деньги, «сунул шоферу, не считая, сотен пять». Если учесть, что ехал Иван на такси из ресторана, куда пригласил зайти выпить «первого встречного» (им оказался незнакомый дворник), то весь комплекс поведения загулявшего купчика налицо.

Не менее показательна в этом смысле сцена трудной встречи Черепанова с любимой женщиной. Узнав, что она беременна от другого, он спросил ее: «— Кто он по званию? — Лейтенант медицинской службы. — Маловато будет для ребенка. На! — Он сунул руку в карман, вытащил пачку струблевок».

Думается, что эта сцена не нуждается в комментариях.

Еще проще и грубее решает герой конфликты с товарищами-летчиками: «Баклов размахнулся, но Иван опередил его — коротким ударом сбил Баклова с ног». Этого автору показалось мало. Через несколько

страниц — новая драка: «Иван вне себя ударил кулаком в эти холодные глаза. Баклов без звука повалился навзничь».

Между прочим, первому из этих мордобитий предпослана перебранка, в которой офицеры-летчики Черепанов и Баклов под стать базарным торговкам обзывают друг друга лютым волком, тупицей, генеральским любимцем, гадиной, торговцем парашютами, крохобором и т. п.

Черепанов окружен боевыми соратниками, большинство из которых в представлении автора не менее положительны, чем сам Иван. Это, в частности, его ближайший друг капитан Копейкин, это командир эскадрильи Черномор, это лихой, задиристый Хват и многие другие. Все они достаточно много разговаривают друг с другом, но на каком уровне! Так, например, капитан Копейкин говорит Ивану Черепанову: «Рубль из твоего кармана какой-нибудь бандюга попробует утащить — ты вобьешь ему такую сваю в морду, что он перевернется». Носителем обобщающей мудрости в ее конечной инстанции является в повести комиссар Манухин. Приведем лишь два из его многочисленных высказываний: «Мы — народ дубленый и мореный, историей ученый и правдой мученный (?). Мы, советские, столько вынесем, что врагу и во сне не увидать». И, чтоб уж было совсем в рифму, добавляет: «Так что нечего хвастать, идя на рать...» А вот Манухин возмущается, что выставленные в разбомбленной витрине «обыкновенные куски известняка» снабжены непонятным ему «ученым названием» и обобщает: «Любят иные ученые завернуть мудреные словечки, простого человека загуманить. А бомба рванула и обнажила сразу все. Выходит, надо проще и прямее быть».

Мы не хотим перегружать это письмо цитатами, поэтому не станем приводить высказывания не менее колоритной фигуры — генерала Семенова, о котором сказано, что

«он знал наизусть Устав так же, как стихи Кольцова... владел в совершенстве боксом и чинил наручные часы. Любил сочинять пословицы (!) и даже в грозных приказах ввертывал какие-нибудь хлесткие словечки».

Таковы основные положительные герои повести. Им противопоставлены два персонажа отрицательных. Это летчики Краев и Баклов. Краев — трус, за что его и расстреливают. Необходимо сказать, что сцена эта лежит целиком на совести автора. Во время воздушного боя Краев не выполняет указаний командира и уходит вверх, сообщив по радио, что у него «заело рули высоты». Черепанов слышит, как командир эскадрильи дает команду: «Отвести» — что, как видно из контекста, означает — «Расстрелять!» Затем в эфире слышится «раздирающий, наполненный мольбой предсмертный вопль» Краева.

Силаковские рыцари без страха и упрёка не потрудились даже выяснить — может быть, рули у Краева действительно заело. Эта сцена выглядит отвратительно и неправдоподобно.

Но если Краев в книге должен олицетворять один порок — трусость, то Баклова А. Силаков рисует законченным злодеем, средоточием всех известных автору мерзостей. Он подхалим (первым бросился угощать генерала папирисой), мародер (забрал у мертвого зенитчика золотой портсигар), спекулянт (торгует парашютами), бабник (ухаживает подряд за всеми женщинами), клеветник (возводит облыжные обвинения на Черепанова), подлец, бросивший в степи умирать раненого товарища, а к тому же еще друг труса Краева. К концу книги Баклов доходит до того, что гайно портит самолет Ивана Черепанова и в страхе перед разоблачением кончает жизнь самоубийством, проглотив ртуть из медицинского градусника.

В сущности, цепь невероятных подвигов Черепанова и его лютая вражда с Бакловым и составляет несложный сюжет книги.

А композиция повести состоит в том, что Черепанов уже после войны рассказывает своему другу Копейкину, с которым они провоевали бок о бок почти всю войну, о том, как они, Черепанов и Копейкин, эту войну «делали».

И сюжет и композиция повести выглядят столь же малодостоверно, как и утверждение автора, что реки «Шексны уже нет — там разлилось море».

Но что говорить о языке и интеллектуальном уровне героев, когда сам автор изъясняется следующим образом: «Он окинул взором ночной ландшафт», «Хмурая война расслабила на его горле свои костлявые пальцы...», «...А между тем сквозь сумрак в его окно заглядывала своим незримым и решительным лицом судьба», «От этих песен почему-то вспомнилось Ивану... про жизнь, в которой царили лира, вдохновение и мечта».

Нам не хочется продолжать цитировать, потому что на этом пути трудно остановиться: в книге что ни фраза — «перл».

Мы не представляем сейчас книги о войне вне глубокого осмысления этого важнейшего исторического этапа. Какие же мысли и слова находит для этого А. Силаков? Пожалуй, отчетливее всего это высказывает Копейкин Черепанову много лет спустя после войны: «Была война, дала она тебе Звездочку, Иван, Золотую, не простую! В общем, гладко все обошлось».

Трудно представить себе, что с таким кощунственным легкомыслием сказано о величайшей народной беде и величайшем подвиге народа.

Воспитание наших молодых людей, надевших солдатские шинели, да и не только их, на лучших героических традициях народа — дело важное, оно требует ума, вкуса и такта.

Р. Цимерин,
машинист башенного крана.

М. Барбашинов,
*полковник в отставке,
Герой Советского Союза.*

Ленинград.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ГЕНЕРАЛ АРМИИ М. И. КАЗАКОВ. Над картой былых сражений. Воениздат. М. 1965. 224 стр.

Я с большим интересом читал эту книгу. Вместе с М. И. Казаковым мне пришлось участвовать в проведении операции, описанной в главе «Прекрасное слово — вперед!» Когда я читал ее, в памяти оживали события тех дней, и я убедился, насколько правдиво, объективно и с каким большим уважением к воинам — рядовым и командирам — пишет автор о войне.

Читатель, мало знакомый с событиями, имевшими место в сорок втором году на Воронежском фронте (в частности, с операциями «Малый Сатурн» и Острогожско-Россошанской), с обстановкой под Харьковом в феврале—марте сорок третьего года и с некоторыми операциями на Степном и Брянском фронтах, узнает из этой книги много интересных подробностей.

«Драматургия красных и синих стрел» — так назвал автор один из разделов главы «Дороги наступления». Он рассказывает здесь о картах и оперативных документах, без которых немислима никакая операция. «В этих картах, стрелах и схемах, — пишет М. И. Казаков, — воплотился коллективный разум сотен военачальников, усилia тысяч и тысяч бойцов, воля всего нашего советского народа, направленные к единой цели — разгромить и уничтожить ненавистных оккупантов».

Большое достоинство книги М. И. Казакова в том, что она лишена того налета субъективизма, который, к сожалению, можно заметить в некоторых мемуарах последнего времени.

Книга написана правдиво и самокритично, очень интересна и полезна. Хочется пожелать М. И. Казакову в дальнейшей своей работе над мемуарами уделить больше внимания вопросам управления войсками, ибо это имело громадное значение в достижении победы.

П. Панин,
*генерал-лейтенант войск связи
в отставке.*

Краснодар.

★

ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. Коллективная монография. «Наука». М. 1965. 352 стр.

Невиданный взлет науки, подлинно революционный процесс ее развития — одна из

характерных особенностей современности. За последние десятилетия сложился принципиально новый уровень знаний и обнаружилась ведущая роль науки в техническом прогрессе, в совершенствовании всех видов деятельности людей.

Монография «Противоречия в развитии естествознания» — интересная и удачная попытка вскрыть и объяснить общую закономерность совершенствования и углубления научных знаний о природе.

Прежде всего полезен и поучителен сам метод исследования проблемы. Авторы принимают историю науки как изменение и совершенствование знания — основного средства преобразования мира. Чем больше люди знают, тем они больше умеют, а тем, следовательно, лучше познают происходящее.

Прошлое «работает» на современность только тогда, когда оно не просто зафиксировано, но и систематизировано, обобщено, постигнуто и осмыслено. Именно в последовательном применении анализа и обобщения, а не в одном лишь описании отдельных открытий — принципиальное значение книги.

Историю нельзя представлять как простое увеличение суммы фактов и событий, как богатейший музей или образцовый архив. А ведь не секрет, что именно так создавались и подчас создаются поныне многословные описания, в которых за деревьями исчезает лес, в отдельных подробностях тонет целое, единое, общее.

Правильный методологический подход предопределяет успех в главном, составляющем цель и смысл всего этого коллективного труда. Авторы раскрывают и объясняют внутренне противоречивый характер научного познания, исследуют сложный процесс возникновения и «развертывания» противоречий как основной закон поступательного развития естествознания.

Всякая новая теория — результат столкновения разных взглядов, противоположных оценок, несовпадающих гипотез, их взаимного синтеза и единства, которое затем снова нарушается. Итог развития — разрешение противоречий воплощается в практике, в постоянном прогрессе техники, впитывающей достижения науки; в реализации добытых знаний для совершенствования современного производства

Структура книги подчинена принципу — от общего к частному, от противоречий, при-

сущих познанию вообще, к анализу противоречий естествознания в целом и далее — противоречий в развитии отдельных наук.

Эти противоречия рассматриваются в двух планах: философский, общетеоретический аспект составляет содержание первой части книги; более конкретное исследование противоречий в истории физики, химии и техники — второй.

Рецензируемая книга значительна оригинальностью метода исследования, богатством фактического материала и глубиной его обобщения. В этом, несомненно, большая заслуга ее авторов А. Н. Вяльцева, Н. А. Кондратьевой, Н. И. Родного, П. В. Смирнова, С. Я. Чернавского и руководителя коллектива, члена-корреспондента Академии наук СССР (недавно избранного академиком) Б. М. Кедрова.

М. Слуцкий,
кандидат философских наук.

★

Ю. ГАВРИЛОВ. Барселона. Толедо. Мадрид. «Молодая гвардия». М. 1965. 143 стр.

Прошло более двух десятилетий, как смолк гром второй мировой войны. Бури освободительного движения пронесли за эти годы над Азией и Африкой. Народы многих стран обрели национальную и социальную свободу. А над Испанией время как бы остановилось... Ее трудолюбивый народ, давший миру нетленные памятники материальной и духовной культуры, продолжает томиться под игом фашизма.

По франкистским законам забастовка рабочих считается «преступлением против страны». Преступниками объявляются и крестьяне Испании, которые видят причины своих бедствий в несправедливом распределении земли. Герцоги, графы, маркизы владеют огромными латифундиями. Десяти тысячам помещиков принадлежит такое же количество земли, каким владеют два миллиона крестьянских семей. А треть всей крестьянской массы вообще не имеет своих наделов.

Средневековые пытки, тюрьмы, казни — таков арсенал средств для устрашения непокорных рабочих и крестьян.

Было бы, однако, ошибкой полагать, будто испанские фашисты надежно укрыты за пиренейскими хребтами от социальных бурь, бушующих на нашей планете. В очерках об Испании Юрий Гаврилов убедительно показывает это. Личные наблюдения и беседы с испанцами в Мадриде, Барселоне, Толедо, Сабаделле и многих других городах и деревнях, где автору удалось побывать, позволили сделать вывод, что пережитое Испанией и ее народом не забыто.

Книга Ю. Гаврилова (к сожалению, она оказалась последней работой молодого талантливо журналиста) — это увлекательное повествование о стране, которую в течение последних почти трех десятилетий весьма немногим советским литераторам удалось увидеть своими глазами. Она воскрешает в памяти события боевых и суровых дней

1937—1938 годов, когда вместе с другими бойцами интернациональных бригад и испанскими друзьями и мне довелось участвовать в освободительной народной войне. Все мы восхищались тогда стойкостью и героизмом испанского народа. Вот почему так понятен и близок мне вывод Ю. Гаврилова, что вольнолюбивый и революционный дух испанцев неистребим. В сердцах миллионов ее патриотов живет Республиканская Испания. Диктатура Франко, опирающаяся на террор, насилия, казни и североамериканские доллары, падет и как страшный кошмар двадцатого века отойдет в историю.

С. Воробьев.

★

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ. В небе двух полушарий. «Детская литература». М. 1965. 174 стр.

Ансельмо Эрнандесу давно за восемьдесят, он уже не выходит в море, но дела кооператива, в который объединились рыбаки Кохимара после революции, волнуют его. Когда-то Эрнандес уходил на рыбную ловлю с самим Папой — Эрнестом Хемингуэем, жившим неподалеку...

И вот мы сидим вместе. Эрнандес поворачивается ко мне и спрашивает:

— А этот, что был утром с тобой, тоже журналист? Все так дотошно выпрашивал, записывал.

— Нет, он летчик. Сейчас в гражданской авиации, а раньше был военным.

— Хороший человек. Мне он сразу понравился. Но книгу-то, наверно, все-таки не напишет. А?

И вот передо мною книга Героя Советского Союза Павла Михайлова — того самого, который интервьюировал старого кубинского рыбака Ансельмо Эрнандеса. Сюжетный «скелет» этой книги — прыжок советского воздушного лайнера Ту-114 из Москвы в Гавану через Конакри. При всей значимости этого события у меня, его участника, все же возникло сомнение: не велик ли объем в двенадцать печатных листов даже для такого перелета, не «растянул» ли искусственно автор ход событий. Однако, прочитав книгу, я отбросил это сомнение.

В книге П. Михайлова отчетливо видна двухплановость. С одной стороны — авиация, ее прошлое, настоящее и будущее; с другой — путевые впечатления автора, в первую очередь о Кубе. На первый взгляд темы, не очень-то уживающиеся под одной обложкой. Тем не менее в книге они «мирно» сосуществуют.

Но если первая тема близка П. Михайлову, ибо авиация навсегда вошла в его жизнь (однако, чтобы хорошо рассказать о ней, да еще юношеству, несомненно, нужна «искорка божья»), то вторая представляла немалую трудность. И тем приятнее, что читатель узнает из книги о свободной Кубе много нового и интересного.

Справедливости ради надо заметить, что несколько выпадает из единого повествова-

ния глава о Греции. Написана она интересно, однако связана с основной линией книги по типу некоторых трафаретных журналистских путевых заметок: с самолета, летящего на высоте одиннадцать тысяч метров, видна Греция, и вот автор делится воспоминаниями восемнадцатилетней давности. Нужен был, очевидно, какой-то другой «ход». К счастью, таких неувязок мало.

В. Гаврилин.

★

В. ДОБРОВОЛЬСКИЙ. Босиком по лужам. Роман. Издательство «Препор». Харьков. 1965. 438 стр.

Новый роман Владимира Добровольского хочется сравнить с первой книгой его же диалогии, романом «Дом в тупике». При всей значительности темы и тщательности литературной отделки, «Дом в тупике» немало проигрывает из-за некоторой статичности, информационно-характеристики иных персонажей и монотонности действия. Новая книга лишена этих недостатков.

Герои В. Добровольского повзрослели, значительнее стали их интересы и судьбы. Писатель увереннее проникает в сложный духовный мир.

Процесс внутреннего роста, утверждения и развития человеческой личности мы наблюдаем прежде всего в образе главного героя Виктора Возницына. Натура цельная и целеустремленная, Виктор наиболее интересен для автора, ибо его характер дает возможность раскрыть черты времени — сложные условия тридцатых годов.

Виктор стремится к самостоятельности и постигает, что путь к ней, путь к человеческому достоинству лежит через труд. Повзросление Виктора сказывается и в том, что он в конце концов находит в себе силы выступить против бригадира Горбачука, якобы опекавшего Виктора, но оказавшегося человеком с фальшивой и подлой душой. Без этой победы Виктор не мог бы чувствовать себя полноценной личностью.

Особо хочется подчеркнуть успех тонко написанной линии интимных отношений Виктора с Люсей и Ксаной. Тактично и острожно показывает В. Добровольский постижение героями человеческой ценности любви. На мой взгляд, хорошо написан образ Люси, ее циничная и вместе с тем очень беззащитная натура. Что касается Ксаны, то она существует в романе главным образом как объект чувства: внутренний мир Ксаны остается за пределами книги, ее «неприятие» Возницына так же загадочно, как и внезапное «потепление» в конце...

Едва ли не самым большим уроком, который дает Виктору жизнь, становится урок гражданского мужества. В этом плане первостепенное значение приобретают сцены на рабфаке и прежде всего образы Ковтуна, Чалого, Чурсина.

Трезвый взгляд на вещи, партийная честность и принципиальность свойственны Ковтуну. А вот Чурсин — как будто бы «свой брат», студент рабфака и рабочая косточка, инвалид гражданской войны, но как рази-

тельно он не похож на Ковтуна! Если для Ковтуна партийный пост — это высшая принципиальность, внимание и душевная теплота, то для Чурсина (он занимает потом место Ковтуна) — это удобная позиция бестрепетного и равнодушного судьи. Чурсин убежден в своем призвании карать и искоренять, в своей пронизательности по отношению к «вражеским проискам». Это готовое орудие чужой воли.

Роман «Босиком по лужам» правдив и художественно достоверен. Тем более хочется видеть его лишенным той искусственности и велеречивости, которая порой заметна и в авторской речи, и в особенности в диалогах.

Вл. Брюгген.

Харьков.

★

Б. ДУБРОВИН. Позывные, летящие в ночь. Рассказы. «Знание». М. 1965. 126 стр.

Послушайте содержание небольшого рассказа.

На одном этаже жили две семьи. В одной квартире — Зина с мужем, «подполковником танковых войск», в другой — Савельевы: Роза с мужем, «майором инженерных войск».

Роза и Геннадий Савельевы жили очень дружно и хорошо. Но вот однажды Зина останавливает Розу и говорит, что уже несколько дней, когда та утром уходит на работу, ее муж приводит к себе чужую женщину.

«— Неправда!

Земля накренилась, и Розе пришлось опереться на гранитное крыло лестницы, ведущей из метро.

— Правда! Я в замочную скважину видела».

И Роза решает проверить. К одиннадцати часам она, бросив работу, спешит домой. И вот она стоит в прихожей Зины. «Наклонитесь, и все будет видно», — говорит Зина. Она «пала на колени и впилась глазами в замочную скважину. Глаза обожгло красное пламя женского платья и мокрой зеленой змеей скользнула в дверь плащ-накидка». «Розу охватила лихорадка. Тело содрогалось». Тогда Роза тихо вошла в свою квартиру, даже дверь не хлопнула. Вошла в кухню. «И тут услышала приглушенный стенкой счастливый детский смех. Мои дети смеются. Нет, дети за городом. Нет, это женский смех. Это с ним, с ним женщина! Взгляд от мяса прыгнул к топору, а руки уже схватили его. Она кинулась в спальню. На кровати, укрывшись простыней, застыли двое. Худенькие руки с незнакомой им яростью и силой обрушили топор на одну голову, выделывающую под простыней, потом — на другую». А потом «ее полумертвые руки взяли (со стола. — Г. В.) какую-то бумагу, а глаза непонимающе скользнули по словам: «Свидетельство о браке» выдаю... Почему Демьянов? Семен Семенович?.. И она потеряла сознание...»

В «Эпизоде» автор разъясняет происшедшее «недоразумение». Геннадий, муж Ро-

зы, «отдавал своему другу Семену Демьянову ключ, потому что Семен мыкался, снимал угол, стеснялся своих хозяев. Ему должны были на днях дать комнату. Он успел даже побывать в загсе и зарегистрировать свой брак».

Последний абзац рассказа посвящен Зине, безмятежно поливающей из лейки цветы на балконе. «Эта вода (текущая из лейки.— Г. В.) так же чиста, как миндалевидные глаза Зины, просветленные солнцем глаза». Видно, в последние слова вложен какой-то особенно глубокий смысл, ибо рассказ так и называется «Просветленные солнцем глаза»...

Мы должны извиниться перед читателем за подробное изложение одного из рассказов Бориса Дубровина, входящего в сборник «Позывные, летящие в ночь». В аннотации к сборнику говорится, что эта маленькая книжка рассказывает «о любви, о ревности, о том, что так неожиданно встречается на пути и так стремительно захватывает, об этом и еще о многом волнующем». Добавим к этому, что рассказы «о волнующем» вышли тиражом двести пятнадцать тысяч экземпляров. Кроме «Просветленных солнцем глаза», в сборник вошло еще семь рассказов. Но излагать их нет нужды — ничего существенно нового для характеристики книги они не прибавляют, а лишь наводят на мысль, что пошлость неисчерпаема, многогранна и что ей нет предела.

Поэтому тем, кому случайно попадет книжка «Позывные, летящие в ночь» из серии «Прочти, товарищ!», хочется посоветовать: «Не читай, товарищ! Не трать попусту время!»

Г. Волгин.

★

ГЕОРГИЙ ГУРЕВИЧ. Мы — из Солнечной системы. Научно-фантастическая повесть. «Мысль». М. 1965. 413 стр.

Повесть Г. Гуревича — одна из немногих серьезных попыток в нашей научно-фантастической литературе нарисовать социальную структуру будущего коммунистического общества. Действие происходит в третьем тысячелетии нашей эры. Своеобразно повернутый сюжет способствует увлекательности книги: юноша Ким отправляется в составе экспедиции земных людей на другую планетную систему, чтобы рассказать тамошним разумным существам о жизни и делах землян.

Автор сосредоточивал свое внимание не столько на достижениях науки и техники (хотя не обошел их вовсе), сколько на общественных отношениях грядущего человечества: именно в этом больше всего нуждается читатель, в особенности молодой, к которому преимущественно и обращена повесть.

Люди будущего добились многого: они превратили пустыни в плодородные земли, создали искусственные горные хребты, наладили подводное хозяйство, установили связь с отдаленными мирами, построили для космических полетов фотонные корабли. Все

это достигнуто не просто. Идут серьезные споры о поисках новых мест заселения и источников сырья. Будут ли это искусственные острова, постепенно закрывающие все моря? или искусственно обогреты Арктика и Антарктика? или подводные города? или искусственные планеты? — все это горячо дискутируется учеными Земли. А проблема неограниченного изобилия, что она с собой несет? Об этом тоже спорят в повести, и эта насыщенность серьезными проблемами — достоинство книги.

Коммунизм не в отсутствии проблем, а в том, как к ним относятся люди. А люди в повести Г. Гуревича живут интересами всего человечества как единого целого, и там, где речь идет о его благе, умеют приносить в жертву свои интересы, а если надо — и жизнь. Этому веришь — таковы ведь и лучшие наши современники. Притом наиболее удавшиеся автору лица отличаются четко выраженными индивидуальными чертами. Таковы руководитель Планетного Совета Ксан Ковров, изобретатель Гхор, летчик-космонавт Шорин. Потому-то читатель с волнением следит за их судьбами, оставаясь более равнодушным к некоторым другим героям повести, очерченным схематично.

Смелость фантазии автора такова, что его герои побеждают старость и наконец — даже смерть. Не будем упрекать писателя в чрезмерности воображения: известный английский ученый Д. Томсон в книге «Предвидимое будущее» пишет: «Нельзя не задуматься над тем, что произойдет, когда все причины старости станут известны и когда будут найдены средства борьбы с ними. Тогда жизнь уже не будет иметь естественных пределов».

Другое дело — в какую форму облек автор свою мечту. Тут с Г. Гуревичем сподрует поспорить. В его повести людей воссоздают, дублируют в аппаратах, воспроизводящих с полной точностью сочетания атомов, из которых эти люди состоят («атомистика»). Человек умер, но он уже «записан», и в аппарате возникает его двойник. Создают даже дубликаты живых людей. И всевозможных вещей, продуктов. Принцип этого воспроизведения изложен неясно, да ясно его и невозможно было бы изложить. Здесь, на мой взгляд, автор переходит грань вымысла, допустимую в научной фантастике.

И все же надо признать, что, за исключением «атомистики» (она здесь напоминает мистику не только созвучием) — весьма спорного метода воспроизведения чего бы то ни было, а в особенности живых, мыслящих существ, — автор обнаружил широкую и почти всегда обоснованную фантазию.

А. Р. Палей.

★

Т. УСАКИНА. Петрашевы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX века. Саратов. 1965. 160 стр.

Книга Т. Усакиной во многом характерна для сегодняшнего состояния нашей литера-

турной науки. Характерна и своим интересом к забытым или недостаточно исследованным фактам и явлениям. Характерна и своим «жанром»: стремлением в целом охватить художественное направление, школу, течение и т. д. (Вспомним, что еще недавно мы переживали период почти безраздельного господства монографий об отдельных писателях.)

Т. Усакина хорошо показала, что деятельность петрашевцев — общественная и политическая в своей основе — представляла вместе с тем литературное направление, «определившее существенные грани идейно-творческого облика целой группы передовых писателей и критиков». О роли этого направления в истории русской культуры свидетельствует уже перечень имен, причастных в той или другой мере к идеологии петрашевцев: Достоевский, Щедрин, Чернышевский, Валериан Майков, не говоря о целой плеяде «поэтов-петрашевцев» (Плещеев, Баласогло, Пальм и др.). На очень широком материале логично и убедительно исследует Т. Усакина главные художественные принципы петрашевцев, показывает, как они преломлялись и в жанре, и в обрисовке характеров, и в общей манере повествования.

Нелегкий вопрос о преемственной связи петрашевцев и Белинского Т. Усакина решает без тени идеализации. Она показывает, что петрашевцы, развивая общественные и эстетические идеи Белинского, подчас упрощали их и «выпрямляли».

Но если попытка вывести историко-экономические законы из «человеческой природы» законов антропологизма не приводила к плодотворным результатам, то когда, скажем, петрашвец Беклемишев призывал: «Анализируем человека!», — это имело огромное значение для литературы, для художественной практики.

В книге Т. Усакиной некоторые давно известные факты освещаются новым светом. Вот, например, широко известные рассуждения Чернышевского о глубине психологического анализа, «диалектике души» в произведениях Толстого. В контексте художественных идей петрашевцев, скажем, рядом с высказыванием Петрашевского, что «любимым миром для воображения поэта должен стать внутренний мир человека», — в этом контексте наблюдение Чернышевского предстает как закономерный итог целой полосы художественных и эстетических исканий.

Большое внимание уделено в книге Валериану Майкову. Т. Усакина много сделала для утверждения правильного взгляда на деятельность этого талантливого и оригинального критика; но все же старые концепции еще подчас влияют на ее выводы. Исследовательница отмечает сильные элементы метафизики не только в общественно-экономических взглядах Майкова (что, вообще говоря, справедливо), но — главным образом — в его художественных воззрениях, которые грозили «искусству обеднением содержания и форм, адекватных действи-

тельности». Думается, что эта «угроза» по меньшей мере преувеличена.

Автор рецензируемой книги — молодой ученый, доцент Саратовского университета. И хочется, выходя за рамки рецензии, отметить в заключение интересный факт. Буквально за один прошедший год в Саратовском университете вышло несколько книг по истории русской литературы: И. Винниковой «И. С. Тургенев в шестидесятые годы», В. Прозорова «О художественном мышлении писателя-сатирика» (о творчестве Салтыкова-Щедрина), А. Татаринцева «Сатирическое воззвание к возмущению» (о Радищеве). Каждая из этих книг требует, конечно, специального разбора, но у них есть общее свойство — это серьезные работы, насыщенные свежими фактами. И еще одна хорошая примета: если не ошибаюсь, все названные книги написаны молодыми учеными.

Ю. Манн.

Р. S. Эти строки были уже написаны, когда стало известно о смерти Т. И. Усакиной. Она умерла в возрасте 34 лет. В эту книгу вошла лишь часть ее трудов, отмеченных сильной и пылкой исследовательской мыслью и как бы заключающих в себе зерна многих будущих работ, которые, к большому горю, исследовательница уже не напишет. Но было бы хорошо, если бы были собраны и изданы и другие ее работы.

★

УКРАИНСКИЕ ПИСАТЕЛИ. Биобиблиографический словарь. В пяти томах. Киев. Государственное издательство художественной литературы «Дніпро». 1960—1965.

С выходом пятого тома закончилось издание биобиблиографического словаря «Украинские писатели». Этот капитальный труд охватывает материалы по украинской литературе с древнейших времен и до наших дней. Том первый посвящен украинской литературе XI—XVIII вв. (включая литературу переводную), второй и третий — литературе дооктябрьского периода (XIX—XX вв.), четвертый и пятый — украинской советской литературе. «Основные принципы составления Словаря, — говорится в предисловии к первому тому, — такие: о каждом писателе приводятся главные биографические сведения, далее указывается публикация произведений писателя, а затем критическая литература о нем».

Текст словаря дается на украинском и русском языках. Как известно, оригинальные произведения ряда украинских писателей появлялись на украинском и русском языках (Тарас Шевченко, Марко Вовчок), у других писателей большинство произведений было написано на русском языке (Е. П. Гребенка, Д. Л. Мордовцев), у некоторых только на русском (языковед А. А. Потебня, литературовед Н. Ф. Сумцов). Словарь содержит указания на имеющиеся переводы произведений украинских писателей на русский язык, а также русскую критическую и исследовательскую литературу.

Насколько велик собранный в словаре литературный материал, можно судить по списку использованных источников и по тому, что только о писателях советского времени дано более пятисот библиографических справок.

Нет сомнения в том, что этот словарь на долгие годы явится ценным пособием для всех интересующихся украинской литературой и специально изучающих ее. С большим сожалением приходится отметить, что аналогичных работ не имеет ни одна литература Советского Союза и даже литература русская.

Нельзя не сказать о существенном недостатке рецензируемого словаря, снижающем его справочную ценность, — ни один том не имеет именного указателя. Впрочем, это дело поправимое. Следует только издать дополнительный (шестой) том словаря, который бы содержал именной указатель ко всем томам.

Не оправдано и издание томов словаря различными тиражами. Том первый имеет тираж в десять тысяч экземпляров, а два последних — по семь тысяч. Таким образом, три тысячи библиотек не будут иметь полного комплекта словаря.

С гораздо большим основанием можно было бы выпустить повышенным тиражом тома, посвященные литературе советской.

Н. Мацнев.

★

А. К. СИМОНОВА. Литературно-критические статьи. Издательство «Митк». Ереван. 1965. 256 стр.

В этом сборнике представлена важнейшая часть творческого наследия А. Симоновой, которую, как справедливо сказал автор вступительной статьи, «смело можно назвать одним из активных пропагандистов и популяризаторов великих художественных ценностей советской русской литературы среди армянских читателей». Отличное знание материала сочеталось у А. Симоновой с развитым вкусом и подлинным пониманием специфики художественной литературы.

Не только лица, специально занимающиеся творчеством Леонида Леонова, но и просто читатели с интересом и пользой для себя прочтут работы А. Симоновой, посвященные леоновской драматургии. Полемическое дарование А. Симоновой проявилось в статьях «О сюжетном конфликте и характере героя» (полемика с В. Ермиловым) и «Эстетично ли слово?».

Однако центральное место в книге, да и вообще в наследии А. Симоновой занимают, пожалуй, статьи (иногда перерастающие в исследования), посвященные армянским переводам русской поэзии. Вот перечень этих работ: «Стихотворения В. Я. Брюсова на армянском языке», «Антология русской советской поэзии на армянском языке», «В. Маяковский в переводах Е. Чаренца» (опубликовано впервые), «Поэма В. Маяковского «Облако в штанах» в переводе П. Севака», «Поэма «За далью — даль» А. Твардовского и ее перевод». Написанные

вдумчиво и тщательно, вдобавок и очень живо, а подчас с несомненным литературным блеском, эти статьи и исследования А. Симоновой представляются реальным вкладом как в современную армяно-русскую филологию, так и в понемногу создающуюся у нас науку о стихотворном переводе.

Ни один исследователь творчества Брюсова, Маяковского или Чаренца, на мой взгляд, не вправе пройти мимо статей и исследований А. Симоновой, составляющих ядро ее посмертной книги. Досадно, что книга эта вышла очень небольшим тиражом.

Игорь Поступальский.

★

Б. ГОРБАЧЕВСКИЙ. Кресты, костры и книги. «Советская Россия». М. 1965. 198 стр.

Книги — в этом слове воплощается для автора прогресс человеческой мысли. И тема его работы — борьба с книгой господствующей христианской церкви. При этом он сознательно обходит роль раннего христианства в освободительной борьбе рабов и неимущих, подчеркивает в реформизме не столько его прогрессивность, сколько сходство с католицизмом в методах установления своего господства.

«С IV столетия, — писал Герцен, — человечество перестало смеяться, оно все плакало, и тяжелые цепи пали на ум середь стенаний и угрызений совести». Горбачевский подчеркивает, что именно после того, как, кроме собственных средств идеологического воздействия, у церковников появился мощный союзник в лице государства, религиозное учение стало догмой. С этого времени, все нарастая и расширяясь, идет борьба с инакомыслящими, создаются рекомендательные списки тщательно выверенной христианской литературы и списки запрещенных книг.

Автор показывает, как усиливается бесконтрольная власть церковников, как сливаются государство и «единственно праведное учение», как все жестче становятся догматы. Возникшее в IV веке слово «инквизиция» (расследование) стало означать в XII веке верховное судилище. Запрещение отдельных книг привело к запрещению некоторых наук (физики, химии). Случалось, что на кострах жгли уже не только негодные книги, но и их авторов. Только в Италии за пятьдесят лет (1550—1600 гг.) инквизиция сожгла на кострах семьдесят восемь ученых. В XVI веке создается централизованный указатель запрещенных произведений (Index librorum prohibitorum).

Свободные от догматов люди в своих странах и за границей создавали труды, враждебные господствующей идеологии. Кампанелла, Томас Мор, Джордано Бруно, Спиноза, Монтестье, Гельвеций... Сколько книг не дописали эти люди, сколько открытий им помешали сделать? А сколько не написано, не высказано теми, кто остался жить, кто отрекся, кто просто не осмелился?

Величайшее техническое достижение человечества — книгопечатание — фактически присваивается церковью и становится поводом для новых гонений. Книгам, предназначенным для пропаганды реакционных доктрин и догматов, отдается лучшая бумага, над их оформлением работают лучшие художники. Есть экземпляр библии, в котором более пяти тысяч рисунков и различных украшений.

К сожалению, книга Горбачевского несколько перегружена примерами, свидетельствами современников и высказываниями знаменитых людей. Это иногда отвлекает от главной темы. Но все же главная мысль автора выражена ясно и убедительно. Никакие кресты и костры не могут остановить свободного развития мысли.

Н. Белинкова.

★

В. БЕЛЬКОВИЧ, С. КЛЕЙНЕНБЕРГ, А. ЯБЛОКОВ. Загадка океана. «Молодая гвардия». М. 1965. 176 стр.

В 1943 году на одном из флоридских пляжей произошел случай, о котором потом долго писали газеты и журналы многих стран. Далеко заплыв от берега, женщина потеряла сознание и стала тонуть. Последний проблеск ее сознания запечатлел ощущение довольно сильного толчка снизу. Очнувшись она на берегу. Пляж был пуст. Лишь издали бежал к ней незнакомый человек. Он рассказал женщине, что видел, как ее толкал к берегу дельфин, в то время как другой плавал вокруг, как бы охраняя их.

Ученых не удивило это событие. Им были и до этого известны аналогичные случаи, в частности — рассказ о дружбе одного итальянского мальчика с дельфином, который перевозил этого мальчика через залив в школу.

Об этих и многих других удивительных историях с дельфинами увлекательно рассказывают в книге «Загадка океана» доктор биологических наук Сергей Евгеньевич Клейненберг, который уже около тридцати лет изучает жизнь дельфинов, и его коллеги доктор биологических наук Алексей Владимирович Яблоков и кандидат биологических наук Всеволод Михайлович Белькович. Авторы показывают нам пока еще не познанный, удивительный мир, который тщательно изучают сейчас специалисты самых различных отраслей знаний в ряде стран.

В книге говорится о многих загадках, с которыми встретились ученые. Есть все основания считать, что дельфины достигли очень высокой степени в развитии психики. Человечество стоит на пороге расшифровки языка, которым, возможно, пользуются эти обитатели морей. Обученные дельфины, которые всегда очень доброжелательны к людям, могут стать прекрасными нашими помощниками в освоении морей.

Советское правительство, учитывая большой интерес науки к дельфинам, приняло решение полностью прекратить их промы-

сел в нашей стране. Хочется надеяться, что по примеру Советского Союза промысел дельфинов будет прекращен во всем мировом океане.

С. Осокин,
действительный член Географического общества СССР.

★

СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ. Жизнь и творчество. Альбом. «Музыка». М. 1965. 234 стр.

«А ведь это он про себя написал!» — воскликнул Горький, прослушав «Гадкого утенка». Альбом «Сергей Прокофьев» рассказывает, вернее, показывает — и в этом его особая привлекательность, — как из «гадкого утенка» вырос гордый лебедь русской музыки — Сергей Прокофьев.

Впрочем, и в своей юности «гадким» он был больше лишь для... уток, воспитанных в старых музыкально-эстетических понятиях. Горький сразу же распознал могучий неповторимо-своеобразный талант Прокофьева. А Маяковский в 1918 году подарил Прокофьеву свою «Войну и мир» с шуточной надписью: «Председателю земного шара от секции музыки — председатель земного шара от секции поэзии. Прокофьеву Маяковский...»

Редактор-составитель альбома С. Шлифштейн не только собрал богатейший иконографический материал (много редких, впервые публикуемых фото), но и так умело, любовно и со знанием дела расположил его, прословив (правда, очень скупой!) высказываниями самого Прокофьева, отзывами прессы, отрывками из писем, что перед нами оказалась не просто иллюстрированная биография композитора, но как бы биография его музыки.

Альбом разбит на главы: «Детство», «Юные годы», «Годы странствий», «Снова на родине», причем через все эти разделы проходят важнейшие лейтмотивы жизни и творчества Прокофьева. Один из них — композитор-труженик. Альбому предпослан эпиграф — слова самого композитора, взятые из его записной книжки: «Я честен перед собой и поэтому буду работать, так как это лучшее выражение честности перед собой». Прокофьев был честен перед собой до последней минуты своей жизни — он умер с партитурным листом в руках. Другой лейтмотив — Прокофьев-новатор. В альбоме как бы раскрывается природа прокофьевского новаторства. Смелое, небывало острое, что несла в себе музыка молодого Прокофьева, — ныне это ясно каждому — рождалось прежде всего из интуитивного художнического предчувствия надвигающихся революционных потрясений, в предгрозовой атмосфере кануна Октября.

Вернувшись после заграничных скитаний на родину, Прокофьев был поглощен неустанными поисками нового музыкального языка, каким — писал сам композитор — «надо говорить о советской жизни». Таким образом, новаторство «позднего» Прокофьева было новаторством художника-патриота,

окрыленного великими идеями социалистической современности, страстным желанием служить своим искусством массам, которые хотят, ждут «большой музыки, больших событий, большой любви».

Последние два десятилетия творческой деятельности Прокофьева были эпохой наивысшего цветения его гения. Эти годы дали нам «Александра Невского» и «Ромео и Джульетту», музыку к фильму «Иван Грозный», «Войну и мир», «Дуэнью», ораторию «На страже мира» и знаменитую Седьмую симфонию...

Альбом «Сергей Прокофьев» издан со вкусом и тщательностью. Издан на двух языках — русском и английском, что позволяет ему путешествовать по многим странам мира. Только цена его непомерно высока — четыре рубля!

М. Сокольский.

★

О. Н. БАДЕР. Каповая пещера. Палеолитическая живопись. «Наука». М. 1965. 32 стр.

Первобытные люди селились в пещерах. Там искали они защиты от холода и диких зверей, от стихий и от нападений враждебных племен. Через тысячелетия эти первобытные жилища донесли до нас рассказы о жизни далеких предков: в них найдены примитивные орудия труда, на сводах пещер обнаружены рисунки.

До последнего времени живопись мастеров палеолита была известна лишь во Франции и Испании. Начиная с 1879 года, когда в испанской пещере Альтамира впервые были открыты изображения бизонов, число известных нам произведений доисторического искусства в этих странах медленно, но постоянно росло. В 1940 году были открыты замечательные охотничьи фрески в пещере Ласко во Франции. Пещеры с доисторической живописью относятся к числу наиболее выдающихся памятников человеческой культуры и охраняются как национальное достояние. О них написаны десятки книг — научных и популярных.

Выдающимся и неожиданным событием, вызвавшим громадный интерес во всем мире, стало открытие палеолитических рисунков

в Каповой пещере на Урале. Об этих рисунках, изучавшихся в 1960—1964 годах специальной экспедицией Института археологии Академии наук СССР, и рассказывает книга профессора О. Н. Бадера.

В пещере сыро, но участок с рисунками остается сухим. Это гладкая известняковая плита с красными фресками (мамонты, лошади, посороги). Особенно живо изображены мамонты: в рисунках не только уверенно прочерчены контуры, но и закрашено выпуклее пространство. Это говорит о высокой ступени первобытного искусства. Краска так прочно въелась в камень, что ее уже невозможно стереть или смыть (в лаборатории определили: это охра с примесью животного клея). Известно, что мамонты вымерли в конце последнего оледенения. Следовательно, рисунки сделаны пятнадцать — двадцать тысяч лет тому назад. Археологи называют эту эпоху раннемадленской.

В Восточной Европе и Азии до открытия рисунков Каповой пещеры не были известны равноценные произведения палеолитической живописи. Правда, некоторые очень интересные рисунки обнаруживались на территории СССР и раньше. Это — наивно-величественные изображения тура и двух лошадей на Верхней Лене; нарисованные и выбитые на камне изображения животных Каменной Могилы, скрывшейся теперь под гладью Молочанского водохранилища (в Приазовье); динамичные, исполненные внутреннего напряжения «красные рисунки» на скалах Зараут-Сай в Узбекистане, изображающие охоту на туров. Это наконец следы загадочных знаков в гротах Мгвимеви в Грузии. Но все эти рисунки нельзя было с полной уверенностью отнести к столь давнему времени. О рисунках же Каповой пещеры автор говорит совершенно определенно: да, это творчество человека палеолита, древнейшая живопись земли.

Книга профессора О. Н. Бадера, призванная удовлетворить интерес, проявляемый к рисункам Каповой пещеры и специалистами, и широким кругом читателей как в нашей стране, так и за рубежом, снабжена параллельным текстом на французском языке, фотографиями и цветными иллюстрациями.

И. Третьяков.



Без комментариев

Редакции старых русских журналов иногда без всяких пояснений или возражений перепечатывали на своих страницах произведения, появившиеся в других изданиях. Чаще всего это было одним из приемов литературной полемики (Белинский и Добролюбов некоторые из перепечатанных ими сочинений относили к разряду «юридических»). В таких случаях редакции журналов безошибочно рассчитывали, что читатели без всяких комментариев сумеют по достоинству оценить перепечатанное.

В разделе «Без комментариев» «Новый мир», учитывая этот опыт русской журналистики, будет предлагать вниманию читателей выборочно или полностью некоторые из произведений, опубликованных в последнее время в печати. Надеемся, что наше начинание по крайней мере не вызовет обычных упреков в одностороннем, пристрастном толковании явлений литературы.

Два отрывка из цикла стихотворений
Владимира Фирсова «Вечерние луга»
 («Октябрь», № 6 (500), 1966, стр. 88—89)

...В наши дни
Ученые, поэты
Стали дискутировать хитро.
«Физики и лирики».
Да ладно!
Сложно ли понять, о чем тут речь?
Ясно,
Что словесная баланда
Призвана от главного отвлечь.
Главное, что гниль не вымирает
И не переводится пока
Хлебогубцы —
Те, что презирают
Гордость и терпенье мужика.

Каждый — гений. Жрец культуры.

Душка.

Мыслит категорией столпа.
Что для них народ!
Ванюшки, нюшки —
Серая, безликая толпа.
Эка!
Правдолюбцами рядятся,
На поклон идут к врагам страны.

Власовцы духовные родятся!
Мужики
Об этом знать должны.

* * *

...И что скрывать,
Бывают иногда
За рубежом
Враги довольны нами.
И рукоплещут радостно,
Когда
По чьей-то воле зачехляют знамя.
Восторженно звучат слова врагов

По адресу сынов моей державы:
Мол, вы освободились от оков,
В которых вас при Сталине держали.
Мол, вы освободились от идей,
Которым по ошибке доверяли,
И, веря ложным вымыслам вождей,
Невозвратно время потеряли.
Мол, вам пора по-новому дерзать,
Чтобы устои косности дробились!

Как ни печально,
Но пора сказать:
Враги чего-то все-таки добились...

Из рецензии Генриха Митина «Страсть к бегу» («Литературная Россия», 27 мая 1966 года, стр. 5)

Но вот председатель Алданов затребовал коня себе под седло — и как раз тогда, когда сам Танабай уже отказался ездить на коне, ибо пора было коню стать самцом, — но Танабай, послушавшись то ли жены, то ли своей неуверенности, отдал коня. А ведь табун без такого самца — уже не тот табун! Вид развивается в направлении от самки к самцу — так утверждают современные ученые.

Из рецензии А. Марченко «На солнечную сторону» («Литературная Россия», 10 июня 1966 года, стр. 19)

Глазами дочери, жены, автора Коньков нам виден только сбоку, его взгляда мы поймать не можем, он прячется от нас. И тогда Г. Семенов решается на введение еще одной точки наблюдения, вводит в игру еще

одну фигуру, делает буквально ход конем. И мы видим Конькова через восприятие животного — лошади. Правда, «зеркало» это так же несовершенно, как те, что когда-то производил сам Коньков: так отражает вода мокрый асфальт, оконное стекло. Но именно с помощью этого несовершенно отражателя, благодаря его необычному положению нам удастся «поймать» Конькова: в зрачках погибающей в клещевине лошади Коньков отражается во всей своей звериной сущности...

Из статьи Аркадия Первенцева «Тропой героев» («Красная звезда», 2 июля 1966 года)

В Севастополе — здоровый идейный режим. Сюда не протащить идеологическую контрабанду. Чтобы ответить общему духовному настрою, нужно быть чистым и убежденным в красоте нашего дела. Здесь заранее обречены на неудачу фрондирующие стихи ультрамодных поэтов. Их не поймут. Их создателей могут освистать, да, да! Сюда приехал артист с подобным «утвержденным» репертуаром. Репертуар шел вразрез с настроением города, с воспитанием флота. Утвержденное — не утвердили!

— Да, не разрешили, и только! — твердо сказал капитан I ранга Лезин. — И не разрешим!

Можно только приветствовать такую идейную твердость. Ведь идеологические вторжения внешне неприметны, их не про-

возят в чемоданах с двойным дном. Нет плащей и кинжалов, есть визы, штампы...

Вот еще почему так чист севастьяпольский воздух!

Из выступлений Василия Федорова за «круглым столом» («День поэзии 1965», стр. 184)

В заключение вернусь к критике. Без нее мы «веревки» не сошьем. В подтверждение этого передам свой разговор со знатоком леса. Я его спросил, почему в подмосковных и владимирских лесах, в которых мне приходится бывать уже десяток лет, не водятся зайцы.

— Почему?! Да потому, что волков и лис перевели.

— Странно! Они же уничтожали зайцев?!

— Парадоксально, но — факт!

Как известно, зайцы живут колониями, расположенными далеко друг от друга. Лисы и волки, охотясь на зайцев, гнали их десятки километров. Наиболее сильные, выдержавшие состязание в беге, приживались потом в других колониях и обновляли породу. При отсутствии волков и лис этот естественный обмен между колониями нарушился. Началась деградация породы, нарушились санитарные нормы, что привело к повальному заражению.

Довольно поучительный пример. Да простят мне за него критики. Но этим примером мне хотелось предостеречь товарищей поэтов от судьбы бедных зайчишек.

Зайца нужно гнать!



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Л. И. Брежнев. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIII съезду Коммунистической партии Советского Союза. 29 марта 1966 года. 128 стр. Цена 13 к.

А. Н. Косыгин. Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы. Доклад и заключительное слово Председателя Совета Министров СССР на XXIII съезде КПСС 5 и 7 апреля 1966 г. 80 стр. Цена 9 к.

Резолюция XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза по Отчетному докладу Центрального Комитета КПСС. Принята единогласно 8 апреля 1966 года.

Постановление XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза о частичных изменениях в Уставе КПСС. Принято единогласно 8 апреля 1966 года. 32 стр. Цена 3 к.

Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы. 80 стр. Цена 8 к.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений (Новая публикация первой главы «Немецкой идеологии»). 152 стр. Цена 19 к.

Герои подполья. О подпольной борьбе советских патриотов в тылу немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Выпуск первый. 574 стр. Цена 1 р. 32 к.

М. Горький. В. И. Ленин. 56 стр. Цена 7 к.
20 лет СЕПГ. Документы Социалистической единой партии Германии. Перевод с немецкого. 292 стр. Цена 39 к.

В. Зеленцов. Народ Вьетнама победит. 64 стр. Цена 12 к.

В. Кованов. Меридианы, события, встречи. Заметки и размышления советского врача. 240 стр. Цена 64 к.

М. Курганов. В лицо смерти. 128 стр. Цена 17 к.

О Ленине. Воспоминания зарубежных современников. 536 стр. Цена 1 р. 16 к.

Справочник пропагандиста-международника. 280 стр. Цена 56 к.

Л. Степанов. Конфликт в Индостане и соглашение в Ташкенте. 64 стр. Цена 14 к.

«МЫСЛЬ»

А. Дубинский. Освободительная миссия Советского Союза на Дальнем Востоке (Из истории международных отношений, национально-освободительной борьбы народов Восточной и Юго-Восточной Азии в годы второй мировой войны). 593 стр. Цена 2 р. 28 к.

Из истории деятельности Советов. 174 стр. Цена 55 к.

Из истории советской интеллигенции. 223 стр. Цена 81 к.

Многонациональный советский роман. Закономерности развития современного романа. 308 стр. Цена 1 р. 9 к.

И. Папанин. Жизнь на льдине. Дневник. 332 стр. Цена 87 к.

Природные ресурсы и эффективность их использования. 248 стр. Цена 94 к.

М. Сидоров. О непримиримости социалистической и буржуазной идеологии. 110 стр. Цена 16 к.

Л. Снворцов. Обретает ли метафизика «второе дыхание»? Критический анализ методологии буржуазной историко-философской мысли XIX—XX вв. 198 стр. Цена 61 к.

О. Терновой. Хосе Марти. 208 стр. Цена 25 к.

Н. Халфин, А. Мурадян. Янки на Востоке в XIX веке, или Колониализм без империи. 200 стр. Цена 64 к.

Г. Шагалов. Экономическая эффективность товарного обмена между социалистическими странами. 208 стр. Цена 75 к.

Эффективность интенсификации сельского хозяйства. 224 стр. Цена 84 к.

«ЭКОНОМИКА»

П. Клемышев. Фондоемкость сельскохозяйственной продукции и резервы ее снижения. 160 стр. Цена 49 к.

П. Олдак. Взаимосвязь производства и потребления. Критерии и оценки. 159 стр. Цена 52 к.

Ю. Седышев. Дифференциальная рента и выравнивание экономических условий хозяйствования колхозов. 223 стр. Цена 48 к.

В. Терехов. Определение экономической эффективности капитальных вложений в социалистических странах. 183 стр. Цена 58 к.

Экономический маневр и методы хозяйствования. 123 стр. Цена 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Я. Апушкин. Образы и судьбы. Драматические этюды. 192 стр. Цена 40 к.

Р. Атаян. Пробуждение. Роман. Перевод с армянского. 276 стр. Цена 50 к.

М. Баинов. Я пришел к тебе. Стихи и поэмы. Перевод с хакасского. 56 стр. Цена 13 к.

В. Безорудько. Три мушкетера из Сухих Млинцев. Юмористические повести и рассказы. Перевод с украинского. 344 стр. Цена 68 к.

С. Жислина. Добрый свет издалека. Невымышленные рассказы о Л. Н. Толстом. 256 стр. Цена 35 к.

Т. Лихоталь. Иди со мной. Повесть. 292 стр. Цена 42 к.

Ю. Манн. О гротеске в литературе. 184 стр. Цена 33 к.

И. Рахтанов. Рассказы по памяти. 184 стр. Цена 24 к.

Г. Рыклин. А у нас в Зареченске... Рассказы и фельетоны. 184 стр. Цена 22 к.

И. Семлер. Камень на камень. Роман. Перевод с эстонского. 336 стр. Цена 65 к.

Л. Стекольников. Время полной листвы. Стихи. 92 стр. Цена 18 к.

Р. Фиш. Иду с тралом. Очерки. 232 стр. Цена 48 к.

Л. Шикина. Ровесница. Стихи. 76 стр. Цена 12 к.

А. Шишов. Тропы жизни. Рассказы. 232 стр. Цена 41 к.

Н. Яновский. Афанасий Коптелов. Критико-биографический очерк. 156 стр. Цена 25 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Я. Брыль.** Под говор костра. Рассказы. Перевод с белорусского. 304 стр. Цена 64 к.
А. Венцлова. Стихотворения. Перевод с литовского. 248 стр. («Библиотека советской поэзии»). Цена 42 к.
А. Вулис. В лаборатории смеха. 144 стр. Цена 24 к.
Э. Казакевич. Звезда. Повесть.— **В. Некрасов.** В окопах Сталинграда. Повесть.— **Г. Мусрепов.** Солдат из Казахстана. Повесть. Перевод с казахского. 519 стр. («Великая Отечественная...»). Цена 1 р. 12 к.
Е. Полонская. Избранное. 160 стр. Цена 22 к.
Л. Раковский. Кутузов. 684 стр. Цена 1 р. 27 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- М. Барышев.** Лытя на скалах. Роман. 384 стр. Цена 64 к.
И. Варшавский. Солнце заходит в Домаге. Фантастические рассказы. 240 стр. Цена 25 к.
Л. Васильева. Лынная луна. Лирика. 119 стр. Цена 15 к.
Г. Гофман. Герои Таганрога. Документальная повесть. 368 стр. Цена 69 к.
М. Демиденко. Абрикосовая косточка. Назову тебя Юркой! Повести. 256 стр. Цена 40 к.
И. Зверев. Трамвайный закон. Рассказы. 240 стр. Цена 51 к.
Ф. Искандер. Запретный плод. Рассказы. 256 стр. Цена 37 к.
История ВЛКСМ. Живая летопись. В трех тетрадах. Тетрадь I. 1917—1928. 192 стр. Цена 80 к.
А. Левандовский. Робеспьер. 304 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 80 к.
М. Поляновский. Мы видим Ильича. Рассказы о киносъёмках. 112 стр. Цена 36 к.
Советуюсь с Лениным. Сборник. 104 стр. Цена 35 к.
В. Торопыгин. Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.

«МИР»

- Концепция информации и биологические системы.** Перевод с английского. 350 стр. Цена 1 р. 75 к.
Оптические квантовые генераторы. Новейшие исследования и применения оптической квантовой электроники. Сборник статей. 375 стр. Цена 1 р. 63 к.
П. Райветт, Р. Анофф. Исследование операций. Пособие для административно-управленческих работников. Перевод с английского. 142 стр. Цена 50 к.

«НАУКА»

- Д. Бабнин, А. Н. Радищев.** Литературно-общественная деятельность. 362 стр. Цена 1 р. 83 к.
С. Волк. Народная воля. 1879—1882. 491 стр. Цена 2 р. 40 к.

- А. Галкин, Д. Мельников.** СССР, западные державы и германский вопрос (1945—1965). 263 стр. Цена 87 к.
Диалектика и логика научного познания. 430 стр. Цена 1 р. 52 к.
Диалектика материальной и духовной жизни общества в период строительства коммунизма. 272 стр. Цена 1 р. 9 к.
Жизнь, отданная борьбе (Очерки посвящены деятелям мирового коммунистического движения). 672 стр. Цена 1 р. 32 к.
За единство всех революционных и демократических сил. 245 стр. Цена 1 р.
А. Зорина. Камилло Сьенфуэго — герой кубинской революции. 72 стр. Цена 11 к.
История внешней политики СССР. 1917—1966 гг. В 2-х ч. Ч. 1. 1917—1945 гг. 478 стр. Цена 2 р.
Б. Итенберг, А. Черняк. Жизнь Александра Ульянова. 160 стр. Цена 36 к.
А. Карпов. Стих и время. Проблемы стихотворного развития в русской советской поэзии 20-х годов. 404 стр. Цена 1 р. 6 к.
Крестьянские войны в России XVII—XVIII вв. 328 стр. Цена 1 р. 62 к.
Ленинская теория отражения и современная наука. 301 стр. Цена 1 р. 14 к.
А. Окладников. Петроглифы Ангары. 322 стр. Цена 2 р. 59 к.
Очерки по синонимике современного русского литературного языка. 227 стр. Цена 1 р.
Петроградский военно-революционный комитет. Документы и материалы. В 3-х т. Т. I. 584 стр. Цена 2 р. 20 к.
Проблемы истории Африки. Сборник статей. 287 стр. Цена 1 р. 32 к.
Против расизма. Расизм в странах «свободного мира» и новый этап борьбы против него. Сборник статей. 348 стр. Цена 1 р. 63 к.
А. Пушкаш. Венгрия в годы второй мировой войны. 527 стр. Цена 2 р. 29 к.
В. Сидоров. Из истории звуков русского языка. 159 стр. Цена 50 к.
Г. Соболев. Ученые Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945. 172 стр. Цена 70 к.
Н. Чегодарь. Кобаяси Такидзи. Жизнь и творчество. 100 стр. Цена 32 к.
Л. Шепелев. Работа исследователя с архивными документами. 128 стр. Цена 42 к.
Фридрих Шиллер. Статьи и материалы. 423 стр. Цена 1 р. 83 к.

«ЛИТЕРАТУРА ДА ХЕЛОВНЕБА» (Тбилиси)

- Г. Абашидзе.** Лашарела. Грузинская хроника XIII в. Перевод с грузинского. 323 стр. Цена 69 к.
Л. Авалиани. Когда умывалось солнце. Рассказы. Перевод с грузинского. 178 стр. Цена 24 к.
И. Ениколопов. Пушкин в Грузии. 108 стр. Цена 52 к.
Ш. Нишнианидзе. Оливковая ветвь. Стихи. Перевод с грузинского. 131 стр. Цена 26 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

И. И. Виноградов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 11/V 1966 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 14/VII 1966 г.
 А 10075 Формат бумаги 70 × 108^{1/2}. 9 бум. л. (2-166 усл. п. л.)
 Зак. 1585. Тираж 149.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636